

ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 4 | 2015



М. Ронин
2015

16+

ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 4 | 2015

В номере

.....

- | | |
|--|---|
| ДиН ПОБЕДА | ДиН СТИХИ |
| Владимир Костров | Анатолий Аврутин |
| 3 Настанет новый день! | 47 Антонов огонь |
| Александр Орлов | Александр М. Кобринский |
| 5 Полетье | 49 По белокаменным
библейским мостовым |
| ДиН РЕВЮ | Мариян Шейхова |
| Александр Орлов | 119 Откройте мне имя отца |
| 6 Кравотынь | Нина Гейдэ |
| 165 Креститель Руси | 121 В чужом раю |
| Николай Алешков | ДиН ПАРОДИЯ |
| 160 Жизнь моя... | Евгений Минин |
| ДиН ДИАЛОГ | 50 Хождение по мукам |
| Юрий Беликов, Галина Чудинова | ДиН ЛИТ |
| 7 Заложники книжной справки,
или Хоть сейчас в сани | Мария Шамова |
| ДиН ЮБИЛЕЙ | 51 Рубашка в комод |
| Владимир Селянинов | Максим Лаврентьев |
| 14 Служанки | 56 Право говорить |
| Николай Алешков | ФОНД АСТАФЬЕВА |
| 39 Рецепт бессмертия | Елена Безызвестных |
| Николай Година | 57 Исповедь девочки-изгоя |
| 41 В стране деревьев | ДиН РОМАН |
| ДиН ПОЭМА | Елена Крюкова |
| Виталий Молчанов | 75 Рай |
| 43 Нагой | КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ |
| ДиН ПАМЯТЬ | Марина Саввиных |
| Евгений Мартынов | 100 Милосердие творчества |
| 44 Озокерит | |

БИБЛИОТЕКА
СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

- Михаил Стрельцов
101 Боб
Виктор Теплицкий
108 Шелест дыхания
Мария Песковская
112 Федька и стрекозиная фея
Елена Жарикова
114 Горячегорские истории

ДиН ПРОЗА

- Дмитрий Филиппов
123 Я—русский

ДиН ДЕБЮТ

- Александра Гангур
153 Ты ждёшь дождя
Елена Воробьёва
186 У каждой химеры своя голова

ДиН МЕМУАРЫ

- Елена Тимченко
142 Вовка с Надькою и другие
обитатели моего детства

ДиН ШКОЛА

- Сергей Курганов
154 Семейная педагогика
профессора В. И. Недригайлова

ДиН ШТУДИИ

- Анатолий Вершинский
161 Прямая, то есть подлинная речь
Лев Аннинский
166 Самое оно?
Эльдар Ахадов
169 Тайна гибели Пушкина

ДиН ПОЛЕМИКА

- Вадим Наговицын
185 Великая мозаика
российской культуры

ДиН ДЕТЯМ

- Рустам Карапетьян
187 Савушкин и математика
Наталья Ива
191 Если дождь стучит в окно

ДиН ДЕТИ

- Синяя тетрадь
192 Письмо в сорок первый год

195 ДиН АВТОРЫ

ДиН ГАЛЕРЕЯ

Творчество красноярского художника *Ивана Данилова* хорошо известно как в России, так и за рубежом. Член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, он провёл ряд персональных и групповых выставок в Москве (Центральный Дом художника), Германии, Ливане, Китае, Австралии, Японии, Южной Корее и США. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях во многих странах мира. В 2000 году имя И. С. Данилова было внесено во «Всемирную энциклопедию художников» («Allgemeines Künstlerlexikon»). В 2006 году

в Китае (г. Харбин), в Музее русского искусства, открыт его персональный зал с постоянно действующей экспозицией. В 2008 году— лауреат Десятой региональной художественной выставки «Сибирь», посвящённой 115-летию Новосибирска. Награждён медалью за произведения, представленные на выставке и значительный вклад в развитие изобразительного искусства Сибири.

Репродукции с картин Ивана Данилова любезно представлены «Арт-галереей Романовых» (г. Красноярск).

Владимир Костров

Настанет новый день!



В темнеющих полях ещё белеют лица,
И смертная на них уже упала тень.
Нам не в чем упрекнуть солдат Аустерлица,
Но завтра, Бонапарт, настанет новый день.

Ещё стоит разрыв бризантного снаряда,
Но гамбургский счёт уже один-один.
Ещё теплы тела в окопах Сталинграда,
Но в стёклах мёртвых глаз уже горит Берлин.

И рано, господа, нам подбивать итоги—
Не нами этот мир вращать заведено,
В морях или горах, дворце или остроге,
Но завтра новый день наступит всё равно.

Эхо войны

Памяти Николая Старшинова

Встану рано и пойду в поле.
Вот и солнышко встаёт—Божье око.
Только пусто без тебя, Коля.
Одиноко без тебя, одиноко.
Видишь: белая парит в небе чайка.
Тут к тебе бы постучаться в окошко.
Где-то тихая поёт балалайка,
С переборами играет гармошка.
Посмотрю на небеса—воля,
Глаз на землю опущу—доля,
Поднимаю у мостков колья
И живу я без тебя, Коля.
По осоке я плыву и по лилиям,
Впереди чиста вода—суходоны.
И брусничная заря, и малиновая
По-над домом, где тебя нету дома.
По заливчику летят цепью утки,
На лугу любовно ржут кони.
Да чего там: и в Москве, в переулке,
Без тебя—как без себя, Коля.
Горько, Коля, на Руси, очень горько.
Всё, что сеяли отцы,—всё смололи.
Мне бы рядышком с тобой горку—
Всё тебе бы рассказал, Коля.

Полковник

Ах, полковник,
он сед и галантен,
и звенят ордена на груди!..
Только хочет он быть лейтенантом,
у которого всё впереди!
Молодым,
самым главным на свете,
когда в солнечных лёгких лучах
две малюсеньких звездочки эти,
как слезинки, дрожат на плечах.
Стать зелёным,
как свежая ветка,
чтоб девчата на собственный страх
гренадера двадцатого века
обнимали в глухих городках,
чтоб смущённо глядел новобранец
из рядов подровнявшихся рот
на густой лейтенантский румянец,
на припухший мальчишеский рот.
И вздыхает товарищ полковник,
и дрожит седина на висках,
и друзей вспоминает покойных
на российских
и прочих полях.
«Что стрельба по картонным фигурам
и учебные эти бои,
гарнизонные наши амуры,
дорогие ребята мои?
Мне приказ отдавать неохота,
замирает приказ на губах:
не хочу, чтобы грозное что-то
проступало в ребячьих чертах».
С песней!
С песней!
Идут они с песней.
Веселей, запевала, гуди!
Далеко нам, ребята,
до пенсий!
Хорошо,
всё ещё впереди!

Баллада об Андреевском флаге

За дымкой голубой
Уже не отыскать нас,
Спасительный уже
Душе не нужен круг:
Исходит из страны
Печальная эскадра,
Как стая журавлей,
Летающая на юг.

Помочь нам не смогли
Ни вера, ни отвага.
Отмерена судьбой
Прощальная верста,
Но с нами честный крест
Андреевского флага
И смуглый крымский поп,
Похожий на Христа.

Ржавеют якоря,
Ветшает парусина,
Над реями плывёт
Босфорская луна.
Как подождённый храм,
Горит вдали Россия,
Эгейская волна
Слезой солона.

Мы проиграли бой—
Не воры, не бандиты,
Мы не желали зла
Для Родины своей,
И Греция глядит
Глазами Афродиты
На поредевший строй
Железных кораблей.

Как белые снега
Твои и грудь, и плечи,
В глазах твоих жива
Родная синева.
Поставьте в память нас
Берёзовые свечи,
Скажите и о нас
Утешные слова.

Пускай вернуться к нам
И вера, и отвага
Любым ветрам в ответ,
Любым громам назло,
Чтоб больше не пришлось
Андреевского флага
В бизертах целовать
Подбитое крыло.



Ты в Галиче родном, а я гощу под Керчью.
Пишу тебе письмо и по тебе грущу.
Азовскую уху в обед в столовой пёрчу,
Целуюсь с волной и семечки лущу.
Здесь греческий маяк лучом сверкает с мыса,
У ног его прибой отплясывает твист,
Недалеко Тамань, но белый парус смылся.
И всё-таки пейзаж имеет тайный смысл.
Здесь о тебе волна нашёптывает байки
Или шумит в ушах и гладит по хребту,
И менеджер времён подсчитывает бабки
На акции свои—акации в цвету.
Ах, сколько есть в судьбе трагических извилин,
Давно распался наш лирический объём,
Мы общий наш бюджет давно уже не пилим,
Всё, что осталось, мы прохожим раздаём.
Ты в Галиче родном, вокруг меня Таврида.
Нам годы и судьбу не воротить назад.
На пляжах тел мужских копчёная ставрида
И юных дивных дев песочный шоколад.
Подует зимний ветер, листву с дерев сметая,
Тамань уйдёт в туман из влажности морской.
За горизонтом ты—как тучка золотая,
Как лермонтовский дух глубинки костромской.

Возвращение

Вновь с горы Митридат моря дальнего виды,
И рубцуются раны войны и беды,
Снова в лоно России вернулась Таврида
Афродитой прекрасной из пенной воды...

Никогда уже больше ты нас не покинешь,
Больше нет у истории этой вины.
Возвратился к нам Крым, словно сказочный Китеж,
Возродилось единство великой страны!

Крым отцов и дворцов, дивных роз тёмно-алых,
Бороздящих моря боевых крейсеров,
Православных святых, и святых адмиралов,
И богатых хозяйских татарских дворов.

Мы ошибки учтём и невзгоды осилим,
По всему побережью зажжём маяки,
Мы возложим цветы к адмиральским могилам,
В безымянные воды опустим венки...

Рей, Андреевский флаг, в севастопольской сини!
Словно вольная чайка, расправив крыла,
На надорванной карте великой России
Градом Китежем снова Таврида взошла!

Александр Орлов

Полетье



Помню, учили меня быть надёжным и смелым.
 Всё поменялось с тех пор, но иду я к тебе,
 Роща, где дед закопал навсегда парабеллум,
 Центр села, где висел его брат на столбе.

Кажется мне, я иду по киноварному полю,
 Прадеда кто-то уводит к расстрельному рву.
 Сон не обманешь, он рвётся пылливо на волю,
 Я его власть только с первым лучом оборву.

Снова под утро тревожат скупые просветы,
 Наши свиданья с родней обречённо редки.
 Грозным Смоленском в стальное подымье одеты
 Мельница, сад и наш дом у истока реки.



Ночь со мной говорила отчуждённо и веско,
 Я оставил мечты на страницах письма,
 А в зелёном раздолье насекомого треска
 Убывала в лучах просветлённая тьма.

Рощи гибких берёз так нежны и невинны,
 Засиял на траве позолоченный пот,
 Жёны в поле справляют Земли именины,
 Купол мира к себе мои взгляды влечёт.

Души в каплях дождя опустились на ветки,
 Водяница поёт в поспевающей ржи.
 В освящённый родник я кидаю монетки.
 Дух, сошедший с небес, о любви расскажи.



Ты выберешь, конечно, не меня.
 Доверишь пожеланья глупой свечке,
 И поплывёт венки с огнём по речке,
 Расслабленную душу полоня.

И хвороста горящие бугры,
 Вздымая огнедышащие крохи,
 Развеют привороты, порчи, вздохи
 Влюблённых, стариков и детворы...

Дымятся туч сиреневых развалы,
 Русалок в глушь ведут полевика.
 А мы с тобой, как прежде, далеки,
 И свет зажат в ладонях у Купалы.

Дорогобуж

Со дна июньских тёплых луж
 Тянуло мёдом, льном и кожей,
 И вечер, вежливый прохожий,
 Нас пригласил в Дорогобуж,

Где дождь, задумчив и покоен,
 Кропил торговые ряды,
 И большегрузные следы,
 И дух усопших маслобоен,

Полки канатной конопля
 И залежи пластичной глины,
 Мещанских домиков руины,
 И плинфы кривичей в пыли,

И колченогих стариков
 У перекошенной ограды,
 Их опалённые награды
 За Сандомир и Кишинёв.

Дождь лил, слоняясь по дворам,
 Передохнул в тиши сарая,
 Кусты и грядки освежая,
 Ушёл к блестящим куполам,

Где жизнь доверчива, мудра,
 Щебра, смиренна и упряма,
 Сокрыта от Москвы и гама,
 Где дремлет солнце возле храма
 Петра и Павла,

Павла и Петра.



Дожди смывают сглазы,
 Шумят наперебой,
 И слушает рассказы
 Осенний сухостой.

По Ярославской трассе,
 Гонимый пеленой,
 Уходит восвояси
 Крещёный Листобой.

Объяты бездорожьем
 В заснеженной грязи
 На капище Сварожьем
 Две веры, две Руси.

Старица

Расписная косынка,
Свет в глазах не померк,
Не старушка—тростинка,
А брала Кёнигсберг.

Говорит: «Знаешь, сколько
В равелинах ребят:
И Серёжа, и Ольга,
И Егорыч лежат...»

После минного взрыва
Меня вынес майор»,—
И пошла горделиво
На обедню в притвор.

Память годы полощет,
Превращая в дымок.
В этой яростной мощи
Всея Руси оселок.

Макошино полетье

Вот и осень подоспела—
Лета вольная сноха,
Облепили её тело
Листьев алых вороха.

Пронеслась она над светом,
Завертела листопад,
И потоком разогретым
Дни её меня слепят.

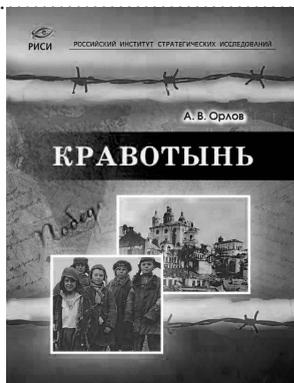
Не хватает ей чего-то:
Может, мне она верна?
Или в день солнцеворота
Она тайно влюблена?

В тишине усталых вишен,
Вспоминая святодни,
Голос Велеса ей слышен.
Осень, время растяни!

Возврати на миг полетье,
Праздник Спаса на холсте.
Но сегодня—двадцать третье
На оторванном листе.

Взгляд её монгольский карий
С поцелуем дождевым
Превращает мир в гербарий
И мечты—в румяный дым.

ДиН РЕВЮ



Александр Орлов

Кравотынь

Москва, 2015

Новая книга Александра Орлова—дань памяти поколению фронтовиков. Это—цикл психологически выверенных рассказов, в которых переплетаются эпохи, но все дороги ведут к Великой Отечественной...

Сквозная тема сборника—потаённая история Отечества в семейных альбомах, сундуках с двойным дном, в секретных воспоминаниях, которые прорезываются неожиданно, как озарение, но—в самой обыкновенной ситуации. Осколки великого противостояния двух войн возникают в душах прадедов и правнуков. Старики хранят правду трагического, но не проклятого XX века. Эта правда—не в их мемуарном бормотании, она колоритна, но субъективна. Правда прорывается незвано—во взмахе руки, в извилах морщин... Всё это можно разглядеть в прозе Александра Орлова, потому что он пристально вглядывается в XX век и в его

рыцарей без страха и упрёка, к которым относится без слащавости, но и без ненависти. Все они заслуживают понимания—даже самые бедовые.

Для Александра Орлова существуют как минимум два измерения жизни: простое, житейское, и божественное. Голос свыше сопутствует героям, даже когда они не могут его расслышать. Притчевая, священная история свершается параллельно с бурлением житейского мира. Перед нами православная проза. Подчас это—современные рождественские сказки, только без непременно счастливого финала. И всё-таки дух Господень живёт в каждом герое сборника.

АРСЕНИЙ ЗАМОСТЬЯНОВ

Юрий Беликов, Галина Чудинова Заложники книжной sprawy, или Хоть сейчас в сани

— Только не пиши, что я похожа на боярыню Чудинову! — запрещает мне Галина. — Это нескромно. Какая я боярыня?..

Действительно, моя нынешняя собеседница на боярыню Морозову непохожа. Но, пожалуй, есть внутреннее сходство с героиней картины Сурикова. А также — логика поступков. Послушала на «Русских встречах» свою двоюродную сестру, тоже Чудинову, но Елену, создательницу нашумевшей антиутопии «Мечеть Парижской Богоматери», — и подвиглась к написанию статьи «Синдром однополухарного мышления». Съездила в Иерусалим — и отозвалась заметками «Земля, теряющая святость».

Твёрдость убеждений. Отстаивание собственной веры и правоты. Ранний подъём. Молитва. Обливание холодной водой. До первых холодов ныряет прямо с мостков Юго-Камского пруда, что прямо перед окнами её дома.

Впрочем, до того как окончательно поселиться здесь, в живописном посёлке за Пермью, педагог Галина Чудинова проделала путь в охвате от Урала до таджикского Куляба и оттуда — до удмуртского Глазова, а от Глазова — до тамбовского Мичуринска, а уже из Мичуринска — до украинского Ворошиловграда, из которого она уезжала, когда он стал Луганском. Ныне — многострадальным.

Здесь она преподавала курс зарубежной литературы в местном пединституте. Теперь молится за всех — знакомых и незнакомых, кто остался в этом городе.

Старообрядка. Хоть сейчас в сани...

— Смейшься? — скажет она мне.

— Галина Васильевна, первое, что лично меня удивило, — это то, что ты, будучи кандидатом филологических наук, преподавателем даже не русской, а зарубежной, то есть западной, литературы, вдруг сделала несчастный для твоего круга шаг — приняла древлеправославную веру, или, иными словами, ушла в старообрядцы. А может, даже лучше будет сказать — пришла. Как это произошло? При каких обстоятельствах?

— Однажды моё внимание привлёк блестящий оратор и эрудит — священник, которого я раньше никогда не видела. «Кто это?» — поинтересовалась

я. «Отец Валерий, глава пермских старообрядцев», — объяснили мне. Мы оказались на одной секции. Шла международная конференция «Государственная национальная политика. Региональный аспект». А на такого рода форумы всегда приглашают руководителей местного межконфессионального консультативного комитета. Отец Валерий был как раз одним из приглашённых.

В то время я уже активно писала книги о русской школе, занималась русским делом и русским вопросом. И наши доклады с отцом Валерием во многом совпали. Я подошла к нему. И он открыл мне совершенно иной взгляд на отечественную историю. Получалось, что вся династия Романовых толкала Россию к гибели. И насколько во многом хороша была Московская Русь! Мы развивались интенсивней, чем Запад. У нас был свой Земский собор. И первая половина правления Ивана Грозного — это колоссальные положительные сдвиги в истории нашего Отечества. Другое дело, что потом, в период опричнины, наступила некоторая деградация...

В собственных воззрениях мой собеседник опирался на книгу Ивана Солоневича о народной монархии и труды Льва Гумилёва. Разумеется, я потом эти книги прочла. Отец Валерий (Шабашов) убедил меня, что старoverы — это самое что ни на есть сохранившееся в чистоте православие, которое вымалывает Русь своими молитвами. Сказал, что они никогда не были крепостными. Бежали от преследований или в Сибирь, или на Урал, либо в Турцию, либо в Румынию. Там они сохраняли свободу и прочную веру. Это многодетные, как правило, люди. В семьях их, естественно, никакого табакокурения, выпивают самую малость, да и то по праздникам. О наркотиках — ни намёка. А юноши и девушки вступают в брак целомудренными, их венчают, ведут вокруг аналоя. На сегодня старoverы — самая здоровая часть русского этноса.

— Но до того, как познакомиться с отцом Валерием, ты же была уже крещёной? Значит...

— Да. Меня крестили в детстве. Не помню, как это было. Но знаю одно: крестили, конечно, обливательно. То есть — не погружая, как это положено,

троекратно в чан с водой. Однако по жизни долгое время я была атеисткой. А до того, как пришла к старой вере, лет пять — прихожанкой Русской православной церкви. Но я в ней разочаровалась. У нас в Юго-Камском было несколько православных священников. Поражала закономерность: каждый из них начинал пить, срывал службы и уезжал из посёлка. Мне этого хватило. Затем, в конце девяностых, я поехала в Москву на конференцию по русской школе. Нас пригласили в храм Христа Спасителя. Там было три зала. В первом — публика исключительно высокой ориентации. В том числе — нынешний патриарх Кирилл в бытность свою митрополитом. В этом зале был совершенно великолепный стол! Во втором зале — публика поплоче. В третьем, куда попала я, — угощение самое скромное. И все эти три зала друг от друга изолированы, с плотно закрытыми дверями. Рядом со мной — священник из мордовской глубинки, отец шестерых детей. Говорю: «Батюшка! Не должно же быть такой „сегрегации“! Пусть они хотя бы двери откроют, и одинаковый стол сделают, и всех поприветствуют. Ведь все же мы русские люди...» Он: «Я с вами согласен...»

И вот тогда края чаши моего разочарования переполнились. Но от Бога я не отошла. И только когда обрела понимание, что такое старая вера, стала по-настоящему воцерковлённой. То есть докрестилась, или довершилась. Иначе говоря, прошла полный обряд. Потом привела к этому мать, заботясь уже о её душе. Отец Никола приезжал в Юго-Камский, и в летний жаркий день матушку мою в рубашке троекратно погружали в наш пруд...

— *Хочется понять: что лично изменилось в тебе как в личности, после того как ты приняла старую веру?*

— После исповеди и покаяния от многих своих прежних грехов и привычек я категорически отказалась. Даже не буду о них вспоминать...

— *Но разве православные не отказываются от своих грехов?*

— Отказываются, но у нас это всё происходит гораздо глубже.

— *Староверов именуют ещё раскольниками. Что такое раскол? В чём была его подлинная причина? Среднестатистический российский человек знает об этом либо по одноимённому телесериалу, либо — по тому, что сохранилось на доньшке его родового сознания. И за давностью лет для тех, кто не ведает, что такое древлеправославие, старообрядцы выглядят едва ли не фанатиками и нарушителями спокойствия. То есть оценочная шкала смещена, передвинута. Что же тогда произошло на Руси?*

— Как известно, два года назад отмечалось четырёхсотлетие династии Романовых. Однако, например, в книге Николая Коняева «Романовы: творцы Великой Смуты» очень верно подмечено, что предки Романовых с поразительной лёгкостью меняли семейные прозвища: то они Кобылины, то Кошкины, то Захарьины-Юрьевы, то Романовы... Если продолжить мысль автора и говорить о церковном расколе, эта «лёгкость», по-видимому, была родовой чертой, которая сказала не только в перемене имён и прозвищ, но и церковных чинов, русских обычаев и устоев. Триста лет правления Романовых, по сути, «были столетиями борьбы новой династии с духовной самостоятельностью и своеобразием Руси». С момента их воцарения на престоле, ещё когда в патриархах ходил Филарет, отец первого из правителей этой династии — Михаила Романова, вынашивались амбициозные планы, согласно которым Русь должна стать вселенским православным царством. То есть Константинополь обязан быть нашим, всё Чёрное море — внутренним морем Руси, а сама держава — центром православия. И эти планы передались по наследству тогдашнему молодому царю Алексею Михайловичу.

«Тишайший» царь решился всерьёз реализовать свой иллюзорный проект. Патриарх Иерусалимский Паисий в качестве предварительного условия предложил сущий «пустяк» — устранить некоторую обособленность русских в богослужебных обрядах от православных греков, балканских славян и украинцев. А иначе как же стать, наподобие византийских императоров, главою всех «ромеев», то есть восточных христиан?

— *Соблазн велик...*

— Да, велик. С одной стороны — константинопольский престол, а с другой — незначительная реформа по «некоторым неважным предметам веры, требующим преобразования». Патриарх Никон и царь с жадностью ухватились за идею «греческого проекта». Этим отчасти можно объяснить ту ярость и беспримерную жестокость, с какою оба внедряли реформу в жизнь: царю впереди в розовом цвете мерещился царьградский престол, а Никону — кафедра вселенского патриарха. Общая идея «греческого проекта» возникла ещё в царствование первых двух «великих государей» — царя Михаила Фёдоровича и его отца патриарха Филарета, и, судя по грекофильскому воспитанию, царевич Алексей с малолетства готовился к роли будущего «неовизантийского» василевса.

— *На первый взгляд, ничего в этом крамольного нет. Мечта малолетки. Ну готовился...*

— Это только на первый взгляд. Надо ещё учесть, что после того, как Османской империей были завоёваны и Греция, и Болгария, и другие страны

христианского мира, православие было искажено. И их церковные книги семнадцатого века тоже утратили ту первоначальную духовную и фактическую чистоту, которая была вначале. А русские церковные книги, напротив, всё это сохранили. Вот тогда-то и вознамерились провести книжную справу. Согласно этой справе, по неправильным греческим книгам переделывались правильные русские книги. То есть это было редчайшее преступление!

— *К примеру?*

— Двуперстие заменено троеперстием. Но двуперстием крестился Христос и его апостолы. Посмотри, как они изображены на всех старинных иконах. Разве—с троеперстием? Даже в Римском соборе, где находится бронзовая статуя апостола Петра, она предстаёт вот с такого рода двуперстием (показывает). Что оно символизирует? Указательный палец—божественную природу Христа. Приспущенный средний палец—человеческую природу. То есть Богочеловек. Так что все догматы и каноны православия сохранились в чистоте именно у староверов. Их ни в коей мере нельзя называть раскольниками. Как раз в образе раскольников предстают царь Алексей Михайлович и патриарх Никон, замыслившие и осуществившие эту «реформу». Правда, потом царь отстранил Никона, но, тем не менее, именно Алексей Михайлович и в целом Романовы были зачинщиками этой трагедии русского народа—вот что за собой повлёл раскол.

Староверы стали преследоваться. У них отнимали имущество. Они бежали. При Петре Первом, которого старообрядцы считают едва ли не антихристом в облике человеческого, на них гонения были жутчайшие! Иван Солоневич справедливо отметил по этому поводу, что «ни одному деятелю русской истории не повезло так, как повезло Петру. Ни одно имя не обросло таким количеством литературы, легенд, апокрифов и вранья».

— *А в действительности?*

— Если до Петра российская экономика развивалась по общемировым законам и порой даже опережала их, то при Петре она обернулась откровенным рабством и утратила всякую эффективность. На Запад из России вывозилось исключительно сырьё, рабский труд породил военную, техническую и научную отсталость страны, прямые и косвенные налоги с населения возросли в пять с половиной раз, а население России сократилось на одну треть. Полнейшим святотатством была личная жизнь Петра. Все многочисленные праздники, устраиваемые им с тысяча шестьсот девяностого года и до конца его жизни, превращались в многосуточные попойки. А «всешутнейшие соборы» и «всепьянейшие литургии» были возрождением

языческих обрядов, во время которых нередко гостям подавались кушанья из волчьего, лисьего, кошачьего и мышинного мяса. Между тем как дворянская, так и советская, да и нынешняя историография на протяжении более трёх столетий упорно создавала из глубоко развращённого, патологически жестокого лжереформатора, который (и в этом он был подлинным сыном своего отца!) люто преследовал старообрядцев, образ Петра Великого.

При Екатерине Второй, во многом более мудрой правительнице, эти гонения несколько смягчились. Однако уже при Николае Первом была проведена чудовищная акция—закрыт алтарь в Покровском соборе, в Рогожской слободе старообрядцев. А что значит—закрыть алтарь? Это значит—не иметь возможности проводить литургию. Литургия же—главная служба, воскресная, праздничная.

Но при Николае Втором, с тысяча девятьсот пятого по тысяча девятьсот семнадцатый год, был серебряный век староверчества. Старообрядцев поддерживали богатое крестьянство, богатое купечество, богатое казачество. Тогда-то в Рогожской слободе возвели огромную колокольню, отреставрировали и построили множество старообрядческих храмов. В тысяча девятьсот пятом году алтарь в Покровском соборе был заново открыт, и здесь опять проходили службы. Николай Второй, очевидно, интуитивно чувствовал все катаклизмы, которые постигнут Россию. И искал опору.

— *То есть это—единственный из Романовых, которого старообрядцы воспринимают со знаком плюс?*

— Безусловно. Но в целом к династии Романовых у староверов отношение негативное. Потому что вся она, так или иначе, была прозападной. Она толкала Россию к этой катастрофе—революции. И мы получили то, что получили. Я написала об этом статью—«Эпоха правления Романовых в литературе и публицистике». Россия свернула со своего исторического пути. Но свернула она с него ещё со времён раскола. То есть первопричина всех наших бед—именно в расколе! А потом, уже при большевиках-интернационалистах, она окончательно пошла не в том направлении.

Но магистральная вера сохранилась. Молились, конечно, тайно—в домах. Долгое время у старообрядцев священства не было. И только в тысяча восемьсот сорок шестом году боснийский митрополит Амвросий, считающийся теперь нашим святым, решил возглавить обезглавленную церковь. И после Амвросия у нас теперь не чин патриарха, а чин митрополита. В настоящее время у староверов—митрополит Корнилий. И наша главная резиденция—юго-восток Москвы, та самая Рогожская слобода. Покровский собор вмещает пять тысяч человек. В Рогожской слободе—исконной

резиденции старообрядцев — и живёт наш митрополит. Кстати, в две тысячи шестом году он встречался с Владимиром Путиным, и, как показала эта встреча, президент России проявил большой интерес к староверчеству...

— Я думаю, неслучайно. Как ты знаешь, в Верещагинском районе Пермского края есть село Путино. В начале двухтысячных мне довелось там побывать. И — выяснить, что многие его жители, в том числе — носящие фамилию Путины, искренне считают, что наш президент — потомок бежавших сюда в результате раскола стрельцов Соловецкого полка. Один из них звался Путиным. Мне рассказывал тамошний старый учитель-историк Валерий Гаврилович Ардашев, что именно со стрельца-старовера Путина и пошла Старопутинская волость, до сей поры хранящая кержацкий уклад...

— Я, конечно, так глубоко не копала! Но будем придерживаться этой версии. Действительно, в Пермский край после трагедии раскола, начало которого пришлось на тысяча шестьсот пятьдесят четвёртый год, бежали многие старообрядцы. Именно в Прикамье сложилась довольно-таки большая община староверов. А места, особенно ими заселённые, — это в большей степени юго-запад края: Очёр, Менделеево, Верещагино... И когда сюда в тысяча девятьсот восемьдесят пятом году приехал отец Валерий, он развернул здесь огромную работу. В настоящее время у нас одиннадцать приходов. Кроме уже названных, это Сепыч, Морозово, Тойкино, то же Путино. Есть приход в Лысьве, Перми и Чайковском. Знаю, что уже выделена земля под строительство старообрядческого храма в коми-пермяцком Кудымкаре. То есть наше пермское благочиние считается одним из самых заметных и благополучных в России.

— Моё первое общение со старообрядцами было опосредованным — я когда-то прочитал повесть Виктора Астафьева «Стародуб», написанную в его ранний — пермский — период. Кстати сказать, когда мы общались с Виктором Петровичем в Овсянке и я заговорил про эту повесть, он признался, что, дескать, это единственная вещь, которую он целиком и полностью придумал. Всё остальное — с реальными прототипами. А «Стародуб»... Здесь, если помнишь, главный герой Култыш попадает в кержацкую деревню. Влюбляется не без взаимности в одну из тамошних девушек, но к чужаку кержаки относятся настороженно, ежели не враждебно. Они — против этой любви... И под талантливым пером автора предстают как тёмная, тугодумная, тяжёлая сила...

— Это неправильно. Это — искажение жизни староверов. Буду говорить только о наших приходах. Старообрядец Сергей Белобородов — доктор технических наук. Он работает и в политехе, и в своей

лаборатории. Нина Фарцейгер — кандидат медицинских наук. Сергей Чазов — участник чеченских войн, контужен и награждён орденами. Он — кандидат исторических наук. Юрий Лоскутов — кандидат философских наук и доцент кафедры философии в пермском научно-исследовательском госуниверситете. Я — кандидат филологических наук. И у нас много староверов с высшим образованием. То есть мы не какие-то тёмные люди! У нас выходит газета «Старовер Прикамья», которую редактирует Александр Поносов, чьё имя в своё время прогремело на всю страну. Это тот самый Поносов, которого в одночасье нарекли «компьютерным пиратом», а президент Путин фактически за него вступился. Поносов живёт в Сепыче, и он мой хороший друг. Я — постоянный автор этой газеты. И четырнадцатого декабря, в день рождения нашего священномученика и наиболее уважаемого святого — протоппа Аввакума, мы в нашем пермском храме устраиваем ежегодные Аввакумовские чтения.

Но ты сказал о раннем Астафьеве... А вот поздний Астафьев пришёл к пониманию правоты староверов. В его романе «Прокляты и убиты» Николай Рындин — самый обаятельный и светлый образ. Кто он? Старообрядец. Да, он тоже воюет, но, конечно, старается не убивать. И товарищи его берегут. И даже один бывший зэк замечает: «Таких, как ты, на потомство оставлять надо!»

Как известно, Виктор Петрович построил на свои деньги в Овсянке часовню. Если присмотреться, она возведена как раз в стиле староверческой архитектуры. И это показательно.

К пониманию староверов пришёл и поздний Александр Солженицын. Да многие выдающиеся русские писатели достигли в зрелом возрасте правоты старой веры.

И теперь мы решили создать наше всероссийское объединение, которое будет называться «Правда старой веры в истории современности», — движение, ориентированное на будущее. Сейчас я активно работаю с новосибирцами. Там есть Николай Старухин, кандидат исторических наук и редактор журнала «Сибирский старообрядец». В одном из его номеров вышел мой рассказ «Поединок». Так вот, это объединение будет охватывать староверов Москвы и Петербурга, Боровска, Сибири и Урала. Для начала мы сделаем свой урало-сибирский сайт. Будем разъяснять правду старой веры, потому что мир стоит на пороге катастрофы, Третьей мировой войны. И надо каким-то образом объяснять людям, чтобы они к Богу приходили по-настоящему — в староверческом варианте. Это не что-то отжившее и реликтовое, как пытаются представить нас не разбирающиеся в этой теме и никаких книг на сей счёт не читавшие, а, наоборот, та спасительная ветвь, что обращена в будущее. Я даже могу сказать так: в настоящее

время в староверчестве формируется интеллектуальная элита России.

— В чём сегодня принципиальное отличие приверженцев старой веры от православных? Ведь все мы—русские...

— Мы считаем новообрядцев, сторонников реформы Никона, выразителями ереси. Существует ересь первой степени—католики и протестанты. А это ересь второй степени. Их молитвы—уже упрощённые, секуляризированные, отошедшие во многом от настоящих, а значит, превратившиеся в ересь. И, конечно, в одних храмах с новообрядцами мы не молимся. Совместные беседы возможны, а совместные молитвы—нет.

— А когда говорят: «Молись от сердца—не важно, как звучит твоя молитва!»—разве нет в этом глубинной правоты?

— Это тоже от лукавого. Потому что надо молиться всё-таки в храме и молиться по-настоящему. Староверы—люди глубоко воцерковлённые. Они неукоснительно соблюдают все посты. Человек должен хотя бы раз в две недели побыть в церкви. Я езжу на богослужения в нашу церковь из Юго-Камского в Пермь. Дальше, конечно, обязательна церковная десятина—человек жертвует на развитие церкви. У нас сейчас строится рядом с церковью административное здание, где потом будет жить епископ и, может быть, расположатся небольшая богадельня для пожилых людей и наш информационно-аналитический центр.

— В одно из наших общений с известным русским литературным критиком Валентином Курбатовым он «реконструировал» такой весьма символический эпизод: по какой-то сибирской таёжной узкоколейке решили они пройти с одним из представителей старообрядчества. Курбатов—по одному рельсу, старовер—по другому. Идут и поют молитвы. Валентин Яковлевич—по православно-никонианским канонам, а старообрядец—по своим крюкам и знаменьям. Курбатов и говорит: «Это—как наша русская вера, расколовшаяся на две вершины!» Вот так и шли они по этим рельсам, не сливаясь, хоть и где-то совпадая в песнопениях, но следуя параллельно друг другу. Разве это не притча?

— По крайней мере, хорошо, что никониане ходят в церковь и молятся. Они и их дети по преимуществу не совершают преступлений и тоже пытаются что-то сделать для Отечества. А староверчество тем и ценно, что сохранило в полном объёме всю культуру древней Руси—то же пение по крюкам. Можно прийти в нашу церковь и послушать. Оно намного красивей, гармоничней. И доходит до Бога в полной мере.

— В этом месте приверженец православной церкви может «перетянуть канат»: «А что, наше не доходит?»

— Это уж Богу решать. Тем не менее, даже невоцерковлённые люди приезжают в нашу церковь послушать старообрядческое пение. В том числе—представители никониан. У нас в церкви на клиросе поют мужчины в кафтанах, женщины—в сарафанах. Так, как это было во времена древней Руси. Каждая служба—настолько боговдохновенна, что многое даёт человеку. Проходит две недели—и меня просто-напросто тянет в церковь...

— Мне рассказывал человек воцерковлённый, но, как ты говоришь, новообрядец: он пришёл в старообрядческий храм. Выстоял всю службу и в числе прочих прихожан приблизился к священнику, дабы приложиться к кресту. И как только наклонился, батюшка крест убрал за спину. Вычислил чужака. Никонианин? Тогда нельзя! Не оттолкнул ли тем самым священник человека, проявившего интерес к старой вере?

— Это всего лишь строжайшее соблюдение норм, канонов и обрядов истинного православия. Чтобы приложиться к кресту в наших храмах и церквях, мало выстоять службу: надо воцерковиться именно в староверчестве, а это огромный духовный и душевный путь. Далеко не все в состоянии пройти его—ежедневно молиться, строго соблюдать все посты, делать по возможности добро людям. На собственном опыте знаю, как это непросто.

— Припоминаю, как мы однажды ехали в электричке разношёрстной компанией. Извлекли бутылку «Уральского бальзама». У меня была с собой большая кружка—одна на всех. В общем, «братина». И вдруг кто-то из девушек произнёс с сомнением в голосе: «Из одной кружки?..» Девушка оказалась из старообрядческой семьи. Потом, задним числом, я это её сомнение оценил. Посуда и еда... Что касается этих тонкостей, как устроен быт староверов на сегодня?

— Желательно, чтобы в семье у каждого была своя посуда—у отца, матери, детей. Однако у нас в церкви—посуда общая. Она моется. Но там же все староверы. Дальше полагается обязательно, чтобы чашка была на блюде и закрытой. И вообще, вся посуда должна быть аккуратно закрыта салфеточкой. Чтобы туда не проникали бесы, иначе человек болеет. Но во время общих трапез посуда, конечно, общая. Когда я приезжала к отцу Валерию, они тоже угощали меня из своей посуды. То есть этого правила придерживаются уже не строго, но в семье—желательно. Это вытекает не только из традиций русской семейно-бытовой культуры, но и из соображений гигиены.

— А что касается благ цивилизации? Понятно, что она не синоним культуры, однако я вижу на твоём рабочем столе все признаки прогресса: компьютер, принтер, да и о нашей встрече мы договаривались по мобильному...

— Староверы относятся сейчас очень положительно ко всем достижениям цивилизации. Митрополит Корнилий на одном из заседаний митрополии даже говорил о необходимости пользоваться всеми научно-техническими средствами, в том числе — компьютером и Интернетом, потому что средства — они сами по себе нейтральны. На том же компьютере можно напечатать какой угодно сатанинский текст и прекрасные молитвы. Важно, в чьих руках находятся достижения цивилизации, во благо ли людей они применяются, для Божьих ли целей. Надо объяснить людям, почему необходимо верить именно так, а не иначе. Почему упал метеорит в Челябинске? Там нет ни одной старообрядческой церкви. Только одна — в Миассе. А у нас в Пермском крае — одиннадцать! Причём падение метеорита произошло в Сретенье, когда люди молились во всех староверческих храмах. И разрушения были минимальные.

— Тогда можно я приведу контрдовод? Если столько старообрядческих приходов в Пермском крае, которые, по вашей логике, должны отвести беду, отчего же в центре Перми вдребезги падает пассажирский «Боинг», а в ночном клубе «Хромая лошадь» гибнет столько людей?..

— Наш край очень духовно засорённый. Это касается и Перми. Вот едешь по городу, подавляющее большинство надписей, афиш — на иностранном языке. Будто мы не русские. А раньше — на столбах вульгарные объявления висели, где женщины лёгкого поведения указывали номера своих телефонов. Впрочем, теперь это продолжается и в некоторых газетах. А что творилось при прежнем губернаторе Чиркунове, привнёшем сюда эти выставки, когда — звезда из окурков или бюстгальтеры в виде церковных куполов, не говоря об «актуальной» матерщине? И всё это шло, прости Господи, от Гельмана и его заезжих клеветов. И сейчас, конечно, эту духовную засорённость надо как-то преодолевать.

Я написала статью «Синдром однополушарного мышления» — вот что больше всего нам вредит! Так многие смотрят на Путина — либо отрицательно, либо положительно. Смотрят одним полушарием. Этот термин — «однополушарное мышление» — был предложен ещё в начале девяностых годов доктором философских наук Михаилом Капустиным. Учёный поначалу упомянул о редком заболевании головного мозга, в процессе которого выключается и перестаёт функционировать одно из его полушарий. Заболевший человек

продолжает жить и работать, но мировосприятие его резко перекашивается, становится крайне узким, однобоким, не способным к дальнейшему развитию. Однако отключение второго полушария может стать результатом не только болезни, но и целенаправленного идеологического воздействия на человека, своего рода зомбирования, истоки которого кроются в семье, школе и обществе.

Мы не можем смотреть на мир как нечто двуполярное — только чёрное и белое. Между ними — огромная переходная гамма. Третьего не дано? Существует и третье, и четвёртое, и пятое.

Допустим, один знаковый мне выпускник философского факультета МГУ в своём интервью сказал о необходимости подключения России к Западу, никак не пояснив, в чём суть этого «подключения». И здесь мы должны избегать крайностей: как прямого подражания, так и огульного отрицания Запада. Нам необходимо скорейшее достижение уровня западной культуры права, равенства всех перед законом, будь то президент, канцлер или королева. Необходимо достижение западной культуры труда с его высокой производительностью и экологической культуры. А что касается культуры духовной, то основанная на православии русская культура была, есть и остаётся неизмеримо выше западной. Традиционная мораль и духовно-нравственные ценности должны оставаться нашим главным приоритетом. В России и речи не может быть о равенстве нормы и аномалии, об узаконивании однополых браков и прочих извращениях, а достижение только материальных благ не должно стать целью человеческой жизни. Иначе это будет проявлением того самого «синдрома однополушарного мышления».

Например, моя двоюродная сестра — известная писательница Елена Чудинова — категорически отрицает движение декабристов. Об этом — один из её романов. Но так тоже нельзя. Потому что декабристы всё-таки выступали против крепостного рабства. И потом, они огромный пласт культуры привнесли в Сибирь. Я была в Иркутске и Красноярске, посещала дома-музеи декабристов, поэтому могу судить о значимости их дел и судеб. Кроме того, Елена утверждает, что в мире идёт борьба варварства и цивилизации. Выступает против ислама, в том числе в своём ярком антиисламском романе «Мечеть Парижской Богоматери». А я считаю, что и варварство, и культура находятся внутри самой цивилизации. Не только Россия — любая страна раскола. Поэтому надо смотреть на эти вещи гораздо глубже и детальнее, любое явление рассматривать в противоречиях, но видеть тенденцию развития.

— Ты семь с половиной лет преподавала зарубежную литературу в Луганском пединституте. И когда началась война на юго-востоке Украины, для

кого-то «гибридная», а фактически направленная на уничтожение мирного населения Донбасса, ты стала налаживать прежние мосты с Луганском, следить за всем происходящим в Новороссии. Молишься за ополченцев—за рядовых бойцов и командиров—и, по сути, стала своего рода собственным корреспондентом ЛНР—пишешь статьи и очерки о происходящем. Если отталкиваться от твоего тезиса об «однополюшарном мышлении», насколько сегодняшние события на Украине ему соответствуют?

— На Украине, увы, налицо тот самый «синдром однополюшарного мышления», о котором я сказала. Детей и подростков там духовно калечат с младых ногтей, создавая из России образ врага, прививая ненависть ко всему русскому. Это и война с памятниками, и сотворение мифов вместо истории, и неприятие любой другой точки зрения на происходящие события. Сейчас я работаю над документальной повестью «Битва за Русский мир в России и Новороссии», где одна из главок посвящена проблеме потерянного поколения молодых украинцев.

— В чём же выход?

— Выход я вижу в кардинальном улучшении ситуации в России. Духовно-нравственная и экономически сильная Россия должна стать примером для всего мира, и прежде всего—для Украины. А за Донбасс и Новороссию ежедневно молюсь и буду молиться. Там, к сожалению, остались только два староверческих прихода: Городищи в ЛНР и Ольховатка в ДНР, где с начала военных действий и по сей день батюшки совершали молитвенный подвиг—ежедневные литургии, и церкви не были разрушены, никто из прихожан не погиб. Это ли не чудо Господне!

— Я знаю, что ты пережила как личную утрату гибель командира батальона «Призрак» Алексея Мозгового. Существуют разные точки зрения о его безвременной смерти. Мы почему-то (очевидно, под воздействием нашего ТВ) считаем, что есть только белое и чёрное: там—лютые враги,

а здесь—надёжные друзья, но наверняка, кроме этой чересполосицы, присутствует и нечто другое—размытое и сталкивающее внутри...

— Гибель Алексея Мозгового—это невосполнимая утрата для Луганщины и всего Донбасса. Подло убит редкостный по своим нравственным, организационным и боевым качествам человек—честный, мужественный, волевой. Он вполне мог бы возглавить Луганскую Народную Республику, поэтому у него было много врагов как на Украине, так и в ЛНР. Кто стоит за этим убийством—пока неясно, но в начале января две тысячи пятнадцатого года на Луганщине при сходных обстоятельствах был расстрелян Александр Беднов—Бэтмен—вместе со своей охраной. Убийцы, кто бы они ни были, не уйдут от Божьей кары в трёх поколениях. А процессы, происходящие на Донбассе, гораздо сложнее, нежели они преподносятся нашими СМИ.

— Я уже заметил как данность: всякий раз, как только заходит речь о той или иной твоей публикации—особенно по части интервью с Галиной Чудиновой, ты неизменно отвечаешь: «У батюшки спрошу!» Неужели у старообрядцев всё так заковано? Ни шагу—без батюшки? Не отпугиваете ли вы тем самым возможный приток паствы?

— Я действительно спросила разрешение у батюшки, и он, как мой духовник и наставник, благословил меня на этот наш разговор. У старообрядцев не принято писать о ныне живущих, дабы они не впали в гордыню. Но сейчас мы вынуждены отойти от давней традиции, ибо натиск разрушительных сект—типа «Свидетелей Иеговы»—увеличился на Россию стократно. «Труд» сектантов проплачен всевозможными американскими организациями, отнюдь не бедными. А у нас—только пожертвования прихожан. Однако людям надо говорить правду. Наш смысловой и поведенческий код—русская идея спасения. Высший наш идеал—личность Спасителя, Иисуса Христа. Христос сказал о нас: «Не бойся, малое стадо!» Поэтому стремящиеся к истине и сильные духом рано или поздно придут к нам.

Владимир Селянинов

Служанки

Четвёртая глава повести «Земля трясётся»

к 80-летию
со дня рождения*...трясётся земля... она не может носить...**служанку, когда она занимает место госпожи своей.*

Притч. 30: 21, 23

Километрах в двадцати пяти, а может, и тридцати (это как повезёт) от райцентра со странным названием Большие Проекты находится деревня Большая Понуровка. Ещё недавно — отделение колхоза имени XIII партсъезда. Домов пятнадцать в деревеньке, крепкой некогда, а теперь заметно присевшей и кланяющейся в сторону Проектов и «Партсъезда».

В стране пробуксовывала перестройка, а в Большую Понуровку въезжала машина. Она скользила с дороги под уклон, разбрасывая в разные стороны грязь. В кабине сидел старик, одетый по-городскому. Бритое лицо, светлая рубашка и галстук говорили о другой среде его обитания, нежели деревня Понуровка, пусть и Большая. Поскользив, машина боком въехала в деревню и остановилась у дома, года два пустующего. Перед тем как заглохнуть, мотор хорошо стрельнул глушителем, что говорило о «позднем зажигании».

Из кабины тяжело вылез старик, разогнулся, потёр спину в том месте, где бывает радикулит, и стал показывать подошедшим мужикам бумагу от хозяина дома. Пошёл во двор, похлопал дверью, ставней. Ещё походил, ещё постоял, рассматривая постройки. К столбу крыльца привалился. Глаза закрыл. Лицо стал гладить ладонями; пальцы подрагивают. Ещё постоял и, посмотрев куда-то за горизонт, стал заносить большой узел, чемодан и баул, какие были у городских лет тридцать назад. С лицом печальным вышел проводить машину. — Ну, отец, давай, — напутствовал молодой шофёр, — держи хвост пистолетом.

Он завёл мотор и стал буксовать в обратную сторону. Глушитель ещё звонко стрельнул, напоминая о проблеме. Приезжий смотрел вслед печально: возможно, не понаслышке он был знаком с «поздним временем». А когда машина исчезла за близкими берёзами, он стал смотреть вдаль.

Деревенские начали интересоваться. Старик ответил: да, пенсионер; с Севера, где работал на стройке. Подошло ещё несколько местных, а это, считай, собралась вся деревня, и приезжий

сообщил, что есть у него дочь, есть внучка, но ничего не сказал о своей старухе. Фамилия у него — Сидоров. Жить он будет здесь... всегда. Причём сказал это не бодро. Он ещё посмотрел далеко, потом посмотрел на тех, кто рядом. Скорее, скользнул по ним взглядом и отвернулся. Деревенские стали расходиться, понимая, что по случаю знакомства им ничего не будет.

Первую зиму Дмитрий Петрович ходил по-городскому — в ботинках, куртка у него тёплая, с нашивкой на рукаве. Шею укрывал цветастым шарфом; видели по весне на нём вязаную шапочку, какие любят спортсмены-лыжники.

Иногда слова говорил городские.

В тот год дом побелил, пол покрасил, весной энергично огород вскапывал. Осенью урожаем картофеля (он так и сказал: картофеля) хвалился. Поправил забор. Он так и говорил: забор, а не заплот, как это принято в деревне Большая Понуровка. Слышали — пилой работал, молотком стучал. Говорила потом одна старушка: имел специальную тряпку для мытья полов.

Но скоро обул Сидоров валенки, ватные штаны ему полюбились. Летом стал носить глубокие калоши, удобные ему теперь. Куда-то шарф его цветастый подевался, вязаной шапочки с иностранным словом не стало видно. Городские слова всё реже вспоминал, стал говорить: картошка.

Заметили некоторые: жилой дом стареет одновременно с хозяином. На связь между ними — более прямую, не видимую многим — намекают. Случайно ли дом у Дмитрия Петровича начал осыпаться по углам в тот год, когда он летом пальто стал носить? А то ещё и в валенках летним днём выйдет. В тот год дом и сделал реверанс в сторону Больших Проектов. От завалинки доски отвалились, туалет наклонился, заплатка из железа на крыше топорщится, на ветру погромыхивает. Хорошо бьёт по крыше листом ветер северный. Лебеда во дворе у него сухая, высокая, шумит горделиво.

Вот пол в доме он перестал мыть, а потом и подметать. Паутинка по углам, сажа на стенах в тот год, когда воротник его рубашки затвердел, как накрахмаленный. Известь с потолка на его голову сыплется. В подполье, по углам, овощи

догнивают, а рядом со скользкой лестницей — скользкий мешок с давней картошкой. А ведь и прошло-то каких пять-шесть лет...

И на этом фоне, фоне мерзости запустения, сидит на крыльце старик. Он дремлет, откинув на столбик голову; рот приоткрыт, а в нём несколько зубов. Запашок от него... Рукой слюну с бороды сотрёт, а руку — о пальто. Иногда очнётся от дрёмы — забормочет, вспоминать что-то там начнёт. А было — об Ильиче выразился дурно:

— Кухарки не могут управлять государством. Не дано! Экую ты хреновину придумал, Ильич. Созидателя нашёл.

Ещё и посмотрит в угол двора, куда помой сливает.

Студента Дмитрия Сидорова учили: страна шагает семимильными шагами, правительство нацеливает строителей на прогрессивное. Прилежно он писал в конспекте и о моральном кодексе строителя коммунизма. Писал, но мало верил «шагам» и «кодексу»... Хотелось ему карьеры после института. Банального роста по службе желал молодой инженер. Это чтоб ему зарплата была побольше, квартира попросторнее. Машину хотел купить. Не дело мне, думал он, в тепле сидеть, штаны в конторе протирать. Попросился на Север, на большую стройку, подшефную комсомолу и под контролем цк. Верил не верил, но был и пафос: «Плотину строим, энергию в Европу бросим».

Фотография у него есть того времени: на фоне огромной реки — он, молодой, широкоплечий, улыбающийся. Или среди скал. Лыжи широкие на ногах, ручьё на плече. Шапку снял — тепло ему. Во рту — папироска, а на поясе большой охотничий нож. Случись что, постоять за себя может...

И вот на Севере, на шестидесятой параллели, молодой инженер, мастер монтажного участка ходит по строительной площадке в каске набочок. А на рукаве куртки эмблема золотом: строительный кран на фоне восходящего солнца. Да-да, непременно — восходящего. Такая эмблема, как штандарт, говорит о причастности её владельца к особой когорте строителей — монтажникам.

Полгода Дмитрий жил в рабочем общежитии. Нехорошо ему там показалось. Известное дело — молодёжная стройка. Первое время с начальством у него... отношения, рабочие... с гонорком некоторые. Но верит: лучшее — впереди. Впрочем, и теперь есть кое-что: зарплата северная, гостинку получил. Лодка моторная у него. Друзья. Есть среди них и молодые специалисты. Из незамужних. Дмитрий уже почти готов приступить и к монтажу собственной семьи, но ему как-то ещё страшновато. Надо, чтоб всё случилось как-то само собою...

Хорошо после длинной северной ночи поехать к югу, где много солнца, и быть свободным. Привалиться к прогретому солнцем камню и слушать

море. Девушки недалеко гуляют стройные, загорелые; предчувствует Сидоров шум прибоя, морской ветерок и горячие камни на берегу, встречу со «стройной, неприступной». Да и Дмитрий, если напрямую, не лыком шит: общителен, анекдотов знает достаточно. Почитывает иногда, надбавка у него к северной зарплате. Имеет возможность купить на рынке фрукты, не спрашивая о цене. Класть их в пакет, а потом бросить: «Сколько?..» Хорошо в молодые годы предчувствовать месяц летний, отпускной.

В это самое время возникло одно обстоятельство, хорошее, в общем-то, обстоятельство, но пока ещё не до конца созревшее для решения. Один «специалист» — тоже молодой и готовый к монтажу семьи — сигналы стал подавать: в отпуск собирается. Она и с главным врачом говорила, и он согласен на её отпуск в это же самое время. И Дима уже в её доме, как говорится, принят. Шанежки, был случай, из теста, очень даже сдобного, кушал. Наташа — хорошая. Всё при ней, но взять и вот так сказать: выходи за меня?!

А её родители к тому, чтобы их дочь поехала «просто так», отнеслись не очень...

Отец тогда за столом сидел, мать — у плиты. Как и положено ей по статусу — поварёшку в руке держала, полотенце на её плече. Их младшая дочь — старшекласница — в соседней комнате, за книжкой мечтает. Кот у батареи отопления, динамик со стены что-то бормочет.

Наташа к столу присела, кудряшки у виска поправила.

— Хорошо бы поехать к морю в этот отпуск, — говорит и наблюдает, как родители головой согласно кивают. — И Дима едет...

Конечно, их дочь — не девочка в платьице белом. Но... поехать с мужчиной, который уже имел время определиться в своих отношениях и не сделал этого?... (Он что тянет?) И потом, в случае ошибки нехорошо будет родителям... да что попало могут поселковые наговорить!

На это последовала следующая реакция. Стареющий отец жевать перестал. Мать замерла с поднятой поварёшкой, но ненадолго. Сестра книжку читать перестала. Если, конечно, читала. А так — всё обычно. Правда, у отца лицо стало грустным. Немного. У матери чуть-чуть растерянность обозначилась. Фактически никто и слова не сказал. А что говорить, если человек взрослый? Поэтому Наташа — специалист ещё молодой — приняла решение: главный врач не отпустил её в отпуск. С кадрами случилась напряжёнка в это самое время.

Поехал Дмитрий один. Погостил у родителей. На материке (любил он это слово — как из друтого мира он прибыл). Родственников навестил, друзей в большом городе у него много. Хорошо, кого-нибудь встретив, по спине хлопнуть. А на

вопрос: «Как жизнь молодая?»—ответить: «Строим помаленьку. Строим. На северах». Приятно, если утренний сон оберегают домашние: дверью не стукнут, крышкой кастрюля не звякнет. В доме у них пока всё спокойно. Отец рад: сын у него... нормальный сын. Доволен: у дочери внука в его честь Петром назвали. Жене внучку хочется. На это Дима улыбается широко: он нащупал почву, не поскользнётся его нога. Твердь под его ногою—не сомневается.

На большом самолёте отпускник продолжает путь к морю. Его, как и других, уже успевших что-то в жизни, приглашают на посадку. Он целует сестру, обменивается рукопожатием с её мужем. А на полпути к самолёту поворачивается, чтобы ещё раз махнуть рукой. Самолёт ревьёт, земля дрожит. И задрожит, если в каждом двигателе лошадиных сил много: мотор новый, Сидоров молодой, перспективный.

Он оказался в кресле рядом с блондинкой, у которой «ноги ничего» (во время посадки видел). И волосы у неё красивые: жёлтые, густые—как у известной артистки. Пальчики маникюренны на «Медицинской газете» лежат, а газета—на круглых коленках. Дмитрий посмотрел одним глазом: что напечатано? Ему газета понравилась: на своём месте она. Неторопливо нащупал он в кармане светлого пиджака пачку сигарет, спросил разрешения, щёлкнул красивой зажигалкой. Прикрыл глаза, как это делают в минуты отдыха те, которые сильные. И у неё достоинства: молодая, красивая причёска, «Медицинская газета». Опять же о ногах: такие кого хочешь беспокойным делают. Как бы при регалиях оба, сидят рядом—как не познакомиться?

Её зовут Аней, работает медицинской сестрой в сельской больнице. Не замужем. В отпуске, одна. На это молодой человек незамедлительно ей пообещал, что он не успокоится, пока не устроит Аню с жильём. И доверительно коснулся «Медицинской газеты».

Вышли в аэропорту вместе, чемоданы несут. Местный, что прятался от солнца в тени, к ним подошёл. Весёлый, из тех, которые много знают наперёд.

— Для молодых и таких красивых есть комната,— ладошками прихлопнул.— Хотите верить, хотите—нет, а недорого,— глаза смеются.—И, между прочим, рядом с пляжем. Кровать в комнате а... громная.

На это Аня задышала, а в комнате с большой кроватью стала отстраняться:
— Я вас очень прошу...

Легко в грудь мужчины упёрлась рукой, другой—на своей груди кофточку держит. Блюдёт себя. Но на юге же они, жарко...

Говорят некоторые, из современных прогрессистов, что в такой стремительности есть особенный

шарм—познание тела прежде! В регрессии находят изыск. Проповедуют рудименты—психологию в этом видят особенную, авангард.

Другие, начитавшись ветхих книг, рассуждают так: не должны люди вести себя как животные. Грех это. В доказательство пример приводят про старого человека по имени Ной и сына его. Снявшего одежды с отца. Говорят, не понравилось отцу «познание тела», разгневался он и в гневе своём завещал: будешь ты и род твой в услужении.

Ладно, пусть их—необразованных ортодоксов, начитавшихся ветхих книг. Что ни говори, а как приятно зайти человеку в незнакомое место. Но в особенности—если туда входить запрещено. Дверь отворить: там-то что?

Впрочем, Дмитрий вёл себя, как и положено ему—молодому, у которого кровь играет, насыщенная какими-то там гормонами. Приятно ему покушать зрелую вишню, отпить сладкого вина. В прохладе вечера погладить ковёр на стене, прохладную ткань лёгкой простыни. Мужчина молодой, у него и на минуту кровь в жилах не останавливается.

Они разговаривали, были случаи.
— Слушай, а я о тебе ничего не знаю,— говорит Дима.— Колись-ка давай. С кем живёшь?
— Одна. В общежитии больницы.
— А родители?

— Мать в своём доме,—к окну отворачивается, кусты наблюдает.

— А отец? Живой? Ты почему с матерью не живёшь?—ему кажется, он задаёт обычные вопросы.
— Отца не помню. Они разные у нас с сестрой.
— С матерью почему не вместе?

— Не хочу,—Аня раздражается, не в окно, а на него смотрит, готовая ответить, если потребуется.

Совсем не специально узнал: есть ещё у неё брат. Живёт где-то. Чтобы прекратить неприятный разговор, Аня сказала:

— Живёт, ни у кого денег займы не просит.

С отдыхающими они не сошлись, и между собою... так, мелочёвка всякая: о пляже, собака у хозяина злая, или:

— Продуктов много скопилось в холодильнике,—это он, зная Анину особенность не помнить об этом.

Промолчит на это она, только голову приподнимет над своим вязанием. Кстати, за месяц она связала красивый свитер. Дима любил свитера с глухим воротником. На Севере, при встречном хиусе, они хороши.

— Следующий раз поедем,—может, и не шутила, а надеялась Аня,—тебе такой же свяжу, шерсть готовь.

Скоро время прошло. На отдыхе они, да и месяц-то фактически медовый у них. Отдохнули, загорели, фруктов съели на год вперёд. Будет им что вспомнить...

Вот он, их самолёт большой, ревьёт быстро—обратно летит. Потом—вокзал, вагон с открытой дверью. Аня пальчиком коснулась его носа, в щёку чмокнула, из тамбура ручкой взмахнула. Рядом кондуктор свёрнутым флажком поигрывает. А у Дмитрия в глазах грустинка о прошедшем лете.

Оставил он время и погостить в родительском доме. Любил он выложить на стол подарки. Улыбнуться, сказать остроумное к месту. Утром полежать в постели, и чтоб все знали: не вставал ещё. Есть, есть честолюбие, просматривается.

Потом—Север, большая стройка, контора монтажного участка, а в ней—Сидоров. Он тычет пальцем в чертёж. Может это делать и с лёгкой улыбочкой: образование у него, опыт. Местный телефон позванивает: ему разъясняют те, что выше. Могут и неприятности пообещать. Дело обычное. Через неделю у него чувство—как в отпуске и не был. Если и вспомнит Аню, то с размытыми чертами лица. Не смог бы ответить на вопрос: кто она? Да и когда ему вспоминать, если он весь день стройплощадку энергично пересекает? В шахтный колодез спустится, чертёжник туда-сюда повертит—на отметке минус 11,43 его голос слышится. На стройплощадке с плакатов на него мощные рабочие смотрят. «Вперёд!»—призывает один из них в синей спецовке. Когда вспоминать, о лете грустить? Что было, то прошло.

Вечером, усталый, к женскому ушку наклоняется.

— Сильно-пресильно скучал,—шепчет в серёжку.—Наташа хорошая, она лучше всех,—и верит этому.

— А что ты Аней меня называешь?—отстраняется, да недалого.

Потому что он—усталый от работы и сытый от блинов—всё более увлекает её за собою на диван. Усталость валит его. И женщина утомлена—на ногах весь день, бедная.

...Что ещё сказать? Да всё у них, молодых, хорошо, по колее перемещаются, а она ведёт к известному маршу. Все симптомы скорого марша налицо: уже в домашнем халатике хлопочет над блинами Наташа. Передничек у неё (с оборочками), домашние туфли (с пампушками) уже прижились в его комнате. Состирнёт иногда... «Решаться надо, решаться. Может, даже завтра,—думает Дмитрий.—Вон какие сегодня были блины,—позволяет себе юмор.—А какие они могут быть, если у неё в тылу мама?—острит, проводив домой «лучшую из всех».—Мамы... они всегда научат дочку... как блин испечь»,—это уже засыпая.

Кстати, мама как-то сказала дочери—так, болтовня женская,—что родители у Димы—порядочные. Она это поняла. И ещё: она случайно узнала, что на работе Диму уважают. Наташа на это сказала:

— Ну, мама...

Но мама имела намерение закончить:

— Если он где-то и погулял—дело холостое. Перebesиться надо мужику.

В октябре пришло письмо от Ани. Она поздравляла с наступающим праздником и сообщала о своей беременности. И что аборт есть узаконенное убийство, и что она на это не пойдёт. Формируется человек, похожий на родителей! Гены у него, характер... Постепенно стало доходить до него значение слов: «гены», «характер» и «на убийство она не пойдёт». Долго не спал в тот вечер Дмитрий, курил—как это показывают в кино. И думал. Думал и курил, окурки в переполненной пепельнице. Размышлял будущий отец о печальной судьбе сына, растущего без отца: растёт и ненавидит всех! Но прежде всего—его, Дмитрия Сидорова. За то, что не имел ласки, за то, что его оскорбляли в школе, за болезни, которых могло не быть. За то, что не имел общения с женщиной-отцом. К кому он обратится, кого помочь попросит? Ублюдок—его школьная кличка!

Невесёлым стал Дмитрий, перестали его радовать успехи на отметке минус 11,43. Не может он ответить Ане: «Это твоя проблема, девочка». Не утешает его сентенция: он мужчина, он такой, как все. Не помогает сентенция, и что ему делать, он не знает.

Гостинка, которую любил, померкла: Наташины домашние туфли, уже прижившиеся в его комнате, теперь не на месте стоят. Один другого носком придавил, пампушка у него наклонилась—пришита плохо. Вечером, уткнувшись лицом в спинку дивана, он слушает, как Наташа стучит в дверь.

— Я знаю, ты дома,—говорит.

— Можешь ты, наконец, объяснить?—это на завтра её голос по местному телефону.

— Дима! Я видела тебя, тебе плохо,—это ещё через день в прорабской телефон звонит.—Скажи же что-нибудь...

Захотелось Дмитрию представить Анну в своей комнате. Например, они за столом, ужинают, и он пытается её «разговорить». Для этого он вспоминает летний месяц. И не может ничего вспомнить для «разговора». Или стирает она, у мойки посуду моет... Спиной стоять к нему ей удобно. Не может он объяснить себе этого, но ей удобно—спиной к нему... Ещё упёрся лицом Дмитрий в спинку дивана, и... Аня идёт по коридору, в больничную палату заходит, больному—старому, уже и от жизни уставшему,—укол делает, разноцветные таблетки на прикроватную тумбочку кладёт. Никак не получается у неё улыбки. Не может представить на лице Ани. «Знаю, видно, её мало»,—объясняет себе Дмитрий.

С Наташей ему просто, её представить легко. «К примеру, поставим её на то же место, к мойке. Посуду она моет... Но вот поворачивается ко

мне и говорит, что они в отделении решили... но главный сказал... тогда все, кроме Марии Семёновны — ты знаешь её...» Не стал детализировать Сидоров, ему важно: Наташа «говорит» и «ходит по комнате».

Несколько дней Сидоров сидел в конторе, по телефону говорил, но скоро забывал о чём. Один раз трубы на стройплощадке рассматривал, вспоминая: откуда они? Когда принимал?

Объяснился на улице с Наташей. Было холодно, перчатки у него не для Севера — руки замёрзли, трясутся. Говорил:

— Ты лучше всех, но я не могу иначе, мне очень-очень будет не хватать тебя.

Вечером, на диване, сомнения выказывает: «С одной стороны — сын, по кличке Ублюдок, не совсем здоровый... С другой — Наташа, почти жена, — одним глазом по комнате Сидоров смотрит, другой — в подушке. — Если попросить прощения — простит. Думаю, простит... Что делать?» Неделю уже как этот вопрос — рефрен у него.

Утром глядит на шпильку, забытую ею. Пальцем проводит по лакированной поверхности. Вздыхает, как это бывает у юношей. Рукавицу-прихватку с крючка снимает. Они её называли Варварой. «Прихватка останется, Варвары не будет», — хотел состричь, да не смешно ему.

Сегодня, на десять, комиссия по приёму «скрытых работ». Представитель заказчика, генподрядчик, кое-кто из субподрядчиков соберутся на «отметке». Акт на скрытые работы, «форму №2» подписывать уже время! А он? Его в должности повысили — прорабом стали называть, а он личное выше общественного поставил. Ну хотя бы спустился Сидоров в свой коллектор, посмотрел, что там и как. Нет. У него — рефрен.

Тяжек был выбор, изнурили его сомнения. Вдохнул, когда вышел вечером из почты. «Выезжаю. Жди», — было в телеграмме.

Заехал к родителям, но теперь улыбался не широко. Мать обнял, отцу руку пожал, но не энергично. Его расспрашивали, он рассказывал... Сестра сказала:

— Спешка нужна при ловле блох.

Грубовато, конечно. А что он должен делать? Как он должен поступить? Тем и отличается человек от животного. Про порядочность напомнил... А сам и теперь не уверен в своём решении: посмотреть бы на месте ещё надо.

С этим и поехал к Ане. В деревню большую, недалеко от которой что-то нашли в земле и вот-вот начнут «это» выкапывать. Людских ресурсов в регионе для этого достаточно. Квалифицированных ресурсов! — радовались газеты. «Процент окончивших высшие и средние учебные заведения неуклонно растёт!» — взвизгивала народ одна из особенно прогрессивных газет. В те дни уже налажилось регулярное автобусное сообщение между

станцией и этой большой деревней. Переросшей себя, уставшей, как утверждали некоторые, от рёва коров и криков петуха. Но были и недовольные... А разве можно угодить людям? Да, наступил некоторый регресс в деревне, а какие у нас успехи в борьбе за мир! Как бескорыстно нас любят везде...

Но речь теперь о том, что приехавший жених заходил во двор маленького покосившегося домика на окраине большой деревни — центральной усадьбы совхоза-гиганта «Прогресс», а домик был подслеповат. Небо над ним низкое, тяжёлое. Крыша заметно прогнулась. В домике с подслеповатыми окнами и жила Анина мама. Сидоров осмотрел двор оценивающим взглядом: неуютным он ему показался. Первое, что увидел он, — место в огороде, куда помои сливают. Во дворе обрывки бумаги на ветру шевелятся. «Ветер снег сдувает, земля на огороде голая, мёрзнет», — подумал ещё, шагая на покачнувшуюся ступеньку. В дверь стучит и здоровается с Аниной мамой, носящей красивую фамилию — Хамитянская (Аня была на её, материнской, фамилии). Говорит о себе, улыбается. Наблюдает: ждали его? Мама на него смотрит как человек, имеющий вопрос: «Ну-ну, мил человек, надолго ли к нам?» Потом выражение лица плавно переходит в ответ: «Ох, кобели вы, кобели похотливые». Но, видимо, вспомнив, что её же дочь предупреждала о приезде молодого человека, который... с которым они хотят пожениться, мама стала успокаиваться. Спросила, как зовут, откуда. Немного походила по комнате, половицами поскрипела. Стала сумку для продуктов готовить. Деньги считать, спиной к гостю повернулась.

— Щас вернусь, — сказала, не поворачиваясь.

Сходила в магазин, на стол покупки выложила: баночку с венгерскими огурцами, свёклой болгарской маринованной. Пакетик карамелек к чаю. В центре стола расположила бутылку водки и кильку в томатном соусе. Начала резать сыр — незрелый, ещё пахнущий творогом, — тут и Аня пришла. Спрашивает:

— Как доехал?

Кажется, руку хотела подать.

— Хорошо доехал. С автобусом от станции повезло. Как ты? Здоровье как?

— Нормально.

Помолчали.

— С работы уволилась?

— Увольняюсь, — у стола хлопочет, банки с огурцами, рыбой переставляет.

— Чувствуешь себя как? — известный намёк он делает, плеча её касается.

— Хорошо, — уходит на другую сторону стола, там тарелки ставит аккуратнее.

Стесняется, думает Дмитрий. Стал он чемодан открывать, подарки выкладывать на диван. Как потом узнал — старый, расшатанный, спинкой

к стене привалившийся. Мама невесты тёплого платку довольна.

— А это нашей новой северянке,— говорит она заготовленную фразу и подаёт Ане унтики.

Беспокоится о размере: подойдут ли? Красивые унтики, расшитые бисером, невесте нравятся. Правда, в какой-то миг сомнение возникло у него: не слишком ли намётано бисера? А сам всё прислушивался, ждал: вот стукнет у калитки щеколда, дверь откроется. Люди станут входить. Его новая родня. Но чемодан его вместительный, наложено там достаточно. Был на всякий случай куплен и небольшой плюшевый мишка. Хорошо будет его подать со словами: «Слышал, слышал я о таком мальчишке (девочке) по имени...»

Но не звякнула щеколда, не стукнула во дворе калитка, дверь не отворилась, впуская родню. Сели за стол, молча ели северную рыбу. Хорошую рыбку он привёз, так что осталась нетронутой килька. После «Столичной» венгерскими огурчиками закусили. Чай грузинский попили с сыром, сахаром. «Видимо, у старухи огород не родит,— подумал Дмитрий,— чтобы варенья-разносолы иметь. Потом— живёт одна, для кого садить?» Прав гость, прав: когда ей? К весне ещё и прикупать приходится овощей. Когда ей огородом заниматься, если каждый день ходит дежурить в присутствие? И ночью там же, но уже основные фонды сторожит.

Два дня, пока Аня собиралась, Сидоров наблюдал из окна жизнь. Окраина села. С другой стороны его, в километре-двух, рабочий посёлок растёт. Там иногда погромыхивает, что-то добывается, перерабатывается. Кто-нибудь из местных «работяг» пройдёт. Зима, морозец, а он в сапогах, потому как на производстве работает. Нет и нет, здесь не деревня-село, но ещё и не город. Переходным состоянием это называется. При ускоренном режиме.

Утром с тещей—уже так про себя называл— словом перебростится. Он спросит, она ответит. Весь день один. Ночью с Аней. Сон у неё хороший, спокойный. Лишний раз не пошевелится.

Оставаясь в доме один, Дмитрий мог осмотреться и понять его назначение: укрыть людей от непогоды. В нём только жизненно необходимое: крыша, стены. Есть печь, но как не мастер её клал, а ученик. Строителю видно: для прочистки ходов лючки не оставлены. Кирпичи придётся вынимать, по дому сорить. «Да... ремонт нужен. Ремонт. Давненько тут мужика не было, давненько»,— осматривается Сидоров.

Потом в окно посмотрит, за сорокой на колу понаблюдает. Во двор выйдет, на крыльце постоит, лёгким морозцем подышит. Привалится спиной к навесу крыльца, а на плечи у него куртка накинута. Сваебойка где-то стучит. Индустриальным методом строят: на бетонный каркас бетонные

стены цепляют. В огороде Сидоров посмотрит. «Совсем пусто,— подумает.— В туалете только согнувшись стоять можно. Как недавно въехали в дом. Или— съезжают».

Между прочим, кошка у тещи интересная. Очень быстро ест. Большая, шерсть у неё густая, недовольная всегда. Впечатление, что людей она не уважает. Похватает с пола очистки овощей, хлеб— и быстрее к двери. Как-то хотел Дима погладить её, но на это она стала бить по полу хвостом, клыки показала. Жёлтые, крупные. Глазом нехорошим подмигнула. Вроде она понимает побольше, чем некоторые думают о ней, и... не надо, не надо этих телячьих нежностей. И, сам не зная почему, вспомнил Дима, что знающие люди говорят: со временем животные становятся похожими на своих хозяев.

Наблюдать за кошкой ему интересно: прыжки по глубокому снегу делает большие. Как-то красиво взяла изгородь и исчезла в покосившейся стайке чужого огорода. Там скоро закричали куры. По-видимому, явление кошки в курятник было не первым: на крик хлопнула дверь, и в сторону строения побежала по-домашнему одетая женщина. Выкрикивая: «Ирод!»—она махала над головой палкой. Животное выскочило из известной ему лазейки и в несколько крупных красивых прыжков достигло маленького строения в соседнем огороде. Она залезла повыше, приподняла заднюю лапу и стала что-то там делать. Очень даже спокойно делать. Фактически манкируя присутствием человека.

— Это какая же напасть у нас появилась,— взвизгнула на слове «напасть» хозяйка кур.— Это какую же он курочку задавил на прошлой неделе!— говорила она громко в сторону Дмитрия. Ещё надеялась: из соседей кто услышит.— Все, ну все как есть дыры в стайке забила, но он же, зверюга, где-то находит себе лаз. У, ирод!

Она громко плюнула в сторону туалета, где сидела не до конца одомашненная кошка. Которая понимает людей, ей импонирует их гуманизм, но она обременена наследственностью. Её генам тысячи лет, она не может без промысла. Вот почему на причитания, если не сказать более—оскорбления, кошка не перестала поднимать заднюю лапку, а только повернула голову, чтобы посмотреть.

В дом зайдёт Дмитрий. Тепло, печь топится, дрова потрескивают, но неудобно ему от угла, где умывальник...

В отъезд собирались, когда пришёл молодой парень, чей-то племянник. С порога он заговорил о деньгах, которые кто-то должен за дрова. Говорил в угол, смотрел в другой. Иногда бросал взгляд на Дмитрия, как бы приглашал его в свидетели. А ему захотелось, чтобы племянник этот был как минимум внучатым. Или ещё каким, но непременно подальше. Паренёк квасил губы, выказывая превосходство. Шапки не снял, воротник

старого пальто с лица не убрал—как прикрывал им себя. На пальце он носил перстень из жёлтого металла. Большой, в виде черепа.

— Чудо-печь мы вам не вернём,— говорит.— Тётка Настёна—хорошая,—это как попрощался он с Дмитрием.

Для чего пришлось на него посмотреть. И исчез, как привидение: возникло—исчезло, а между этим его надо потерпеть. Не услышал Сидоров, как во дворе щекотка стукнула. В окне тень не мелькнула. Но то, что всё было, свидетельствовала лужа на полу. Она растекается—всё случилось, и недавно. Аня разогнулась над чемоданом, тёща шевельнулась на стуле. Как из гипноза они стали выходить. «Непонятно,—думает молодой,—какая-то тётя Настя, чудо-печь. Дрова. Никто не пришёл познакомиться, Аню проводить».

Правда, уже к ночи зашли подружки Анины. Одеты хорошо, перстни-кольца у них, духами стала наполняться комната. Макияж в меру. Приятные молодые женщины, одеты в импортное, но... если бы это было возможно, не говорили бы. Совсем.

Одна из них, Марина Зайцова, замужем. Дочка у неё маленькая, в ясельки носят её. Галей зовут. Трудится Марина инженером по снабжению крупных сельскохозяйственных комплексов. Осуществляет комплексные поставки в эти сельскохозяйственные комплексы. Хочется ей в городе большом пожить, где есть театр и где она сможет дать дочери хорошее образование.

Другая—у неё красивый свитер, весь в зигзагах,—подвизалась на ниве торговли. Качество поступающих товаров она контролирует. («Работа у неё хорошая,—скажет о ней потом Аня.—Там всегда можно иметь». Сидоров это понимал, он бы и сам не отказался «всегда иметь».)

— У вас на Севере хорошая квартира?—это спрашивает Марина Зайцова.— А то, что ни спросим у Аньки, один у неё ответ: «Не знаю».

— Есть кто-нибудь в торговле? Сейчас без этого скучно,—это другая. Она вынимает из сумки свёрток с копчёной колбасой.— Дэффэцит,—говорит, хихикая.

— Катька, которая любит Катрин называться, аж синяя. Всё спрашивает: «Он—бобёр? Он—бобёр?» А я ей: «А за кого Анька пойдёт, если образование у неё, фигурка?»

Глазками обе стреляют в Сидорова. Он же подумал о них не очень хорошо—о возможном использовании подруг в каком-нибудь групповом деле. Общего много: себя нашли, жизнью довольны и другим того желают.

Только эти двое и пришли попрощаться с Аней. Видимо, из самых близких были эти подруги. Но показалось Дмитрию—немного стеснялась их Аня. Подумал об этом утром, когда уже к вокзалу шли. Непонятное чувство тревоги от выполнения

ненужного, лишённого смысла труда стало наполнять его сознание. Если коротко обозначить это чувство, то оно близко к вопросу: «Почему я здесь?»

«Интересно,—думает Дмитрий, неся в руке наполовину пустой чемодан. «Чёрт-те что!»—сердится, перешагивая на тропе пьяную отрыжку. «Странно, проводить никто не пришёл»,—это уже подходя к автовокзалу.

— Вот и пришли, Димушкин,—сказала Аня, ласкаясь.

Погостили немного у Сидоровых. Всё было хорошо, но у Ани, видимо, уже началась известная перестройка организма. Приберёт со стола, постирнёт себе—и опять на кровать с вязанием. Или—с книжкой сядет. Родным и поговорить-то с ней путём не пришлось.

Весной постройком выделил Сидоровым квартиру из трёх комнат. Прямо из роддома перевёз туда молодой отец маму с дочкой. Незамедлительно об этом сообщил бабушкам. С друзьями в тот день собрались хорошо... Уже через два дня была получена авиабандероль с вопросом: как назовёте? К вопросу прилагались тёплые ползунки. Ещё отец интересовался: достаточно ли малышке будет солнца в комнате?

Да, достаточно будет солнца летом, об этом побеспокоился Сидоров. Ещё пахнет краской квартира, но не в тягость это молодой семье, а напоминает она, что у них начало новой жизни и что глава семьи—сильный. Твердь под ногами его. А на улице солнце весеннее, уже яркое, через штору комнату освещает. Узор на шторах замысловат—ритм его дано понять внимательному. На жене и дочери тени: пересекаются, уходят в сторону. Аня после обеда дремлет. Рука у края кровати лежит—не упала бы дочь. Жанной её мама назвала.

В радость молодому отцу и дочка, и жена, квартира светлая. На улице весна. Лето скоро. Их лето. Из окна далеко тайга видна. Сколько хватает глаз—тайга. Она уходит туда, где никто не живёт. По весне там токуют глухари, в реке рыба. На островах сосны, источающие запах смолы.

Но будни у молодого отца—не до глухарей и стерляди ему. Будни, о которых когда-то понаслышке знал. Об одежде и детском питании надо беспокоиться. Хорошо бы и кормящей маме фруктов купить. Ночью дочь плачет, внимания к себе требует. Болеет она, не болеет, а утром ему на работу надо. План у него...

В один из летних дней, возвращаясь с работы и неся сумку с продуктами, встретил Дмитрий Наташину маму. Дочь её теперь живёт в большом городе, замуж вышла. Оба работают, всё хорошо у них.

— Я понимаю тебя, Дима, ты—порядочный,—как успокаивает его несостоявшаяся тёща.

Глаза у неё грустные, а у него сумка после магазинов тяжёлая, как там из несъедобного наложено. Стали прощаться, улыбка у Сидорова вымученная. Пошёл он в следующий на его пути магазин, там постоял, наблюдая. На набережной посидел на скамейке—рукам отдых дал. Думает о какой-то ерунде: лето у него нынче было незаметным. Прошло быстро. Конец августа.

Во дворе встретил Аню. Вечер тёплый, тихий, на голубом небе тучки весёлые, барашками, а он, Сидоров, неожиданно отчуждение испытал к жене и дочери. Одновременно к обеим. Вечер тёплый, мошки нет, а у него чувство такое. Небо голубое, в барашках, Аня—молодая и красивая. Жанночка в коляске посапывает. Мордашка у неё детская, щёчки у неё красненькие, шапочка у неё в оборочках. Прогулку они совершают, положенный им моцион имеют. Картина умильная, а он чужими их, враждебными ему почувствовал. Как какой его внутренний механизм сработал.

— Пойдём домой?—спрашивает Аня.— Погуляли мы с твоей дочкой достаточно,—настроение у неё хорошее.

— Угу,—кивает Дмитрий. Провинившимся себя чувствует.

Однообразна у Сидоровых жизнь. Он деньги зарабатывает, продуктами обеспечивает. Аня домом занимается. За ужином о здоровье дочери поговорят. Будни. Редко какой день в памяти останется. — Как мать, что пишет?—суббота, вечер.

Вечер, кстати, похожий на тот, когда он хотел силою своего воображения представить Аню в его квартире и о чём они говорили. Теперь и представлять не надо—вот он, этот вечер.

— На пенсии.

— Письмо получила? Я не знал...

— Ещё то,—Аня встала у мойки, посуду моет.

— Это которое—год назад?

— Да,—над мойкой склоняется.

Надо сказать, если у них заходил с Аней разговор о её работе или, например, о том мужчине в кожаной куртке, с которым её видел однажды на улице Дмитрий, Аня уходила к дочери, чтобы ухаживать за ней. Теперь дочь уже больренькая, не болеет... Спит, наверное. Ничто не беспокоит их субботний вечер.

— Давно хочу спросить: а где брат? С ним что?

Сам ложечку на столе пальцем нажимает, её перевернуть хочет. Играет ложечкой. В доме пока всё спокойно. Никто не болеет, гречневой крупы «достал». Масла постного на зиму заготовил.

— Не знаю. Живёт,—тарелкой в мойке стукнула.

— Где?—спрашивает муж.

Спокойно спрашивает—суббота, вечер. После обеда поспал немного. На работе у него не то чтобы хорошо—такого на стройке не бывает, а терпимо. А при «терпимо» могут и квартальную премию дать. Есть проблемы, есть, но жить можно.

— Не знаю,—Аня заметно раздражена.

Она энергичнее начинает мыть посуду, от этого и низ её домашнего платяца становится беспокойным.

— Мать с ним переписывается?

В вопросе его пусть небольшое, но высокомерие: он в гуще жизни. На большой стройке он, получает на уровне. И потом: нет-нет да почитает что из серьёзной литературы. А прочтя, отложит книгу, задумается.

— Вот у неё и спроси,—Аня поворачивается, смотрит на него. Готовая ещё сказать...

Идёт в другую комнату, там стучит дверцей шкафа.

Сидоров в коридор прошёл: плечо приподнято, лоб гармошкой. В темноте походил. Лицо у него сосредоточенное, с этим и в спальню прошёл. Ему непонятно...

— А сестра? У неё что?—не может остановиться супруг.

— Что, что! Тебе какое дело?—мимо него идёт.— Я твоей родней не интересуюсь, и мою оставь в покое,—это уже из кухни крикнула.

Дмитрий совсем не хотел обидеть, ему просто непонятно... Пошёл мириться. Аня стояла в кухне у окна. В тёмной комнате хорошо видно, как беспокойно на улице: фонарь качается, скрип его слышен. Резкие тени по стенам мечутся, лицо от этого у Ани меняется. Беззащитной показалась ему жена. Первую встречу в самолёте вспомнил. Как радовалась она новой квартире... Как такое забыть? Нехорошо ему—обидел Аню. К лицу её стал присматриваться.

— Ты извини меня. Я не хотел,—рукой её плечо погладил.—Ты же видишь...

Эти слова—«ты же видишь»—и себе не смог бы объяснить. Он убрал с прохода стул Жанны, поставил его к столу, на место.

— Оставь мою родню, меня оставь в покое,—тихо сказала Анна.—Сидит брат. Пьёт, сидит. Что тебе ещё надо от меня?—прошла к столу и этим же стулом о пол стукнула.—Туберкулёзом болен. Этого тебе достаточно?

Дмитрий в другую комнату ушёл, там в темноте походил, руки за спиной подержал. «Появился человек, вырос до полового созревания, причём без отца вырос, и... привет семье,—он собирает лоб гармошкой, голову к плечу клонит. Это он так выражает недоумение. На полу под ногой игрушка хрустнула.—Отец при этом... присутствует некоторое время,—он откидывает ногой остатки пластмассы.—Где попало, где попало игрушки валяются... Ножницы, если надо, никогда не найдёшь,—и это присовокупил. Но не остановился, а, похаживая в темноте, сделал предположение: заведи он любовницу, Аня расстроилась бы от этого мало. Объяснить себя могла бы нехорошим мужем.—Нет-нет, она, уверен, не была бы против,—ходит

в темноте, мысли у него несветлые. Поток мысли какой-то: ножницы, сломанная игрушка, любовница.—На работу Ане надо устраиваться, на работу,—в другое упёрлась его мысль.—Утром обязательно поговорю».

Но Ане так и не пришлось поработать—горлышко слабое у дочери. Что ни весна—ангина у неё, да с нарывами. Корь перенесла, годом раньше свинкой переболела. Лекарства ей надо принимать аккуратно. А если здоровье позволяет, погода хорошая, то и погулять. И непременно—дважды: утром и к вечеру. Одевать только надо девочку соответственно—здесь глаз да глаз нужен. Естественно, Аня всё больше при дочери. И на прогулке, и дома. Уютно в её комнате тепловентилятор шумит, Жанна с куклой разговаривает, мама после обеда дремлет. Потом—телевизор, если интересная программа. Книгу почитает. Кто-то ей давал очень даже интересные книжки. На обложках у следователей глаза усталые, девицы грудастые, а глаза у них невинные-невинные. У преступников лица... не дышат они интеллектом.

Так и день проходит, Сидоров скоро с работы займётся. Надо ужин готовить, с венником по комнатам пройтись. А он всё-то недоволен: пальцем проведёт по полированной поверхности, оставит след и смотрит. Порядком Ане эти взгляды надоели, всё меньше обращает внимания на них. Иногда только скажет: «Какой же ты тяжёлый человек, Сидоров».

Права жена в этом, права. Резковата, конечно, но это от замкнутости, однообразия её жизни. Нигде не бывают. На юг, к морю бы им, да возможности нет. Север, расходы большие...

В августе, если погода позволяла, плавали на острова. Лучшее время их. Каждый день в памяти. Задолго до «дня X» (отплытия) разрабатывался «вектор движения». Хорошо было планировать, уточнять. Глаза у Ани при этом... хорошие глаза у Ани. И дочь тут же, с воспоминаниями о прошлом лете.

Дмитрий Сидоров— глава семьи и добытчик—покровительствует этому. Он знает, какой и сколько можно «взять» рыбы. Груздь сырой пошёл, брусника по островам...

Краток отпуск (за вторую половину Сидоров брал компенсацию—на Севере живут, расходы большие), а длинна зимняя ночь. Света солнечного мало, от этого и раздражительность. Опять же, напомним, тяжеловат был Дмитрий характером. Один след пальцем на пыльной полировке мебели чего стоит...

Мало с кем сходилась Аня. Дружила с одной замужней, с окраины посёлка. Можно ли это дружбой назвать? Разговоры их—без начала, оканчивались ничем.

Подруга входила шумно, дышала тяжело. Снимала кожаное пальто на меху—престижное в их местах. Кричала почти в лицо:

— Сидоров, привет. Принеси-ка мне плечики.

Вешала пальто, недолго любовалась им, брала свою сумочку, в которой, в этом уверен Сидоров, была и пачка сигарет. Женщины уходили в детскую комнату, и подруга говорила:

— А мой-то мужик что удумал!—это о своём муже. (Зарабатывает мало. И вообще...)

— А мне Танька, я тебе о ней в прошлый раз рассказывала, и отвечает,—это о подчинённой ей продавщице.—Вот стержова, а?—говорила подруга, ставшая заведующей секцией (у неё был диплом об окончании).—Зарплата, видите ли, у неё маленькая...

— Нет, дорогой ты наш покупатель, на дурничку у нас не пройдёт. Где чек?—это о слабом головкой пенсионере.— Так он, он—аж синий.

«Аж синий» уже слышал Дмитрий. Как и другое: о муже, о подчинённой продавщице. А покупателя?

На это отвечала Аня:

— Обнаглели...

Её не видно, но её легко представить в кресле, перебирающей что-нибудь руками.

— Если нет образования, что рыпаться?—о продавщице.

— Они думают: кругом придурки,— комментарий к поведению обнаглевшего старичка.

Не любил Дмитрий подругу Ани—курила в комнате.

Реже ездила к ней Аня. Туда же наезжала ещё одна, из осведомлённых. Она что-то заканчивала и до сих пор не утратила интерес к учёным вопросам.— Есть доказательства: на Кавказе живут снежные люди. В пещерах,—начинает хозяйка о главном для неё на сегодня.

— Появились мутанты от совокупления сириусян с нашими землянками,—другая, из осведомлённых, не утратившая интереса к учёным вопросам (вероятно, из тех она, которым лучше бы и не говорить. Совсем).—Признаюсь вам, девочки, встретился мне в автобусе два месяца назад один тип... Интересный такой, только каким-то дымом от него воняет. Он мне говорит, а я как в гипнозе. Пальцем в низ живота тычет, зубы скалит, а я понять ничего не могу... Пошла с ним. Всё там у них грохочет, дым. А я такой слабой стала, ноги совсем не держат. Рядом какой-то топчан, на нём фуфайка брошена... Очнулась уже на дворе. Темно, какое-то животное о ногу трётся. Я—бежать. Как я бежала... Теперь вот на солёное тянет. Вчера известь ела,—печально закончила она.—А муж третий месяц за полярным кругом. Деньгу добывает... Выскребать «радость эту» теперь надо,—говорит громко, и через дверь слышно.

На это Аня ничего не сказала.

— Острят, надеюсь,—говорил на это Сидоров, слушая рассказ жены о посещении подруг. Наблюдал: не улыбнётся ли?

— Я, конечно, не верю,— говорила Аня,— но нельзя и исключать... Про это сейчас много пишут.

— А что, снежные люди пока не замечены в автобусах?— ещё смотрел. Нет, Аня не любит улыбаться. — Ничего нельзя тебе рассказывать. Ничего. Сколько раз зарекалась. Может, когда и шутим... А ты на себя посмотри: только и научился, что язвить.

Последнее время Дмитрий надеялся на новую знакомую жены из соседнего подъезда; мальчик у неё, одних лет с его дочерью. Иногда они выходили с детьми во двор. Дети мячом играют, мамы с вязанием. Делятся опытом лечения настоями трав и подготовки детей к школе. Говорят между собою понятно.

Надеялся Дмитрий на новую знакомую, язвил иногда—остался ещё у него комплекс человека, который покупает на рынке фрукты, не спрашивая о цене. Который ещё поигрывает блестящей зажигалкой. А фактически—надо бы ему язычок-то свой попридержать. Сам он, как говорится, тоже «отнюдь и отнюдь». Только не дымом пропах, а смесью ацетилена, электросварки и морозного воздуха. Чем он лучше, если в конце квартала пришла к нему бабёнка от заказчика, а он ни много ни мало... Говорить противно!

Группу заказчика интересовала обоснованность перерасхода цельнотянутых труб «на отметке», а бабёнка оказалась гладенькой, домашней, мягко уютной. Очками в золотой оправе стала на него сверкать, а за ними глазки невинные. Раз-другой по прорабской прошла, рассуждая о цельнотянутых трубах, а попка у неё—ядрёная. Сразу видно: серьёзный представитель группы заказчика. Серьёзный. А он?

Не желаем описывать маразм случившегося. Только суть.

1. Замужем. Муж у неё хороший (она настаивала на этом).
2. Беременна. Это особенно заметно, если женщина становится в прорабской на четвереньки.
3. Имени её старший прораб не расслышал сразу, а после полового акта посчитал спрашивать даму об этом бестактным.
4. Акт был совершён под переходящим выпелом победителя социалистического соревнования. Прямо-прямо под гордым профилем Ильича!
5. Колготки у дамы пришли в негодность (цементная стяжка по бетонному полу выполнена с нарушениями СНиП-III).

Далее о мужчине.

1. На подсознательном уровне возник интерес опроститься-опуститься, но, вылезая из ямы, обнаружил: в помойке он был.
2. Плохо ему стало—не то слово. Противен он себе!

— Сколько месяцев?

— Сколько есть, все мои. Ещё можно,— ответила представитель группы заказчика (она массирила колени).

Несколько дней Дмитрий ходил, присматривался к другим: не пахнет от него? Через пару недель позвонил в группу заказчика и предложил уточнить расход труб импортного производства, но уже со спиральным швом. Ему была обещана «сверка» на послезавтра. И опять как вылез он из нечистот. И ей не в радость «сверка»: хлюпала носом, сопельки вытирала платочком. О себе сказала: — Гадкая я, гадкая... Муж у меня вон какой хороший.

Так что имел ли право язвить Сидоров? Как говорится, сам такой... Года через три он случайно встретил её с пацанёнком. Подумал о нём тоскливо. Непонятную обречённость окружающего почувствовал—широко раскинувшегося вокруг индустриального пейзажа. Насыщенного кранами, эстакадами, трубами, что уже в самое небо дымят. Лебёдки повизгивают заносчиво, поднимая высоко.

...Но вот в доме Сидоровых событие. Долгожданное, значительное: дочь в школу пошла. Выросла девочка хорошо, не по-северному румянец на щеке: папа содержит, мама у неё по дому.

Дмитрий опять к жене:

— Аня, на Севере живём, иди работать. Всё дорого. Халат у тебя... Диван не сегодня-завтра развалится. Подбери работу. По душе чтоб... Копейки сбережений нет.

Устроилась Аня в отделение, где раньше Наташа работала. Уходила утром не выпавшаяся, возвращалась усталая. А через месяц вернулась в слезах, стала лицо в подушку прятать. Обувь не сняла—расстроил кто-то сильно. Сидоров стал заходить с разных сторон, расспрашивать. Волосы жёлтые гладить. Немного успокоившись, она подняла к нему лицо:

— Я что, большим анекдоты нанялась рассказывать? Я—сестра. Медицинская,— она ещё повсхлипывала.—Этот участник войны... ну и что из того, что участник? Что? Пидорок он несчастный.

«Пидорок»—неожиданно для него. По крайней мере, этого слова не должно быть в его доме...

Случилось в это время ещё одно обстоятельство: подозрительное обнаружилось в здоровье дочери. Скоро об этом, к счастью, забылось. Но Аня была права.

— Простит ли нам Жанна, когда вырастет? Вон Мария Ивановна без своей брызгалки-ингалятора уже на улицу не выходит,— говорила, поднимая глаза.—Задыхается. На днях во дворе видела.

Дмитрий незнаком с Марией Ивановной, но понимал: дочь у него, её беречь надо. Вынуждена была уволиться Аня с работы. Бог с ним, с диваном старым и халатиком Ани; не надо и сбережений.

Случайно разговорился Дмитрий с одним из больничных, но не случайно стал спрашивать, почему не смогла работать Аня. Ответил больничный так:

— Пока в спину не толкнут—со стула не встанет.

Он немного ещё поотворачивался и закончил:

— Грубовата она у вас.

Была какая-то полоса невезений, стечение обстоятельств. Начнёт Дмитрий говорить с женой о её работе—какая-нибудь да беда случится с Жанной. Ангина у неё, ногу как-то подвернула. Стал он Аню в недосмотре за дочерью упрекать: — Когда ты выплывешь, наконец? Живот твой уже раньше тебя стал показываться из-за угла.

Конечно, это преувеличение. И по поводу «пыль везде»—не прав. Ещё говорил:

— Ходишь и спишь на ходу.

В ноябре, вернувшись с работы в один из вечеров—пасмурных и тоскливых, Дмитрий увидел Аню не в унынии, как обычно, а ещё и расстроенной. Веки красные. Платочек в руке мнёт. Перед ней на столе лежало письмо от матери, где сообщалось о смерти Аниного брата Веньки. Его выпустили из зоны, чтоб помер по-человечески. Особенно расстроили Аню слова о последних часах жизни брата. «Перед смертью,—писала мать,—пытал у меня: почему он такой, что смеялся над другими? Говорил, одно хорошее сделал—изувечил в зоне какого-то сборщика клюквы. За него и добавили ему срок». Ещё тёща писала, что Венька вспоминал, как он с Аней в детстве бегал босиком по лужам и сам плакал. А когда стал отходить, то в беспмятстве говорил: почему он и за что? Переживал, что изгался над каким-то стариком, потому что тот смотрел ему в глаза.

«Кланяются,—писала тёща,—сестра Ольга и её муж. Он удочерил её Катьку. Мебель новую они купили. Муж хороший, живут дружно, но строго к ней. Смотрит за ней строго, а то и похуже бывает. Я Ольге говорила, чтоб пригрозила ему милицией, но она сказала, что любит его и чтоб я не лезла в их дела. Говорит, что в мае у них будет ребёнок, и обязательно—мальчик».

Дмитрий впервые видел такой расстроенной жену. Он целовал солёную щёку, прижимал её к себе.

— Что делать, что делать? Надо жить,—говорил он ей в ухо.

В тот вечер они пили чай с мёдом и тогда же решили летом съездить к старикам. Он уверен: им это будет приятно. Ещё Дмитрий объяснил, что «клюквенник»—он знает, потому как на Севере живёт,—это церковный вор. На это Аня сказала: — Пусть. Так ему и надо... Купи-ка пряжи,—сказала она.—Я свяжу что-нибудь.

— Прекрасная задумка.

— Свяжу-ка я твоему любимому папеньке... пуловер.

— Прекрасная задумка. Прекрасная. Болеет отец. Теперь ему внимание особенно дорого. Его радость гарантирую.

Они сидели на кухне. Муж и жена, чай пьют. Он откинулся на спинку стула, его рука на столе свободно лежит. Аня иногда встаёт, чтобы подать мужу, убрать. Хороший это был вечер. Памятный.

Летом и поехали навестить родителей. У отца походка изменилась. Старческой называется такая походка. Какой-то мнительный он. Говорит с Аней, а сам нет-нет да в глаза заглянет. Как ответ там ищет. Трудно сказать, что есть следствие, а что причина, и тем более—что есть предтеча всему, но только и Аня обременена чем-то. Стариков, как говорится, хлебом не корми, а только дай поговорить. А она свёкру носки вяжет или где-нибудь в уголке книжку читает. Дочь к ней жмётся. К своей тётке отказывается ходить:

— А что она... разговаривает?

Потом поехали гостить к Аниной маме. Окна её дома всё так же в землю смотрят, один в сторону отворачивается. Под ним на завалинке всё та же кошачья—состарившаяся, местами облезлая. Шея, с пучками редких на ней волос, просвечивает. Подслеповатыми глазами на Дмитрия посмотрела. Видимо, набегалась... Фактически и материнства-то не испытала—тёща аккуратно топила её котят в ведре. И она—её хозяйка—постарела, и её «горки» оказались круглыми. В один из вечеров Дмитрий испытал острое чувство жалости к старому человеку: тёща стояла у стола, держалась за него. Как земля у неё под ногами неспокойна. «Старость»,—подумал о Хамитянской зятё. Ему стало жалко её.

— Садитесь, мама,—впервые так назвал её.

Стул подвинул, за локоть поддержал.

Свою усадьбу «со всеми надворными постройками» старуха завещала Кате. Ходит к ней внучка аккуратно: принесёт из магазина продуктов, дров наносит, пол подотрёт. С бабушкой поговорит. Оля с мужем приходили знакомиться. А он и правда хороший: внимательно слушает, о чём ему говорят. Рядом—жена, но впечатление такое: чуть сбоку и за мужем она. Один раз Дмитрий видел: щёкой к его плечу прислонилась. В пелёнках у неё новая жизнь копошится. Своеком Оля называла Дмитрия.

На окраине села рабочий посёлок вырос, на деревню наступает. Уже недалеко сваябойка стучит. Деревянные дома вздрагивают. А среди них есть и хорошие постройки. Кирпичные, на хороших фундаментах. Содрогаются и кирпичные, и на каменных фундаментах. Сварка по ночам сверкает в тёмное небо. Явный прогресс. Анины подруги разъехались—за ещё большим прогрессом в город устремились. И Аня всё реже вяжет, всё больше с книжкой, в уголке. Иногда только посмотрит

вокруг себя грустно. Видимо, тоскует она по отчему дому, которого нет.

Так и годы прошли. Аня—дома, с дочерью. Дмитрий денежку зарабатывал, продукты носил. Дочери уже шестнадцать. Красивая Жанна. Одевается хорошо—возраст у неё такой: дублёнка, костюмчики к лицу. Через знакомых сапоги ей купили. Хорошие сапожки, тёплые. Не у многих в их классе такие. А в школе учителя о ней говорят: проблемная девочка. «Походка... какая-то угловатая»,—отметил отец, наблюдая дочь со стороны.

Как-то, проходя мимо её комнаты, Дмитрий случайно увидел её взгляд на себе. И вспомнил давний-давний день—голубое августовское небо в барашках, молодую Аню, дочь в коляске и их враждебность. Теперь из детской комнаты на него смотрел человек, имеющий программу на иной результат. Отцу показалось: даже цвет кожи лица был «не его». В минуту почувствовал это. И не знал, что сказать, а только ушёл на балкон. Прикурив от спички, дым вдыхал глубоко. Спиной к стене привалился, глаза закрыл. «Да,—тихо себе сказал.—Очень странный взгляд,—но хочется успокоить себя подростковым созреванием у дочери.—Физиология. Шестнадцать ей».

Сколько уже лет Сидоров—муж и отец—успокоиться не может. Причину хочет найти, как он это называет, отчуждения. К жене ищет подход; дочь подросла—и к ней пытается найти путь. Не может его понять старшеклассница: зачем отцу «все эти разговоры»? Про школу, какой у неё любимый предмет и кто преподаватель. Учится же, в школу ходит. Что это его «колышет»? Жанна уходила в свою комнату, в руку книжку брала—не подступится теперь отец с разговорами. Ему хочется верить, что конфликтом отцов и детей это называется.

На работе у него... не очень-то. Как война идёт: редко какой день ему не «разъясняют». Потом могут зарплату повысить, а премию за «несвоевременность» срезать наполовину. Через неделю, а то и назавтра похвалить. Премию выдать.

Тогда Дмитрий говорил жене:—Тебе, целевым назначением. Себе купи что-нибудь. Обувь у тебя—вон какая... А это тебе, Жанна,—и протягивал по заготовленной купюре.

Но ему казалось странным: не скоро расходовала эти деньги жена. Иногда совсем ничего не покупала—на продукты всё уходило. А на них расходовалось в семье много. На это сердился Сидоров:

—Готовь оленину с каким-нибудь гарниром...

С этим жена соглашалась, головой молча кивала. Ещё он о стоимости выбрасываемых ею продуктов говорил. И на это она кивала: надо, надо следить за тем, что хранится в холодильнике. А скорее—с занудой спорить не хотела. Вот и дожил он до дней,

когда Аня не крикнет: «Димушкин, завтракать»,—а, проходя мимо, скажет: «Завтракать».

В один из вечеров—спокойных, с крупными хлопьями снега и не по-северному тёплых—встретил Дмитрий маму Наташи. Грустно ему, воспоминания у него. Забыть не может, как говорила, ходила Наташа, как садилась в комнате на его диван. В каждом движении её—женственное.

Живёт она в большом городе, в большой поликлинике работает.

—Муж у неё,—мать помялась,—хороший муж. Живут дружно. Сын у них растёт, в седьмой класс перешёл,—ещё как думает, говорить ли.—В школьной спортивной олимпиаде участвовал... Читает. Пока всё хорошо. А как вы решили с Жанной?—спрашивает, а лицо—как сочувствие этим вопросом выражает.—Извини, в посёлке живём, многое знаем.

—Надо ещё школу ей закончить, а там видно будет. Может, и в строительный пойдёт.

Он хотел ещё о семейных традициях порассуждать, но заметил: Наташина мама посмотрела на него особенно. А потом и вовсе взгляд перевела на его обувь.

—Прощай, Дима. Прощай, дорогой ты мой,—и пальцем в перчатке по красивой эмблеме на его куртке провела. Уже шаг прочь сделала, но остановилась.—Ты извини меня, старуху, Дима. Извини. А как у тебя с Аней?—опять смотрит непросто.

«Это—женское,—думает Сидоров,—возраст у неё». Она же к нему ещё шаг делает...

Тихо снег садится. Тёплый вечер, снежинки крупные—элегия. У него сердце заныло от воспоминаний. Последнюю встречу с Наташей вспомнил: она молча собирает одежду, чтобы уйти... Теперь у неё сын, в седьмом классе он. Читает, в спортивной команде...

Зачем-то, не к месту, ещё вспомнил: они вдвоём с Наташей на моторной лодке. Широкая в том месте река—берег только просматривается. Ветер встречный. Рубашка её в клеточку парусинит. Брюки светлые. Правая рука на руле, а левой ему честь отдаёт. Дурачится. Смеётся, а на щёчках ямочки. Красивая она—Наташа. И август в тот год был тёплый, сухой. Последний день лета. Река огромная, и как же много на ней островов! На них—сосны, напоённые запахом хвои... Нет, это не элегия, это—тоска по ушедшему времени. Больших размеров бывает эта тоска.

Права оказалась несостоявшаяся тёща, права: нельзя быть таким, чтобы о беременности своей дочери—шестнадцати лет!—узнать на улице. У Жанны уже животик обнаружился, а он... а он с генподрядчиком графики согласовывает, свой коллектив монтажный озадачивает. Обязуется «монтировать с колёс»! Оказывается, и животик тоже готовится к монтажу, и тоже в положенный ему срок. «Всё-то хмурилась, вот

и результат, — говорил себе Сидоров, перемещаясь быстрым шагом в сторону своей трёхкомнатной, светлой и благоустроенной квартиры. — Что-то всё вам не так, исподлобья смотрите, бычитесь», — это уже в своей квартире заканчивает он монолог.

В тот вечер поужинать забыл Дмитрий Петрович, ночь прихватил: о своей трудной работе сказал, в адрес книжных следователей выразался. Бандитов, грудастых баб нехорошо упомянул. Дочку красавицей называл, объяснений требовал. Аня плакала, Жанна в подушку уткнулась — животик от папы прятала. А папа о том, что он «пашет», а дома?..

— Кто кормить будет тебя и твоего... — но сдержался, не сказал нехорошего слова.

Но всё равно, всё равно нехорошо говорил в тот день Сидоров. Как потом скажет Аня, слюной брызгал.

С того вечера Жанна стала избегать отца. Не хмурилась — этого теперь мало, это в прошлом, а и в комнату не войдёт, если там отец. С матерью говорит — как помирать собирается (сильно обидел отец). И Аня уже не говорит: «Ужинать», — а молча ставит на стол тарелку и уходит.

Скоро захотелось примирения Дмитрию Петровичу: дочь мамой станет. Себя, свои слова вспоминает: нехорошо говорил он. Можно было помягче сказать, а теперь... Его дочь ему... не то чтобы внука... подарит, но его же это будет кровь. Мириться надо! Да, видно, опоздал с этим. Аня уже говорила во дворе, что тяжёлый Сидоров человек, невоспитанный. А кое-кому (из соседей) — об отсутствии у мужа должного такта в общении с людьми. Подружкам объявила:

— Не любит он людей.

Во дворе останавливалась поговорить. Откуда и взялось... Как прорвало её. Но случались у неё и срывы. Как-то на «нет должного такта...» один мужчина, из строителей, тоже обнаружил свою невоспитанность. Да ещё задиристо так сказал (сморкаясь на снег):

— Побольше бы нам таких прорабов. И вообще таких людей.

Сразу видно строителя. Они же грубые.

Леной назвали внучку. Но не радовало деда сходство — Жанночка тоже была похожа на него. Нехорошее предчувствует Дмитрий Петрович, но вновь у него прибавилось надежды, что Аня дом полюбит. Девчонке свежий воздух нужен — влажную уборку станет бабушка делать. Вместе с дочерью. Вещи на свои места положат, телевизор отдохнёт. Хорошо бы на обед ему что-нибудь не из концентратов...

Стали к Жанне заходить молодые люди. Но уже постарше школьного возраста и развития выше — знают слова «авангард» и «тяжёлый рок». Не любил Дмитрий Петрович «мальчиков». «Это у меня тяжёлый рок, а у вас он с чего тяжёлый, если

в глазах мыслишка куцая? Физиология у вас: пожрать повкуснее, в туалет сходить. Какую-нибудь дурочку трахнуть... Кто-то один из них, кто-то один из них», — присматривался дед к «мальчикам». Сходство с внучкой искал.

У одного он увидел — тоненький проводочек из уха тянется. Взгляд отсутствующий. Как бы не в этом коридоре он теперь. «Больной, наверное. Кто-то же должен наблюдать за ним, — сочувствует Дмитрий Петрович. На этом хорошо бы ему и закончить мысль, но нет, он продолжает: — Трахаться пришёл, малахольный ты мой», — а сам принимает от мальчика пальто, на вешалке его устраивает.

Несносными иногда становятся мужики. Чем-нибудь, чем-нибудь да недовольны они. Вот и Сидоров опять нудит:

— Аня, иди работать. Иди. На одну зарплату нам тяжело. Пацанке фрукты нужны, — как убеждает её. На халат посмотрит: — Всё поизносилось.

Жена молчит, как человек, который знает больше.

— Это у нас никто не бывает, — гнёт своё муж. — А если кто зайдёт? Ты же ещё молодая женщина, а такая... такая безразличная, — он сел на стул, локти на стол, а ладонями голову сжимает. — Давай в доме будем всё налаживать, — говорит примирительно, смотрит с надеждой. Можно сказать, душу выворачивает перед женой. — Это наш с тобою дом. Дочь у нас, внучка, — он очень искренен.

Через два месяца, замордованная разговорами об обрямавшемся халате, витаминах и домостроительстве, Аня пошла работать. Возвращалась вечером усталая, как не медицинской сестрой она в медпункте, а уголь долбит в забое. До разговоров ей? Отвечала на вопросы, но односложно. Готовила себе что побыстрее, иногда ужинала тем, что осталось от Жанны. Отдыхала час-другой, телевизор с часок посмотрит, книжечку полистает. Так и шли её дни. Безрадостные, надо признать, дни.

В воскресенье Аня ездила к подружкам. Отдушиной она эту поездку называла. Кстати! Та женщина, что имела контакт с существом, пропахшим дымом, мальчика родила. Узнав об этом, рассказывала Аня, муж остался на северных островах. — Полярных медведей там много, деньги зарабатывает большие, а на содержание своих детей гроши высылает, — не нравятся Ане мужчины, что дурно содержат детей и внуков.

Жизнь Сидорова выгодно отличается от той, которую имеет человек на островах. Тепло ему, полярный медведь в квартире не замечен. Макароны, каши ему варят, на десерт фруктово-ягодный кисель имеет. Бруснику в сахаре кушает. На прошлой неделе штаны купил. Казалось бы, грех жаловаться. А он успокоиться не может, с разных сторон заходит: пытается внедрить в своей семье прогрессивный метод разделения труда. Свежесть идеи в том, что они с Аней работают, на жизнь

зарабатывают, а дочь готовит завтраки и ужины. Основные продукты закупает он, Аня еженедельно делает большую уборку, а дочь поддерживает в доме порядок.

— Так во всех семьях, — говорит спокойно, а думает другое: «Между собою разговаривают». — Деньги я все отдаю, а, вернувшись с работы, картошку чищу. Стираю по воскресеньям. Не могу я пойти на работу в грязной рубашке. Не могу. Да ещё — при галстукке. Жанна!

— Ну что — Жанна?! — смотрит дочь сердито, Лену энергично на руках качает.

Но всё же удалось на этот раз переломить ситуацию отцу: случилось разделение. Стала варить дочь щи из консервной банки, гречку, макароны (в подсоленной воде). На это отец деликатно намекнул на оленину, тушенную с овощами.

— Вареники с творогом у нас часто делала мать. Блины отец любил, — сказал, но не посмотрел на дочь.

И правильно сделал: ребёнок же у неё маленький. До приготовления ли деликатесов ей, стирки отцовских рубах? Только начнёт стирать, а Ленка как чувствует — реветь начинает. И потом, Жанна — молодая, ей и почитать хочется, подружка есть у неё. Молодой человек к ней захаживает. Правду сказать, в возрасте уже молодой человек.

Как-то вернулся Дмитрий Петрович совсем не в духе. Видно, в тот день ему на работе начальство хорошо «разяснило», а он, под впечатлением, вспылит. Стал выкрикивать:

— Я вас содержу, не дам больше ни копейки. Сам готовлю, стираю; постельное бельё — как у того «сириусянина на топчане», — и напоследок: — А ты, ты неспособна к воспитанию детей! — на Аню пальцем показал.

В тот день и случилось разделение. Настоящее.

Спит теперь Дмитрий Петрович в другой комнате, на диване, купленном им в тот день, когда он Аню из роддома привёз. Радостное тогда у Ани было лицо: конец страданий и новая жизнь впереди. Теперь вот и у него новая жизнь. «Странные па вытанцовывает со мною судьба», — рассматривал он постаревший диван.

Нехорошее чувство стало у него появляться, что испытал давно: чужие ему жена и дочь. Как во враждебном лагере они. Если не наоборот — он уже среди них.

Не прошли бесследно его ночные размышления. Потянуло его на анализ, чтобы, обобщив материал, почувствовать свои координаты. Была в этом ещё некая потребность умилиться своим падением, потому как к старости дело. Стал перебирать в памяти знакомые семьи... Не напрашивался, но не откажется «пойти в народ», если пригласят.

Года четыре было внучке, шёл Дмитрий Петрович с работы с мастером соседнего участка.

Злоупотреблял мастер — знали, но не об этом теперь. Случайно шли вместе, да не случайно Сидоров не отказался зайти к нему. Как бы чай он согласился попробовать. Особенной заварки чай. А фактически имел он интерес познакомиться с дочерью мастера — она училась вместе с Жанной, а теперь года два как работает, учится заочно.

Зашли. В коридоре обувь на полке. Стены — как к ним не прикасались, отмечает гость. Дочь мастера вышла в коридор.

— Как учёба? — спрашивает Дмитрий Петрович. — Стараемся, — улыбается, обувь домашнюю подает.

— Что в школе? — отец. — Тетради раздали?

На этот вопрос сын (пацанёнок лет двенадцати) ответил конкретно: раздали, по сочинению ему — тройка. О чём-то мать спросила, чулки у неё не морщият.

Хотел Сидоров увидеть что-нибудь из их негатива — ради правды и уточнения своих координат, но не успел. Уже и глазами по комнате повёл, а девушка в это время стала тихо пересказывать матери какой-то сон. Она теперь его вспоминала. Не прислушивался гость, о чём сон, а только услышал, что у неё должно быть всё хорошо. Мог утверждать Сидоров: при этих словах она смутилась. Специалист по монтажу оборудования, сложного порой, готов был крикнуть: он понимает, о чём говорят!

«Пьёт мастер», — с этим негативом и вышел. Не радуясь, сожалея.

В другой семье — зашёл справиться о здоровье рабочего — заговорили о выращивании картофеля. Очень скороспелого (сорок дней), неприхотливого. На их широте успеваеt вырасти, но надо иметь плёнку для прогрева земли. Дочь у рабочего, года на два старше Жанны, разведена. (Очень хотелось узнать Дмитрию Петровичу: почему? Не посмел.) Она принесла какой-то журнал и стала там показывать отцу таблицу. На телевизоре у них ваза с корявыми ветками лиственницы. Не было у меня подобного, думает Сидоров, не обсуждали журнал.

«Ну хорошо, — обобщает Дмитрий Петрович в ночи на продавленном, расхлябанном, местами засаленном диване, — при постороннем мужчине девушки ведут себя лучше. Но когда ко мне кто-то приходил (были случаи), что говорили домашние? Аня здоровалась, но чтобы сразу уйти в комнату. Чай, если попрошу, заварит, сахар на стол поставит. Дочь... дочь только прислушается: не к ней ли кто? И потом, что будет, если я предложу выращивать под плёнкой картофель?» Скажем так: были у Дмитрия Петровича и отрицательные примеры. Негативы, как он говорил. Парень-наркоман из соседнего подъезда; старушка, сданная в дом престарелых сыном (называла его чужим именем, себя в зеркале не узнавала). Были примеры, но другое помнилось ему.

Его—исследователя вопроса—можно сказать, «добил» один рабочий-бетонщик. Шли на автобус вместе. Этот парень и рассказывает:

— Летом, два месяца, был на востоке, у моря... У меня там дядька по матери живёт. Хорошо там... Если погода позволяла, весь день были на берегу. Обед с собой брали. Какая там красивая галька: зелёная, красная, белая, чёрная! В прожилках, крапинках... Прибой шумит, чайки...

Вот и всё, весь недлинный рассказ. Дошли до останков. Сидоров расстроен, сутулится, глаза в землю.

Сошёл с автобуса, идти домой не хочет. Спиною о столб фонарный оперся, стал взглядом женщину провожать. «Дома разговаривает. С родными-близкими переписывается. Папу помнит»,—язвит поизносившийся на северной стройке человек. (Шестидесятая широта—это что-нибудь...)

Казалось, на этом и точку мог бы поставить: прав он, прав. Может, и прав, да не совсем. Оказалось, не всё просто с его женой—урождённой Хамитянской. Скоро после разговора с молодым бетонщиком решил он маленько поэкспериментировать. Свои обобщения на прочность испытать.

Подобрал он вечерок подходящий, условия создал. Аня что-то спросила, он что-то ответил. О её здоровье заговорил. (А вид у жены... неважный у неё вид. Мешки под глазами, ночами покашливает.) — О здоровье нам надо подумать,—говорит.— На лыжах не ходим, в лесу сто лет не были.

Стал говорить об участке земли, что дают у них в постройке для тех, кто желает попробовать себя в огородничестве.

— Это сразу за Падью,—начинает он.— Место хорошее, недалеко. Многие берут. Картошку какую-то нашли, что вырасти у нас успевают. Говорят, землю надо вскапывать по осени, а весной хорошо укрывать плёнкой. А безопаснее всего,—смотрит ей в глаза,—петрушку и чеснок выращивать. У нас есть один, так он по этой части дока, всё знает. Третий год у него там земля.

Говорит Дмитрий Петрович, наблюдает. Наблюдает и обнаруживает, что Аня, его постаревшая Аня, становится красивой. Пусть—грустной, но и красивой. Иначе не скажешь. Она спрашивает, и от этого всё менее себя красивым чувствует муж. Ошибся он. Аня любит землю. Правильнее сказать, тоскует по ней.

— Ань, а почему ты дома, там, где жила мать, ничего не садила? Огород пустовал. Не весь, но много. — Ты знаешь, Димушкин,—она молчит, рука её на столе спокойна,—ты вот иногда читаешь толстые книги, тогда скажи мне: почему меня тянет к земле? Сад люблю.

— А мать?

— Что мать? Не хотела огородом заниматься, как по конторам стала работать. Сердилась, если что я садила по-своему. Ты знаешь... в молодые годы

часто, а теперь уже и не помню когда, видела я один сон. По крайней мере, похожие сны. Как вернулась я откуда-то и работаю в саду. Запущен он, травой сорной зарос.

Лицо у жены в минуту постарело. В доме их тихо, спокойно. Дочь, внучка спят. Муж и жена—в годах уже—кофе пьют, говорят тихо. Фонарь на дворе не скрипит, тени от ветвей тополя лежат спокойно. Давно уже такого не было.

— Ты знаешь, как хозяин у сада есть, а я в работницах у него. Знаю, строгий он, но и награда за прилежание,—она помялась, подыскивая слово,—большая. Люблю его даже за то, что он строгий,—тихо говорит жена.—Просыпаюсь и... тоска у меня по тому саду. Что пишут в твоих книгах, как сон расшифровывается?—глаз на него прищурила, рука на столе лежит спокойно.—Говорят, вещи бывают.

Дмитрий ложечку тихонько двигает. Любил он так делать, иногда и не замечал за собою этого. — Тепло было в саду, солнца много,—вспоминает Аня. Другой она человек в эту минуту.—А в огороде, в теперешнем огороде, работать не буду...

К этому времени назрела необходимость экономической перестройки в обществе. Всё заметнее прихрамывая, развитой социализм энергично имитировал движение. Под вскрикивание об общечеловеческих ценностях в страну тихо въехал заплombированный вагон. В стране объявилась группа монетаристов. Всё более насыщая себя высокообразованными людьми, группа стала лечить шоком народишко наш, обленившийся вконец.

До посёлка гидростроителей добрались «терапевты»—на отдых отправляют, кому время пришло. Скоро Дмитрия Петровича пригласило руководство: беседовали, приятности говорили. Предлагали отдых заслуженный. Через месяц под аплодисменты ему вручили толстенький конверт. Много денег в конверте, но мало можно купить на них, если—пару лёгкой обуви... Умилился, уже и готов прослезиться начинающий пенсионер от пожеланий, рукопожатий и похлопываний, да нет-нет и подумает: «Чем жить будем? Аня мало получает, и те задерживают. Дочь не работает. Место ждёт—не Дунька толстопятая. Ей надо хорошее место,—язвит старый, возвращаясь домой с пакетом.—Противные журналы свои читает. И Ленка растёт такая же: что ни спроси, один ответ: «Нормально». И быстрее в сторону, чтоб дед ещё не заговорил. Какое «нормально», если в доме доброго слова никто не говорит? Это что за напасть такая?»—и в этот торжественный для него вечер он неспокоен. Виновного ищет, на слове «напасть» ударение делает.

Во внучке стал узнавать Аню. Не особенно и удивился, что после восьмого класса Лена объявила, что хватит ей сидеть на чьей-то шее.

— Девочка уже большенькая, — говорит, поглаживая ладонями бёдра.

И что она решила попробовать себя на материке. Она, наконец, желает иметь место под солнцем. Образование получить, но заочно. Так многие теперь поступают. Её мама на это молчит, смотрит, если не сказать — присматривается, как бы узнаёт кого-то из родственников. Только дня через два сказала, нахмурившись:

— Пусть едет. Не одна, с подругой. Тётка у неё в общезжитии работает.

Подругу эту Сидоров наблюдал: умела она отставить ногу, уверенная, что за такую-то ножку, да в большом городе, много ей будет привилегий. Ещё дня через два бабушка Аня сказала:

— Как хочет. Вон какая корова.

— Там врачи-логопеды. Настоящие, — ещё объясняла деду свой отъезд девушка.

Она плохо говорила букву «л», шепелявила. Говорила: «Ябчко ма...инькое, зеё...енькое». А в остальном — развития она нормального, гладенькой выросла девушка.

— Буду помогать, — заявил дед, — работать пойду. Дежурным, на вахте. Как не помочь? Хорошо помогать тому, у кого спина мокрая.

Не к месту говорит. Ведь знает: этим он озлобляет своих домашних. Они много слышаны о «спине, которая должна быть мокрой».

— Дедусик, — прислоняется к нему Лена, — учиться пойду. Лечиться буду. Места под солнцем добиваться надо.

— Леночка! Твёрдо! Обещаю... Ты только пиши, — а сам плечо гладит у внученьки. Стоит прямо.

— Пиши, пиши, — говорит Жанна, смотрит пристально — как узнала в ней кого.

Не верит она в слово «дедусик». Ну не верит, и всё. Не может такого быть.

Ещё с месяц пожила Лена дома — дело одно у неё было, в больнице.

— Не забывай нас, — сказала Аня внучке, щекой коснулась.

Потом стала пальцами шею пальпировать. Что-то нехорошо там у неё.

— Прощай, Лена. Веди себя хорошо, — напутствует мама.

В живот легонько пальцем ткнула.

— Леночка, как обещал... Только учись, — просит дед.

Голову её к себе клонит, поцеловать ему свою внучку хочется. Ещё немного — и прослезится старый.

Лена подняла чемодан и легко взмахнула ручкой. Маникюр у неё на пальчиках в крапинку: на тёмном фоне золотые точки. С этим и вышла. К окну подошёл Дмитрий Петрович: какой-то мужчина усаживал его Лену в машину. Вот, собственно, и всё. Улетела внучка. Совсем.

С полгода ждал «дедусик» письма о поступлении внучки в техникум. Скорее, в торговый. Деньги, как обещал, дважды высылал. Весточки ждал, на дороговизну книжек-учебников сетовал. Ждал, вспоминал, пока однажды Аня, став к нему поближе, не сказала:

— Ты куда это деньги-то фуришь? Она же больше тебя имеет, заплотный. Вместе с твоей пенсией!

На это только и мог он ответить:

— Ты, ты...

Всего несколько слов, и опять он на земле, в своей комнате, на продавленном диване. И там её голос слышен:

— Ленка за месяц может иметь столько, сколько ты за год, когда таскал по стройке какие-то там железячки хреновые... Ну придурок, ну и придурок, — как прорвало.

В принципе, её понять можно: в доме — нехватки. Мясa забыли вкус, рыбку красную кушали — пожалуй, с год прошло. А из соседнего дома мужик, вроде ничем не примечательный, особняк построил, яхта прогулочная у него...

Интереса не стало работать; сослался Дмитрий Петрович на нездоровье, уволился. И правильно: зачем держать старика, если его как-то видели под строительным краном? Что он забыл? Как оказался там? Вокруг него «майна-вира», а он в задумчивости что-то высматривает за горизонтом.

Много теперь времени у пенсионера: газетой на диване пошелестит, про перестройку читает. Теперь она шагает по стране семимильными шагами. Прислушается во дворе, о чём говорят старики. Ему на скамейке место, кто помоложе, уступит. С некоторыми работала вместе. Всякое было... Ответит, если кто спросит. Заспешит уйти, если о чьих-то дочерях-внуках речь пойдёт.

С Жанной ему всегда было трудно. А теперь и вовсе: на любой вопрос ответ получает, в котором и ответа нет. Чаще стала вопросом отвечать. Коридор ей становится узким, если по нему отец перемещается. И её понять надо: не может она работу подобрать. Но живут же другие... Ей-то обидно. Вон её подруга — и у неё ребёнок (почти уверена от кого) — тоже не работает. Но, между прочим, и в ус не дует. <...>

В один из вечеров к нему в комнату пришли жена с дочерью. Они сели по обе стороны и, переглянувшись, предложили ему поработать ещё. Они знают: его звали дежурить на насосную станцию второго подъёма. Они узнавали — платят там аккуратно. Это так было бы кстати теперь. Но он может и на своё усмотрение что-нибудь подобрать, только чтоб платили нормально, как другим. Привели примеры: люди его возраста, а дома не сидят. Или вот, например... и так далее. Смотрят на него прямо.

— Понимаешь ли ты ответственность перед семьёй, папа?! — это уже в конце, как аккорд, сделала Аня.

Ещё напомнила о дочери, которая у них есть. Внучку упомянула. От этих слов Жанна собрала губы в гузку, смотреть стала в пол. Платочек в руке теребит. Мама её чуть покачивается в стороны, взгляд усталый, веки тяжёлые. Нет, это не игра... Дмитрий Петрович вспомнил старые сапоги Жанны. Очень старые. Шапочка у неё вязаная — «ленинградка» называется. Холодная для Севера. Жалко ему Жанну. Дочь она ему. Вот подойди она сейчас к нему, обними, скажи просто: «Помоги, отец. Ошиблась...» Нет, не подошла, не сказала...

— А зачем? Кого я ещё должен кормить? — вопросом задиристо ответил Сидоров, глаз при этом щурил. — Питаюсь концентратами. Мне хватает. И вам кое-что перепадает.

Перечислять начал: оплату квартиры, коммунальных услуг (телефон не забыл упомянуть). Наконец, стоимость лекарств для семьи — он платит! И так далее, и тому подобное: как это бывает у людей, не понимающих ответственности перед семьёй.

На это Аня ему заметила, что он прожил жизнь пеньком, если к старости денег не скопил:

— Толку из того, что всю жизнь «пахал»? Кому нужна теперь твоя «пашня»? Вон люди — имеют всё.

Жанна на него смотрит, не одобряет она поведение отца. Неудачный ей попался отец.

Скоро Аня сказала:

— Козёл ты, козёл.

Это через недельку после их беседы. Нехорошо сказала, но фактически он сам виноват — плитку залил щами. Кусочки от них — неаккуратного вида — оставил после себя.

— Ты же дура. Слабоумная! — крикнул старик.

— Поговори, поговори у нас... Мы тебя сдадим куда следует, — спокойно ответила Аня, поворачивая голову в сторону комнаты дочери.

Жанна вышла, руки на груди скрестила, опять у неё осуждающий взгляд: ни черта работать отец не хочет! Жрёт свои консервы да в туалет ходит. Зайти туда после него невозможно.

Жаловалась она как-то матери:

— Монету римскую продавать не желает. Четвёртый век, цезарь какой-то. Всё у него перерыла — нигде нет! Ну и что — память об отце-матери?! Какая память, если померли? Так теперь нужны деньги, а он? Во наглый...

А ведь когда-то как он суетился, если бодела... Она-то это помнит! Помнит, как яблочком, апельсинкой кормил с рук. И вот теперь она сапог настоящих не имеет. Пальто третий сезон таскает. Перед людьми стыдно. У всех отцы как отцы, а этот... Пахнуть стало от него нехорошо.

Такой был взгляд у Жанны, на груди руки скрестившей.

«Ну дела, — говорил себе в ночи Сидоров. — Вот такие мои дела, — шевелил губами, осматриваясь

в сумерках комнаты. — Продай им монету (император Константин, бронза), потому как им вкусенького хочется. Мяса, рыбки. Какая память? Тогда же работать надо. Каждый день. От и до!»

Не выдержал однажды заслуженный монтажник и победитель соцсоревнований (грамоты у него, в отдельной папочке они), замахнулся, а потом и толкнул жену. Она дочь позвала. Жанна поступку отца дала развёрнутое определение: — Ты что, совсем обнаглел? — и далее о другом, о другом, но наболело-то как. — Труссы свои дражные сушишь в комнате, пройти невозможно. Есть противно, приличного человека в дом нельзя пригласить.

Ещё немного — и может выразиться. Осерчала. — Маразматик! — взвизгнула Аня. — Это до каких пор он будет издеваться над нами, Жанночка? — губы у неё трясутся.

Выход они с дочкой ищут и не находят его.

Не заругался на это Сидоров, стерпел. Понимает: до рукоприкладства один шаг остался.

«Нехорошо всё это... — думает он длинными ночами, укутывая сухое тело старым ватным одеялом. — Не хватало — милицию вызовут, — беспокоится на продавленном диване с серым пятном на спинке — в том месте, где держится, вставая. — Человек я старый, износившийся... Узкими коридоры стали, проходу мешаю, — синтезирует он события последних дней. — Могут и „бытовуху“ устроить. Ума для этого не надо», — и прислушивается к тяжёлому дыханию телевизора в соседней комнате.

С месяц назад, проходя мимо открытой двери, он случайно увидел на экране телевизора совкупление (обыкновенное). Было такое ему неожиданно, не мог он понять... К экрану присматривается, поверить своим глазам не может. «Ну что, папусик, интересно?» — Жанна смотрит на него весёлыми глазками. Расстроили его весёлые глазки порядочно, но не стал ничего объяснять Дмитрий Петрович, а только вышел на свежий воздух погулять. В тот вечер был лёгкий морозец, хорошо вызвездило. Славной оказалась прогулка, есть что вспомнить.

И вот опять это дыхание... «Может, кто бежит?» — надеется отец. Не хочет совсем терять дочь. Ему как-то захотелось, чтоб Жанне стало плохо. Очень плохо. Может, от этого — посмотрит вокруг, опомнится. И этого он боялся — не выдержит его дочь. Слабая она.

Стал замечать Сидоров: походки у его женщин изменились. Виляют при ходьбе, как бы освободились они от условностей. «Вышла наружу оскорблённая, много претерпевшая бездарность, — даёт он оценку явлению. — Победившая бездарность, — уточняет. — Мстительная, изошрённая», — обнаружила тяга к высокому «штилю» у него. А сам сидит, ссутулившись, руки между колен. «М-да», — иногда скажет, осматриваясь;

безымянным пальцем левой руки переносицу погладит (от отца у него этот жест).

И вне дома судьба не оставляет его в покое. Нет-нет да напомним о его нынешних координатах. Посмеётся над прошлым его: как курил красивые сигареты, поигрывал блестящей зажигалкой. И ходил по стройплощадке в каске набочок, а на ней — красивая эмблема со словом сухим, как выстрел: «Строй».

Где он теперь, если на остановке, в ожидании автобуса, слышит:

— Слушай, а где Ябонька? Малолеток? — спрашивает мужчина за тридцать. — Давненько не видно на игрищах наших, забавах...

— Уехала, — отвечает другой.

Лицо у него бледное, дублёнка добротная — из конторских, видно. Сидоров ухо, как локатор, настраивает, подозревая в Ябоньке внучку, успевшую перед отъездом абортироваться.

— ...пальцем упрётся в грудь и: «Я девочка ещё ма...инькая», — это первый, тоже из «конторских музыкантов». Их Дмитрий Петрович спиной чувствовал. — Любила она подарочки... — ещё успел сказать первый, потому что дальше произошло странное.

Сидоров решительно шагнул к нему и хорошо взял его за ворот красивой дублёнки. Глаза у него были... глаза отчаявшегося человека: ему терять нечего. От этого и в руке некоторая сила появилась. Он стал дёргать на себя конторского, вскрикивая: — Мясо, да? Мясо, да? — при полном молчании «музыкантов» и трудящихся на остановке.

Некоторые из них стали присматриваться, разговоры между собою прекратили.

— Мясо, да? Мясо, да? — продолжал монолог Дмитрий Петрович.

Его взгляд твёрд — ему нечего терять.

— Ты! Ты что? — отрывал руку от себя гладенький конторский.

Дублёночка на нём с отворотами. Шалевый воротник называется. Его-то и дёргал Сидоров. — Ах ты, козёл старый, — это другой стал приходить в себя, старика отталкивать.

А когда удалось оторвать «возникшего неизвестно откуда и почему», то его хорошо толкнули. Сухое тело стукнуло о металл остановки, но устояло. Тут и автобус подошёл, граждане подниматься начали в салон, рассаживаться. Тихо, чтоб не трянуло пассажиров, автобус отошёл. Старый же человек стоял, потирая ушибленную ногу. Кажется, и с рукой было у него не всё в порядке. Слушалась плохо. А так всё обошлось. Главное, кости целые.

Объясним, почему старичок вскрикивал: «Мясо, мясо».

Перед отъездом Лена рассказывала своей подруге про аборт так: «Поскребли, кусок мяса вынули. Красное такое, я видела. Мясо и мясо... Только шибко больно». Вот и всё, что однажды услышал

через дверь Сидоров. Фактически пустяк, а он... расстроился. В такой вот форме и вылил обиду. В общественном месте, на остановке автобуса «Индустриальная». Лампа там не менее четверти киловатта, светло, трудящиеся беседуют, а он со своими проблемами. На кого ему обижаться? Кто виноват? Инженеры? Тогда винить, скорее, надо других инженеров — инженеров человеческих душ. Впрочем, к этому времени они все куда-то подевались.

Расстроенный — колено болит, рука слушается плохо — прихрамал Сидоров домой, стал делать круги по комнате. Машинально воды налил в кастрюлю, макароны в холодную воду бросил, плиту включил. По комнате ходит, предметы разные берёт. Не везёт ему в этот день: ходил кругами, предметы брал, рассматривал их, пока не почувствовал запах дыма — задымили его макароны. Хорошим дымком потянуло, за что ещё «козла старого» получил. Аня окно открыла, входную дверь. Соседу, спускающемуся с этажа, объяснила, как тяжело с Дмитрием Петровичем:

— Не дай Бог никому такую старость, не дай Бог... Злой, обижает нас с Жанной. В больницу бы его, подлечить маленько.

При этом, не исключено, головой качает.

— Того и гляди, пожара наделает. Мало никому не покажется, — это уже дочь Дмитрия Петровича, она из коридора голос подала.

Дверь была открытой, Аня проветривала квартиру хорошо, чтобы и по углам не осталось дымка. — Буянит старый, буянит... Что тут было, — это она уже соседке, этажом ниже. Туда пришлось спуститься. — Думали ли мы с дочей, что доживём до такого?

При этих словах обычно старушка опускала глаза. Это уже видел Сидоров. Кому-то сказала: — До каких пор это будет продолжаться? Мы же тоже — люди.

Её теперь легко представить непричёсанной — она ищет выход, ей надо быстрее найти его. Хотя бы отомстить за то, что его нет.

— Ну ты и пенёк... Ой, пенёк. Ты зачем взял маленькую кастрюлю?

Аня вернулась, аккуратно прикрыв дверь. Стоит — как это принято в подобных случаях: ноги на ширине плеч, кисти рук на бёдрах.

— Вот же большая, большая! В ней не подгорит, — а сама почти тычет посудиною в лицо бывшего строителя-монтажника.

Не сказать, что знатного, но на стройке его помнят, приглашают на встречи: он один из первых с колёс вёл монтаж! Рабочие у него зарабатывали... Да он...

— На тебе, дура, на! — с криком — да кулаком в её бесстыжие глаза, кулаком.

А это и есть то самое, чего боялся, — хулиганство на бытовом уровне.

— Хамитянская! — взвизгнул напоследок Сидоров.

Это слово и оказалось последним к жене. Голова — со включенными остатками волос — вперёд. Кадык хорошо виден — прыгает. Руки впереди, пальцы растопырены. Опомнился старик, да поздно опомнился...

Аня плачет, Жанна её успокаивает. Полотенце мочит, ко лбу мамы прикладывает. Другое себе на лоб вяжет. А как у подъезда запиликала милицейская машина, и Жанна слегла. Всхлипывает, только один глаз из-под полотенца смотрит. Зоркий такой глаз. Милиционеры вошли роста крупного, официальные, при исполнении они, в форме сотрудников отдела внутренних дел. Один стал вопросы по существу дела задавать, другой протокол по полной форме составляет. Лицо у него не злое, а устал человек — повидал в жизни всякого. Но всё обошлось — не звери же, люди. Аня забрала своё заявление в обмен на твёрдое обещание распоясавшегося молодчика выписаться из квартиры. Навсегда, чтоб и духа его не осталось.

Походил Дмитрий Петрович по посёлку, прошлое повспоминал. Постоял на берегу большой реки, в которую «нельзя войти дважды». Понаблюдал с высокого берега жизнь на стройке. Вспоминал, как поднимали оборудование, на «пене» тащили. «Майна», — кричал он звонко, что и на другом берегу было слышно... А теперь вот куда-то девать себя надо, сколько ни сутулься на диване, не наблюдай с высокого берега. «Съезжать надо, а некуда. Сестра одна осталась у меня. Старая, больная теперь... Ей ещё когда было видно, — теперь он это понимает совершенно, — если писала: будет трудно, одиноко — приезжай. Она всё поняла, потому и подчеркнула слово „одиноко“».

Походит старик по комнате, своё любимое «м-да...» скажет, во двор выйдет, пройдёт по улице — и там себе места не находит. Где-нибудь у памятного места в посёлке постоит и — на диван, у которого спинка засалена в том месте, где рукой держится. Старый диван, продавленный уже хорошо, подлокотники у него качаются. «Нет, не поеду к сестре, — решает он окончательно, сидя на диване с почти упавшим подлокотником. — Не до меня ей, старой, большой».

Надумал зайти к одному человеку — дружили когда-то, ещё до Ани. Встречались и потом, но дружбы уже не было. Не рассказывал, а скорее жаловался Дмитрий Петрович на своё одиночество. Давнишний товарищ ему сочувствовал. Да он и раньше знал об этом. А сам голову клонит. Шея у него худая, хорошо под кожей видны шейные позвонки, особенно с третьего. Четвёртый вообще из-под кожи выпирает. На ней растут длинные волоски. Уши подзаросли. Сын у него, с ним и живёт пока. А там... чему быть, того не миновать. Вот такая теперь философия у его бывшего друга, с которым, как говорится, вместе по...

«молодым специалистам» ходили. Были они в то время смешливые, анекдоты любили рассказывать. А теперь — «чему быть, того не миновать».

Тягостное впечатление у него от встречи: «Испить надо чашу до конца, — прорывается у Сидорова «штиль». — Торопиться мне надо, „она“ может ещё что-нибудь устроить, — но поправляется: — „Они“. Только бы не парализовало меня, не залежаться перед смертью. Выгребать из-под меня некому».

Походит по комнате (по улице, во дворе) и: «Не уйдёт от меня дом инвалидов. На улице не оставят. Пока силы есть, надо в деревне пожить. В деревне. Сколько там стариков доживает, — взбадривает он себя. — На юг Сибири поеду, подберу маленькую деревеньку на жительство. Зимы там короткие, лето длинное, земля чёрная — картофель буду сажать, овощи разные, — и этим бодрит себя, от тоски себя хочет куда-то деть. — Дома в деревне дешёвые. От римской монеты деньги должны остаться».

Нельзя не упомянуть о Наташе, о которой когда-то «сильно-пресильно скучал» молодой Сидоров. Привалившись к прогретому солнцем камню. И не только — к камню. Нельзя не упомянуть, потому что Дмитрий Петрович был проездом в большом городе, где в большой больнице работала Наталья Алексеевна. Он же продавал в городе большом монетку римскую, подыскивая на жительство деревеньку маленькую.

Вот монету продал, дом сторговал, поборолся с желанием увидеть Наташу. И сдался: «Посмотрю только. Издалека».

Нашёл больницу, расписание посмотрел. Поволновался, рассматривая на двери кабинета табличку, — фамилия на ней могла быть другой. Руки от этого стали беспокойны.

А Наталья Алексеевна, смотря в зеркало, сказала в это утро:

— Жаль, что годы... до такой степени.

Сказала, а на улице стояли тёплые осенние дни, и был в своей комнате муж. Теперь имеющий статус отца двух детей и деда пяти внуков. Сон он имел глубокий, дыхание ровное, потому что уверен: получится четыре, если два умножить на два.

Но сентиментальной была его жена, сентиментальной: тарелки, ножи-вилки на скатерти стола располагала, чтоб они «говорили между собою». Её кот Цезарь, присутствовавший при этом, конечно же, не говорил, но была уверена его хозяйка: понимал он более, нежели думают о нём некоторые.

В половине восьмого в их коридоре замок щёлкнул. Сын приехал. Это чтоб «бабушку до работы подбросить». Попутно, конечно. Но всё равно, всё равно — приятно.

— Тапочки твои на месте, — громче, чем надо бы, говорит ему мать. — Салат у нас сегодня. Осенний... Тебе немного кладу.

Приятно ей, пусть и — попутно.

...Сын остановил машину, доброго дня пожелал, замком дверцы щёлкнул. И в это время Наталья Алексеевна почувствовала себя как одетой не по сезону. Стала она смотреть, если не сказать — осматриваться. Но всё как всегда, обычное утро: на скамейке больные из района приёма ждут. Молодые и старые. Среди них — мужчина в белой рубашке, при галстук. Брюки у него отутюжены до острых стрелок. Переносицу гладит пальцем.

Обычный рабочий день у врача (какой-то там категории), но в этот день ей почему-то вспомнил-ся другой. Очень давний.

Они с Димой — молодым и сильным (а в груди у него сердце, и она знает об этом) — причаливают к маленькому острову. Это далеко, это последний остров их лета. Островок маленький, сосны высокие. Тихо в маленькой бухте, укрытой скалой. Помнит, красивая у них была палатка. На ней эмблема: на быстрой реке байдарка, а в ней двое. Тёмно-фиолетового цвета палатка внизу, а крыша — ярко-жёлтая.

Теперь у неё двое взрослых детей... нормальных, в общем, детей. Внуки. Муж... сколько лет вместе, а она в этот день нет-нет да вспомнит эту палатку. Её хорошо было видно с реки. Если плыть мимо острова, то она только мигнёт между высоких сосен и скроется за скалой. Как маячок: мигнёт ярко и исчезнет. Тёмно-фиолетовым цветом — спокойным, говорят некоторые. И жёлтой, ярко-жёлтой крышей — цвета зрелой спокойной осени.

Вечером, в своей постели, немолодая женщина вспомнила о «мигающем огоньке». Не удержалась, достала свой альбом со старыми фотографиями. Нашла бухточку песчаную. Она хорошо укрыта скалой от быстрого течения реки и ветра. Костёр дымит прямо. Вот она, Наташа, картошку чистит. Молодая. Не бабушка пяти внуков.

Ещё фотография: Дима у того костра, на песке полулежит, на локоть опёрся. Он что-то говорит, переносицу безмянным пальцем гладит...

Наталье Алексеевне становится нехорошо. «Так вот почему мне вспоминался тот день, палатка, — она встаёт и ходит по комнате в поисках места, где бы ей сесть. — Нет, не подошёл, не сказал... А о чём он теперь скажет? О том, что в тот день костёр дымил прямо, хорошую погоду им обещал?... Да ветер совсем с другой стороны пришёл? Господи, Господи...» — шепчет женщина. Таблетку начинает искать. Они, медики, люди мнительные: чуть сердце кольнёт, сразу и за таблетку хватаются.

Некоторое время, подходя к большой больнице, Наталья Алексеевна смотрела вокруг и на «ту скамейку». Однажды остановилась, рассматривая её. Ещё вспоминала: как маячок, палатка вспыхивала.

Первые годы Дмитрий Петрович в огороде работал, грибы собирал — в радость себе собирал.

Папоротник научился заготавливать. Хворост рубил топором под резкий выдох: «Ху!» Спротивлялся нарастающей усталости: работал в огороде, пилил, звонко выкрикивал: «Ху!» Заставлял себя в доме прибраться. Год на пятый-шестой начал сдавать. Делать ему ничего не хочется. Состояние дремотное. Посидит в тёплый день на крыльце и — на кровать. Бриться перестал. Так... иногда ножницами похватает бороду. Пальто перестал снимать, а потом и разуваться. А зачем? Это же портянки надо мотать, следить, чтоб дыры на пятки не попали... Нет, тяжело уже ему мотать, следить. Он теперь больше время на койке проводит. А из-под одеяла борода, кусками стриженная, шевелится. Если кто зайдёт к нему — только на локте поднимется.

Один из деревенских принёс ему козочку. Порадовать старика решил. Не хотел её брать Дмитрий Петрович, на немочь ссылался. Мужик оказался из настойчивых — стал примеры приводить: его возраста люди, а держат скот.

— И потом — подарок! Нехорошо отказываться, Петрович, нехорошо. Обижаетесь... Мы же — со-седы. Поднимайся, поднимайся с койки, ещё лежишься в другом месте, — а сам как бы одеяло тащит со старика. — Смотри, какая красивая. На лбу звёздочка белая.

На пол животное ставит, молоко вкусное от неё обещает, шапку натягивает, к двери идёт. Во дворе калиткой стукнул, с улицы к окну подошёл, к темноте в доме присматривается. Пальцами по стеклу стучит:

— Давай, давай, поднимайся, старый хрен!

(Грубые люди — эти деревенские. И неудивительно, в Большие Проекты ещё только-только вернулся Сергей Желудок — один из первых, окончивших Сорбонну. Сын директора колхоза, а ныне хозяина закупочной фирмы «Прасол».) Мужик помахал заскорузлой рукой в комнату, как бы шапку приподнял над головой, ещё выразился не по-французски. (Видно, с лексикончиком-то у сельчан напряжёнка серьёзная. На Сорбонну вся надежда.)

Коза подошла к Сидорову, глаза у неё большие, мордочкой тычет. Стал с кровати старый подниматься — руки-ноги сгибает, на скрип испытывает их. Глаза вытер от слёз, под бородой поцарапал — сколько ни лежи, а вставать надо. Тяжко ему, а место надо козе определять. Кормить чем-то, поить. Это сколько же забот ему прибавилось...

Но веселее стало старому человеку: есть с кем поговорить о ценах — всё дорожает. О погоде — ноги болят к перемене погоды. Можно и на слабость пожаловаться — с кровати вставать тяжело. «Чем я тебя кормить буду зимой?» — озабоченность высказать.

Стал теперь часто в стайке сидеть Дмитрий Петрович. Стул у него там — специально его принёс,

чтобы говорить. Любил на свою тоску пожаловаться: «Тоскливо мне. Сны вижу тревожные». Коза по имени Звёздочка его понимала. Однажды, уже с год прошло, он сказал ей:

— Ты знаешь, друг мой, а я не тоскую ни по жене, ни по дочери. И внучку не вспоминаю. Почти. И ты думаешь почему? Хорошего от них не видел, доброго слова я от них не слышал. Вспомнить нечего.

Грудь у него под грязной рубахой костистая, её гладит.

Пасти козу Дмитрий Петрович водил за свой огород. Привязывал её на длинной верёвке, садился под куст, растёгивал чёрное пальто.

— Я тут посижу, — говорил, неровно вздыхая костистой грудью под несвежей рубашкой, — мало ли теперь шатается всякого дерьма... Им тебя украсть — как два пальца... — далее следовало ненормативное слово. — Собак вон сколько развелось, — и без перехода: — Утром выпьешь стакан козьего молока и весь день сытый ходишь, — мечтает.

Увидев их идущими вместе, деревенские говорили: «Сидорова коза идёт со своим дедом». Глаза у деревенских весёлые. А как им не быть такими, если в их деревне дед поселился забавный? Надо сказать, весёлых людей по деревням становилось более. Даже в Малой Понуровке, что километрах в трёх, уже достаточно остроумных. «Что-то стало холодать...» — говорил какой-нибудь острослов утром, пораньше.

Но не до юмора Сидорову: беда у него случилась — заболела козочка. Один из деревенских (у него книга есть специальная) сказал:

— От глазу это.

Другой выразился категорично:

— Бесполезно. Под нож её. Мясо у неё будет нежное.

А сам по спине Звёздочку треплет. Самогоном от него несёт. Можно ли доверять такому?

— Как это — под нож? Мясо нежное... Я что, зверь?

— Могу взять живым весом, — это уже в Малых Понурах ему говорит мужик в фуфайке с засаленной грудью.

Морда у него красная, самогон жрёт, огурцом хрустит.

— Я так не могу, — головой крутит старик.

— Ты, дед, я смотрю, совсем того... — приглядывается красномордый. Огурцом перестал хрустеть. — У тебя кто-нибудь есть?

— А зачем? Один я, — и стыдится этих слов.

— Как ты один-то живёшь? — он собирал языком крошки во рту — и, сочувствуя: — Ты вот при мне называл её радостью моей... Какая она тебе доченька? Коза она, коза. Рога у неё, — и как обухом по голове: — Резать!

«Всю бутылку самогона выжрал, а помощи — никакой», — обиделся Сидоров на полпути от Малых до Больших Понур. В руках у него верёвочка, а на

ней козочка. Старая шапка клапанами-ушами при ходьбе машет. Рукавом чёрного пальто он глаза и под носом вытирает. Бормочет, а слова редко какие можно разобрать. Только во дворе своего дома выразился понятно:

— Ишь чего захотели — резать. Не дам!

По утрам Сидоров ел из того, что найдёт. (Слово «завтрак» едва ли здесь уместно. Размоченный в воде хлеб как назовёшь таким красивым словом?) После хлеба (картошки) он вёл козу за свой огород. Деревенские останавливались, провожая взглядом. Весёлых взглядов становилось меньше, а старушка, из сердобольных христиан-баптистов, смотря вслед, крестилась. Как не смотреть, если он в кустах, слышали люди, с козой о цене копы сена толкует? Хлеб кончился, говорит, а автолавки который четверг нет. Бутылка с постным маслом у него куда-то подевалась. Про пенсию вспоминает: когда приносили?

А один мужик, из верящих в чёрную силу, рассказывал, что коза на это головой ему кивала, спиной привалившись к дереву. Как бы соглашалась: понимаю, мол, понимаю. Говорил мужик (бороду он носил длинную, гладил её в сторону): дерево то он показать может. А месяца через два коза, с его слов, уже сидела на пеньке, а глаза у неё, глаза... как бы она наперёд нашего знает: беда грядёт. Знали деревенские — книжка у мужика есть специальная, но мало кто верил ему. Не могла коза курить сигаретку, не могла. Сидя на пне! Да чтоб наклоняться к дедову уху...

В ноябре совсем сдал Дмитрий Петрович. Руки в суставах ему трудно разгибать, ноги слушаются плохо. За козой ухаживать не может. Голодная, непоеная стоит.

— Сил совсем не стало, — сколько раз себе на дню скажет. — Тяжко-то как... — говорит, прислушиваясь к тому, как сигналит машина на въезде в деревню. — Вести надо Звёздочку. А что я могу? — ноги в сапогах с кровати опускает, руки с колен висят, головой качает.

Машина эта сигналами оповещала аборигенов о прибытии перекупщиков из Больших Проектов. Скупали они скот — фирма у них такая, «Прасол» называется. Шумно въезжала в деревню машина, весело острили поселковые. Шутки их просты: широко был представлен алкогольный юмор. Под него наливалась в гранёные стаканы водка и слышались похлопывания по спине, какие бывают у людей, прибывших из высокой цивилизации. Раскованной и свободной от надуманных условностей.

Сидоров вздохнул облегчённо, узнав, как мало ему дадут денег за козу. Сжал в руке цветные бумажки, не зная, как ему быть. Не мог наблюдать, как грубые люди заталкивают его друга в кузов. Домой тоже не мог вернуться — его предательство было бы очевидным. И пошёл, чтобы уйти.

Километрах в двух от деревни Дмитрий Петрович остановился у знакомой сосны.

— Прасолы несчастные, — выразился он.

Руку почувствовал — мёрзнет, а в ней — деньги. Увидел вокруг снег — чистый-чистый. Недалеко птицы пролетели стайкой, как всегда в это время: белый снег, и птицы стайками перелетают с дерева на дерево. Сорока недалеко трещит. Ноги стал чувствовать старик — замёрзли.

По лесочку, задами, вышел к своему огороду, в дом прошёл. Холодно в его «апартаментах» — шапки не снял, пальто длинного, не разулся, в грязных сапогах на кровать лёг.

Очнулся от дрёмы Дмитрий Петрович, когда уже день прошёл. В комнате потемнело, а на небе луна — круглая, большая. Появляется мертвенно-бледный свет луны — исчезает сумрак в комнате. Сидоров на кровати лежит, мерцание с неба наблюдает.

— Быстро тучи по небу... — бормочет безглагольное предложение.

На бочок поворачивается.

— Ритм... — ещё говорит.

А понять-то его как, если экономит он на словах? — За что? Зачем? — только расстроен он сегодня, слёзки вытирает засаленным рукавом пальто.

Всклипнет, за пятнами света наблюдает, от окна они на него идут. Кажется ему, тысячи лет этому движению. И остановить его невозможно...

Странное болезненное чувство начал испытывать Сидоров: нет-нет да увидит себя со стороны. Луна скроется за тучей, и — один он в комнате, на кровати лежит. Появится на подоконнике жёлтое пятно, заскользит в его сторону по грязному полу, и снова он видит себя, но от угла комнаты. Боль, какая же невыносимая боль сдавливает его правый висок... Тело стынет, как кто кровь из него выпускает в это время. Вполовину её меньше становится. Скроется луна — большая, круглая — за тучей — чёрной, с рваными краями, — теплее ему, боль успокаивается в виске. И снова — жёлтое пятно, боль, тело холодное, а ноги... Не ноги, а как лёд в них, и видит себя от окна. В чёрном пальто он, на кровати, рубашка на нём серая, с загнутым уголком воротничка. Ноги в грязных сапогах поверх лежат, на одном желтеет прилипший лист берёзы. Ковер над собою видит — тряпичный, с благородными оленями, некогда гордыми, а теперь потёртыми до неузнаваемости. Видна ему фуфайка, что в кухне, на гвозде. А он теперь — подросток Дима Сидоров. У окна сидит, на самого себя, Дмитрия Петровича, смотрит. Такое было с ним очень давно. Однажды он видел старика, лежащего на кровати.

Потом как очнулся Дмитрий Петрович: «Бред это, не хочу, за мной некому ухаживать. Нельзя мне». Что значит — нельзя, ухаживать за ним некому? Подростком он тогда был! В комнате один.

Естественно, думал о значительном. Ответа желал, наблюдая за пятнами лунного света — они быстро перемещаются по полу его комнаты. В другой — се-стра его, отец с матерью, за окном день ветреный, а он размышляет о сильных и несильных. Это у него из одного восточного мудреца. Давно тот жил. Из него, как и из других, Дима кое-что выхватывал, запоминал, а потом и «любомудрствовал» при случае. Возраст у него. Как-то он «выступил» перед одним мужчиной, из сосланных, а тот ему про иранца, который, как и восточный мудрец, слабых не любил. Мол, у них — другое назначение. И беда тому, говорил, над кем власть будет иметь такой человек. Жестоким он становится от слабости своей, мстительным. Над сокровенным смеётся...

Максимализмом — подростковой болезнью — Дима заболел, вот и сидит он, размышляет глубоко. Нет-нет да на блеск оклада иконы посмотрит, доставшейся им от далёких предков. Как ответа он требует: кто он-то в этом мире?!

Пятна лунного света идут на него с самого неба, оклад иконы мерцает золотом, и оттого всё сильнее у него чувство: в другой, уже не в своей он комнате находится, где за стенкой сестра. Ему всё холоднее, и как же у него болит голова! А в сумерках чужой комнаты с койки медленно поднимается старик. Грязный и страшный старик смотрел на него в пятне лунного света, испытывая ужас оттого, что они встретились. Нет сил видеть подростку себя, а он это понял, старым, износившимся. Трясущимся, в одежде грязной; ненужным.

А Дмитрий Петрович видит себя — подростка: в его доме он, у окна на лавке сидит. На ногах его — давнишняя обувь, а штанины в носки заправлены — как это принято в те годы у школьников. Брючный ремень у него лакированный, потрескавшийся у пряжки. Он хорошо помнит и потрескавшийся ремень, и брюки, штопаные ниткой «под цвет».

Дима стал открывать рот, чтобы сильно кричать. Оголились зубы, дёсны, гортань, и старик увидел уже забытый им зуб, выросший неровно. Но померк свет с неба, очертания подростка стали размываться, всё теплее старику, как половина его крови вернулась в его тело... Сердце бьёт в грудь, выскочить из неё хочет, руки на коленях беспокойны.

Но есть у него желание ещё посмотреть на себя в детстве. Желание влечёт, становится непреодолимым, он не может уже ему сопротивляться, напрягает зрение. И где был только что Дима, в том месте быстро, как страницы согнутой книги, теперь отпущенные чьей-то властной рукой, мелькают сцены из его жизни. «Состояние есть», — сказал бы художник о каждой из них. Видит он отца, мать, сестру и себя за большим столом. Самовар на нём. Знакомая ему с детства деревянная солонка, расписанная золотом, с уже

истёртыми буквами. «Не макай в неё хлебом, не просыпай соль,—сердится отец,—бери понемногу». В глаза смотрит прямо. Ещё жанровая сцена: жена, дочь, внучка, о которых он уже и забывать стал, в угол отворачиваются, но знает Сидоров: за ним они наблюдают. А вот и он сидит на койке, шапка на нём, пальто чёрное, рубашка с загнутым вверх уголком воротника. Сапоги грязные, лист берёзы желтеет на одном. Потом, откуда-то сверху, он увидел своё голое тело—старое, худое. Двое, в белых халатах, его режут... Мозги на белом блюде рассматривают. И ему это понятно, естественно—иначе быть не может.

Тут и «книга» кончилась. В это время и стал выходить из «состояния» Дмитрий Петрович. Себя спрашивает: «Если всё это правда, не бред, то какой же это выбор, если результат наперёд известен?» Видно, прикорнувший по старости разум его встрепенулся. «Как в графике,—вспоминает инженер,—выбор свободный, чтоб, значит, результат был оптимальный»,—иронизирует в давно нетопленном доме. «И чтоб со скотом вместе!»—сердится.

Старик вытирает тряпкой потное лицо, на кровать ложится. Неспokoйной рукой одеяло тянет на себя, а из-под него борода торчит. Напомним, кусками стрижена у Сидорова борода. Потому и мысли его прыгают. Порой высоко.

— У каждого программа, в общем графике она,—шепчет когда-то неплохой знаток сетевого планирования строительно-монтажных работ.—Нельзя мне болеть, нельзя,—бормочет.

Бойтся он быть парализованным, а теперь ещё и сойти с ума.

Холодно старому под одеялом и в пальто. Спит в сапогах, в них и «до ветру» ходит. Дом... что дом? Присел на угол, крыша прогнулась, ставень на ветру скрипит. Во дворе лебеда высокая, сухая уже который год на ветру горделиво, как победившая Сидорова, шумит. Стал Дмитрий Петрович уже со своей койки слышать шум высоких кедров на пригорке, где кладбище. И это очень даже естественно: лицо у старого человека серое, зеленцой отдаёт, глаза выцвели. А что им ещё смотреть? Зачем они, если сердце схватывает так, что губы становятся синее синих?... Насмотрелись, будет.

Потихоньку-помаленьку стал забываться старый, дремлет: рот уже открыл, а в нём—три зуба пародонтозных. А зачем ему—хорошие? Отжевали своё. Борода стала покачиваться ритмично дыханию. С хрипотцой. Запах мочи вокруг стусился—аденомой страдает старый...

И видит он узкий, грязный, в навозе и моче, коридор. Там, один к одному, идут люди и животные. Их много, их не слышно—они обречены. Последние их минуты. Не слышен топот, тяжёлое дыхание. Среди них поднимает голову коза со знакомой звёздочкой на лбу. Как кто толкнул

Сидорова—рванулся ей навстречу и едва не свалился на пол.

Сел на кровать, худые руки на своём месте—между колен—расположены. Сердце стучит, в груди ему больно. Губами шевелит, как сказать что хочет. А что он может сказать, кому? Прошлое далеко, забывается—кроме отдельных сцен. Но с годами всё рельефнее они: залает далеко собака—в отцовском доме вспомнит себя, подростком. Сердце от этого сожмётся, а губы становятся как бы крашенные синим. Застучит дождь в ночи—себя с Наташей может вспомнить. От дождя под густой елью они прячутся. Она, молодая, смеётся, а на щёчках её—ямочки. Прислушается: последние капли после дождя с крыши падают—как последние секунды его жизни они отсчитывают.

Последний раз деревенские видели Сидорова в декабре. Он стоял в огороде у забора из вертикально поставленных жердинок. Почерневших от непогоды и времени. На нём всё то же полубившееся ему пальто немаркого цвета. А поверх него—старый, расплывающийся по швам бушлат монтажника. Эмблема, некогда гордая, потускнела, солнце на ней померкло. Сразу видно: на закате солнышко. У строительного крана, взметнувшегося высоко, теперь звенья отсутствуют. Бушлат на груди испачкан. Сразу видно, кашку кушал на неделе Дмитрий Петрович. Манкой баловал себя. Из-под шапки—всё той же, поблёскивающей местами,—глаза, от старости слезящиеся. Видел ли старик, с кем говорил? С той стороны—лес, в декабре ветер сугробы наметает. И потом, в деревеньке Большая Понуровка народ подобрался неглупый: кто с ним—пеньком и заполошным—говорить будет? По пояс в снегу стоять?

Старик держался за чёрную жердинку, тянулся выше, говорил убедительно. Голос сиплый, на северных стройках застуженный. Когда он говорил особенно важное для него, он набирал воздуха побольше, тянулся выше. За жерди держался обеими руками. Борода у него ключьями, под ней кадык ходит. Рукава съезжают с его рук, кожа на них морщинистая, а под ней хорошо кости видны. Тянется, напрягается Сидоров, а с другой-то стороны—ни звука.

Огород неубран, только у крыльца маленько картошка копана. Стайку на дрова разбирает, туалет... устоит ли до утра? Много не успел сделать за лето Дмитрий Петрович... Говори теперь через забор, доказывай. Объясняй, проси учесть то-то и то-то. Ссылайся на нечто, да хоть и на порядочность свою—нашёлся рыцарь какого-то стола или ордена! Кто ты такой, что захотел за стол круглый всех посадить? И чтоб при орденах каждый?!

...Вот зима наступила. Снежинки, что садятся на голые руки Дмитрия Петровича, тают плохо.

Хриплый старческий голос объясняет, оправдывается. Да кто его слушать будет? Он же место в стайке для Звёздочки бережёт. Надеется на её чудесное спасение: однажды она позовет его с улицы!! И он сядет на стульчик в стайке и будет рассказывать ей, как он жил и что передумал. Такой он теперь—Дмитрий Петрович Сидоров. Когда-то ему пионерки цветы вручали; директор их подсобного хозяйства—лично!—вынес из кухни на большом блюде жареного поросёнка (по договору между ними: успел монтажник выполнить в срок работы). Когда это было... Говори теперь, Дмитрий Петрович, через забор, говори... Тянись в сторону леса, а там—никого.

Во спасение своей души стала к нему приходиться одна старушка-баптистка. Съездила она и в Большие Проекты—районный центр—и там похлопотала, чтоб забрали старика в больницу.—Смотреть на него больно. Человек же...—отвечала она на вопросы.

Скоро приехала машина, а в ней два санитары, чтобы увести то, что осталось от Сидорова. В больнице его отмыли, уложили на чистые простыни. Стала ему медсестра таблетки разные в рот класть. Няни старались... Человек же.

В один из ранних зимних вечеров стал умирать старик. Как положено, ширмочку рядом поставили, чтоб других не беспокоил. Вот-вот отойдёт... Но неожиданно, как это нередко бывает у умирающих, он встрепенулся, осознавая себя в больничной палате. Серый свет увидел в окне. За ним—корявый толстый сук, выросший вбок и теперь почти упирающийся в окно. За ним небо—серое, тяжёлое. Землю придавило. О далёком посёлке вспомнил Дмитрий Петрович, реке огромной, на которой острова. О плотине. (Как ни старались многие, не смогла она воды накопить.) «Семья была,—подумал он, но поправляет себя:—Была ли? Слова доброго не услышал...» Вспомнил жену, которую иногда называл нехорошими словами; дочь, выросшую в «большой кусок мяса». Подумал о внучке, у которой «физиология, обмен веществ».

За окном—серое тяжёлое небо. В него и упёрся взглядом старый человек, потому как язык у него стал работать наподобие клапана. Только на выдох работает. Дело обычное... Умер он легко, не так, как жил.

Бывшие в той больнице двое студентов просили начальство понаблюдать за уходом из жизни старого, безнадежно больного человека. Молодые, им всё интересно. Они уже и специальную аппаратуру подготовили, проводки всякие разноцветные опробовали—хороши ли контакты, пайка. Но... не повезло им—проспали. Прилегли перед ночным дежурством и проспали. Молодые, что с них взять? А вот поработать с безродным трупом... они поработали. Наверное, готовили себя в патологоанатомы, потому как через несколько дней

останки Сидорова сложили в чёрные полиэтиленовые мешки и свезли в особе место на кладбище.

Весной в посёлке со странным названием Большие Проекты появилась Аня. (В доме Сидорова нашлись какие-то бумаги с её адресом.) Постаревшая, сутулая, в чёрной шали и очках, у которых вместо отломанных дужек ниточки привязаны. Волосы у неё теперь не жёлтые, а с какой-то грязнотцой, серые. Остановилась старушка в заезжем доме. Заметили: обувь у неё очень уж поношенная. Перегарчиком от неё по утрам припахивает. А так—всё нормально. Говорила потом одна из гостиничных: дочь её в квартире какой-то кооператив открыла. Услуги оказывает. Три женщины у неё. Нагрузка у них большая. Едва успевают. Клиенты туда-сюда снуют, потому и отселила она маму в отдельную комнату рабочего общежития. (Согласитесь, всегда приятно узнать, что где-то беспокоятся о стариках.) Всё нормально у неё, только вот пенсия маленькая. Гостиничная, из говорливых, спросила и о внуках, на что старушка нахмурилась. Как бы: всего не расскажешь, да и зачем? Вроде на себя принимает удар. Главное, другим бы не навредить. Вот такая позиция у неё.

Она не развелась с Сидоровым и теперь на законных основаниях рассчитывала на пенсию по уходу за больным супругом. Потому и стажа нет. С головкой у него было... как бы это сказать?—намекала она при необходимости. Это объясняло, производило впечатление. Побывала на кладбище, где ей показали деревянную тумбу с номерком. Аня постояла, теребя краешек чёрной шали. Хорошо бы покрасить тумбочку, табличку с фамилией заказать. Но... не знает она в посёлке никого. К кому она обратится?

В администрации посёлка, выслушав бестактные домыслы, она намекнула на некоторые странности законного супруга. Нравилось ей это объяснение. Был ещё план—продать в Большой Понуровке дом. А может, там ещё что осталось из вещей? Может, кто должен Сидорову? Скоро нашёлся покупатель, из пчеловодов. На его машине и поехали. По приезде пчеловод долго ходил вокруг дома, лазил в подполье, залез на крышу. Собирали материал, чтобы сказать: «Дорого, хозяйка...» Но, к удивлению покупателя, сделка была совершена по самой заниженной цене, которую он назвал. Поговорил пчеловод с местными, которые пришли на шум приехавшей машины. Он объяснял цель приезда, когда подошла Аня. Она посмотрела своими подслеповатыми глазами и спросила:

— Не остался ли кто кому должен?

Два-три человека на это отрицательно помотали головой. А старушка, из сердобольных христианок-баптистов, сказала:

— Царствие ему небесное.

На это все помолчали.

— Упокой, Господи, душу раба Твоего Дмитрия в обители Твоя,— добавила баптистка, строго смотря на приезжую.

У Ани руки трясутся. Хотелось бы—от волнения, но... в поселковой гостинице уже заметили за ней нехорошее. Опять же—ноги... Где они—красивой полноты и изваяния, что когда-то делали мужчин беспокойными?

Аня спешила уехать, но один раз в тот день она остановилась у стола. Там, среди заставленного чем попало, стояла большая кастрюля, похожая на ту, что она тыкала мужу в лицо. Там что-то было, ещё зимой сваренное, а теперь весёлая, приятного салатного цвета плесень тянулась к ней. Аня даже расстроилась от воспоминаний: «Ну и пенёк же ты, ну и заполошный!» Ещё ей зачем-то вспомнился их первый вечер—там, далеко, на юге. Он—её Димушкин—молодой, красивый и улыбающийся. Рубашка на груди расстёгнута... Аня по комнате смотрит: знакомая куртка монтажника на гвозде, да нелегко узнать её. Катьши козьи, в углу солома брошена... Тоска, размер которой и представить трудно, стала давить грудь, к горлу подступила. Она хотела отойти от стола, да оказалось, что стоит на шнурках, правильное сказать—на бечёвочках расшнуровавшихся полусапожек. Бечёвочки у неё вместо шнурков, а полусапожки у неё тряпичные, потёртые у носков. Упала Аня сверху на кучу грязной одежды в углу. Вместе с кастрюлей—«большой, в которой не подгорит». Старенькая она уже, на земле ей стоять с каждым годом труднее. Износился человек. Впечатление о ней такое: смотреть за ней надо, а некому.

Скоро они уехали. Молча смотрели деревенские след машине. Фактически Ане никто и слова не сказал.

Обратная дорога не заняла времени. Новый хозяин делился планами: как он устроит свою пасеку и где он планирует омшаник для пчёл. Радовался: гарь недалеко, а на ней кипрей растёт. С мёдом он должен быть, с мёдом... Радовался, делился планами, пока не почувствовал, что сидящая рядом старуха как-то особенно не в настроении. Угрюма. Головы не повернёт. Замолчал и пчеловод. Настроения не стало.

А домчались до Больших Проектов они быстро—регулировка зажигания у мотора была

выполнена аккуратно. Не позднее, но и не ранее: куда и зачем спешить? Машина тянула что надо! При такой «регулировке времени» многое можно успеть. Явно с медосбором будет мужчина.

Вот и хлопотам Ани конец. Бумаги на увеличение пенсии получила. Какое-то время у неё была мысль о получении компенсации за полученный ею ущерб. Дело в том, что люди говорили: не был труп похоронен в мешках, а в сохранности перевезён в город, в медицинский институт. Там его особым способом выварили, и теперь скелет показывают студентам. Но Анна в конечном счёте не стала настаивать на денежной компенсации. Ей говорили—приличной, на обратную дорогу хватит, кое-что ещё останется. «Хлопотно»,—рассудила она. Ехать в институт, объясняться, доказывая в присутствии... Дмитрия Петровича. Нет, ей, старой, такое не по силам. «И потом, остановиться мне в городе не у кого,—рассудила старушка.—Ленка, стерва, и письма не напишет».

В это время случилось одно обстоятельство—сон Аня увидела. В автобусе на минуту задремала.

Видит, идёт она по коридорам и переходам большого института, а рядом—Сидоров. Нормальный Сидоров—не «вываренный особым способом», а всё при нём. Обут, одет. «Это и есть твоё истинное лицо—служанки, занявшей место госпожи,—пальцем на неё показывает. Спокойный, как в молодые годы.—Улыбнуться не можешь,—говорит рублеными фразами.—Посмотри...»—«Боже ты мой»,—ужасается Анна. Она видит себя в зеркалах, которых много по коридорам и переходам. Ей становится плохо: голый у неё череп, глазницы, знакомая стальная коронка на коренном зубе. На скелете её давнишний засаленный халат, чулки висят... Она касается косточками пальцев рёбер под халатом, перебирает их. Сидоров—теперь молодой—идёт быстро. Аня не поспевает за ним. «А что после тебя?—останавливается, черепа её касается.—На этот голый камень я зёрна бросал...»

В это время автобус загудел, посигналил. Анну тряхнуло, она и проснулась. «Нет, никуда я не поеду»,—решает она окончательно. И правда, зачем ей эта встреча в институте, опознание? Доказательства с неё потребуют. Стоит ли? Пенсия у неё теперь будет побольше. По уходу за больным мужем. А как она ещё должна жить?

Николай Алешков

Рецепт бессмертия



Памяти брата Саши

Только услышу: гармонь заиграла—
сердце на миг встрепенётся в груди...

Лёгкое пёрышко с неба упало,
утро настало, вся жизнь—впереди.
Песня исчезнет и... снова приснится.
Вот я бегу босиком по тропе
сквозь золотистое поле пшеницы
солнцу навстречу, навстречу судьбе.
А за околицей, а на лужайке—
праздник престольный, Кузьма и Демьян¹.

Там на гармошке и на балалайке
брат мой играет, не нужен баян.
Песню подхватят и бабы, и девки.
Сдвинут стаканы молчком мужики.

И далеко разлетятся припевки—
до горизонта, до самой реки.

— Что за гулянка? Наверно, без спроса?—
скажет начальство. Ответят ему:

— Это Орловка вернулась с покоса,
с дальних лугов—аккурат на Кузьму...
Небо в глазах опрокинулось навзничь.

Воздух июльской полынью горчит.
И одноногий Максим Афанасьич:

«Мы победили!—сквозь слёзы кричит.—

Руку подай, одногодок Петруха!

Мне деревяшка житья не даёт!

Мы-то живые. Другим—неvezуха,
тем, кто с войны никогда не придёт.

На зиму хватит и сена, и хлеба.

Раны болят? Потерплю, заживёт...»

Русская песня, дороженька в небо,
только услышу—зовёт и зовёт.

Зреет пшеница. Луга покосили.

И нагулялись. Пора и домой.

Как же охота вернуться в Россию
послевоенную, Боже ты мой!..



Русскому сердцу беда нипочём,
русское сердце беду одолеет:
ангел-хранитель—за правым плечом,
бес-искуситель—за левым...

Воспоминание о моей маме

От зимнего солнца закапало с крыши
уютного домика бабы Мариши.

С карниза сосульки висят, как свирели,
с них в марте капли вовсю зазвенели,
а к бабе Марише скворцы прилетели,
уселись на крыше.

И внук её, Юрка, беспечен и весел,
на старой рябине скворечник повесил.
Мариша и рада—чирикают пусть
и в дом не пускают унынье и грусть...
Хоть место известно на сельском погосте,
ещё в домовину не просятся кости.
Из города—видишь!—нагрянули гости—
три сына, две дочери: мама, встречай,
в твоём самоваре—особенный чай!

Все взрослые стали! И хлеба не просят.
Мариша смеётся: «Наверно, не бросят.
Видать, пятерых поднимала недаром...»
А Юрка: «Бабуля, следи за базаром,
ты самая главная в нашем роду!..»

На яблонях почки набухли в саду...

Найдут сыновья молоток да топор—
починят калитку, поправят забор.
А в горнице снохи—и хохот, и топот—
пельменей настряпают, баньку натопят.
Румяны бабёнки, румяны блины!
Сто лет бы жила от весны до весны...



Первокласснице Настюшке
как сберечь свою красу,
если вылезли веснушки
у Настюшки на носу?

Их свести—рецепт неведом
ни маманьке, ни отцу.
Утверждают бабка с дедом,
что веснушки ей к лицу.

1. 14 июля и 14 ноября в моём родном селе отмеча-
ется престольный праздник святых равноапо-
стольных бессребреников Космы и Дамиана,
в честь которых названа церковь (прим. авт.).

Лукоморье

Между сосен тропинка лесная
в Лукоморье зовёт, на траву...
Что такое свобода— не знаю,
я по воле небесной живу.

Это облако белое— чудо!
Все ли реки впадают в моря?
— Мама, мама, я взялся откуда?
Улыбается мама моя.

Мне б увидеть любимого брата!
Брат играет— гармошка поёт.
В смерть не верю. Есть точка возврата.
В детство выбегу я из неё...

Я начальников многих старше.
Кто-то скажет: тот ещё гусь!
Ни водителя, ни секретарши—
и нанять не берусь.

Хоть не молод— пашу, как трактор,
над журналом своим трясусь.
Есть и прозвище— главный редактор.
Точно— тот ещё гусь...

Под скрип гусяного пера
я написал стихи вчера.
Включил сегодня ноутбук,
а на экране Пушкин вдруг...

Век девятнадцатый вполне
созвучен Пушкину и мне.
А двадцать первый?

Жёсткий диск
«накрылся» под цыплячий писк...

Жил да был один поэт—
не из праведников, нет.

Куролесил, баб любил,
водку пил да морды бил.

А потом сквозь стыд и срам
приходил он в Божий храм:

— Можно ль мне простить грехи
за хорошие стихи?

Майским гостинцем раскинулся день,
солнце светило.
Чистый источник над речкой Кирмень
ты не забыла?

Он по-весеннему радостно пел
струями всеми.
Падало в землю, как пахарь велел,
доброе семя.

В зелени трав голубели цветы—
сёстры и братья.
Нежным цветком открывалась и ты
нашим объятьям.

Ты не монахиня, я озорник,
парень не промах!
Пел о любви благодатный родник
в буйстве черёмух!

Друзья мои, любовницы, враги!
Поверьте мне— и я себе поверю:
прощу обиды, заплачу долги,
уйду от вас. Легко. Не хлопнув дверью...

Рецепт бессмертия

Если рай вернётся к человеку,
как его почувствует душа?
Упразднятся вера и надежда,
навсегда возцарствует любовь.

Так иль нет изрёк апостол Павел
в Библии священной, в Книге книг?
Время остановится. Объемлет
вечность всё живое навсегда.

И Господь пребудет в нас и с нами,
и Земли орбита— в небесах.
За любовь, друзья! Пусть плод запретный
в этот раз Праматерь не сорвёт!

Патриот

Путешествуя за рубежом,
от чесотки крутился ужом.
На просторах любимой России
я избавился от аллергии.

Николай Година

В стране деревьев



В стране деревьев равенство и братство,
Где ель не застит лиственнице свет.
Хочу к реке сквозь березняк пробраться,
Трава метелью замечает след.

Квадратно-гнездовой посёлок справа,
Убойная труба—как аргумент.
Набрякла туча, выплывшая здраво,
Чтоб сверху посветить и погреметь.

На длинных гласных электрички спешной
Закончились все ноты и слова...
Деревья жмутся в панике кромешной
Ко мне по праву близкого родства.



Сидеть бы на ветке дворянского рода,
Но крепко сижу на крестьянском суку.
А если точнее—среди огорода,
С морковкой в зубах и надсадой в боку.

Крапива соседствует по недогляду,
Печалью отмечен запущенный лес.
И жизнь, как тропинка, железному гаду
С угора торопится наперерез.

Пока углекислого неба протечка
С насиженного не прогонит местечка,
Я буду гадать: как здесь люди во мгле
Живут без любви и почтенья к земле?



Стороною жизнь не обойти,
Пряником иду напропалую.
Повстречал тебя вот на пути
И, такую встречную, целую.

День в изображении цветном,
Несмотря на серую погоду.
Я жалею только об одном:
Слишком долго жил другим в угоду.

Стало быть, пора и для себя,
Для тебя, для нас двоих, наверно...
Вот и солнце радует, слепя.
Вот и слева под рубахой скверно.



Бинокля дальнорские глаза
В кустах поймают птаху на закате,
Покуда раскалённая фреза
Распилит гору, каменную, кстати.

Пиратский флаг над заводской трубой.
Пейзаж на производственную тему.
Похоже, в муравейнике отбой,
И спят цветы, включая хризантему.

Осталась тем, чем и была всегда,
Осина с нервной листвой за садом,
Где с детским смаком плямкает вода
И на приколе лодка вертит задом.



Пока держалась за коровий хвост
Деревня и царила над полями,
Я каждый вечер выходил на мост
И долго любовался тополями.

Пылил табун. Комолый мой баскак
Исследовал чужие огороды.
А я не мог натешиться никак
Венцом преобразованной природы.

Теперь не то, теперь совсем не то.
Деревьев нет, кругом одна крапива.
По улице крадётся дед Пыхто
С противотанковой бутылкой пива.



Дворник смахивает на Маркса.
Небо, скроенное по двору.
Дождь который раз унимался,
Но срывался опять не к добру.

Как в гипертоническом кризе,
Бездны паморока глубоки.
Любодействуют на карнизе
Не стеснительные голубки.

Хищной арки беззубой пастью
Сквер зажёван, где наверняка
Ветер гладит кленовой пястью
Темя плачущего большевика.



За окном гололёд с гололедицей.
Под конец стал себя я беречь.
Посижу лучше дома с наследницей
И послушаю знатную речь.

Заворóжит живыми глаголами,
Хоть на помощь Вл. Даля зови,
Засверкавшее пятками голыми
Совершенство не книжной любви...

За окном гололёд с гололедицей.
Медвежонок бежит за медведицей,
Исчезает в ночных облаках.

Прилагательно спит, тихо светится
Существительное на руках.



Перед Богом все равны,
Может, я равнее.
Нет у меня вины,
Чтоб других винее.

Как душа, живу, велит,
Вскрай, не для проформы.
Грех мой тяжек и велик,
Но в пределах нормы.



Лучшие дороги
мы прошли в юности,
дороги,
которые мы выбирали
сами.

Остались худшие,
без выбора:
дорога в больницу,
дорога в собес,
дорога на кладбище...



Веду оседлый образ жизни:
Копая, сею, что-то жну.
Места суровы и капризны,
Одна надежда на жену.

Хожу в поблизный лес на сходку.
Грибы, пернатые, озон...
В охотку ем и сплю в охотку
Под кронами, как Робинзон.

Страну не вижу и не слышу,
Пропала без вести страна.
Сейчас вскарабкаюсь на крышу,
Авось узнаю, где она.

На время поднимусь над бытом,
Над садом, даже над собой,
Держащим разогретый битум,
Вступившим с вечной гнилью в бой.

Потом предамся наспех зелью,
Поскольку тошно здоровым жить,
Готовый за родную землю
В бурьяне голову сложить.

Муравей

Муравей в траве корячится,
Может схлопотать инфаркт.
Он в ударниках не значится,
Но не лодырь—это факт.

Не пойму, зачем, надсадное,
Вдруг сдалось ему оно,
Отчего-то полосатое
Сучковатое бревно?

Посмотри, какой хозяйственный:
Глазки выпучил и прёт!..
Вот пойду и тоже засветло
Столбик врую у ворот.

Виталий Молчанов

Нагой

Триптих

*Блажен, кто верует,
тепло ему на свете!*

1.

Весна-дворняга солнечным оскалом
 Зиме грозила: «Береги бока!»
 Пригожий лик под ледяным забралом
 Таить устала стольная река,
 И лопнула морозная тесёмка.
 Шлем по теченью сбросив за спиной,
 Приподнялась Москва. С утра позёмка
 Котлы проталин сдобрила крупой,
 Над варевом холодным покружилась
 И сникла у Варваринских ворот.
 Сдаваться к воеводе шёл на милость
 Стрелец помятый, выпятив живот
 И вздёрнув к небу бородёнку злую.
 Нещадно сабля била по бедру:
 «Посеял берендейку, закукуют
 Обрато в Тверь... Рассола бы нутру...»
 Стряхнув с обувки ладной комыа грязи,
 Торговый люд растёкся по рядам.
 Мостки скрипели: нёс корзины Власий,
 Тюки — Емеля, осетров — Богдан.
 Материя разложена по штукам,
 Бери любую — не жадись, плати.
 Моченья и соленья, связки лука,
 Бочонки мёда, пирогов ломти...
 Глаз маслится от снеди избыточной!
 Весна-дворняга, изойдя слюной,
 На жарких лапах кралась мимо мыльни
 С окошками из плёнки слюдяной.

2.

Дверь — нараспашку, ноздри дразнит запах
 Замоченных в кадучке пряных трав.
 Случайный разговор о тайных знаках
 Подобен пару — сути не вобрав,
 Легко клубится, проникает в сени,
 На улицу с берёзовым теплом.
 Ярыга лечит веничком колени
 И ведаёт собрату о былом:
 — Как помню, прошлогоднего июля
 Окрест стояли добрые деньки.
 Паломники чрез мост перемахнули
 И подались к иконе напрямки.

Всяк нёс с собой хворобину, болячку,
 Моление за ближнего в нужде.
 С ворот спустили Божью Матерь в качке
 И вознесли в шалаш из трёх жердей.
 Вокруг толпы природа благолепна:
 Щебечут птахи, ясен Божий свет...
 Как Феникс, восстающий вновь из пепла,
 Нагой Василий вышел, тощ и сед.
 В глазах его горел нездешний пламень.
 Взмахнул рукой — так бьёт одним из крыл
 Орёл врагов — с коротким свистом камень
 Икону чудотворную сразил!
 Трепали кощуна Богдан и Власий,
 Емеля помогал — ударь да пни.
 Старик хрипел: «Помилуй, Христе Спасе...
 С ея ты краски слой отколупни!»

3.

Не люди, а мятущееся стадо
 Ярилось — кто ж им вставит удила:
 «Нагого вусмерть измохрратить надо,
 Бить образá — бесовские дела!»
 Стрельцы вагагой мчались на подмогу.
 Один, с козлиной вострой бородой,
 Икону подхватил и краски кроху
 Поддел ногтём, открыв начальный слой.
 Взлетело воронё со всей округи —
 Загнал их в небо заполошный крик:
 «Нечистая икона, братцы, други,
 Под матерью с младенцем — адский лик!
 Молились Сатане мы...» Трижды битый,
 Нагой был поднят сворой палачей:
 Чернее смоли впалые ланиты,
 Ручьями кровь текла с его плечей.
 Меж Верой и безверьем — мрак и пропасть.
 Не тайный знак, а истина жила
 В юродивом, невиданная кротость
 Из глаз его на грешных снизошла
 И осветила лаской Божьей лица, —
 Ярыга смолк и ковш поднёс к устам.
 Окликнула стрельца отроковица:
 «Нашлась пропажа, сей же час отдам!»
 На ледоход весна глядела с кручи —
 Тяжёлый бег огромных белых плах.
 Потом с небес хвостом смахнула тучи,
 И вспыхнули кресты на куполах.

Евгений Мартынов

Озокерит

Месяц тому назад, проработав двенадцать лет после шестидесяти, подал заявление на увольнение «по собственному желанию в связи с уходом на пенсию» директору межшкольного учебно-производственного комбината — упк. Переволновался при сдаче дел и лихорадочного обдумывания нового ритма жизни, по-видимому, потерял бдительность в этот переходный период от осени к зиме и жёстко простыл. Температура поползла вверх, стал душить кашель, пропал голос.

Слава Богу, пошло на поправку.

Водогрязелечебница «Красноярочка», трёхэтажное здание из стандартного кирпича, облицованное метлахской плиткой белёсого цвета, принимает своих посетителей. В основном это старики да старушки и, реже, малые дети с мамами или папами: время такое — после десяти утра.

Я сдаю верхнюю одежду гардеробщице, девушке в белом халате. Подхожу к регистратуре. Выдёргиваю выпяленный из щели окошка сопроводительный листок серой бумаги и, минуя пальмы да цветочные клумбочки, по широкой лестнице поднимаюсь на второй этаж. На ходу рассматриваю сопроводительный документ — карту больного... В правом нижнем углу — графическая штамповка человечка: вид сзади и вид спереди с галочкой на грудной клетке! Поворот под прямым углом направо. Впереди меня, посреди широкого коридора, шагают мама с ребёнком. Я не обгоняю их, а медлю шаг. Они сворачивают налево, в ординаторскую. В самом торце коридора, у окна, упирает в потолок и так уже изогнутые коромыслом тёмно-зелёные жёсткие перистые листья заморская пальма.

Захожу в ординаторскую. Кто-то из больных за перегородкой хрипло кашляет, покашливает и мальчишка, что с мамой, стоящий рядом со мной справа.

— Не дразнись! — говорю я ему.

Он помалкивает, только понимающе улыбается и поглядывает на меня снизу вверх умными, синими-синими, как васильки, глазами, презируя своё недомогание.

Молодец! Светлые волосы мальчика не прилегают к его высокому лобику, а как бы нависают над ним жестковатым, но податливым козырьком, что привносит твёрдо-определённое своеобразие.

Эти любопытствующие глаза василькового цвета оценивают ситуацию. Владелец козырька одет в курточку спортивного фасона. Вертикально расположенный ярлычок на загравке подчёркивает мужественную прямоу спины. Ему — года четыре, может, чуть больше. Низкий, в резинку, воротничок охватывает невысокую, но крепенькую шею. Держится пацан независимо и даже величественно. Засунув руки в карманы штанов, заправленных в низкие голенища сапожек на толстых рифлёных подошвах, он всё поглядывает по сторонам да пошмыгивает носиком. Мама, молодая, строгая, по-видимому, добрая женщина с хорошей фигурой и приятным лицом, подаёт ему платочек. Сын подтирает мокроту и возвращает руку в карман. Ишь какой независимый!.. Молчат очень естественно. Возможно, они и перебросились двумя-тремя словами, но стояли-то справа, и мне не дано было их слышать — туговат... на это ухо особенно. Поведение и мамы, и сына говорит об их взаимном доверии, согласии, мажоре.

Получив назначение, ребёнок с мамой огибают меня и исчезают в коридоре с высокими потолками.

Я вручаю свою карту симпатичной, домашне-го типа пожилой женщине с седыми прядями в чёрных волнистых волосах до плеч, в фирменном костюме из лёгкой плотной ткани салатного цвета. Шаровары с широкими штанинами, кофта-распашонка с двуххвостым хлястиком. Он завязан сзади на бант под талию. Переспрашиваю:

— В двести двадцать пятаю? — и продолжаю: давно-де не был в ваших южных краях, подзабыл, что же мне надлежит делать.

Она объясняет:

— Раздевайся до пояса.

Наверное, мой измотанный кашлями вид позволяет ей общаться на «ты», мелькнуло в голове. Не обижаюсь, не встаю в позу.

— Расстилай одеяло поперёк кушетки и жди меня.

Молодая брюнетка, сидящая за столом, улыбается. Почувствовав на себе мой взгляд, поджимает губки и... перетасовывает карты.

В прихожей кабины перешагиваю через лоток, уводящий технологические стоки в ливневую канализацию, которые далее, закручиваясь, устремляются в реку.

Мы, мамаша с Васильком и я, оказались соседями: кушетки стоят рядом.

Заботливая сестра-хозяйка вносит толстые марлевые пласты, пропитанные расплавленным озокеритом, как будто только что испечённые духмяные большие тульские пряники на полотенце. Мама мальчика накрывает подушку. Ближе к изголовью укладывается первый пласт... Мальчик прогибается, но помалкивает. Пеленают. Василёк глядит на маму. Она ободряюще кивает. Улыбаются. Малыш смотрит в потолок. О чём-то грезит.

Широкие подоконники. Облицованные кафельной плиткой толстенные стены. Такие — мороз не прошибёт. Пятна разного колера, в розницу и блоками, убеждают, что жизнь течёт, и чему пришёл черёд шелушиться — лупится, успевай ремонтировать.

Меня тоже упаковывают, незлобно выговаривая за то, что не принёс полотенце и не снял обувь. Не сержусь, покашливаю, виновато улыбаюсь и обещаю исправиться — какие наши годы.

— Отдыхайте, выздоравливайте. Сорок пять минут, — говорит хозяйка и исчезает из поля зрения.

Вот это перемена! Полный академический час.

Хорошо знакомый запах свежего дёгтя! Расслабился. Моя грудная клетка с хрипотцой расширяется и сжимается. Никаких тебе забот. Я же теперь чистый пенсионер... Приятно жжёт спину, оживляющая теплота налегает. Сами собой закрываются глаза. Погружаюсь. В детство... теплынь... мягкая горячая придорожная пыль.

Жили мы тогда в селе Горьковское Омской области. Мама — в положении, а я всё ещё сосу грудь. Чтобы отвадить, папа с дяденькой везут меня на полевой стан. И уже там спрашивают, какая моя рука будет правая, а какая — левая. А я всё путаю и путаю, а они весело смеются, смущают меня. Я обижаюсь. Так обижаюсь, что вот заворачивается и трясётся моя нижняя губа. Потом, такой большой, чернявый и умный, как цыган, папка объясняет: «Это же просто, Женька. Вот ты сидишь на топчане, и та твоя ручка, которая к ближней стене — правая, а другая твоя ручка — левая!» Я смеюсь. Опробовали. Испытание выдержал! Папка тоже смеётся. И дяденька хохочет. Он — рыжий-рыжий, как подсолнух, правда, повыше, но тоже молчаливый. Я что-то говорю, говорю и зато уже хорошо проговариваю букву «эр». И ещё тогда слышу, понял, будто я — смыслённый болтунишка. Когда мы вернулись домой, мама, по секрету от всех, разрешает мне послушать братика. Он там — пинается!.. И я спрашиваю: «А тебе не больно?»

В огороде цветёт картошка. Там есть её братик паслён с чёрными сочными ягодками. Они очень вкусные. Однажды папа привёз мне из города ружьё! Настоящее, только маленькое. Я потом и сам научился его заряжать. (Ставил между правой и левой ножками, удерживая ступнями приклад,

а ствол коленками, и, приседая, осаживал-взводил «цилиндрическую пружину сжатия», находящуюся в стволе.) И я стреляю и стреляю... Мама опять бежит, разыскивает стрелу и, счастливая, возвращает мне. Я опять стреляю, и она снова бежит, такая красивая и родная, по живым цветам. Стрела летит, мама смеётся, а я, тоже счастливый, смеюсь до самых... горьких слёз.

Вскоре мама тяжело захворала. Очень сильно. Брюшным тифом. Бредит, мечется и всё огурцов солёных просит.

И вот сегодня она успокоилась, перестала стоять и крепко-крепко уснула!.. Я радуюсь настоящим, живым и бумажным цветам и тому, что маму уложили, сначала мне показалось, в большую люльку... «Мамке дом сделали, мамке дом сделали!..» — напеваю, хожу вокруг и люблюсь: какая же она у меня красивая и добрая! И вдруг её стали накрывать деревянной крышкой!.. Я топаю ногами, реву, отпихиваю дяденек и тётенек... и, говорят, укусил няньку за палец до крови.

На улице, под ярким весенним солнцем (а может, это была осень), сидя под окном на завалинке, внятно проговариваю: «А мамка-то моя умерла».

Потом... ещё, в памяти теперешней... стала «плясать» вприсядку тогда люлька! Она подвешена к потолку на витой «цилиндрической пружине растяжения». Выяснилось то, что я очень люблю эту забаву — зыбку качать, в такт приседая, и наблюдать, когда люлька в нижнем положении, за братишкой. Какой он всё-таки смешной и вот такой маленький.

Всё пинается и... с кем-то дерётся. Иногда, правда, плачет. И тогда ему подсовывают рожок, отпиленный от коровы, в нём — молоко! На кончик рога-то с дырочкой надета соска! Братик причмокивает пухленькими, как ягода малина, губками.

Помню ещё — хата. Мороз за окнами. Печь-голландка — как толстенная бочка. Ростом почти до потолка. Горячая-прегорячая! Ползающий уже Вовка привязан папой, как собачонка, к ножке топчана опояской: теперь не дотянется до дверцы печки, не обожжётся!

Мы — одни. За окном метель. Я же — большой!.. Мне строго-настрога наказано: не отвязываться! Следить, чтобы Вова не запутался. Если что — обиходить. Вот — дровишки, вот — еда. Вот горшок. Пить захотите — вот ковшик, вот — кадка. Вот — ушат для помоев, а в каком углу игрушки — ты знаешь. Тётенька придёт — откроешь дверь... Она немножко с нами побудет. Снизу дверей — порожек из снега. А можно его попробовать?..

После окончания шкм в райцентре и курсов при ветеринарном институте в Омске отец работал зоотехником совхоза. Пропадал на фермах. Таскали в чк: с его согласия или даже указания было прирезано стадо коров, по области то там, то тут появлялись языки-очаги — распознался ящур. Тогда — обошлось: признали невиновным.

Потом отец стал учителем, и мы кочевали — жили то в одном, то в другом селе.

Приятно жжёт грудь и спину; всё же хорошая штука — этот озокерит! Ощущение теплоты и уюта. Как мало надо-то человеку для счастья.

Открываю глаза. Кошу взгляд на соседней. У них совсем уж всё в порядке. Мальчик покашливает. Мать вытирает сынишке носик платочком. Трогает его лоб, поправляет одеяла. Благодать... Надо мной плафон. Свет выключен. И я отключаюсь от здешнего, теперешнего, обдумываю прожитое.

Всем своим божеством, сущностью всей внушить своему чаду, втолковать, убедить его, что оно — это чудо, это совершенство, ненаглядное. Оно и красивей-то всех, и лучше, и всё-то может, и всем-то взяло... на всю дальнейшую жизнь. Вот — ключ материнства, думаю, вот чем она, родная, отличается от мачех-то. У нас с братом их было... пять, и всех, каждую в своё время, мы зовём мамой. Так прикалывается. Конечно, они разные...

Я уживался с этими женщинами, ладил даже — мне-то нашей родной мамой отдано было сполна: кормила, милая, меня грудным молочком до трёх лет. Почти до конца своей жизни. Володьке бывало и тошно. Братишке стукнуло три месяца, когда мы осиротели.

...С первой из них, Натальей, отец порвал отношения, когда однажды вдруг обнаружил в рожке с соской маленьких беленьких червячков...

Озокерит... приятная процедура. Снится опять же деревня, двоюродные братья и сёстры. Тётка Марья — мать-героиня. Возня на полатах под самым потолком. Озеро, утки. Слышится грустный крик чибиса, шумят камыши... Мерещатся полевой стан и гусеничный трактор.

И ещё целый фрагмент. Мой двоюродный брат на меже, неподалёку от вагончика трактористов, лакоится и одновременно собирает букетик крупной спелой клубники. «Кому это ты, Кузьма?» — «Это я для любимой своей мамочки Марии Ивановны!» Он наладил вечером наведаться в деревню.

А у меня... не хватило бы такта и неприкосновенного запаса любви — так откровенно, по-детски наивно и непринуждённо-ласково... нет, не хватило бы у меня духу. Не хватало субъекта такой любви. Мать... затерялась где-то в моей памяти.

Наши родные дяди и тётки, у которых частенько и подолгу нам приходилось жить, нас не обижали. Это же скажу и о воспитателях тех двух детдомов военных лет. Папка был тогда на фронте... Эх, Вовка, мой Вовка. Большеглазый, справедливый, обидчивый упрямец.

...Креплюсь — стесняюсь кашлять. Опять же стесняюсь, испытываю неудобства, видите ли, вроде как провинился, что ли. И всю-то жизнь мы вот

такие, кому-то будто что-то обязаны, и вечные... пасынки...

...Вставки плиток, разных оттенков, в розницу и блоками, — облицовка стен подтверждает, что жизнь течёт.

Вот так горная река, преодолевая преграды, меняя характер, то словно стоит, а то стремится винтообразно, чтобы слиться в конце концов с океаном. Испариться... и — снова...

Плафон дымчатого стекла, что перед глазами, — как мыльный пузырь. Блики и тени. Отражение окон по периметру окружности, большенькие и крохотные светлые пятна.

Женщина с густыми седыми волосами трогает меня... Сажусь на кушетку, подтягивая ноги к груди. По правую руку — стена, вернее, штора из плотного белого материала. Оказывается, за ней тоже стоит кушетка, и кто-то... шевелится.

Мальчишки и его заботливой мамки — и след простыл. Всего им хорошего.

Моя квартира на первом этаже. Раздеваюсь. Наливаю в пиалу очень крепкого чая из термоса, ставлю на столик, что возле тахты-лежанки. Снимаю с полки в «тёщиной каморке» пухлый, тронутый временем, доставшийся по наследству альбом. Раскрываю, включаю бра, достаю лупу и вот, отхлёбывая чай из пиалы, рассматриваю ту единственную фотографию. Худенькая, двадцатилетняя, светленькая — это моя мама. Она небольшого роста. Сидит на венском стуле! Коротенькая причёска «в скобку», по тогданней моде. Волосы — золотистые, это я помню. Длинное, до пят, ситцевое в горошек платье. Я у неё на коленях. В распашонке. Глазею, иначе не скажешь, раскрыв ротик, и зачем-то тереблю мочку своего правого ушка. Папка, в пиджачке, в хромовых сапогах с голенищами в гармошку, стоит рядом слева. Густые, чёрные, как смоль, волнистые волосы зачёсаны назад. Руки — в карманах хлопчатобумажных брюк. Держится независимо...

Отца, «народного учителя», давно нет в живых. Володя тоже умер от рака лёгких.

В отдельных местах глянец на фотографии стал шелушиться. Надо бы заказать портреты. Лучше поздно, чем никогда.

— Привет, — передо мной — дорогой гость, мой высокий бородастый сын.

— Здравствуй!

И потекла жизнь за пределами рассказа в современности... по невидимой спирали.

Смотрю немножко свысока:

— Но-но!.. — боюсь я гусака.

Позвать бы мамочку свою,

Но... нет!.. как вкопанный стою.

Легко понять меня, беднягу:

Не утки. Может, дать, взять, тягу?..

Так я побаиваюсь: — Эй!..

Не смей кусать меня!!.. — гусей.

Анатолий Аврутин

АНТОНОВ ОГОНЬ



Эта робкая сирость нищающих тихих берёз...
Снова осень пришла... Всё опять удивительно просто:
Если ветер с погоста печальные звуки донёс,
Значит, кто-то ушёл в нездравое чрево погоста.

И собака дичится... И женщину лучше не трожь—
Та похвалит соседку, потом обругает её же...
И пошла по деревьям какая-то странная дрожь,
И такая же дрожь не даёт успокоиться коже.

Только женские плачи всё чаще слышны ввечеру...
Увлажнилось окно... И я знаю: не будет иначе—
Если в стылую осень я вдруг упаду и умру,
Мне достанутся тоже скорбящие женские плачи.

Постоишь у колодца... Почувствуешь: вот глубина!
А потом напрямки зашагаешь походкой тяжёлой.
Но успеешь услышать, как булькнет у самого дна
Та ночная звезда, что недавно светила над школой.

Вслед холодная искра в зенит вознесётся, слепя
Обитателей тёплых и похотью пахнущих спален...
И звезду пожалеешь... И не пожалеешь себя...
Да о чём сожалеть, если сам ты и хмур, и печален?

Снежное...

Это вьюга... Непогода да вьюга,
За окошком—снежная стена.
И моя метелица-подруга
Вьюгою совсем заслонена.

А ведь как пуржило, как летело,
Заметая тропки и дома,
Как стучала ставнями несмело
Снежная ночная кутерьма!..

Эта робость—в ней и всё отличие
Вьюги от метелицы шальной,
Что бела—но чуточку по-птичьей,
Что нежна—пусть даже не со мной...

Вой в трубе... Темно по всей округе—
Вьюга залепила фонари.
И моя метелица во вьюге,
Как матрёшка, спрятана внутри...

Ночные стихи

Напрасно... Слова, как антонов огонь,
Сжигают души не сгоревшую малость.
Уже из ладони исчезла ладонь,
Что вроде пожизненно мне доставалась...
А следом поношенный плащик исчез,
Что вечно висел на крючке в коридоре.
Ни женских шагов, ни скрипучих завес,
И сами завесы отвалятся вскоре...
Всё стихло... Лишь полночью схвачен этаж
За меркнувшей лампочки узкое горло.
И чувствуешь: всё, что копилось, отдашь,
Чтоб только мгновения память не стёрла,
Когда в глубине потрясённых зрачков
Растерянный облик спешит проявиться,
И сам ты в зрачках отразиться готов,
И платье вдоль ждущего тела струится...
Как всё это призрачно... Тени спешат
Впечататься в бледную кожу обоев—
Туда, где впечатан испуганный взгляд,
Один на двоих... И предавший обоих...
При чём здесь трагедия?! Горе уму...
Здесь даже Шекспир разберётся не шибко.
И тьма обращается в новую тьму,
И щепками сделалась звучная скрипка.
Её все вертели—опять и опять—
С осиною талией Божию милость.
Её разломали, пытаясь понять:
Откуда же музыка в ней появилась?...
Разломана скрипка... И взгляд овдовел...
И надвое полночь в тиши раскололась.
Всё в жизни предельно... Иду за предел...
На тень от беззвучья... На голос, на голос...

● ● ●

Кто там плачет и кто там хохочет?
Кто там просто ушёл в облака?
То ли кричит кричит, то ли кочет...
То ли пропасть вдали, то ль река...
И гадаю я, тяжко гадаю,
Не поможет здесь даже Господь:
Где прошли мои предки по краю?
Чем томили суровую плоть?
Зажимаю в ладонях монетку
И бросаю в бездонье пруда—
Робкий знак позабытому предку,
Чтобы молвил: откуда?... куда?..
И вибрирует гул непонятный
Под ладонью, прижатой к земле,
И какие-то сизые пятна
Растворяются в сумрачной мгле.
И вдруг чувствую, дрожью объятый,
Посреди перекрестья дорог,
Как ордою идут азиаты
На восток... На восток... На восток...
Но не зрится в прозрениях редких,
Что подобны на детский наив:
То ль с ордою идут мои предки,
То ль с дружиной, орды супротив?
И пока в не проявленной дали
Растворяются тени теней—
Чую: токи идти перестали,
А вокруг всё—мрачней и темней.
И шатаюсь я вдоль раздорожий,
Там, где чавкает сохляя гать,
И всё Бога пытаю: «Я—Божий?..»
А Господь отвечает: «Как знать...»

● ● ●

Эта жизнь лишь мгновение длится...
За мгновение нужно успеть
Уследить, как с небес голубица
Вниз несёт предзакатную медь.

И, штaketник спиной осызая,
Улыбаясь во весь белый свет,
Всё глядеть, как гусиная стая
Устремилась закату вослед.

А ещё бы успеть не мешало,
Неприметную тропку топча,
Затаиться среди краснотала,
Чтобы голос застыл у плеча.

И в каком-то прозреньи великом,
Сам себя понимая едва ль,
Захлебнуться единственным криком,
Встрепенув голубиную даль.

Закричать... И упасть в чистом поле,
Вдалеке от расхожих дорог,
На меже откровенья и боли,
За которыми—вечность и Бог.

● ● ●

В этом доме к утру по углам задрожит паутина,
Закачаются стены, от гула качнёт потолок...
И ты бросишься ниц пред иконою... Охнешь повинно,
Ощущая: томительный ужас тебя обволок.

Побоявшись поднять чёрный взгляд на корявую стену,
Там, где трещинка криво, но всё ж обошла образá,
Ты душою покорной готов окупиться в геенну,
И повинные слёзы вконец застилают глаза.

И сквозь эту слезу вдруг узрешь: светло и широко
Разливается в поле—где ратники—чудо-заря.
И летят скакуны, и всё слышится: «Око за око!»
И упавшие замертво знают, что гибли не зря.

Одичалый сизарь—вислокрылый, худой и ленивый,
Ни на что не пригодный, голодный и глупый сизарь—
Лишь посмотрит хитро, удивится, что мы ещё живы
И что город наш пеплом не пущен, как было бы встарь.

И, слезу осушив о весёлые искры рассвета,
Вдруг поймёшь, что являлись к тебе лишь в испуганном сне:
Этот гул грозовой, эта песня, что так и не спета,
Этот ратник, упавший башкою к последней весне.

Потерев кулаком от испуга набрякшие веки,
Удивлённо прошепчешь: «Приснится же, ёшкина вошь...»
И всё будешь гадать: «Это ж сколько всего в человеке...»
А откуда ожог на ладони—никак не поймёшь...

● ● ●

Клокотал, задышался, сердился базар многоликий,
Где сначала обманут, а после осудят обман...
И, перстом поманив, мне зачем-то стакан ежевики
Пересыпала бабка в залатанный старый карман.

Я взглянул на неё... Как у прочих, простая косынка
И почти уходящий, слегка затуманенный взгляд.
— Не тащить же назад,—улыбнулась,— мне ягоды с рынка,
Хворь совсем одолела... Самой притащиться б назад...

Что-то нынче Господь осерчал— всё хвораю, хвораю,
И в районной больнице упрямо молчат доктора...
Потихоньку молюсь за прямую дороженьку к раю...
Ишь ты: «К раю... По краю...» Одно понимаю—пора!

Погляди на людей— всё бегут, всё спешат, суетятся,
Всё зачем-то хватают с прилавков заморскую снесь.
Всё грешат и грешат... Ни судьбы, ни Христа не боятся...
И того не успеют, что надобно в жизни успеть...

Я пытался спросить: что же так обязательно надо
В этой жизни свершить?... Но старуха, лицом поскучнев,
Побрела к остановке... За ворот струилась прохлада,
Да лениво редели неспешные кроны дерев...

Александр М. Кобринский

По белокаменным библейским мостовым



Слитно со стадом овечьим и всплесками криков плывут мимо жизни моей каждый день пастухи-бедуины — пелена слюдяная над ними, а присмотришься — неба лоскут, на табличку похожий пустую из красно-коричневой глины — стёрла с умыслом клинопись древнюю злая рука супостата, и в даях с тех пор затерялся немислимых мой Трапезунд — семь футов под килем, и галсы моего неземного фрегата без якорей моих пальцев, что здесь погружаются в грунт.



Пять бульдозеров в Шхем и количество N-ное танков в полнолуния долгую полночь сегодня вошли — утром солнца взошла половина над полукраем земли, и униформа прилипла к костям погребённых останков. Во дворе прозвучало полумебельной фабрики «пли!», в остальной получасти музейно хранились тачанка, две ленты патронов, кулацкий обреза и берданка — только видеть паноптикум этот упавшие вряд ли могли. Их глазами смотрел и витал в облаках сумасшедший, и «Шлымазл» придумали дети безумные имя ему — путал дни он и ночи, собирал он ненужные вещи никому, в никуда, никогда, ни за что, ни к чему... Говорил он невнятно, бормотал он словами нездешними, и считал он евреем себя, и осваивал здесь Колыму.

Осень

Состав очередной промчится — в Лету канет...
 Всё та же невесомость плывущих облаков.
 Холмы окружены белёсыми туманами
 И тощими стадами — здесь царство пастухов.
 Река, лесок берёзовый, деревня деревянная.
 Старуха спит на печке — не возратить годов,
 А всё-таки вернулись: шальным и окаянным,
 При галунах и шпаге был адъютант Петров.
 Сон о медовом месяце — из времени он вынут.
 Степную даль на стыках так перекликнет даль,
 Что станет ощутимым — без птиц озёра стынут,
 Молчаньем подтверждают, что буднична печаль.
 Вагонам вслед листву на шпалы ветер кинет,
 И — заскрипит шлагбаум, как ржавая педаль.



По белокаменным библейским мостовым
когорты шли воинственно и строго
разрушить Храм, и вот на осьминога
похоже солнце красное над ним...
Морями, сухой ли — в рабы вела дорога
не покорившихся, и дленьем серым, злым
дышали улицы — весь Иерусалим —
дома — холмы после пожара — синагога
из грубо тёсанного камня — перемен
не ждали люди — Бог за самозванство
казнён, означив над Голгофой крен
невинной жертвы в облачном убранстве...
Безмолвно вдоль тысячелетних стен
сидели нищие, оставившись в пространство!

Сократ

Приговорённый не казнён — он умирает,
Чтобы проникнуть в тайну ту, что там...
Смерть — это опыт. Яд он выпил сам,
Не то — заставили бы! — чуда не бывает
В Афинах солнечных — мурашки по рукам
Ползут, и холод к сердцу подступает...
Своим согражданам позор он предвещает
Той стойкостью, что недоступна нам.
— Друзья, Кебет и Симмий, скорбь отбросьте —
Стикс омолаживает старческие кости...
Я вижу свет на выходе из склепа
Из собственного, — речь его тиха, —
До встречи! — говорит и в честь Асклепия
Зарезать жертвенного просит петуха.

Беглец

Кем в городе Кекропа быть? — атлетом! —
Не думать! — власть не терпит мудрецов.
Храм девы, роцу, мостик через ров
Закат зловещим обливает цветом.
Бунтует плоть или душа? — огни костров,
Но сумрак тот же самый — нет ответа:
Без собеседника и днём здесь мало света...
К инакомыслию плебейский суд суров.
Сократ казнён. Панафинеи! — звук кифары,
Метеки пьянствуют, гремит в театре хор,
Хочет демос — «Облаков» поклонник ярый,
Но вот комедия закончилась — затор,
Погоня, стражники... Платон бежит в Мегары:
Ночь — за спиной, глаза — за кромкой гор!

Философ

Идеей всех его идей
была настойчивая проба
без богоборческих затей
страданье вывернуть сквозь нёбо
до белизны своих костей
и до отсутствия — надгробья:
взамен — чертополох, пырей,
и горизонта узкий лоб
величиною с небоскрёб!..

ДиН пародия

Евгений Минин

Хождение по мукам

Букофейское

*какая может быть пряжа
какой может быть плуг
когда я должна что-то очень важное
написать в фейсбук*
Аня Логвинова

какая может быть дойка
какой может быть досуг
всю ночь обо мне тоскует койка
засосал фейсбук
скот не кормлен хожу по мукам
теряю и сон и вес
боюсь что милый вот этим буком
мне испортит фейс

Впадальное-отодвигальное

*И отодвигается даль,
в дорогу впадает дорога,
в тревогу впадает тревога,
разлука впадает в печаль.*
Евгений Солонович

Стихи сочиняю не зря,
неплохо пишу я, ей-богу:
впадаю в процесс понемногу,
как реки впадают в моря.
В стихах не гоню я пургу,
читайте — там всё без загадок,
но не выпадайте в осадок —
а то я помочь не смогу.

Мария Шамова

Рубашка в комодe

У маленького окна дальней комнаты в среднем ящике комода несколько лет покоилась ситцевая рубашка на смерть. Марфа Васильевна приобрела её в одну из редких поездок в город, в лавочке у рукодельницы, недалеко от вокзала, напротив магазина ритуальных услуг. То ли чёрная глянцева вывеска навеяла ей грустные мысли о конечности земного бытия, то ли встревожило пожилое сердце полуденное видение в озабоченной толпе. Так или иначе, но, шагая было целеустремлённо к остановке пригородных автобусов, вздрогнула она и ринулась на противоположную сторону улицы.

В лавочке с тусклым освещением мирились стопочки носовых платков, косынок и поясков. Всё предлагаемое желанному вниманию покупателя располагалось на длинном столе, который служил витриной и прилавком. Вдоль стены, за спиной у улыбчивой женщины — хозяйки закутка, неровными рядами были развешаны белые рубахи, на первый взгляд отличающиеся друг от друга только размером. Но, хорошо рассмотрев, можно было обнаружить и ощутимый разбег в оформлении и деталях. Так, одна рубашка, например, отличалась манжетами и сборочкой у горловины, другая — рукавами в три четверти и мелкой тесёмкой от плеча до подола, третья — совсем простая, как распашонка, и обмётана оверлоком, только и всего. Были льняные, были бязевые и ситцевые, короткие и длинные, с рукавами и без.

— Ну-ка, ну-ка! — прищурилась и обомлела, будто вырвавшись от неведомо тягостного, Марфа Васильевна. — А ну-ка, ну-ка. Что есть-то? Что есть? — Да всё, всё есть, милая моя! Всё, что нужно! — расплывалась обительница лавки.

Марфа Васильевна, казалось, не обратила внимания на эти слова — так увлеклась рассматриванием незамысловатой одежды.

— Это у вас почём? — спросила она наконец, указывая пальцем на стену.

— Эта вот пятьсот, — подхватила продавщица, трогая за подол ту, что с тесёмкой от плеча до подола, — а эта — шестьсот пятьдесят, с манжетиками, а эта, — как-то особенно торжественно произнесла она и погладила сорочку с ажурным верхом, — тысяча двести!

Гостья поморщилась и закачала головой.

— Ну-у-у, — не смутилась хозяйка, бегло оглядев пожилую женщину, — есть и бюджетные варианты. Триста рублей эта, — ткнула она пальцем в распашонку, — и получше, с завязочками, типа такой же, за триста пятьдесят. Могу уступить чуток. А вообще, — ласково выписала она рукой полукруг в воздухе, — все, все они хорошие! Могу поручиться, никто не жаловался!

Марфа Васильевна достала кошелёк и, наклонив к свету, внимательно пересчитала его содержимое. Задрала голову, что-то обдумывая и бормоча, а затем снова уткнулась в кошелёк и пересчитала. Когда она наконец обратила взор на продавщицу за прилавком, то обнаружила её в прежней встречающей позе. Как актриса или певица на сцене перед зрителями, застыла та и затаила дыхание, готовясь излить из себя сольную песню или монолог.

— А за четыреста тридцать у вас ничего нет?

— Есть! — расплылась продавщица. — Конечно, есть! Вот! Как раз ваш размер.

И она выдернула из-за рубахи, представленной миру лицом, другую, из ситца и с длинными широкими рукавами, раскинула её на столе. От неглубокой горловины изделия до груди шла прорезь с тремя мелкими петельками с одной и столькими же пуговичками с другой стороны, на сантиметр от края была пришита тоненькая, незамысловатого узора тесёмка, такая же тянулась по краю рукавов.

— Вот, очень хорошая. Но она четыреста восемьдесят. К сожалению. Поищите, может, найдёте? Всего полтинничек. Хотите — примерьте, я дверь подержу.

Марфа Васильевна оглянулась на дверь, та была на треть приоткрыта, в зазоре виднелись вывеска и часть окна ритуального магазина. Она вздрогнула и принялась хмуро в третий раз уже пересчитывать кровные.

— Да вот, видите, только четыреста пятьдесят и наскребу с мелочью, да на дорогу ровно, и всё.

— Эх, ну что будешь с вами делать, — вздохнула продавщица. — Давайте, давайте сколько есть. Сделаю вам скидку. Исключительно. Потому что вы мне понравились. А рубашечка и правда очень, очень хорошая. И с тесёмкой. Совсем за копейки.

Марфа Васильевна вздохнула, и пока щедрая хозяйка считала высыпанные перед ней монеты

и скрученные бумажки, гладила и щупала обнову, желая проникнуться её теплом, а может быть, опасаясь дефектов.

Продавщица закончила с деньгами и в два движения сложила рубаху как положено.

— Пакетик нужен? Четыре рубля. Маечка — рубль.

— Да что вы, что вы, даже и рубля... я ж говорю, на дорогу тика в тикю.

— Ну в сумку возьмите, — хозяйка глянула из-за прилавка на сумку Марфы Васильевны, доверху заполненную продуктами. — Ай-яй-яй! — закачала она головой. — Да что ж такое сегодня с вами? — и, сообразив что-то, полезла в стол, зашуршала.

Через несколько мгновений на столе лежал цветной газетный разворот.

— Ой, спасибо. А он не покрасит?

— Не волнуйтесь. Не будете сильно прижимать — не покрасит! — и ловко завернула в газету только что проданную вещь.

Простое лицо Марфы Васильевны просветлело. Она прижала свёрточек к груди и вынырнула на смоченную дождём улицу. «Ритуальные услуги» ещё раз подмигнули пожилой женщине и остались позади.

Пока она скрывалась в лавочке, миг набежал и так же миг прекратился дождь.

— Пыль прибило! — получилось вслух у Марфы Васильевны.

Она вдыхала глубоко и отчего-то облегчённо.

Всю дорогу до автовокзала, а потом и в автобусе она держала газетный свёрток у сердца. И не было мыслей в голове всё это время, и волнение сменилось неясным, но обнадеживающим чувством, чего — Бог знает.

Сегодня около полудня в людской толпе, в глубине зала ожидания, заметила она лицо своего покойного мужа Николая. Он выглядывал из-за плеч и голов, искал кого-то глазами — возможно, и её, Марфу Васильевну. Но убедиться в этом она не успела. Марфа Васильевна была столь напугана своим внезапным видением, что, совсем как в детстве при виде крови, зажмурилась и съёжилась и, казалось, сжалась в комок. А когда усилием воли заставила себя открыть глаза и обратить взор к привидению мужа, то, увы, не смогла отыскать его больше в галерее лиц.

И неизвестно, что было легче, а что тяжелее — увидеть призрак два года как почившего супруга или лишиться этого видения. Поэтому долго ещё стояла она будто вкопанная у стеночки автовокзала, бессмысленно уставившись в людскую толпу.

Всё утро мучила её тоска, как заколдованная она перебирала ногами заученные наизусть городские закоулки. И, закупив всё необходимое, не вдумываясь, не рассчитывая, а автоматически вернулась она к месту исхода и назначения — большому зданию, окружённому толчеей. Но прежде, напуганная выросшими перед ней «Ритуальными

услугами» (словно в подтверждение собственных дум), угасла — и возродилась как будто в маленькой лавочке напротив.

Но всё же не отставала мысль о возможной скорой и неминуемой смерти.

В доме было мрачно и сыро, так дождливое лето обволакивает деревенский уют влагой, раздувает его, как деревянную плашку. Марфа Васильевна, не разуваясь, прошла в дальнюю необитаемую комнату, зажгла свет и, вынув из свёртка рубашку, разложила её на кровати, значившейся когда-то супружеской. Сама присела рядом, долго гладила её рукой, водила сморщенными пальцами по горловине и рукавам, вычерчивала её контур, вырисовывала тесёмочки, а после свернула аккуратно и спрятала в комод под стопкой белья. Из комода повеяло прелым.

Не сказать, чтобы Марфа Васильевна любила мужа какой-то особой любовью. «Страсти-мордасти», по её собственному определению, обошли её стороной, и «охи и вздохи» тем паче. Сначала любовь была сродни целомудренной покорности фатуму, а со временем стала подобна материнской, с огоньком постоянной тревоги у груди. К тому же с возрастом супруг Марфы Васильевны сделался «тихомольным гулякой» и «бумажным тигром». А может, и был всегда. Ну да, как известно, неразумное дитя ближе к матери.

Умер муж Марфы Васильевны быстро и тихо. Уснул в обеденный час и не проснулся больше — всем бы такую смерть! Оплакала и зажила снова, с новой заботой и волей. Но ни разу ни за предыдущий, ни за делящийся год не приснился Марфе Васильевне покойный. А тут — видение.

Вопреки решительной убеждённости пожилой женщины, смерть её в ближайшие дни после явления под мраморным сводом автовокзала не навестила, не пришла она и после. Зато прибился к ней несколько месяцев спустя мужичок Василий. Маленький, тощий, как мальчик, как сморщенный грибок на тоненькой ножке. «Лубоф» у него, говорил, «как в фильме, внезапная и жгучая». Марфа Васильевна сначала всё смеялась, выпроваживала полотенцем, а потом оставила. Мол, что такого, вдвоём веселее, и имя у него хоршее, отцовское.

Два года Василий жил смирно, а на третий распоясался. То ли по причине подкравшейся старости, то ли из-за двадцатилетнего алкогольного прошлого с пятистопной передышкой по слабости организма. Но от Марфы Васильевны забот слабость испарилась, организм окреп, и Василий с прежней молодецкой силой взялся за спасение мира от зелёного змия, приняв удар на себя. Впрочем, так шутили соседи, Марфе Васильевне было не до смеха.

Первое, что сделал Василий, когда истлел его обет трезвости ума, так это очистил закрома сожительницы от всего спиртосодержащего. А там водились и «винишко», и «самогончик».

Так уж повелось у Марфы Васильевны со времён здравствования супруга её Николая, что в доме всегда были крепкие напитки собственного производства. Не из порока это проистекало, а из особой культуры деревенского быта. И деды Марфины «гнали», и родители, и сама научилась хитрому ремеслу, как время подошло.

Выгонкой занимался Николай, сюда Марфа Васильевна не вмешивалась, у него и аппарат был упрятан на летней кухне. Сама специализировалась на вишнёвке. Не больно затратно, и всегда есть чем гостей угостить, а уж гостей супругник любил и потчевал по всем правилам русского гостеприимства. «Никакого магазинного! Только своё, только своё!» — приговаривала Марфа в былое время, ставя бутылочку на стол. А муж Николай с важностью в голосе добавлял: «Экологически чистый продукт!»

Время то ушло, а привычки ведения хозяйства остались. Как не стало Николая, самогона своего не стало тоже. Последний был выпит на поминки мужа. Тогда ещё, помнилось, выпила она залпом полстакана (а прежде не жаловала крепких напитков) да и не смогла сдержаться — разрыдалась при всех. Да так страшно разрыдалась — в голос, с воем.

Теперь нет-нет прикупала Марфа Васильевна самогонки у соседки — за работу с наёмными мужичками расплатиться. Жизнь в своём доме такова — требует постоянных трудов и вложений, и всегда нужна мужская рука.

А над вишнёвкой Марфа Васильевна по-прежнему колдовала. За работу ею не рассчитывалась — напиток лёгкий, «женский». Так, если праздник какой, или дети приедут погостить, или соседка забредёт.

На эти-то запасы и покусился источник жгучей и сильной любви Василий.

Не сразу подверг разорению Василий «вишнёвошную полку» в подполье любимой, а вытаскал постепенно, заменяя пыльные бутылки с продуктом, по мере выпиваемого, ими же, но наполненными водой из колонки. Этот манёвр и вывел проныру на чистую воду.

Не ожидал Василий, что случится Марфе Васильевне спуститься в подпол самой — эту работу он в первую очередь по факту сближения взял на себя («Вот ещё, пожилой женщине по лезенкам козлом скакать!») и исправно выполнял её все три года сожительства. Марфа Васильевна только командовала сверху, куда и что следует ставить и ссыпать. Поэтому манипуляции с бутылками и не были довольно долго рассекречены. Даже если и застала бы супруга Василия орудующим в подполье, всегда можно было объяснить это внеплановой уборкой подсобных мест. Но она не застала, избавив тем самым Василия от лишнего вранья и объяснений, и Василий «делал своё дело и гулял смело». И, пожалуй, Марфе Васильевне не удалось бы сбечь ни одного сосуда с вишнёвкой,

если бы однажды супруг не перебрал с выпивкой и не уснул крепким сном здесь же, недалеко от входа в подпол, в кухне под столом.

Тогда в душу к Марфе Васильевне закралось подозрение о «вишнёвошных делах» сожителя, раньше она объясняла его снятие с тормозов порочной дружбой с соседом. Она отворила дверцу подполья и посветила фонарём — на средней правой полке одна к одной выстраивался бутылочный патрон-таш. Следовало пересчитать, конечно, подумала пожилая женщина, но на глаз всё сходилось, а спускаться вниз охоты не было — ноги уже не те, и мыши там не исключены. На том успокоилась, но неделю спустя случай повторился.

Василий опять почивал на кухонном полу, дыша тяжело и зловонно, а из подпола необходимо было срочно достать картошки. Плюнув и выругавшись в сторону наглеца, она вооружилась фонарём и ведром, надела галоши и осторожно спустилась вниз. И когда ведро доверху наполнилось уже землястыми клубешками, а женщина готова была начать подъём к свету Божьему, что-то заставило её обратиться к винной полке.

В свете фонаря тогда, неделю назад, бутылки не вызвали никаких недоумений у Марфы Васильевны, а теперь, при ближайшем рассмотрении, картина выглядела совсем иначе. Точно тёмные и светлые клавиши музыкального инструмента составляли близко освещённые бутылки. Казалось, ударишь по ним большой невидимой рукой — и заиграет музыкой подполье на весь дом, а то и двор!

Марфа Васильевна отстранилась сначала от неожиданности, чуть не уронив ведро с картофелем, а потом, скорее машинально, тронула пальцем одну из бутылок, что посветлеет. На фоне белой извествково-пылевой пудры образовался мазок цвета обычного бутылочного стекла, точь-в-точь такого, как у рядом располагающегося сосуда. Марфа Васильевна мазнула ещё и ещё по разным бутылкам и почувствовала, как вздымается в ней большое и неоднозначное чувство: и радость, и гнев, и обида, и ещё что-то, похожее на жалость и сострадание.

— Поганец! — вырвалось из неё.

Марфа Васильевна пересчитала тёмные и светлые бутылки и поднялась в кухню, захватив с собой по одной. В пыльном сосуде, как и предполагалось, оказалась вишнёвка, в чистом — обыкновенная вода.

Рассекреченный Василий делал умильные физиономии, извинялся, а то и принимался рыдать, подскуливая одно и то же:

— Ты же моя любимая, ты же моя женщина, я же без тебя пропаду.

Марфа Васильевна ругала его паразитом и хитрецом и тоже плакала.

С тех пор отношения у них разладились, но Василий не желал Марфу Васильевну оставлять.

А она не решалась прогнать забулдыгу. Что-то открылось для неё в нём маленькое, тщедушное, требующее тихой жалости и смирения. Но вместе с тем и отвращение закралось в её чувства, подспудным подселенцем зажило в ней. Марфа Васильевна, женщина хоть и простая, но нравственная и сильная духом, невзирая на все последующие от Василия безобразия, даже ругая его, ни разу не обмолвилась о новом своём чувстве, о том, что он мерзок и жалок ей. Тяжело правдой мучить, полагала она.

Василий же даже расхохорился после Марфиного обличительного разговора. Будто отпустил удила, и черти заскакали, понесли его душу пуще прежнего. Закуражился муженёк.

Заветные бутылки опустошил, не совестясь и не стесняясь, просто спустился в подпол, загрёб в охапку да и выхлебал, не поделившись ни с соседом, ни с завтрашним днём.

— А ну, бабка, иди сюда, родимая, поиграем с тобой в лубоф!— кричал как-то Василий, вытирая рукавом лоснящийся от соляного куска рот, стучал по колену тощей ручонкой.

Марфа Васильевна молча плеснула ему прямо в рожу воды из ковша, остудила пыл.

Она всё больше молчала, перебралась в дальнюю комнату с комодом и кроватью, где обитали они когда-то с супругом, а Василию с самого начала не заспалось. Он и прежде эту комнату не любил, даже как будто боялся, а теперь и вовсе возненавидел. Рычал на неё, материл.

И о любви заговорил так же— матерно.

— Гони его в шею, стервеца!— советовала соседка Людя визгливо и громко, потрясала в воздухе кулачком.— Он же тебе уже всю душу вынул, оглогот! Он же тебя в могилу заведёт!

— Да туда моя и дорога,— апатично отвечала Марфа Васильевна.— Я себе уж давно рубашку на смерть прикупила и скопила на книжке, чуть что.— Да Господь с тобой! Ты вон ещё молодая, здоровая!— бодро засучила короткими ручками соседка.— Скажешь тоже!— засмеялась Марфа Васильевна.— На седьмом-то десятке. Скоро, скоро, по-друга...

— Я те дам— скоро! А этот хмырь болотный, гляди, до белой горячки допьётся (или уж допивался?). А что, если парализует его? Горшки ещё за ним возить будешь?! А с тобой что, не дай Бог? А?! Он так-то на твоей шее живёт!

— Да типун тебе на язык.

— А чего ж? Терпишь-то? Жалко?

— Да двоится во мне. И жалко, и нет,— замолчала, задумалась.— А ты знаешь, Люб, мне Николай совсем не снится.

Соседка свела брови, закачала головой.

Дома Марфа Васильевна прокралась тихонько в свою комнатку, чтобы не нарушить дрёму Василия за кухонным столом. В последнее время она всё

чаще вспоминала свою нарочно ненадёванную рубашку. Не касалась её уже давно. Никому о ней не говорила, вот только Любе и сказала теперь. «Не спрела ли в комод?— задалась Марфа Васильевна вопросом.— Не почикала моль?»

Рубашка от времени чуть пожелтела. От неё пахло лекарствами, травами и залежалым. Марфа Васильевна развернула её рукава, оглядела обретенные тканью сгибы. «Отпарить бы!»— вздохнула она и принялась руками разглаживать рубашку.— А чё это вы тут делаете? А?— показался в щели между дверью и косяком вострый нос супружника.

Марфа Васильевна сначала испугалась неожиданного появления Василия, даже вздрогнула, но потом выдохнула:

— Чего-то. Вас не спросили!— и добавила хмуро:— Опять крадёшься, как змей.

Никак не могла она привыкнуть к этой Василия особенности.

— Хи-хи-хи,— закривлялся Василий.

Тогда Марфа одарила его таким суровым взглядом, что тот вмиг осунулся и охолодел. Он зашаркал носками по полу, как вытирают ноги о коврик перед тем, как войти в дом, и нетвёрдым шагом проследовал к Марфе Васильевне на кровать. При этом он чуть не уселся на распластанную на покрывале рубашку, женщина чудом успела выдернуть подол из-под опускающегося тощего его зада.

— Жуткий ты человек, Вася,— обронила Марфа Васильевна неожиданно для себя самой и передёрнула плечами, вспомнив о мучении правдой.

Василий застыл серым своим лицом, как судорогой его свело, потом сквасился и потёр переносицу. А после оскалился, оголив зубы-гнилушки.

— Зато влюблённый в тебя явно и на всю оставшуюся жись!— затряс он плечами.— Послушай, бабушка, родная ты моя, моё сердечко, ведь там у меня лубоф!— Василий застучал ладошкой по птичьей грудной клетке.— Влюблённый я человек!— и приготовился зарыдать.

— Альфонс ты престарелый, вот ты кто!— сорвалось у Марфы.

Василий вмиг передумал плакать, услышав модное и постыдное слово из уст возлюбленной.

— Значить, так ты меня, значить, так за всю мою лубоф! На! На! Бей меня, терзай мою душу!— принялся реветь и раздирать на груди сорочку.— Плюй в меня или лучше убей. А я и сам повешусь пойду, в баню пойду и повешусь! Незачем мне жить.

Марфа Васильевна отвернулась к окну, молчала, только покачивала седой головой. К груди она прижимала рубашку из комода. Прорывавшись, Василий вытер глаза и нос рукавом и вперился в жену.

— Чего потухла?— злобно зашипел он.— Молчишь? Ну и молчи! Выжить меня хочешь? Чего там у тебя такое?— и хотел рвануть рубашку из

её рук, но женщина успела подставить плечо, и Василий больно дёрнул её за рукав кофты.

— Уйди ты, ради Бога истинного! — застонала Марфа Васильевна. — Иди проспись.

— Нет, не уйду, пока не покажешь, что там у тебя!

— Ну что, что тебе надо? Рубашка у меня. Рубашка!

— Ах, там рубашка у неё! Рубашка, значить. Значить, я к ней с любовью, а она блузочки распокупает! Модница она, молодуха! Меня, значить, вон, к едрене фене, а сама по полюбовникам в рубашечках! К халеям наряжаться!

Марфа Васильевна побелела.

— Да что ты такое говоришь?! Да как у тебя язык поворачивается? Поганый твой язык!

Василий, прищурившись, смотрел на неё и гадко улыбался.

— На смерть это рубашка моя! Понял? На смерть.

Она наскоро сложила рубаху и спрятала в комод. Василий сквасил рожу: мол, вот так я тебе и поверил, — и кивал вытянутой головой.

— А теперь иди. Иди из моей комнаты! — пожилая женщина указала пальцем на дверь.

Василий не сию секунду, но всё же встал и прошуршал к выходу, а на пороге оглянулся и бросил через плечо:

— Вешаться. В баню.

— Баню не погань. Это Николая баня. Он её строил.

Плотно закрыв за супружником дверь, Марфа Васильевна рухнула на кровать и в голос, как когда-то в детстве и однажды на похоронах мужа, заревела.

Всю ночь сердце в груди Марфы Васильевны трепетало, аритмично стучало. И валокордин не спал уже. Не спалось. Только к рассвету она задремала, но вскоре очнулась от утренних песен Василия.

Наскоро собравшись и не позавтракав, Марфа Васильевна вышла из дому, толком не решив, куда отправится. «Куда глаза глядят! Лишь бы с глаз долой! Хоть на чуть-чуть». Глаза глядели в город. Чтобы в шуме суетных улиц забыться, отвлечься от наболевшего. Можно было пойти к соседке, да время раннее гостей не жалует. И перемалывать ту же муку ей не хотелось.

День расцветал хороший, осенний, ясный. Ни о чём не хочется думать в такие дни — только смотреть и дышать. И Марфе Васильевне было знакомо такое чувство. Она знала целебное свойство воздуха сухой осени и старалась вдохнуть его глубже. И душа просветлялась.

В такой же прелестный день много лет назад появился на свет её первенец — Санечка, который возмужал и уехал далеко на Север, откуда редко слал письма да приезжал в два года раз. А теперь и того больше. Дочка Манечка бывала в отчем доме чаще, но и её давно не видала. Марфа Васильевна вздохнула, и свет отступил от души. «Ах, кабы помоложе, собралась бы да поехала сама, — думала

Марфа Васильевна, глядя на плывущие за окном автобуса дали. — Да куда мне! И Василька не оставишь — спалит дом».

— Ой-ой-оюшки-йой-ой, — получилось у неё вслух.

Городской автовокзал напомнил Марфе Васильевне, как явился здесь несколько лет назад ей призрак мужа Николая. И, неизвестно почему, стало ей совестно. Побрела она по знакомым улицам и всё вспоминала, вспоминала, вспоминала.

Прикупила продуктов на рынке, поглазела на строящийся парк. Домой не хотелось, как не хотелось давно, но с усталостью не поспоришь, а возраст не отнимешь — поплелась обратно. Недалеко от автовокзала Марфа Васильевна остановилась, вспомнив о лавке рукодельницы, где некогда приобрела рубашку, положенную на смерть. Лавки не было — весь этаж здания занимал магазин с бытовыми товарами. Зашла внутрь и растерялась от обилия всякой всячины. Как ошпаренная выскочила она на улицу, постеснявшись даже взглянуть, что там да как. «Ритуальные» напротив тоже пропали — пустые окна смотрели на пожилую женщину.

Солнце спускалось в печную трубу, когда Марфа Васильевна оказалась у своего дома. Свет не горел. «Не случилось ли чего?» — забеспокоилась пожилая женщина и зашпешила как могла, ноги гудели, «натопталась» за день. Ей показалось, что-то мелькнуло в окне. Дверь была не заперта, а в доме сумрачно и тихо, только соседский кот подбирал объедки с кухонного стола.

— А ну, чертяка! — хлопнула хозяйка по боку, и «чертяка» шмыгнул в подпол.

Не выпуская из руки сумки, Марфа Васильевна пошелестела в комнаты. И в проходной, и в «Васькиной» было пусто, только разбросаны кое-какие вещи. Отправилась в свою, дальнюю. Остановилась у двери, прежде чем войти: сердце билось-стучало, дышалось тяжело — страх напал. Постояла и вошла.

В синеватом свете догоревшего почти уже дня на аккуратно прибранной утром, а теперь взъерошенной постели покойно лежало тонкое белое человеческое тело. На лоб лежащего сползала мрачная вечерняя тень.

— Бог ты мой! — вырвалось у Марфы Васильевны, и она закрыла глаза свободной рукой; в другой она, не зная зачем, всё ещё держала сумку с продуктами.

Когда Марфа Васильевна убрала руку от лица и посмотрела в сторону кровати, картина была та же: лежащий оставался недвижим, только тень дошла уже до его подбородка, совсем поглотила голову.

Марфа Васильевна вслушалась: дыханья слышно не было. Она поставила наконец сумку к ногам и дрожащими пальцами нащупала выключатель рядом на стене. От яркого света в глазах Марфы Васильевны помутилось. Она зажмурилась, замотала головой. Несколько мгновений — и очертания комнаты стали проясняться вместе с очертаниями

лежащего. Марфа Васильевна стала вглядываться в его профиль. Это был профиль Василия, только бледный, как стена, и напряжённый. Такие же напряжённые жилы на шее, и руки в кулаках. Застонало внутри у Марфы Васильевны, закачала она головой:

— Ай-яй-яй.

В ту же секунду на лице покойного стала расплываться улыбка. Ещё немного—и она превратилась в оскал. Он повернул голову к застывшей у двери Марфе Васильевне, оставляя тело недвижимым. Пожилая женщина попятилась назад.

— Ай! Ай!—теперь уже вскрикивала она.

Тогда Василий вскочил и, стоя на коленях на постели, завращал плечами, крутил влево и вправо всей своей верхней половиной туловища. Потом уже стал на ноги и пустился в пляс.

— Н-на! Н-на!—вытягивал он при этом.

Марфа Васильевна прислонилась к стеночке и тихо плакала, а Василий продолжал свой дикий танец и вопил во весь голос, сверкая голыми пятками из-под кальсон. Белым парусом надувалась на нём рубашка, рубашка Марфы Васильевны, так долго хранимая ею в комод.

Потом взбесившийся Василий спрыгнул на пол и заплясал уже подле Марфы.

— Н-на, н-на, н-на! Лубоф!—хрипел он, брызгая слюной и стряся с реденькой бородёнки муку, драл на себе рубаху.—Н-на тебе! Н-на!

По полу раскатились продукты из опрокинутой им сумки. Марфа Васильевна плакала, потом ей захотелось смеяться—она смеялась и плакала, качая головой и закусив кулак. Только боль всё нарастала в её груди.

ДиН лит

Максим Лаврентьев

Право говорить

Дни августа

Дни августа... Душе—как Божий дар они. Во всём царит покой. (А для меня так редки периоды без драм.) Хотя и в эти дни от нервов наперёд я пью свои таблетки. Но дивно хорошо, стряхнув остатки сна, в постели полежать московским ранним утром и улыбнуться дню, любуясь из окна ветвями лиственниц в моём дворе уютном. В гостиной бьют часы: «Бим-бом, пора вставать». Умылся. Что теперь—позавтракать? А как же! С утра побольше ешь—не будешь толстоват, почтенье оказав простой овсяной каше. Одевшись, выхожу. Двор пуст: кто в отпуску копает огород, кто преет на работе. А я иду гулять по ближнему леску, под соснами сидеть как бы в прохладном гроте. Из этих райских куц, готовых к сентябрю, но всё-таки ещё богатых птичьим пеньем, на прошлое своё в дни августа смотрю без всякой горечи и даже с умилением. Костёр моих обид уже сгорел дотла, и удобрён золой большой участок сада. Мне кажется теперь, что жизнь моя светла, что всё в ней здорово и только так, как надо.

Моя биография

Тому, кто спросит: «Это что за хрен? Где прежде был, на кой полез оттуда?»—отвечу так: «В эпоху перемен я жил в Москве среди простого люда. Работал и учился заодно, пил вечерами пиво и джин-тоник, с девицами ходил смотреть кино, украл однажды (Боже, как давно!) в библиотеке—Хлебникова томик. Все двадцать лет, куда шла игра и в ней шестёрки изменяли масти, писал стихи, но не кричал «ура», не присягал ни той, ни этой власти. Когда иные подметали пол, дерясь за место под столом обильным, я наблюдал со стороны и вёл подсчёт своим и не своим обидам. Министру сватом, кумом королю не стал, а впрочем, это всё детали. Вот отчего с тобой я говорю—имею право говорить, не так ли?»

Елена Безызвестных

Исповедь девочки-изгоя

Дура

Вначале меня звали Дурой.

Почему-то так называли те, кто видел впервые. Наверное, виной моя привычка задумываться с открытым ртом, замирать... Я не знала, в чём дело было.

Помню, как во дворе проходила мимо пацанов, свесивших ноги с обшарпанной трубы. Один из них повернулся ко мне и с насмешливым спокойствием сказал:

— Девочка, ты не представляешь, какая ты Дура!

Я их не знала. Я их видела впервые в жизни...

А они узнали меня, потому что я — Дура.

Одна такая на весь двор. Впрочем, не только двор. Меня знали все. И где бы я ни появлялась, везде за мной гналось моё проклятье. Везде честовали Дуру.

Даже дома не получалось скрыться. Окна первого этажа — вровень с бетонным забором, окружавшим стройку. Мальчишки, балансируя на заборе, увидели меня в окне. Я стояла посреди комнаты с игрушкой, с зайцем Ушастиком, грязно-белым с чёрными пучками-глазами. Смотрела на них, а они почему-то начали смеяться... Хохотали и показывали пальцем. А потом, когда наступил вечер, я задёрнула занавески, а они — опять на заборе напротив моего окна. Из комнаты услышала их крик:

— Оле-е, оле-оле-оле-е-е! Дура-а-а, дура-дура-дура-а-а!

Мне негде было спрятаться.

Меня преследовали. За мной следили. Безликие, они окружали и наблюдали издалика, звали:

— Дура, Дура...

На одной из стен моего дома до сих пор написано: «Девочка — Дура!» Когда-то я обходила это место, не смотрела, боялась увидеть... Мне было стыдно.

По выходным мама брала меня на дачу. Там двое пацанов, соседи напротив. Они, кажется, целыми днями следили за мной. Их дача — через дорогу, но я всё слышала. Один сказал другому: — Давай поиграем в Дуру. Я буду Дурой, а ты — мамой.

И они изобразили, как мы с мамой тащили ветки на свалку. «Мама» несла на плече, а «Дура» волокла за собой, потому что маленькая и тяжело.

А когда мы с мамой шли домой с электрички, сзади нас бежала девчонка, моя ровесница, и кричала:

— Ду-ра! Ду-ра! Ду-ра!

И, видя, что я не реагирую, — ещё громче:

— Девочка, ты Дура!!!

Тогда мама повернулась и прикрикнула:

— А ну-ка пошла отсюда! Я твоей матери расскажу!

И девочка убежала. Мне показалось, это Инна, моя одноклассница.

— Ты что, расстроилась? — спросила мама. — Это неадекватная девочка. Разве можно назвать незнакомого человека — душой?

Можно, мама. Меня — можно.

До того как я родилась, мама была актрисой. Моё рождение — поступок бесстыдный, из-за него мама оставила театр. Так и говорит:

— Я на тебя всю жизнь положила, а ты...

Дальше может быть: не вынесла мусор, не сделала уроки. Не закрыла сессию, не вышла замуж, до сих пор мне внуков не родила...

Мама ушла из театра и продолжила играть в семье. Играет она в тесной кухне, где на лампочку без плафона опасно смотреть, как на солнце. Распаренная жаром кастрюль, такая большая и сияющая в электрическом свете, кричит:

— У тебя форточка закрыта? Щас проверю!

Больше всего на свете мама боится форточки. В душной комнате пахнет порошком: мама следит за чистотой.

Не знаю, что мама за человек. Но чувствую... Ощущаю её как большого нежного зверя, дикую медведицу. У неё короткие толстые пальцы и огромная грудь. Она говорит, что долго кормила меня грудью, и теперь, когда я вижу эту грудь, злюсь, будто когда-то переела сладкого молока и не хочу больше... Будто инстинктивно защищаюсь от чего-то. Мамина нежность — давящая, нависающая надо мной безнадежным дождевым облаком.

Из комнаты прислушиваюсь... Неровные, хромающие шаги — на кухню входит папа. Джесси спрыгнула с табуретки и мяучит, просит варёное яйцо, а папа говорит, что она кошка аристократических свойств, раз только яйца жрёт... Однажды мы с папой подвесили вилку с наколотым на неё яйцом к потолку, и тогда Джесси прыгала

высоко-высоко. Мы радовались, что она прыгает... Мама кричит, а папа терпит, потому что считает себя мудрым.

— Расселся, как свинья! Сажни расставил... А ну-ка кыш! — у мамы задорный, вовсе не злой голос, зато громкий, аж тарелки звенят.

Папа что-то отвечает, спокойно и тихо.

В такие моменты нужно сжаться и ждать. Мама лепит пельмени к папиному дню рождения, а праздники она любит. Когда праздник, мама перестаёт про форточку. Наверное, оттого, что в театре всегда был праздник — работа такая.

Мама из деревенской семьи, по-деревенски бойкая, но с повадками первой актрисы столичного театра. Губы накрашены ярко-красной помадой, ресницы — советской тушью за копейки. Кто знает, откуда у неё эта тушь, с каких времён? Мочки ушей оттягивают тяжёлые золотые серьги, а чёрные волосы с перьями проседи она заплетает в косу, совсем уже тонкую, но длинную и упругую. Когда мама лепит пельмени, с силой сжимая твёрдое тесто, коса хлыстом бьёт по спине.

Я люблю маму, но никогда не говорю об этом. Кажется, если скажу, почему-то станет больно.

Я была Дурой, а мама за меня боялась, пугалась размашистыми движениями, будто подгребая под себя пространство квартиры...

— Бедная твоя матерёшка бьётся, бьётся, а всё без толку! — врывалась в мою комнату, и нутро фортепиано гулко откликалось. — А ну-ка надень берет!

Ребята во дворе смеялись над маминым беретом, в который проваливалась моя голова:

— Дура в берете!

Мама, конечно, не знала, что я Дура, а я и не думала рассказывать.

Когда я пошла в первый класс, мама испугалась, что в школе заразные унитазы в туалетах. Велела подстилать газетку, чтобы садиться на них, что, конечно, послужило лишним поводом для насмешек.

Мама боялась, что я замёрзну, заражусь, испорчу глаза долгим чтением... Не поняв, почему она запрещает мне читать, — может, она мне и говорила, но детский ум не удержал причину, — я читала тайком под кроватью и быстро-быстро прятала книгу, когда она заходила!

— Опять читала? — мама в дверях, готовая к сражению, руки в бока, грудь вперёд...

— Н-н-нет, мам, что ты...

После долгого чтения под кроватью глаза действительно испортились.

Зато «запретных» книг прочла много. Для меня все книги были запретными. Что делало их гораздо интересней — волшебные сказки, от которых жизнь моя светилась не режущим светом лампочки без плафона, а светом иным, звёздным. Они кричат: «Дура!» — но внутри меня есть что-то,

отчего я не растворяюсь в их крике, что-то — и оно меня держит. Не знаю, как назвать это «что-то»... Но оно пришло из сказок под кроватью.

Мы становимся теми, кого любим. Тревога шумной мамы-актрисы наэлектризовывала комнату, перемешиваясь с материнской нежностью, а я всё чувствовала, впитывала... И боялась, как мама.

Боялась болезней — так сильно, что вскоре стала падать в обморок. Одноклассники и учителя не знали, что это я от страха. Они думали, я чем-то болею. Я ненавидела уроки валеологии (науки о здоровье, чёрт бы её побрал!), на которых нам рассказывали про страшные заболевания. Бледнела, поднимала руку: «Можно выйти?» — выбегала из класса под дружное гоготание... Вокруг белело, чернело, ударяло в голову, хотелось прилечь, опереться, а коридор звенел и засасывал, воздух густел и качался, я дышала, дышала, плыла в искривлённом пространстве, держась за подоконник, а рядом какие-то люди говорили глухо, будто из глубоководья, и тыкали в лицо ваткой с нашатырём... А потом всё кончалось, отступало. И я шла на урок.

Болезни... а чего их бояться? А я жила и убеждалась: боюсь не напрасно. Сколько всего по телевизору передают: то эпидемия какая-нибудь новая, и марлевые повязки уже раскупили, то умер кто-то от гриппа, а ведь есть ещё СПИД, а мама говорит, надо мыть руки, везде микробы... Впрочем, решила: одолею страх! И залезла меж двух стульев с толстым медицинским справочником. В голове мутилось, кружилось, расходилось красными, жёлтыми пятнами, рваными кругами... Читала названия и описания. Вот есть панарицит. Пангипопитуитаризм, панкреатит, панникулит... Функциональная недостаточность всего, инфицирование какой-то жутко непрогнозируемой области, и вершина ужаса — бугристая родинка, внешним видом напоминающая папиллому... Оперативное вмешательство? При необходимости. Вырывалась из медицинской западни, из кровавистых терминов, пахнущих мочой... Я раскидывала стулья...

Боялась вспышки фотоаппарата. На детских фотографиях я похожа на слепого котёнка с крепко зажмуренными глазами и слипшейся чёлкой. Напрасно бедняга фотограф уговаривал взглянуть на него — я знала: фотоаппарат мог оказаться ружьём. В одной сказке так обманули волка. Сказали, что хотят сфотографировать. И застрелили. Бедный волк! Не то чтобы я всерьёз полагала, будто меня застрелят... Но когда хищный фотограф ставил нас к стенке, как перед расстрелом, я впадала в панику.

Потом мне, конечно, объяснили, что мой страх вполне рационален: по народному поверью, когда человек фотографируется, у него отбирают часть души...

Конечно, я боялась смерти.

Одни говорят, жизнь после смерти есть; другие вздыхают: нет там ничего. Миллионы лет не могут определиться. «Но я-то наверняка вычислю!» — решила я, и вставала на колени перед пыльным папиным шкафом, и искала ту самую книгу, в которой есть ответ. Ходила в библиотеку, которая стала моим храмом, где в тишине зажигала настольную лампу, пред которой преклонялась в благоговении (мама говорит: «Глаза порешишь»). Пропадала в интернет-классах: о волнительное начало электронной эры!

Я узнала о смерти многое. «Мы разноцветные души, а вообще-то просто двоичники, пришедшие на Землю, чтобы усвоить уроки», — твердили под гипнозом пациенты Майкла Ньютона из Калифорнии, и я верила ему. Этот ваш Майкл Ньютон — шарлатан, говорили другие, а ваш Монро так вообще...

«Что там?» — спросила нейрофизиолог Наталья Бехтерева умершего мужа, навестившего её во сне. Он пришёл сообщить, где лежит неизданная рукопись. «Ничего», — ответ Бехтереву удивил. Она была верующим человеком и ожидала другого. «Но из ничего нельзя прийти!» — «А вот умрёшь... узнаешь».

И мне почему-то казалось, что и из ничего прийти можно.

Зигмунд Фрейд, великий Фрейд, по заветам которого живут любители секса и подсознания, сказал, что мы не боимся смерти. Нам только кажется, что мы боимся. Дедушка Фрейд оказался хитёр — с ходу заявил: нельзя бояться того, не зная чего! Откуда ты знаешь, что такое смерть? Ты хоть раз умерал? Его идея меня поразила. Ведь действительно, я ни разу в жизни не умерала... странная мысль. Смерть у каждого своя. Кто-то боится потерять контроль над своим телом. Кто-то переживает за оставленных родных...

Моя смерть принимала разные лики. Гаража, с которого обязательно нужно спрыгнуть в сугроб, иначе они будут смеяться... Толстого медицинского справочника. Домового, каждую ночь бегущего по моей комнате.

Но папа сказал: смерти нет, есть только переход. Душа улетает и печалится лишь о том, что не докричаться до плачущих родственников, и никто не понимает, как ей хорошо. Я верила папе — не потому, что он лучше знал, а потому, что он папа.

Однако вот что странно: говоря о душе, папа беспокоился о теле. Он боялся, его будут поедать черви, и он почувствует, как они прорывают норы, проникают в гниющие мышцы, а растения цепляются корнями, впиваются, высасывают остатки тканей. Чувствовать себя от первой иллюзии бессмертия до последней съеденной клеточки

тела — каково это? Мы приходили к папе, я и Джесси, помолчать и посмотреть, как за окном ветер усиливается, облака набухают, превращаются в тяжёлые, будто беременные, тучи, синие нарывы, сплетение нервов, готовых разорваться... Папа глядел на меня с усилием — взгляд гипнотизёра под колючими густыми бровями. Он говорил: — Хочу, чтоб меня кремировали. Ты скажи маме!

Добавлял мечтательным голосом: — А пепел бросить в реку... Лучше в Енисей, я ж в Красноярске родился, хорошо бы... Но далеко. Можно и в Обь...

У папы болят ноги, и он почти всегда на диване. Обычно папы быстроходны, где-то гуляют и, если надо, дерутся. Такой папа мне бы не подошёл: бегаёт, суетится, сам не знает, чего бегаёт... Мой папа похож на дуб, в тени которого отдыхают волшебные звери. Или на мудрого удава, неповоротливого и именно потому почитаемого.

В юности папа был пловцом. После института работал в секретном городе, где получил облучение радиацией. Он с таким воодушевлением говорит это: «В секретном городе», — что сразу хочется найти этот город и туда уехать... В бедре у папы стальной протез, на рентгеновском снимке похожий на светящегося человечка: человечек склонился и молится. Впервые за много-много лет папа идёт в бассейн — боль в ногах утихла, пусть ненадолго, и папа хочет воспользоваться передышкой, ощутить воду. Как давно он не плавал! Папа в себе не сомневается, ведь у него разряд по плаванию. Привычным движением ныряет с бортика... И неожиданность: протез тащит папу ко дну. Совсем забыл про протез, цепляется за бортик, и как он мог забыть, это не его, это чужие ноги!

Вечером за столом, пахнущим сладкими духами, папа по трафарету рисует турбину, питательный насос, цирк. насос (весёлый, как в цирке), трубы, задвижки, конденсатор и генератор, красным — горячую воду, а холодную — синим: я знаю, как всё это рисуется. Потом радуется тому, что нарисовал, всем объясняет. Похоже на то, как я иногда показываю свои рисунки маме и папе. Только для папы это всё — работа.

Есть у папы и другая работа, ещё более замечательная. К папе приходят люди, много людей каждый день... В основном женщины. Перед их приходом папа накрывает стол скатертью — мама специально погладила. Бреется, моет голову и расчёсывает редкие серебристо-чёрные волосы. Заваривает чай. Выгоняет Джесси с кресла, а потом счищает шерсть, поглядывая на часы. Надевает белую рубашку, душит парфюмом с запахом сигар и зажигает три свечи... Мой папа — экстрасенс.

Он берёт маятник — сплюснутый деревянный шарик на ниточке — и через него разговаривает с Информационным Полем. Если ответ «да» —

маятник качается сверху вниз, «нет» — справа налево, но можно и наоборот.

Мама говорит: «Бакулкой трясёт».

А ещё она говорит, что если бы не папа, мы не смогли бы прожить на мамины деньги втроём.

Иногда папа проводит сеансы на расстоянии. Мне нравится смотреть. Папа вызывает незримый «фантом», читает молитву, и христианская молитва, вопреки заповедям, сопровождает колдовство. «Негативную энергию» папа стряхивает мукой на невидимого дракончика.

— Пап, он пересел! Вот сюда!

— Правда? — улыбается с недоверчивым интересом.

Конечно, что дракончик пересел, я придумала. Мне нравится, что папа слушается.

Жизнь и смерть — игра, но они, солидные люди, папины пациенты, не знают этого... Это наш с папой секрет. Мне нравится, когда они нас боятся.

Вообще, мне нравится управлять родителями. К примеру, мама боится, когда я болею.

Лежу с температурой, встану — слабею, лечь хочется... Мама заваривает лекарства, а я думаю, что настало время для эксперимента... Что я, не актриса, что ли?

Начинаю плакать и делать вид, что умираю. Мама пугается, говорит:

— Не уходи!

Внутренне торжествую...

— Куда не уходить? Я тут лежу... — притворяюсь я, будто не понимаю, «куда» она меня не отпускает.

У папы много теорий. Например, он рассказал мне, как появились люди на Земле.

Есть люди — потомки обезьян. Другие — инопланетян, прилетевших на Землю в глубокой древности. Иные — потомки тех легендарных первых людей, которых создал Бог.

Потомков обезьян узнать легко. Можно увидеть, как они кривляются на камеру в каком-нибудь телешоу или в транспорте, злые или по-глупому радостные. Бывает, обнаружат себя, когда полезут к окошечку регистратуры без очереди, обернутся — и прочтёшь во взгляде: «Мы-то вон эволюцию прошли, а ты-то чего?»

Люди-инопланетяне... Политики с прохладным взглядом, скользящим по поверхности; со странными, необъяснимыми лицами, которые хочется сдёрнуть с них, убедиться: маска! Игроки в покер, игроки в жизнь, они оказываются у окошечка регистратуры так неожиданно, что становится обидно. Видимо, прошмыгнули между ног.

Созданные Богом нелогичны и способны делать глупости. В очереди травят анекдоты, рассуждают о смысле очереди и регистратуры, жалуются на тусклость ламп и восхищаются чахлым

больничным цветочком на подоконнике. Папа полагает, в России много таких. Бог создал их по образу и подобию Своему. Глядя на них, можно решить: этот Бог был порядочным чудачком...

В каждом из нас присутствуют гены чистой, изначальной природы. Ген в человеке, божественный, инопланетный или обезьяний, передаётся от отца или от матери. Как повезёт...

Я надеюсь, что меня создал Бог.

Чечня

Всё это было слишком давно. Простите меня... Кажется, мои внутренние часы сбились и показывают неправильное время. Помню только, что однажды пошла в школу, и то были времена тёмные и страшные, забытые в самый уголок моего сознания. Времена, обитающие на краешке моего ума. Они на самой глубине, будто в другой жизни, до моего рождения. Там, где туман... Там и сейчас стоит моя школа.

Утром школа погружается в туман. Спускаешься по одной лестнице, проходишь детский садик, сбегашь по горке, ещё лесенка — и ныряешь в школу. Никто не увидит тебя, лишь тёмная фигурка проявится в тумане и скроется, школа поглотит тебя, как других детей.

Иногда мне хочется пойти в школу, и я иду туда — во сне. Наяву тоже можно, вот только я боюсь. Говорят, я молодо выгляжу, но вдруг не удастся смешаться с толпой одиннадцатиклассниц? А что, если они рассекретят меня? Дежурные потребуют сменку на лестнице, а у меня нет. Или ещё хуже — узнают, вспомнят, кто я такая...

Впрочем, и во сне мне туда не хочется. Какая-то сила гонит меня, и я иду... Прохожу по сырому голубому коридору, который кажется серым в тусклом утреннем свете, мимо библиотеки — пахнет книгами, вдоль гардероба, где по-прежнему погнута перегородка, чтобы лазать за одеждой, когда закрыто. Отчего-то тревожно, и колени дрожат. Спускаюсь вниз, а там бродят запахи, между спортзалом и столовой... В спортзале высокий потолок — взглядом не достанешь, свет льёт в огромные окна, крикнешь — ответит эхо. Скамейки, бордовые круги на стенах для метания резиновых мячиков, баскетбольные кольца.

Волнуюсь, будто что-то ищущу, будто чего-то не хватает. Раздевалки. Мужскую обхожу стороной — не дай бог перепутать, даже если там нет никого! Захожу к нам, в женскую. Спиртовой запах дезодоранта. В темноте белеет оставленный лифчик. Бегу по пустому спортзалу, звук шагов отскакивает эхом...

Теперь по коридору, мимо кабинета директора, в младшее крыло, где огромное зеркало, перед которым можно танцевать, если отменили урок, или прыгать по треугольникам на полу — играть

в «классики». На стенах красные рыбки гуппи с хитрыми глазами. Прячутся в волнистых водорослях. Спрятались, выглядывают... И тут я понимаю, что одна в школе. А так ведь не бывает... Здесь должен быть хоть кто-то... И зачем я об этом вспомнила? Ведь теперь они появятся, а я так не хочу, уже слышен их смех, они надвигаются, ещё невидимые, они уже смотрят на меня...

Я просыпаюсь в мир. А они остаются внутри.

После того, как они два раза сбросили меня с лестницы, с разбегу столкнули с доской, на которой расписание (алгебра, два русских и ненаястная физкультура—мне в лицо), а на уроке биологии вычёсывала жвачки, выдирая из косы клочки волос, и появилась эта привычка... В каждом встречном видеть мальчишку, того самого, который держал дверь и не позволял уйти домой.

Иногда мне кажется, что мальчишка по-прежнему держит дверь. И не отпускает, хотя и школы нет, и мальчишке лет тридцать. А я всё иду и иду по коридору, тёмному и запутанному, обманчивому лабиринту. В младших классах нам запрещали ходить здесь, со старшеклассниками, оттого коридор, изгибающийся, полный незримых опасностей, снился мне по ночам. Но реальность оказалась другой: вместо чудовищ из темноты на меня кидались люди.

...Из класса высовывается здоровенный детина, десятиклассник, с вечно пьяными, отёкшими голубыми глазами. Он чаще других называет меня Чечней. Меня всегда удивляло, что выглядит он взрослым, наверное, лет на двадцать.
— Чечня-я-я-а-а,— гнусаво тянет голубоглазый детина.

Его подопечные, мелкие пацаны, одобрительно смеются. Они окружают меня, как стая мелких рыбок окружает любопытное чудище. Колющие взгляды, колющие улыбки ощупывают, и я знаю, что будет дальше. Но об этом лучше не думать...

От стаи мелких подопечных отделяется один. Малой. Он с улицы, в спортивной куртке, шапка сдвинута и бесформенным мешком стоит на голове— всё как у нормальных пацанов. И лишь пакет с анимешной девочкой, сжатый в кулаке, смотрится нелепо, выдаёт что-то неуютное, интимное... Он вечно таскает с собой этот пакет. Я слышала, отец у Малого сильно пьёт.

— Ты чмо четырёхглазое. Где только таких делают, как ты? У кого на такое встанет? У собаки бешеной встанет! Да ты...

Он продолжает говорить, но смысл начинает ускользать. Оглушает хохот. Расплывается американская надпись на спортивной куртке. Рож Малого наливаются, словно созревает, и неровные красные пятна расплываются по щекам. Глазки смеются, такие маленькие, что их почти не видно на распухшей роже.

«А ведь когда-нибудь у меня будет парень,— думаю,— он подойдёт и включит свой плеер у самого уха...»

Отчего плеер? В фильмах играет музыка на этом месте— такая, что всё сразу понятно. Значит, нужен маленький плеер, чтобы музыку включить и чтоб как в фильме. А я повернусь— удивлюсь: как ты догадался, какая у меня любимая песня?

Смех затихает, разбившись на смешки и смущённые улыбки. Что может означать только одно: пришёл кто-то из учителей.

И действительно, бледная, изящная Наталья Николаевна в тёмно-зелёном платье с открытыми плечами похожа на чопорную даму из исторического фильма. Подходит совсем близко и тихо спрашивает:

— Тебя никто тут не обижает?

Я отвечаю:

— Нет,— и мне почему-то становится перед ней неудобно.

Ну не виновата же милая женщина в том, что я Чечня. «Нет»— единственный вариант ответа, а стучать не могу. Запрещает неписанный школьный дворовый кодекс. Взрослым не понять, что значит быть верной коллективу, верной в качестве изгоя. У них нет пропуска в жестокий мир подростков. Не выдали. И не выдадут никогда, сколько бы ни пытались они приблизиться к этому миру...

Напротив женского туалета тусуются неразлучные Света, Настя и Юлия. Такие одинаковые, потому что модные. Пылинки кружатся в лучах солнца у окна, оседая на короткие бархатные юбки, омывающие бёдра. Проходя мимо них, можно закрыть глаза и ощутить, как нахлынет цветочная волна— запах дешёвой туалетной воды— и зальёт хохотом. Как я хочу быть среди них— влиться в ароматную девчачью стаю, стать смехом и запахом, волной весёлого бездумного моря! Оттого, когда молюсь, перед Богом стыдно: иные ведь заказывают удачно выйти замуж или все пятёрки за четверть. Я мечтаю быть среди них, что значит— бухать во дворе, в сигаретном дыму порхать от скамейки к скамейке, задевая подолом чьи-то колени... Господи, пусть они примут меня! Богу моя просьба не нравится, и он снова её не исполняет.

Фотают на телефон новый маникюр, подставляя ногти в полосу солнца. У Светы вытянутые ногти-фисташки (щёлк-щёлк). Ноготки Юли похожи на крылья жуков, зелёные и блестящие (щёлк-щёлк), и кажется, пошевелит Юлия пальцами— они застрекочут и улетят... У Насти ногти подстрижены и не покрашены даже, и она завистливо стоит в сторонке. Зато Настя играет на фортепиано.

— Приветик,— обращаюсь к Насте.

Не слышит. Знаю почти наверняка: только делает вид. Подхожу ближе, и она отворачивается, взгляд её блуждает, будто рассматривает что-то... А ведь недавно она была моей как бы подругой...

Впрочем, понимаю её: дружить с Чечнёй опасно, Чечня заразна, будешь дружить — зараза и на тебя перейдёт, станешь как она, а хуже не бывает, не может быть, чур меня, чур!

Тихая Настя, находившаяся под Светкиным покровительством, в классе «новенькая». «Новеньких» нужно брать, пока не разобрались в жёсткой иерархии класса. Настя говорит:

— Я вообще не понимаю, почему тебя обсирают.

Краем уха я слышала, как Настя расспрашивала об этом девочек, и те спорили: одна рассказывала легенду, будто моё гонение началось с того, что однажды меня вырвало школьным завтраком на физкультуре; другая утверждала, будто в третьем классе я испортила воздух. Я не могла вспомнить ни то, ни другое.

Настя передала мне записку накануне урока труда, тайно, чтобы никто не знал о нашей связи: «Не забудь, пожалуйста, сгущёнку. Твоя подруга Настя».

Как я радовалась той записке! Настя назвала меня подругой, и я хранила записку до самого выпускного...

— Чечня, тебе правда не хочется одеться понарядней? — слышу за спиной. Светка обращается ко мне. — Они же обижают тебя. Но если бы ты старалась, ну, понимаешь...

Светка, крашенная блондинка в ажурной белой кофточке, под которой виднеется синее кружевное бельё, — из тех, кто «хочет давно помочь». Время от времени находятся люди, которые проводят со мной разговоры в надежде сделать меня «нормальной». Однажды после уроков Светка с двумя подружками заперли меня в классе. Объяснили, как стать «нормальной»: нужно сделать хвост вместо косы, которую мне заплетала мама по утрам, и надеть юбку покороче.

— Если бы меня так обсирали, — взволнованно заверила Светка, — я бы давно изменилась.

Особенно она напирала на то, что мне нужно изменить почерк — писать с наклоном не вправо, а по-модному, как у Светки, влево.

Девчонки не понимали главного. Я не могла ничего изменить. Даже если бы я сменила очки на линзы, если бы постригла и покрасила волосы, они, вечные безликие они, чьих имён я не запоминала, нашли бы за что меня дразнить.

— Нельзя привязываться к вещам, — говорю я Светке. — Главное — душа.

— А? Кто тебе сказал эту глупость?

— Так говорит моя вера.

— Ты христианка, что ли?

— Да, — отвечаю.

Пусть Светка отвяжется.

Вру, конечно. Можно было бы назвать мою веру христианством. Но это колдовство, это желание постичь тайны жизни... А потом я узнала: надо ходить в церковь, молиться и соблюдать

пост, чтобы быть христианином. Я этого не делаю. Я только верю в то, что нужно прощать врагов — и тогда будут случаться чудесные вещи, несмотря ни на что.

После уроков жду маму во дворе, чтобы вместе поехать в поликлинику к окулисту... Мама любит таскать меня по поликлиникам, выискивая новые болезни, чтобы переживать. Если бы она знала, как ко мне относятся, ей всегда было бы из-за чего переживать. Вот только я не стукачка.

Кружит стая мальчишек:

— Чечня, Чечня чеченская!

Они исчезнут, когда мама выйдет, она и не заметит ничего... На них не обижаюсь. Эти обижать не хотят, только подражают старшим — оттого, что Чечня в моде, — кричат беззлобно, весело. При-творяюсь, будто ловлю их. И у моего спектакля один-единственный зритель — древний Дед на скамейке, странный человек, которого не видела в нашем дворе прежде...

Но Дед на меня не смотрит. Он глядит не перед собой и не под ноги, а куда-то вдаль, будто видит запредельное, своё. Глубокие красно-бурые борозды-морщины изрезали вдоль и поперёк продолговатое лицо. Когда он прикрывает глаза, кажется, будто он, покачивая плешивой головой, слушает бесконечную мелодию своей жизни в невидимых наушниках. Дед то улыбается, то хмурится, причмокивая сухим ртом. И песня, которая внутри, интересней и содержательней многих современных хитов.

Когда пацаны убегают, Дед подзывает меня. «Не смотрел, но всё видел», — догадываюсь сразу. — Да-да, ты, иди-ка сюда, — сказал Дед.

Подхожу к нему, и он придвигает меня к себе так близко, что слышу шумное старческое дыхание. От него пахнет гнилью. Его рот, кажется, застыл в гримасе недовольства, но светлые глаза, полные желтоватой влаги, улыбаются... Подозреваю, его взгляд в никуда — не романтическое свойство, а старческая болезнь. Он не глядит на меня, продолжая смотреть вдаль, мимо...

Мне становится страшно. Я уверена, он сейчас начнёт меня упрекать; скажет, что не умею постояять за себя... Но говорит он другое.

— Ты, Чечня, не слушай их. Запомни: такие, как ты, идут далеко... Кто они будут, как вырастут? Бандиты! А ты учись, учись. Небось, хорошо учишься? Да они у тебя в ногах валяются будут. Знавал я такого, как ты... смеялись над ним, ещё похлеще твоих, да где они теперь? Тю-тю, нету! А он — доктор Кембриджского университета! Во как. Слушай старого деда, Чечня.

Не понимаю, отчего сумасшедший Дед произносит мою кличку как имя. От этого мне хочется расплакаться, но плакать стыдно. И я покорно жду окончания Дедовой тирады... Внутри меня что-то кружится, перемешивается, ломается, и я боюсь,

что кто-нибудь услышит наш разговор. И вместе с тем хочу, чтобы Дед говорил. И хочу, чтобы сказанное Дедом сбылось...

Прибегает мама, осыпает вопросами:

— Ты не замёрзла? Полис взяла? Ты поела?

Сама не знаю, что отвечаю, не слышу себя: да, мам, да... Ах, как бы не расплескать его слова: «Такие, как ты, идут далеко». Только правда ли это? Если бы мне каждый день говорили... Было бы легче, гораздо легче! Но слова Деда потухнут, расплещутся, развеются, потому что во мне, помимо моей воли, звенят другие слова: «Ты чмо четырёхглазое. Где только таких делают, как ты? У кого на такое встанет? У собаки бешеной...»

В лицо мне летит снег. Крупные снежные хлопья бьются о стёкла очков, и кажется, белые птицы ударяют крыльями и падают. Мне не приходится закрываться от снега, как тем, кто без очков. Снежинки облепляют волосы, выбившиеся из-под берета. Спускаюсь в переход, стёкла очков запотевают, и я ничего не вижу, бреду в тумане, натикаюсь на мокрых людей. Снежинки тают в волосах, я слизываю их, безвкусное мороженое. Наверное, глупо и вредно. Но мне нравится облизывать снег.

Вечером мы с мамой едем в замёрзшей маршрутке, и кажется, мы в бункере. Мы не знаем, где едем, и не можем посмотреть. Проковыряю пальцем лёд на окне, отковыряю кусочек тьмы. И кажется, никто не знает, когда наша остановка. Маркса... Все выходят на Маркса... Окошечко являет тьму.

Снег идёт и на следующий день, будто бы природа решила сделать людей снежно-одинаковыми, бесцветно-белыми, успокоить Новосибирск под снегом. Город спокойствия, задуманный Богом для того, чтобы пережить конец света. В Новосибирске не бывает сильных землетрясений и наводнений, а страны-соперницы нашей Родины так далеко, да и никто там о нас не думает. Но Новосибирск достаточно велик, чтобы учиться здесь и работать.

Я сижу в классе наедине с психологом и всё гляжу в окно. Мне надо бы смотреть на неё, чтобы ей казалось, что я её слышу... Но снежинки падают мохнатыми гроздьями, и мне хочется глядеть на снегопад и ни о чём не думать.

— Сколько тебе нужно друзей, чтобы почувствовать себя лучше? — приветливым голосом спрашивает психолог.

Она проходит практику в нашей школе и сама выглядит как школьница: аккуратное каре и воротничок. Наталья Николаевна сказала мне и нескольким одноклассникам: «Тесты показали, что вы отличаетесь, вы особенные, и психолог будет с вами разговаривать». Светка обиделась: «А я что, не особенная?» Так и хотелось сказать ей: «Дурочка ты, это ж такая дипломатия: нам говорят „особенные“ вместо „ненормальные“, только и всего». Заслали к нам милого психолога,

из хороших девочек, всеобщих любимиц. Занялась психологией то ли оттого, что «хотела помогать людям», то ли оттого, что смотрела Курпатова.

— Так сколько тебе нужно друзей, чтобы почувствовать себя лучше? — повторяет психолог с обиженной интонацией.

Наверное, она видит в моих глазах только снег. — Один. Достаточно одного...

Говорю — будто кричу. В конце концов, один, только один, неужели так сложно этому миру выделить мне всего одного человека? Если мир слишком плох, один человек вполне способен заменить его...

Мне нужно найти его. Одного человека...

Тучи иссякают, в них заканчивается снег. Конечно, психолог не поможет. Но скоро выпускной, а после выпускного — сразу будущее.

Под конец одиннадцатого класса от меня отстали. Контрольные и экзамены, выбор университета отвлекали; час прощания приближался, сердца размягчались, все стали ближе и будто бы дружнее, чем прежде. И меня приняли в стаю, вернее... Они будто обозначили моё место: «И эта с нами... ладно, пусть так».

На выпускном одна я не плакала. Девчонки в шелковых платьях размазывали тушь, парни на жару скидывали праздничные пиджаки, расстегивали пуговицы на рубашках и пили, не прячась уже от родителей и учителей. Малой снял футболку и пропеллером вертел над головой, выражая то ли протест, то ли радость. В сторонке обнимались злейшие враги — кланы девок, чихвостящие друг друга за глаза. Кто-то признавался в любви, забившись в угол, бессмысленно и отчаянно, как перед концом света. Мне не было до них дела... Обидным казалось то, что меня не трогает этот праздник. В розовом платье, сшитом по образу наряда Барби, под обстрелом лопающихся шариков, я сидела в стороне от всех. Мной овладевала сухая бесслёзная печаль, печаль о том, что никакой печали нет.

Я всегда ненавидела конкурсы, созданные будто бы для того, чтобы вытащить наружу мою «чеченскую» сущность — забитость. Зажать шарик между ног и прыгать с ним до горшка на стуле. Положить шарик в горшок, сесть — лопнуть попой. Закричать в сторону родителей: «Мама, я всё!» И девчонки подгибали платья, прыгали на каблуках, кто-то даже на шпильках. После этого конкурса все почему-то растрогались... «Надо собраться как-нибудь! Мы будем регулярно встречаться!» Тогда я встала и честно сказала им:

— Ни фиги. Не будем. А если встретимся... это будет ненужная встреча.

Кажется, они обиделись... Но зачем они обманывают себя?

Преодоление

Подобно многим женщинам, я приятно заблуждалась, полагая, что ищу себе парня. Женщина может думать, что она ищет мужчину. Но она ищет себя, ту самую, недостающую себя. Я искала свою вторую половинку—свою смелость и дерзость. Того, кто спустится со мной в царство теней, в Аид, где обитают мои страхи.

Помню тот вечер... Выйдя из дома, я поверила—заставила себя поверить,—что эта осенняя дорога, освещённая бледным холодным солнцем, и есть дорога моей жизни. С витрин салонов красоты на меня презрительно глядели модели: «Заходи, детка, за нашу сойдёшь». Я выбрала из них наиболее дружелюбную. А потом продала своё тело, расчётливо, как иные продают душу дьяволу.

Провалилась в мягкое кресло. В приглушённом свете мерцали зеркала и пестрели фотографии звёздных див с экзотическими причёсками. Никогда не понимала, зачем эти фотографии: ведь парикмахер вряд ли будет накручивать волосы на длинную позолоченную палочку, вить на голове гнёзда и строить пирамиды, как показано на картинках.

«Ну вот и всё,—подумалось мне.—Никто теперь не назовёт меня Чечней...»

С плеском опрокинуть голову назад, в подогретую воду...

«...И не толкнёт... не ударит...»

Поначалу непривычно больно каждый день. Когда выщипываю брови пинцетом, когда бритва ранит ноги до крови, когда в кожу впивается лечебная маска. Когда живот зудит от голода, потому что срочно надо похудеть. Красота—это больно.

Понимаю: для женщины одежда—доспехи и оружие. Чем тоньше, облегающей, тем надёжней. Острые продолговатые серьги—два клинка. Зелёная тонкая ткань обхватывает грудь и талию, сдавливает дыхание при ходьбе. И улыбка. Без улыбки никакое платье не подействует.

Первые полгода шли как полагается. Я даже усвоила правила игры с парнями и оттого стала с виду нормальной.

Нужно медлить, ждать, терпеть. Как однажды в родовых муках, так и ежедневно женщина обречена терпеть. Хлопнуть себя по руке, что тянется к телефону, чтобы набрать номер того симпатичного... Стёрла его телефон, чтоб соблазна не было. А трубку брала, считая гудки... Разве может женщина брать трубку с первого гудка? А ещё лучше—«абонент временно недоступен» и потому желанен. Или так: «Извини, я занята...» Чем? Сам решай, уж ты-то понял, чем я могу быть занята в такой солнечный, располагающий к приятным знакомствам день.

Потом нужно красиво изгибаться (а ведь не все умеют!), показывая самые женские части своего тела. Как изгибаться? Этого не объяснишь. Только

природа может подсказать, как выгибаться. Внутри встроены выгибательный механизм, эдакая внутренняя кошечка. Механизм срабатывает, когда кто-то нравится.

Я не умела красиво говорить, потому играла глазами. Прищуривалась и рассматривала понравившегося мужчину, как дотошный исследователь глядит на изучаемый объект. Мужчинам почему-то нравилось такое отношение. То, что я молчала, придавало загадочности. И когда «загадочность» замечали, старались молчать глубже и выразительней. Становилась потихоньку актрисой. Как мама.

Вскоре я обнаружила, что привлечь какого-нибудь мужчину нетрудно, какой-нибудь всегда на страже, всегда готов... Достаточно улыбаться в обтягивающем коротком платье. Не впасть в ересь моды—с её глупыми правилами и причудливыми рюшечками, а просто показать мужчине себя и своё желание... И какой-нибудь придёт. Только нужен ли он будет—какой-нибудь?

И иногда мне казалось: у меня получается. Я становилась лёгкой и уже слышала, как они обсуждают меня... «Ничего не могу поделать, меня к ней тянет...» Показалось, наверное?

А потом... Я вдруг понимала, что всё зря.

По вечерам я занималась английским.

...Опоздала: учительница уже объясняет новые выражения. Она напоминает воробья: резкий поворот головы в сторону то одного ученика, то другого, взъерошенные волосы сероватого воробьиного оттенка и весёлое русско-английское чириканье.

— «It doesn't matter». Употребляется... Вот представьте: задали вам вопрос, а отвечать неприятно на него, не хочется. И вы говорите: «Это не имеет значения». Вроде как: «Да, господа, но теперь не будем об этом...»

Смотрит на меня с насмешкой:

— Are you a beautiful girl?

Краснею. Жар обливает лицо и шею. Утыкаюсь в парту, чтобы никто не заметил, что мне стыдно. Я—не beautiful. Взрослая тётка говорит, что я—не beautiful. Чтобы быть бьютифал, я натянула синее платье, я пыталась быть похожей на них—тех, кто меня ненавидит... А дальше—как во сне, раскалённый язык еле-еле ворочается в пересохшем рту... — It doesn't matter.

...В такие дни, дни разочарований, доносила мучение до своей комнаты и кидала на чудесную мягкую кровать, широкую, в полкомнаты. Кровать заботливо приобрела мама: хотела, чтобы я спала с уютом. Я хоронила мои обиды и горести под одеялом и простынёю, поливала их слезами, и они прорастали тревожными снами.

Мне снился мой будущий муж: толстый, обрюзгий, скучный. У него жирное розовое лицо, во сне

неясное и расплывчатое — отражение в мутной, подёрнутой рябью воде. Мой муж похож на Ма-лого. Когда я вижу его, то не знаю даже, что с ним можно делать... Но симпатичного мужа Чечня не заслуживает, наверное... Мне становилось страшно.

Некрасивые люди

Они не хотели меня отпускать. Их устраивало, что я такая Чечня, а они на моём фоне красавицы. Им это нравилось. А я хотела вырваться и каждый день с упорством разорившейся проститутки отправлялась гулять по горячей, затопленной солнцем аллее в коротком отчаянно-синем платье, синий — светофор-тупик, дальше некуда. Надо мной качались деревья, задушенные новогодними гирляндами, кривые, погубленные. И я ловила, я вдыхала любое внимание — глоток воздуха в безвоздушном космосе одиночества...

— Эй, девушка, девушка! Идите сюда, девушка!

Я подошла, они засмеялись. Таких некрасивых людей я ещё не видела. Более всего остального меня поразили их зубы, кривые и гнилые, но улыбались они открыто, не стесняясь кривоизогнутых улыбок.

— Постоите с нами, девушка, давайте знакомиться.
— Вы играете на гитаре? О, и я хочу, хочу научиться играть!

— Научим, — парни оживились.

К парням прилепился местный алкаш, которого они называли Тимофеичем. Они посмеивались над ним, но любили. Он носил с собой маленькую тряпочку, брызгал её одеколоном и протирал скамейку.

— Глади, глади! Мужик место себе готовит. Ух, мужик!

Алкаш усаживался — вернее сказать, усаживал свой большой живот, — уверенно и торжественно. Сидя на бордюре, я разглядывала вмятины на лысом черепе: похоже, его голова потерпела аварию. Его майка сияла белым пятном в заплёванном дворе — и по необъяснимым причинам всегда оставалась чистой.

— Тимофеич, стоняй за пивом! — кричал кто-то из пацанов, и Тимофеич медленно подымался и шёл, будто бы был им чем-то обязан.

Потом он возвращался, пил больше всех, пьянел и рассказывал бредни.

Мне нравились рассказы Тимофеича.

— Знаете, почему страна была моя, а теперь — чужая?

— Почему, Тимофеич?

— Потому что в поездах не было этих биотуалетов американских. Были нормальные. Ссали в землю, на шпалы. Еду я, значит, в командировку в Москву. В Сибири — поссал, за Уралом — поссал... В Екатеринбург — поссал! В Ярославле, златоглавом, древнем, великом, — и там поссал! И так на всех

перегонах. Пометил территорию, как собачка, оно и понятно, вся страна мне принадлежит. Щас вон био-шмио, чисто всё... А страна-то стерильная, чужая!

— А ты с самолёта, Тимофеич! Чтоб сразу несколько городов охватить!

Заржали, а Тимофеич смущённо заулыбался.

— Правда же, она красивая? — спросил один из пацанов, ткнув в меня.

— Не ду-у-умаю, — лениво отозвался другой.

— Да лан, ничё так тёлка.

Пацан потрогал мои волосы, тихо проговорил: — Мягче, чем у Светки, — и оглядел меня, как рассматривают лошадей, которую собираются купить.

Пацаны, не стесняясь, обсуждали меня, разглядывали, измеряли взглядами, тянули руки... Тогда мне это казалось диким. Этого ли я хотела? На мгновение представила себя со стороны... Как видит меня... да вот хоть эта женщина, выходящая с ребёнком из подъезда. «Шпана. И шалава какая-то с ними...» Неужели именно этого я хотела? ...А почему бы и нет?

Господи, как мне хотелось, чтобы меня приняли они — грубые, непонятные, пьяные!

В седьмом классе, когда я за последней партой делала вид, что читаю учебник, они сбегали с уроков, чтобы ширнуться где-нибудь в подъезде, зажать девчонку, а девчонка уже гордилась своим «опытом», носила в себе взрослое знание, что так нелегко даётся...

—...Эй, девушка!

Тимофеич выкатил на середину улицы огромное пузо и припарковал его между «Ниссаном» и «Ладой».

— Пойдём со мной. До дома провожу. Где ты живёшь? Там?

— Куда? Не хочу, хочу к ребятам!

— Не надо тебе... к ним, — сказал Тимофеич.

Он смотрел на меня замученным взглядом, будто умолял о чём-то...

— Попросили меня выпроводить тебя. Понимаешь? Ну хоть что-то ты должна понимать в этой жизни?

Мне стало обидно. Неужели я не понимаю вообще ничего?... Неужели?..

Тренинг

По-прежнему жду. Со страхом и робкой надеждой, что не сбудется, что будет по-другому... Когда же в универе надо мной начнут смеяться? Когда появятся они, безликие, колющие взглядами, — из ниоткуда, будто бы порождённые тёмным коридором? Заглядываю в глаза, пытаюсь разглядеть заговор, вслушиваюсь и, кажется, улавливаю фальшь... Играю в «нормальную девчонку». Они вроде бы верят. Не угадывают во мне Чечню. Неужели при-творяются? Чтобы было не так страшно выдать

себя, болтаю с воображаемым другом Богданом на парах—конечно, в уме и, надеюсь, незаметно для остальных.

Богдан живёт в колпачке от ручки, чтоб удобно с собой носить. Начнут снова или оставят в покое? Как думаешь, Богдан?

— Ты молодец. Давай подойдём к тем девочкам и будем с ними разговаривать. Ты не хочешь? Почему?

— Богдан, я боюсь людей. Мне бы хотелось стать бабочкой.

— Дура! Мир—это борьба. В природе все друг друга жрут. И слабые погибают. Ты будешь бабочкой—тебя так же сожрут, как здесь. Только быстрее.

— Значит, слабые должны умирать! Должны. Они правильно меня обсирали...

— После всего, что было, ты живёшь. Значит, ты сильная.

— Ты врёшь мне, Богдан. За это я тебя и люблю...

Я прикладываю колпачок к уху, как маленькую ракушку, и слушаю, как в нём плещется чернильное море.

Я поступила на психологию. Не для того, чтобы помогать людям... Просто мне показалось: психология—это наука о чудесах. Психологи говорят, что даже некрасивая девушка может найти парня, если полюбит себя и предпримет определённые, предписанные наукой действия. Правда, здорово? Представляешь, Богдан, они обещают, что достичь счастья можно! Достаточно лишь соблюдать правила.

Увы, на первом курсе—одна теория. Мне хочется поскорее что-нибудь сделать, чего-нибудь добиться, достичь. Я жажду практики. Потому-то и поехала на «тренинги». Вот спросите меня: что это? Да я и сама не знаю, что это... Но практика будет, может, научусь работать с людьми, но главное не это! Важно, что здесь, на тренингах, много парней.

Поехала я именно из-за них.

Я вырвалась в яркое лето... Такого лета больше не случилось в моей жизни.

...Мы живём в домиках, в лагере, оставшемся с советских времён. Мне кажется, все детские лагеря—такие. На полу букеты с серпом и молотом, в столовую мы идём по талончикам, которые, кажется, лежали на складе с советских времён—пожелтевшие, выцветшие, едва разберёшь на них слово «обед».

С девяти до часу мы учимся, потом отдыхаем, едим, снова учимся... Ходим к морю, здесь Обское море недалеко, на берегу его стоят заброшенные корабли. Странно учиться, а потом спускаться к морю; я так привыкла, что море бывает только на

каникулах, а здесь учусь—и сразу море. Несопоставимое с реальностью море, как во сне. Ночью выхожу на берег и топчусь на плотном влажном песке, пока не замерзают ноги, а над морем висит луна красного цвета. Если луна бывает красной, то, может быть, и меня кто-нибудь полюбит?

Бегу в лес, усыпанный светлячками, от которых исходит слабое, призрачное свечение. Деревья шелестят, мерцают, как будто Новый год, и хочется идти дальше и дальше... Но нужно быть осторожнее. Если найду глубже, куда не достаёт свет лагерьного фонаря,—потеряюсь. Ловлю светлячка, ожидая, что маленький жучок погаснет и выпорхнет. И здесь сюрприз! На моей ладони не жучок, а червяк. В сказках были жучки-светлячки, а светящихся червей не было. Ещё одно чудо на моём счету.

...На тренинге много парней, и я тщеславно считаю, сколько из них обратили на меня внимание. Шесть.

Ну-ну, пустите козла в огород.

Я им всем улыбаюсь. Уже научилась не говорить «нет», если можно сказать «может быть»...

А ещё я гуляю с Сашей. Саша—программист. Саша и разговаривает как программист—в нос, будто бубнит в банку, приставленную ко рту. Может, программисты бессознательно подражают голосу своего лучшего друга—компьютера? Мой Саша—электронный.

Мы уходим в поле, в непостижимое поле, где горизонт—настоящий, округлая линия Земли, и проливается закат, не сдерживаемый ничем, красный, огромный, заливая всё небо. В поле затаеваю с Сашей игру, в неё меня научил играть папа, и я играла в неё потом со всеми близкими мужчинами. Мы разглядываем облака, разгадываем их...

— Это облако похоже на Мясню, которая ест огромный бутерброд!

— Я вижу девушку, вон там! С волосами такими дли-и-инными...

— Ага... А вон то облако—Пегас! Видишь, у него верблюжья голова?

— Что прямо между двумя маленькими?

— Да... Смотри! Твоя девушка превращается в ведьму...

Лицо девушки искорёживается, плывёт, к нему припарковывается маленькое облачко—корявый носик ведьмы. Наш разговор продолжается и продолжается, мы глядим на изменяющийся мир облаков, мы творим его сами, находим новые и новые образы... Нам ничего не нужно, чтобы интересно проводить время,—ни фильмов, ни книг, ни приключений. Только небо и фантазия. Саша целует меня в щёку, и вместо того чтобы целоваться с ним, я прыгаю ему на шею и повисаю, как маленькая девочка!

— Какая ты всё-таки клёвая,—говорит Саша.

«И жить бы с тобой, и умереть бы с тобой, играя в эту дурацкую детскую игру...»

Я знаю, что после окончания тренингов мы свернём небо, как скатерть после праздника. Саша уедет в свой город и, может, научит какую-нибудь другую милую девочку играть в облака.

Я не умею выбирать людей. Кого встречу, с тем и дружу. На тренинге познакомилась с двумя женщинами, пятидесятилетними подружками. Хотя теперь понимаю... Надо было бежать, бежать от их общения! Ещё тогда, когда я впервые заметила Танины блондинистые волосы, неудачно оттенявшие коричневую дряблую кожу. Рядом сидела низенькая Вера с вечно сжатыми губами, серьёзная, она находилась под сенью здоровенной Тани, Татьяны, щедро кидающей длинные руки в выразительных жестах.

— А где ты учишься? — спросила Таня со вниманием.

Я рассказала. Таня заманивала меня в ловушку. Слушала, склонив голову, — привычный интерес профессионального психотерапевта. Но я, наивная, верила, что у неё, пятидесятилетней женщины, могут быть со мной общие интересы.

Правда, разговор с ними складывался интересный. Мы говорили о психологии — на первом курсе я уже кое-что знала, а сколько я ждала от науки о чудесах! Таня и Вера заканчивали второе высшее, и мне было что спросить у них.

Таня рассказала местное предание о том, как один психотерапевт отправился в цыганский табор — хотел сразиться, кто кого загипнотизирует. Друзья-психологи ждали вестей с фронта, держали за него кулачки. Прошло три дня, и психотерапевт объявился, говорил скудно и сбивчиво... И вообще складывалось впечатление, что он только проснулся. Описывал каких-то серебряных птиц, какие-то сады и изгибающиеся фонари... Только пустой кошелёк служил намёком на то, что его обокрали.

Я говорила о тестах творческих способностей, почему-то тема творчества меня волновала. Вот тест Торренса, к примеру, — редкостная чушь. Дай тебе загадулина, и тебе надо её дорисовать, чтобы получилась внятная картинка. И как считаются баллы. Снаружи пририсовал — ноль баллов. Внутри — один балл, снаружи и внутри — два балла.

А если я концептуалист и не нарисую ничего? Напишу: «Вопрос без ответа и есть ответ».

Или я абстракционист, а нарисую нечто такое, что психологам не понять, а оценят лишь потомки?

А может, я настолько творческая, что изрисую стол... и пол, и стены, и весь кабинет — оставлю нетронутым лишь листик с заданием?

Таня сказала:

— Да, я понимаю твои чувства. Но обычно так не делают...

И вообще... Таня, Вера, психология вас не испортила? Вам не страшно, что психологи пугающе нормальны? Они знают правила и живут по ним. Им не заглянуть в первородную бездну...

— Да не волнуйся ты, — сказала Таня, наклонив голову, как внимательный терапевт. — Есть мнение, что в психологию идут за решением личных проблем. И кто их разрешил, из психологии уходят.

Вон из психологии, Вера и Таня! Я надеюсь, вы разрешили все проблемы и попали в какую-нибудь свою нирвану (нирвана стареющей бабы: чай, телевизор, любящий муж). Ещё тогда мне нужно было настрожиться. Когда я увидела, как вы поёте о своей боли, как вы распеваете её...

Тогда я была в паре с лохматым Андреем, который почему-то думал, что он волк, и носил готическую футболку с волчьей пастью. Взмахивал спутанной шевелюрой и крался по лагерю, пригнувшись и оглядываясь.

Нам дали задание кричать — выкрикивать злость и петь печаль.

Ушли подальше, в лес, чтобы не мешать участникам криками, нашли полянку. Андрей был первым, а я должна была его подстраховывать.

Он глянул куда-то ввысь невидящими глазами и... завыл. Андрей встал на четвереньки, чем меня напугал, хотя я знала, конечно, что он волк. Но я-то надеялась, он шутит... Он выл, прикрывая глаза, будто бы дремал, и дышал тяжело и часто, затем взглянул на меня... Я отпрянула. Увидела, как густые чёрные брови сходятся посредине и нечеловеческие глаза с огромными зрачками глядят на меня; а может, мне показалось, что они такие огромные... — Выведи меня... — тихо проговорил он.

Но я стояла и не могла пошевелиться. Андрей выл, закатив глаза, и я не могла понять, плохо ему или хорошо и как мне надо его «выводить». Заунывный вой, приятный и щемящий, как песня. Пой, одинокий волк!

— Выведи... Выведи меня! — закричал Андрей и начал бить себя по щекам.

Я испугалась. Толкнула его. Потом ударила по лицу. Ещё. Ещё. Я била его от испуга... Я впервые в жизни была парня!

— Ещё немного... и я бы не вернулся!

Андрей глядел на меня с испуганным укором.

Был у нас один, который не вернулся. Ночью шатался по коридорам и выл возле моей комнаты. Во сне мне чудилось, будто дверь приоткрывается, и сквозняк заносит сумасшедшего ко мне, и вот он у моей кровати...

Тренеры успокаивали:

— Всё нормально. Он просто ушёл в другой мир, когда остановил внутренний диалог.

— Ничё себе — нормально! — возмущались участницы.

А потом я подслушала разговор тренеров в столовой. Они говорили:

— Вообще-то многие, кто тренировки посещают, мечтают попасть туда... Туда, где он сейчас. Этого и добиваются—оказаться по ту сторону, любой человек хочет туда, прочь от своего ума, рациональности, назад, в глубину...

И я закричала... Сдавленно, а потом вдруг свободно, лишь на мгновение, но я успела увидеть. Вспышка! Цвета вдруг сделались яркими, зелёная крона берёз вспыхнула надо мной, в листе промелькнули кусочки неба—ярко-голубые ранения...

И я вспомнила. Мир когда-то был таким. Ярким. Он был таким до того, как они стали надо мной смеяться, был таким несколько лет моей жизни—мир, который хочется обнять.

Тяжёлая крышка откинулась и показала свежий мир на мгновение, я вдохнула его... И крышка—захлопнулась.

Мы шли молча. Вернулись в зал, где обычно проходили занятия, и застали Таню и Веру, выполнявших упражнение.

— А-а-а-а-а-а...— пели они.

Меня в тот миг их пение возмутило. Почему они не кричат и не воют, а тихонечко тянут, как в церковном хоре? Как им не стыдно не иметь собственного страдания?! Мысль странная, логически не обоснованная... Но они обе показались мне фальшивыми и ненастоящими, мои пятидесятилетние подружки!

— Я почувствовала что-то,—заметила Таня.—Здесь,—показала себе на грудь.

— А чё так тихо-то? Пе-е-енсию не выдали,—пошутил Андрей.

Я расхохоталась над шуткой про пенсию, и мне показалось, что Таня и Вера заметили мой смех и взглянули злобно...

Крик разбудил лавину.

Пришла к морю и села на бревно, зарыла ноги в сырой песок, омываемый волнами. Над морем сверкали молнии, они отражались, и море переливалось голубыми всполохами. Вдыхала прохладный воздух и чувствовала, как он проникает в меня, как разгоняет он мои мысли, падающие камнями с горы, обрушивающиеся на меня без предупреждения...

Странно... Каждую ночь мне снится один и тот же сон. Только летом, именно в июле, а зимой не снится... Будто я выхожу замуж, в белом платье иду по зелёному коридору, но не могу разглядеть лицо жениха, хотя очень хочется...

Снова молния—озарение, вижу со стороны, будто кино смотрю. Лето, дача, девчачье платьице

на загорелом теле, пахнущем горячим песком, звенящий умывальник, бабочки на гвоздиках садятся одна на другую—пирамида трепещущих капустниц. Мама говорит, что бабочки так играют. Потом Дура узнает, что капустницы на гвоздике размножаются, она сама поймёт, додумается в один день—и возненавидит этих вредителей на целое лето! Но пока бабочки прекрасны, и из срубленной берёзы сочится сок. «Берёзовый сок, его можно пить»,—говорят взрослые, а Дура думает: «Сок из берёзы, удивительно»,—но ей жаль берёзу, с неё падали светло-зелёные гусеницы с щекощущими лапками, цепляющимися кожу, Дура пыталась кормить их листьями, а они не ели... Почему? Ведь в природе они едят листья! А если посадить гусеницу в банку, получится куколка, а потом бабочка? Дура читала, что бабочка вылупляется из куколки рано утром, пока все спят, наверное, чтобы никто не видел. Это ведь... тайна. Этих тайн в природе—«до хрена», как взрослые говорят. И всё-таки жаль берёзу, она была такой высокой, будто пальма, ни за что не дотянуться, и там, в вышине, откуда падали гусеницы, а иногда паучки, что-то происходило... Тайна. Мама говорит, она «давала тень, для огорода плохо»... Пришлось срубить, и теперь сочится этот странный липкий прозрачный сок; Дура не знает, хочет ли его попробовать. Она попробует его, когда станет взрослой: купит пластиковую бутылку с надписью «Берёзовый сок», но то будет не тот сок... Дура разочаруется.

И вот когда срубили берёзу, тогда-то и появились соседские мальчишки, которые воруют малину. Они кричали: «Дура! Дура!»—но только когда мама не видела, а так они прятались за домом, выжидали. Заметили Дуру, которая качалась на качелях из досок, выкрашенных голубой облупленной краской, которую так приятно трогать, сдирать, хрустеть ею. Мальчишки пришли, пока мама и папа ходили в деревню за молоком. Дура вырастет, и молока больше не будет, потому в деревне никто не захочет держать коров, но до того пройдёт вечность.

— Как тебя зовут? Пойдём, у нас дома конфеты. Канарейку покажем и наших рыб.

Камера приближается. Я слишком хорошо помню, я не в силах сопротивляться и оказываюсь там, чувствую даже, как щекощет ноздри травяной запах и давят камушки в босоножках, иду по зелёному гороховому коридору, с обеих сторон—стены из вьющегося гороха, выше роста, удивительно! Мы идём бесконечно долго и выходим на огромную поляну к рыбам и канарейке. Сначала я не замечаю рыб. Рыбы плавают в бассейне—серебристые стрелы мечутся туда-сюда, изредка с плеском показывается серый хвост, но самих рыб всё равно не видно. Мальчишки говорят, что иногда они вылавливают рыб и жарят. Мне их жалко...

— Хочешь увидеть, какие они? Сегодня поймали.
— Спасибо, не хочу. Простите, но я б не стала жарить своих рыб,— отвечаю.

Мама приучила к вежливости.

Звенит колокольчик. Оборачиваюсь: на крыльце в клетке прыгает жёлтая канарейка, вертлявая тварь. Она бьёт в колокольчик тонким клювом: дин-нь! дин-н-нь! Бьёт упорно, настырная!

— Пойдём к нам...

В маленькой влажной комнате стены из брёвен, на столе разбросаны газеты, на потолке разводы, и один из них напоминает пятно на лысине Горбачёва, и я смотрю на него, смотрю в потолок — как в телевизор. А дальше...

Не помню, что дальше.

Моё подсознание знает: нельзя, чтобы мальчики трогали так до свадьбы. Нельзя так делать без свадьбы... Надо выйти замуж в белом платье, в природе много тайн и разлита нежность, белая нежность — она для вечности, для бесконечного воспроизводства подобных себе... И потому это платье, похуже на трепещущие крылья капустниц, на душистую лилию, сияющую в ночи, будто сшитую из белого бархата... Оно пахнет деревенским молоком. И что-то рвётся внутри меня, и вместо крови течёт из меня нежность, берёзовый сок, весенний, чистый...

Я открываю глаза и вижу Веру.

— Пойдём к нам,— говорит Вера непривычным голосом — непривычным, потому что говорит она редко.

Я гляжу на её худую фигуру, сгорбленные плечи, мешки под глазами. «Неживая,— проносится в голове.— Её прислала Таня». И мне совсем, совсем не хочется идти, хотя ноги уже подмерзают, дождь капает, и пора возвращаться...

Не хочется, но почему-то я иду.

Они ведь тоже говорили: «Пойдём к нам». Но какая связь может быть между изнасилованием Дуры и Верой?

— Промокли?— Таня задаёт дежурный вопрос.

Если бы это не было невежливо, я бы её послала. У меня вдруг начинает болеть голова, будто что-то тяжёлое давит, и так не хочется, неохота...

— Я давно хочу помочь тебе...

— Правда?

Они насиловали меня два часа. Психологически. Они учили меня жизни, говорили, что давно хотят помочь, расхваливали, будто я нуждалась в их похвале. У меня красивые волосы, когда я распустила хвост, все прям ахнули, но я же вижу, как ко мне относятся, что они смеются, смеются надо мной, обсуждают меня, но это ничего, не переживай... Главное — высокий рост.

— Если б у меня была такая фигура, знаешь, что бы я сделала, как бы я воспользовалась своей фигурой? — спрашивает маленькая Вера.

Силюсь, растягиваю губы в улыбке. Слушаю с ученическим вниманием, как на уроке. Их слова падают на меня, падают, и раскалывается закатное небо, разваливается Масяня с её бутербродом, Пегас с верблюжьей головой убегает от меня, и все мои облакокожи, облакослоны и облакозайцы теряют обличья. Не любит меня никто! Таня и Вера говорят уверенно, против них не попрёшь, они разгадали меня... Я, Чечня, хочу быть как надо — красивой, смелой, общительной. Но я не могу...

Они показывают мне свои цветные порошки, пудры, тени, трясут своими щёточками, заглядывая в глаза. И я не замечаю, как я уже сижу у окна и меня красят. Неужели закат не считается, неужели те шестеро парней, которых я сосчитала, не проявляли симпатии, а... посмеялись? Ведь невозможно знать наверняка, смеются они или нет. Вдруг Таня и Вера говорят правду, которую я не хочу видеть?

Они накрасили меня превосходно; девочки были в восторге, говорили потом: «Ты накрасься как тогда» (думали, я сама накрасилась). Их комплименты воспринимала как оскорбления.

В последний день над нами пролетела стая чёрных птиц. Они летели минут десять и всё не кончались. Будто кто-то вылил птиц в небо, и они утекали... Я стояла и смотрела. Чёрные птицы шумно текли по небу. А потом птицы кончились, настала ночь, и было так спокойно, будто птицы унесли что-то плохое, чёрное. Я заснула и не видела снов.

«Дорогие Таня и Вера!

Пишет вам... с летнего тренинга. Помните меня? ☺

Вы учитесь на психолога! Значит, кому, как не вам, понять меня?!

Но для начала расскажу, как это произошло — из моей карты (которая, как известно, не территория ☺).

Однажды я заметила, что Таня хочет со мной познакомиться, проявляет интерес, заговаривает со мной. «Она тоже учится на психолога, — подумала я. — И поэтому общается со мной — общие интересы».

Но потом — не помню, как это случилось, но я очутилась в вашей комнате. Вы говорили мне следующее. «У тебя есть мальчик? Нет? А можешь представить его где-нибудь здесь, в пространстве? — проводила с ходу терапию Таня. — Ты должна стать охотницей, должна привлечь мальчика, чтоб он захотел, чтобы именно эта девочка была девочкой его! Знаешь... иногда достаточно подкрасить глаза — совсем другой облик! У тебя ведь много «плюсов»: рост, волосы...» Ну, Таня берёт в руки свои волшебные инструменты — и мои

глазки заискрились от продуманного макияжа, девочкам понравилось... К чёрту!

Знаете, в тот день я рыдала. Я сбежала с занятий. Я кинулась в номер, упала на кровать...

Я никому и не рассказала о своих переживаниях, ни маме, ни друзьям. Пошла умыться, кто-то из ребят подошёл, стал успокаивать, обнял, под дыхание моё подстраивается: не плачь, не плачь...

Я понимала: мне делают больно, мне намекают, что я некрасивая и никому не нравлюсь, меня хотят переделать! Я вообще ничего не понимала! Я и сейчас не понимаю: почему меня считают некрасивой? Я вижу в зеркале нормальную симпатичную девушку!!! Почему кто-то так не считает?

Мне кажется, на меня обращают внимание молодые люди. И я дружила с парнем из Омска. Мы вместе встречали закат, да. Я не понимаю, что мне надо менять в моей внешности. Я рада бы менять, но не вижу изъянов. Я ощущаю какую-то безвыходность, как будто Таня и Вера сказали мне, как в сказке: „Пойди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что“. Мне кажется, что я ничем не отличаюсь от других девчонок, что я абсолютно нормальна и могу понравиться! Но другие так не считают, и меня это бесит. Затем и мне тоже начинает казаться, что я некрасивая, и я думаю об этом, думаю, думаю, думаю... И меня это бесит ещё больше!

Вы обратились ко мне так, как будто я впервые слышу, что можно нравиться парням... впервые слышу, что парня надо привлечь...

И ещё кажется мне, что это проекция (знаете такое умное слово из психологии? 😊). Будем честными: Вера увидела во мне свои проблемы.

Скажите мне, что не так в моей внешности, я готова к изменениям, если это нужно. А то смотрю на себя в зеркало и вижу, что вроде всё в порядке.

Ответьте, прошу! Пишите ответ на этот же адрес. Пишу только Вере, т.к. не уверена в правильности записанного мною Таниного адреса... Вера, покажите Тане моё письмо, пожалуйста...»

Знаете, где-то в моём подсознании я до сих пор жду их ответ.

Влад

Однажды, сидя на краешке ума, того женского ума, который не верит насмешкам и лентам новостей, а верит лишь подкроватным сказкам, я встретила Влада. Он сидел напротив за столом в киноклубе, куда я попала случайно — даже не помню, как именно, — и кормил игрушечную крысу, которую называл Люсей:

— Кушай, Люся, не слушай их.

«Ага, это же центр творческого развития... А он из этих... творческих».

Лёгкий и принимающий любую роль, Влад заявился ко мне весь и сразу, вечным путешественником: большой рюкзак, термос с чаем, пенки.

Любил ночевать у знакомых, а утром уходить к другим знакомым, по дороге договариваясь о встрече с третьими... Никогда не проводил ритуалов приветствия — и всегда казалось, что он здесь уже несколько часов. Приходил неожиданно. Исчезал — и не оставлял ни слов, ни бесконечных мыслей по спирали... Не было послевкусия — бессонницы, переходящей в бред, и этих представлений, смакований: что сказал, как посмотрел, взял за руку... Оставлял лишь приятную пустоту, из которой я скатывалась в сновидения — с горки в мягкий снег. Это Влад научил меня падать в снег, когда раскидываю руки и, расслабившись, падаю назад. А потом лежу, глядя в тихое зимнее небо, и мы молчим, пока не становится холодно. Снежинки падают за воротник и колются, маленькие ледяные иголки.

Казалось, в нём вовсе не было глубины, усложняющей и запутывающей, но разве неглубокая чистая речка чем-то хуже мутного моря? Я выбрала речку — и это было именно то, чего мне не хватало. Морем была я.

Влад был музыкантом, играл на тромбоне. Правда, он совсем не походил на тромбониста — его худое, почти девичье тело мне нравилось, но ведь духовики обычно набирают вес, им нужно много тела, чтобы дуть в инструмент...

Отношения с музыкой у Влада начинались причудливо. Его отдали на тромбон из-за болезни. Мама Влада думала, что занятия на духовом инструменте помогут избавить её сына от астмы, развить «дыхалку». Но случилось так, что тромбон стал для Влада не просто терапией. Как расстроился папа Влада, когда узнал о решении сына поступить в музыкальный колледж! Музыка — это же несерьёзно, на инструментах же играют, как дети... Две недели папа Влада ходил со сжатыми кулаками и твердил: «Это твоё решение! Это твоё решение!»

Антон Владимирович хотел, чтобы его сын поступил на технический факультет. «Человек, который знает, что делает», — звучал его девиз. Перед Новым годом мы ходили вокруг новогодней ёлки, и папа нагибался, показывал игрушки, старые, невзрачные игрушки времён своей молодости, они светились приглушённым скромным светом: «А это спутник. Вот такие делали игрушки в Союзе...»

Стеклянный золотистый спутник оттягивал ветку, папа Влада трогал его большими красными пальцами. Он не знал, о чём со мной разговаривать, а я немного боялась его, большого, белоснежного человека, который всю жизнь знал, что делает, — ни одного неверного шага, ни единой ошибки или неточности. Техник...

И у его сына Влада было то, что отличало его от других. Особенно в русской культуре... Влад больше действовал, чем говорил. Он просто брал и

делал, без рассуждений, раздумий, философствований... Действие было таким же естественным побуждением для Влада, как для большинства моих знакомых—болтовня.

Когда Влад пришёл ко мне, он попробовал все предметы, которые ему подвернулись. Потрогал сосульки люстры, завёл ключиком пластмассового мышонка с микрофоном, дёрнул струны гитары— проверил, строит ли, даже попробовал, удобна ли кровать, попрыгал на ней. Как ребёнок.

Влад поступил в колледж и сразу организовал группу. Он занимался каждый день, и занятия для него были куда важнее встреч со мной... Его стал мучить унизительный зуд неопределённости. Музыкальные успехи измерить трудно— нет прибора, весов таланта, амперметра силы, градусника эмоциональности. Остаётся надеяться на то, что скажет учитель, но что он говорит? Вечные слова ободрения, в них меньше правды, чем в восторженных отзывах друзей.

Нашли Владу весёлого учителя, сумевшего привить любовь к занятиям. Как у любого профессионала, у Ивана Петровича Нонкина имела авторская методика. Она представляла собой смесь армейских привычек и жизнелюбия. Спина Нонкина не сгибалась: в неё будто бы был вставлен стальной позвоночник, какой бывает у людей, прошедших армию. За чаем с клубничным вареньем я с удовольствием слушала про Ивана Петровича.

Он мог подойти к Владу сзади и начать трясти его за плечи. Когда Влад спрашивал, зачем он это делает, отвечал:

— Привыкай, в электричке всегда так трясти будет.

А когда сначала Влад играл хорошо, а потом плохо, Нонкин замечал:

— Что, в первых вагонах, значит, нужно хорошо играть, а в последних плохо? Нет уж, во всех вагонах играй одинаково!

Иногда Влад делал ошибку, и Нонкин заставлял его отжиматься десять раз. Но это только в те хмурые дни, когда в Нонкине побеждало армейское, суровое начало. С Владом училась смуглая растрёпанная Машка, она играла плохо. Её не заставляли отжиматься— за неё отжимался Влад. Нонкин считал: пусть стыдно будет.

Когда Влад говорил, что хочет поехать в Москву, чтобы продолжить обучение музыке в Гнесинке, Нонкин возражал:

— В Москве те ещё учителя. Научат тебя играть оперу Глинки «Хрен на льдинке».

Ему вовсе не хотелось прощаться с учеником, который решил податься туда, откуда, по слухам, не возвращаются.

Влад понял, что боится дышать. Приступы астмы никогда не случались во время концерта, но ощущение, будто что-то может произойти там, внутри, отказать, как отказывает автомобильный движок, подвести в решительный момент,— это

ощущение не покидало. Влад стал играть робко и тихо, занятия стали для него обязанностью, работой, не игрой. Уставал, жаловался...

— Ради чего это всё?— спрашивал Влад, придя домой после репетиции оркестра,— уставший, почти больной, с отголосками фальши труб и криком дирижёра, до сих пор звеневшими в ушах, тишины, тишины...— Они орут на меня! Говорят, я не занимаюсь ни фига, надо заниматься... Ради чего, блин, всё это?

Я молчала.

— Разве что ради самой музыки,— отвечал Влад себе.

Вышка

Влад ведёт меня к вышке через поле. Где-то внизу река, и над ней летят мотыльки, целое нашествие, тысячи, а может, миллионы мотыльков, полупрозрачных и нескладных. Ударяются о фонари, ломают крылья, и падают в грязь, и сгнивают. Дух гниющих мотыльков заполняет улицы, проникает по ночам в открытые окна. Сзади нас нарастает рёв, мы оглядываемся, луч приближающегося мотоцикла освещает лицо, и мотыльки нападают на меня. Я закрываю глаза, ощущая тысячи лёгких ударов, похожих на прикосновения пальцев. От неожиданности смеюсь...

Вышка находится между станцией и дачным посёлком, и к ней направляются сигналы, бесчисленное множество сигналов... В телефонных беседах дачники и городские обсуждают тайны и бытовые подробности, дачные любовные интрижки разрешаются СМС-сообщением. Мы невольно доверяем секреты антенне, стальной кракозябре, для которой наши мысли— лишь цепочка нулей и единиц... В ночи холодная вышка различает наши голоса.

В какой-то милой, приятной книжке читала: давным-давно красна девица, обнимая берёзку, шептала ей девичьи секреты, а добрый молодец доверял лихие помыслы попутному ветру. Теперь всё по-новому: мы разговариваем с железом... Отправляем голоса в чисто поле, где они, пойманые вышкой, сливаются в бессмысленный цифровой шум.

К вышке мы идём, чтобы совершить обряд. Не знаю, как оно будет... Мне кажется, сегодня я стану женой Влада. Я готова к венчанию, только одета наоборот— не белое платье, а болотно-зелёная роба.

— Белую куртку нельзя, в темноте заметно,— объясняет Влад.

Мы полезем на самый верх. До меня у Влада было тринадцать девушек, и каждую он сводил на вышку. Оттого, когда он лезет наверх, то вспоминает то одну, то другую— и в голове всё сладко перемешивается. Я буду четырнадцатой.

— Они сами меня бросали,— говорит Влад.— Я не обращался с ними как должно.

Но я Дура и оттого не знаю, как должно. Кажется, в этом мире парни дарят девушкам цветы. Я слышала, водят в кино. И, наверное, что-то ещё. Мне не рассказали подружки, потому что у меня не было подруг.

— Но ты-то меня не бросишь,— улыбался он.

Я так радуюсь оттого, что похожа на Влада, незаметного Влада-хамелеона. Нам многие говорят, что мы похожи, оттого что отражаем друг друга, как два зеркала, бесконечно отражаем, как самые близкие люди. Если два зеркала бесконечно отразят друг друга, что получится? Сияющая зеркальная пустота и бесконечность.

Как предвкушала я этот момент, как ждала! Помню, с каким восторгом Влад рассказывал про вышку. Когда мы только познакомились—были страшно старомодны: болтали по телефону по несколько часов, устанавливая рекорд. Самое большее—шесть часов душевного разговора. Мы бродили по комнате, читали друг другу книги, иногда молчали в трубку, но и в молчании было хорошо. Я ловила себя на том, что инстинктивно глазу трубку, будто Влад сидит внутри.

— Сидишь ты наверху и видишь станции за много километров... И так там спокойно-спокойно, как никогда прежде не было, представляешь?

В Интернете говорят: лазать на вышку—вредно, и излучение наверху может привести к разным болезням... Даже к импотенции. Но не хочу их слушать, потому мы начинаем подъём...

Влад лезет молча и очень быстро, едва поспеваю... На мгновенье Влад приостанавливается, и я за ним, но этого хватает, чтобы глянуть вниз, через решётку вышки. Страшно... Слишком высоко забралась! Прислушиваюсь и понимаю: да, страшно, но где-то внутри, глубоко—сладость головокружильная... И всё же хочется закрыть глаза и понять, что это просто сон, закричать, чтобы проснуться. Но это не сон. Ноги тяжелеют, будто притягиваются магнитами к железным ступеням, игибаются. Руки потеют. Влад хватается за руку. Меня перекашивает, прижимаюсь к вышке всем телом, будто так легче удержаться... Держи меня, вышка, держи... Вдавливаю ноги, руки сжимаю, готова схватиться зубами.

— Влад... У меня руки скользят.

— Возьми,— отдаёт кожаные перчатки-беспальцовки.

Главное—не смотреть. Вот я падаю вниз... Стоп. Мысли, стоп! Не представлять. И всё же—вот я падаю... Гадаю, как бы зацепиться, жалею, три мгновенья сожалений, нет... не, не, не, не представлять!!!

— Вла-а-ад!

...Если бы я могла видеть, о чём думает Влад... Судорожное движение, мысли мчатся в его голове, как машины в игрушке «ГТА», в которую проиграл всю неделю, сбивают и перегоняют друг друга.

Девушка боится, силой не затащишь. И как ты её заставишь?

Из глубины, со дна, стряхивая мутный ил обрывков, всплывает картинка и становится чётче, объёмней... Будто не из жизни, в жизни такого не было, а откуда-то из мира грёз и сладких обещаний, из фильма... Точно. Из фильма. Внизу проклятый океан, кипящая лава, пропасть, ох как страшно смотреть туда! Она перегибается через перекладину... Он подхватывает Её, и время останавливается... Влад целует меня. Успокаивает, гладит, но ноги мои сгибаются в коленях, и я приседаю... Романтические фразы—холостые заряды, но Влад хочет, чтоб как в фильме. Лепечет нежное, от страха не разбираю что...

И где-то в фильмомире я, окрылённая поцелуем, уже карабкаюсь наверх, поближе к небу.

А где-то здесь не происходит ничего. Только в глазах начинает темнеть, как тогда, на уроке валеологии, будто бы заражена болезнью падения, падучей болезнью, от которой падаю-у-у-у... нет. Не представлять. Не. Не надо. Господи, помоги! Отче наш, иже еси, я больше не буду колдовать, обещаю, только помоги удержаться, обещаю, не буду запретное узнавать, не положено, блин, блин, мат приходит в голову, вместо молитвы—мат, мат вместо молитвы, мысли, как их контролировать?... Да святится имя Твое, да придет мотылёк, белый-белый, Господи, несчастный, бьётся о воздух, упругий воздух... Белое рябит, похожее на мотыльков, трепещут, бьются—это помехи, помехи, как в телевизоре, откуда их столько, чёртовы мотыльки, они шепчут, шепчут, звенят в ушах, ну я же обещаю, Господи, только дай удержаться, дай удержаться, блин, ненавижу, как контролировать мысли, как?.. — Эй, наверху! А ну-ка слазьте!

Кажется, нас заметили.

Спускаюсь на дрожащих ногах, цепляюсь скользкими руками. Теперь моё тело отдельно, наблюдаю будто со стороны, будто онемела... И мои ноги сами доносят меня до земли, спасибо им.

Подвыпившие мужички пошатываются, морщусь от пивного запаха, чувствую их отвратительную близость, меня передёргивает. Скрипнула кожаная куртка, в свете фонаря—маленькие белёсые волосики, торчащие из солевой головы. Мужики тычут фонарём мне в лицо.

— Девка!—гогочут они.—Это девка!

И мотыльки, стражники тьмы и покоя, нападают, лезут в глаза и бьют по щекам, щекочут, и я жмурюсь, закрываю лицо ладонями. Мужики ржут. Мы убегаем, избитые маленькими мотыльками, и Влад кричит:

— Предательница! Все мои девушки залезали! Ты одна не залезла! Это всё из-за тебя!

Мне становится по-настоящему страшно, потому что мне кажется, я не прошла испытания и Влад сейчас меня бросит. Но теперь я знаю, что

если он уйдёт, для меня ничего не изменится. Потому что я приду сюда снова, буду приходить и приходить, пока не одолею высоту, пока не залезу на вышку.

Во второй раз я залезла на вышку зимой. Когда умер папа.

Папа заболел неожиданно. Его увезли в больницу. Он не любил врачей, не верил им. Это из-за них у него болели ноги — неудачная операция; во всяком случае, он так думал. «Никогда не соглашайся на операции», — говорил папа. Мама говорила, чтобы я никогда не поднимала тяжести, потому что однажды она подняла тяжёлую сумку, и у неё опустилась почка. . . Ещё говорила, чтобы я никогда не становилась актрисой. . . Я поднимала голову и видела свод родительских «никогда», высокий и непробиваемый, закрывающий солнце.

Под наркозом во время операции папа вдруг проснулся. . . Закричал и рванул. Они убивали его, в развевающихся белых халатах, озлобленные, вооружённые шприцами, скальпелями, изощрёнными орудиями пытки. . . Он кричал, как обычно кричал во сне, это и был сон, слишком похожий на реальность, или реальность, напоминающая сон, наркоз стёр границы.

Рассказывал, как его хотели убить, рассуждал долго и с обидой. . . После операции дрожал и бредил, говорил, что ему звонил брат, и спрашивал, где моя синяя папка, которая только что была в руках. . . Меня поразило другое. «А, это тот капризный дедушка», — сказала медсестра тоном, которым говорила обо всех пациентах. Никто не называл моего папу капризным дедушкой, все почтители его, он был — необыкновенный. . .

Я сделала открытие. То, что я считала удивительным, — лишь отражение времени. Папа стал экстрасенсом, однажды подержавшись за металлические палочки, измерив биоэнергетическое поле специальным прибором и поверив, что оно действительно сильное, его поле. . . Он лишь отразил поток разрешённой эзотерики, хлынувший в Россию после перестройки. А те, кто пропагандировал в моей школе «индивидуальность», кто хотел «быть не таким, как все». . . Они лишь отражения антисоветских настроений.

После больницы меня ждал Влад. С ним я была счастлива, несмотря на папину болезнь. Папа прожил ещё год, но всё уже кончилось. После операции это был другой папа, не сочинявший теорий и не болтавший о Боге за завтраком, о том обыденном и простецком Боге, который был только у нас с папой. Я подумала, что душа уже ушла из него. . . А потом он умер по-настоящему.

Мы плыли в мерцанье свечей, в болезненном полумраке среди цветов и свечей. Я подошла к нему, вырвавшись из слёзной пелены, мутного

тумана, окутывающего сумеречную комнату. Все плакали, а мне было не до того. Мне нужно было понять, что передо мной. . . Как странно: папа лежал такой же, как и на диване, мне даже начало казаться, что он дышит. Он спал. . . И мы, в чёрных одеждах и с восковыми свечами в руках, будто бы сторожили его сон. Только ссохшаяся кожа и заострённый нос выдавали мертвеца. Хаотично, с детским интересом трогала ледяные руки, и родственники смотрели с тревогой: что со мной? Не схожу ли я с ума от горя? Нет. . . Детский интерес охватил меня, и я решила ощупать папу, мне хотелось исследовать его, мёртвого: когда ещё представится такая возможность? В гробу лежал скукоженный кокон, высвободивший бабочку. Вроде бы папа, а вроде уже и нет. Слёзная пелена подбиралась и ко мне, наступала, рыдания сливались, побуждая присоединиться. Вот только если бы я заплакала, то предала бы мою веру, себя. . . Я думала: кто верит — не должен плакать.

И только когда они начали закапывать, захотелось кинуться и крикнуть: «Нет! Не закапывайте папу!» — но волевой рычаг повернулся, и включился охлаждающий разум. Всё нормально. Он мёртв.

При жизни он не мог знать, что его воля неосуществима. Не знал, что если стоит протез, нельзя кремировать, иначе железяка вылетит и повредит внутренности кремационной печи. Можно, конечно, расковырять тело, вынуть протез, зашить обратно. Но героев-хирургов, готовых к подвигу, не нашлось. Оказывается, они лечат только живых. . .

— . . . Если ты здесь, включи свет.

Не отвечает. Только фортепиано отзывается чуть слышным звоном. Когда вещи собраны, комната кажется опустевшей. Потом, когда буду возвращаться из Москвы, мне будет казаться, что моя комната без меня зарастает: это мама обставляет её комнатными цветами. . .

— Мы же договаривались! Дай мне знак.

Молчит.

— Слушай, я уезжаю в Москву. Я сказала маме, что Влад поступает и я поеду за ним. На самом деле я еду не только за ним. . . Еду по твоим следам. Ты жил в Москве, и в Петербурге, и в Павлодаре, и где-то на Севере. . . Еду, потому что хочу быть как ты. Хочу, чтобы мои мысли летали высоко. . . Куда не достанет страх. Они смеялись, и я почти их простила. . . А теперь я хочу смеяться над ними. Над всеми, как делал это ты!

Папа молчит.

Это был мой последний день в Новосибирске перед переездом в Москву.

Я ехала на дачу в безлюдном вагоне, и пустота сочилась из замороженных окон. По старой нашей с Владом традиции подтолкнула электричку, когда та тронулась. И угасающая томная нота — звук

уходящего поезда—повисла, долго не решаясь оборваться...

Отравленная вагонной пустотой, я шла по полю и, расстегнув куртку, не ощущала холода. А в тишине шуршал прекрасный сибирский снег. Побывав в Москве, я пойму, что снег этот—дороже золота. Моя вышка терялась в чёрно-синем небе, и манил красный огонёк. Вдох-выдох, бьётся сердце, в голове звенит до полуобморока. Тихо снаружи, оглушительно внутри. Разливается чернота, и я почти не вижу своих рук в перчатках. Обхватываю холодную липкую железку, наступаю тяжёлым походным ботинком...

Лезу. Уже не ради Влада. Но и не ради себя—скорее вопреки.

Прислушалась... Паники вроде нет.

Тридцать или около того ступеней... И вот я над миром, над цифровым миром. Вокруг—неслышимые голоса далёких абонентов, стремящихся соединиться, сигналы, сигналы... Одна над лесом, над пустыми дачами, погребённым под снегом урожаем—чьими-то надеждами, над ледяной рекой, над Змеиной горкой... Но ничего не вижу: река сливается с дорогой, горка—с небом, стволы деревьев липнут к крышам. Мир закатывается в пластилиновый ком и сминается, остаются только холодные перекладины, руки в перчатках, и ноги ищут опору, чтоб не угодить в пустоту.

Я читала: после смерти близкого человека раздавался звонок, и родной голос в трубке—покойник звонил с того света. Неужто всё—галлюцинации поверженного смертью сознания? А если нет?... Как? Неужели вот так, как я,—сливаясь с темнотой, становясь ничем, цифрой, нулём или единицей, ловя сигналы в чёрную паутину перекрёстов вышки и направляя их далее, чтобы дотянуться до живого, трепещущего в покинутом мире... ушедшие сидят на сотовых вышках? Души их жадно ловят сигналы, они пытаются поймать наши живые голоса... Папа, ты здесь?

Лезу.

Страшно ли мне? Конечно, страшно, но руки держат пока, хоть колени дрожат.

Главное—не знать, сколько осталось, не смотреть вниз, не глядеть вверх. Не так высоко, как кажется...

Наконец толкаю незапертый люк головой—и оказываюсь на краю пропасти. Вот она, моя пропасть. Где оборвались телефонные провода, по которым шёл сигнал, когда я звонила в «телефон доверия». Где замер свободный звериный крик, оставшись мышинным писком. Здесь, на площадке над миром, шумит ветер. Стою в красном свете, в вытоптанном кружке в снегу, держась за перила. Фонарь трепещет и шелестит, как крылья бабочки, а потом гаснет—это приходит Темнота. Не слышу её голос, но чувствую. Зря всё это—беседы с психологами, буквы, посыпающие мою голову типографским пеплом: «Как обрести уверенность в себе», «Как заводить друзей и притягивать к себе людей». Темнота снизошла до меня, она вызвала меня на разговор. Из Темноты возникают голоса—их голоса, моих абонентов. Чей-то утешительный голос: «Глупенькая! Всё же прошло. Всё давно позади. Как можно грузиться так долго?» Если бы я сама знала—как, почему чёрная вселенная, пропасть... «Ты себя накручиваешь!»—голос Влада. «Тебя кто-нибудь обижал?»—спрашивает, как в детстве, мама. Откуда эти голоса? И странная песенка: «Темнота под боком, я одна под Богом, но их так много...» «Чечня!» «Дура-а-а, дура-дура-дура-а-а!» «Чечня, тебе не хочется одеться понаряднее?» «Где только таких делают, как ты?» Темнота готова принять меня на чёрные крылья, унести туда, где не больно. Голоса затихнут. Страдание пройдёт. Писк никогда не станет криком, потому что и не должен... Делаю шаг вперёд, над огромным уснувшим лесом, над миром, боязливо вцепившись в перила, вспугнув вспорхнувший снег. Взмахиваю руками, будто собираюсь полететь, но вновь выходит всплеск отчаяния. Видишь, я ничего не могу, даже взмахнуть воображаемыми крыльями. Оттого они и смеются. Видишь, Темнота? Я по-прежнему боюсь, значит, мне хочется жить, и нужно дожидаться рассвета...

Елена Крюкова

Рай

Окончание. Начало в №3/2015

Месяц шестой

Зверь

В своих странствиях по Раю человеческий маленький зверь зашёл в царство зверей.

Маленький зверёк жил и рос, и ему оказались нужны собратья.

Наполненный звериной силой и звериной нежностью, он, с закрытыми глазами, искал родных зверей—тех, в том ярились животная ярость и первобытная отвага.

Человечий зверь уже много чего мог и умел. Он умел зорко видеть; ясно слышать. Мог безошибочно осязать и наслаждаться вкусом.

Человечьи нежные зубы обнажали зверьи зубы. Кровь всё живее, всё веселее текла по сосудам, опьяняя жаждой—урвать, угрызть, напасть, вознзить, закогтить, присвоить.

Он умел отдавать нежность, но ему хотелось присвоить страсть.

Первые толчки страсти изнутри сердца пугали. Человечий зверёныш не мог справиться с этим. Он хотел спрятать голову себе под мышку, чтобы схорониться, успокоиться, не выходить на простор великой охоты, стать снова крошечным, мирным и беззащитным. Напрасно! Страсть рвала ему жилы: связанный дикий зверь рвал пути. Сердце пылало: его, изловленную дичь, жарят на костре.

Вкус! Вкус крови на губах! Вкус добычи и победы! И даже вкус голода, что разрывает изнутри голодно звенящие, гремящие рёбра!

Зверь перекатывался через голову, катался по серебряной, тускло блестящей в молочном тумане кровеносной траве; он рычал от наслаждения, от счастья жить, и он никогда не хотел рождаться, а значит, умирать. Ему никто ещё не объяснил, что вслед за смертью и болью, после прохождения через узкий чёрный костяной, деревянный лаз, наступят новый вдох и новая радость. Зверь хотел навек остаться в родном серебряном лесу. Прятаться в родные тёплые норы. Пить родное сладкое молоко. Качаться на родных алых лианах.

И засыпать как привык—в родном легчайшем гамаке, сотканном из перевитых тонких красных живых нитей.

Зверь любил двигаться.

Он полюбил бежать без оглядки, а потом сто-рожкой возвращаться, прядая ушами, внимательно глядя вокруг.

Он узнал, что такое бег, и влюбился в него. Вперёд! Ещё! Устремляться! Догонять!

Кого он хотел догнать? Куда бежал? А разве это было так важно?

В беге важен сам бег. В дороге важна сама дорога. Зачем живут звери и люди? Рыбы и птицы? Осознавая себя или не осознавая, любя или ненавидя, спасаясь от опасности или безоглядно идя навстречу ей, мы все двигаемся. Движение—заклятье. Мы не освободимся от него. Мы обречены на него, но мы неистово, всем сердцем любим свою вечную казнь.

И да, мы двигаемся вечно—зачинаясь и рожда-ясь вновь, убегая вдаль по дороге жизни, умирая и распадаясь на новые частицы, мы продолжаем двигаться. Мы не останавливаемся никогда.

И зверёныш не останавливался.

Он чуял: остановка—смерть. Он не должен замирать. Должен биться, рваться, кататься, бежать, ползти. Вперёд. Только вперёд.

И подгибаются все четыре твои сильные, полные свежей крови, тёплые лапы. И падаешь ты на бок. Твой бок беззащитен. В него можно выстрелить. Твоё горло беззащитно. Тебя можно задушить. С тобой сейчас можно сделать всё что хочешь. Но ты лежишь. И смотришь на свою любовь, зверь. На ту любовь, до которой ты всё-таки добежал.

Плод

Мир наплывал на него картинками, которые он не видел. Но он уже различал цвета и линии, пятна и плоскости, вспышки и кляксы. Бесформенные потоки цвета и света становились ярко горящими звёздами, и он глядел на них сквозь заросли красных водорослей.

Мир вещей плотно соприкасался в его внутреннем видении с миром теней.

Он знал, что мир невидимый гораздо интереснее того, что его ждёт, и этот мир населён подвижными, как ртуть, тенями. Тени меняли очертания.

Перемещались. Плыли. Уплывали. Вспыхивали и мотались, переливались огнями, потом угасали, становясь серыми, бесцветными, печальными.

Тени плавали вне его, и он не знал—в околоплодном пузыре или на воле, там, где жила и дышала мать. Они обнимали его и водили вокруг него хороводы. Плод пытался поймать их ручонками, растопыренными пальчиками. Они ускользали. Когда же плод закрывал глаза и готовился ко сну, они сами прилетали к нему, обступали его, веяли над ним то мышино-серыми, то солнечно-золотыми крыльями.

Однажды ему перед сном явилась Луна. Он не знал, что это Луна, но ясно видел её. Она возникла как яркая вспышка прямо перед его глазами. А может, она вышла изнутри его серого прозрачного мозга, из чаши его головы. Он не знал. Круглостью она повторяла его головку. Висела в пространстве и смотрела на него серебряным ярким ликом. Лунное лицо стало сначала голубым, потом синим, потом разгорелось оранжевым и пылало густо-алым. Тени танцевали вокруг неё. Плод застыл. Ему не хотелось двигаться. Он нахмурился. Скосил глаза под выпуклыми, похожими на сливины веками. Состроил гримасу. Луна не ответила ему. Не искривила уродливо прекрасное, спокойное и холодное лицо. Плод дёрнулся всем тельцем и протянул к Луне руки. Тени разошлись в стороны. Луна осталась висеть перед ним одна, одинокая.

И он заплакал оттого, что она тоже одна, как и он у матери, и сейчас уйдёт. Уплывёт.

Луна и правда медленно и важно уплыла, как большая круглая рыба.

Плод ещё долго видел, как Луна висит рядом с животом матери. Продолжает ярко светиться, гореть.

Потом земля убежала в сторону, и плод перестал Луну видеть.

Близнецы

Ливень убаюкивал. Мерный шум растворял в себе.

Сквозь серебряную шелестящую занавесь прорвался незнакомый звук. Будто за окном плакал ребёнок. Руди во сне пошевелилась, крепче прижала чуткую руку к животу. Когда просыпалась, ей почудилось: ребёнок уже родился, и это он плачет.

Она повернулась на бок, и в это время раздался звон разбитого стекла.

В комнату, где она спала, из окна шлёпнулось что-то мягкое и тяжёлое.

И что-то костяное, лёгкое коротко клацнуло об пол.

Она проснулась мгновенно. Как и не спала. Охранительный инстинкт сразу раскрыл глаза и насторожил миг назад дремлющий мозг.

Рывком села в постели. Звякнули пружины панцирной сетки.

Перед ней стоял волк.

Руди смотрела на волка. Мысли летели стремительно. Исчезали мгновенно.

«Прыгнуть. Нет! Закутаться в одеяло. Нет!»

Нож. Вот он. Рядом. Под боком.

«Кожа толстая. Шерсть густая. Нож тупой. Ударить сильно!»

Схватила нож. Занесла над головой.

Волк зарычал. Присел на задние лапы.

Потом выпрямился. Сделал стойку. Вытянул хвост. Сморщил щёки и нос и оскалил клыки. Угрожал. Усы слегка дрожали. Руди видела мокрый светло-коричневый нос и яркие жёлтые медовые глаза. Уши прижаты. Шерсть топорщится. С хвоста свисает клоками. Голодный.

Всё. Ей пришёл конец.

Волк слегка приоткрыл пасть. Руди увидела жёлтые зубы. Одного клыка не было. Нижнего.

«Старый. Зубы выпадают. Может, и справлюсь».

Зверь вытянул к ней морду и опять тонко, противно и длинно завыл, как заплакал.

«Так вот кто плакал за окном. А я думала, мой ребёнок родился и плачет».

Она не успела подумать: он уже никогда не родится. Волк прыгнул и ударил её лапами в грудь. Тянул оскаленную морду, пытаясь добраться до её горла. В момент прыжка зверя Руди выбросила вперёд руку с ножом, а другой рукой судорожно, цепко схватила волка за загривок. Нож скользнул по морде волка и врезался в его плоть между пушистой щекой и напряжённой шеей. Руди ударила сильно. Вошёл нож глубоко или не слишком, она не знала. Волк захрипел. Навалился на неё телом. Когти.

Они оба упали на пол и покатались. Руди обняла волка, как обнимала бы мужчину. Ей показалось: у неё внезапно выросли зубы, и это она сейчас перегрызёт волку глотку, а не он ей.

Катались по полу. Руди кряхтела. Волк рычал. Зверю удалось повалить её на спину. Он снова сунул башку к её горлу. Она защитилась рукой. Он прокусил её руку, и она страшно закричала и выронила нож.

Нож покатился по наклонному полу: летний домик осел на сгнивший деревянный столб, затрещал, накренился. Руди лежала на спине. Волк нависал над ней сверху. Она смотрела на него снизу вверх.

«Всё. Это смерть. Мой ребёнок!»

Она видела прямо над собой жёлтые холодные волчьи глаза.

Почему она начала говорить с ним, как с человеком?

— Постой. Погоди. Не надо.

Лежала под голодным зверем, видела, как из его пасти капает ей на грудь слюна.

— Не надо меня убивать. Не ешь меня. Я мать. Слышишь?! Я мать!

Подняла руку.

«Сейчас откусит. Один миг».

Коснулась рукой головы волка.

Медленно вела ладонью по шерсти. По лбу. По уху. По бело-серой торчащей защёчной жёсткой щётке.

Волк изумлённо застыл. Ощущал человеческую ласку.

Руди ласкала голову волка, как гладила бы мужчину в любви.

В любви, которой она не знала. Не узнала.

Язык из пасти зверя свешивался набок. Над языком поднимался лёгкий призрачный парок. Волк повёл глазами вниз. Перевёл взгляд с глаз Руди на её живот.

Живот шевелился.

Ребёнок, почуяв смерть, выиграл у Руди в животе.

Он прыгал и бодался. Живот ходил ходуном. Поднимался горой. Опадал. И опять вспучивался то там, то сям.

«Бешенствует. Не хочет умирать. Не хочет!»

— Это мой волчонок. Я тоже волчица. Я хочу его родить!

Волк слушал, наклонив голову. Ухо дрогнуло, встало, прежде прижатое. Насторожилось. Ловило тёплые вибрации голоса.

— Ты мой милый. Ты мой хороший. Мой зверь,— Руди держала руку на затылке волка.— Ты не будешь меня загрызать. Ты пощадишь меня.

Волк шумно обнюхал её шевелящийся живот. — Пощади меня!

Зарычал. Махнул лапой, ковырнул когтями облезлый дощатый пол.

— Пожалей!

Рычание усилилось. Потом стало стихать. Руди подняла другую руку. Взяла круглую морду волка в свои руки, как брала бы лицо человека.

— Пожалуйста...

Волк не глядел ей в глаза. Он глядел на её живот.

Как человек.

Проникал светлой желтизной голодных глаз внутрь её чрева.

— Милый, хороший... волченька... прошу тебя... ты же умница... ты же не будешь меня есть...

Она продолжала говорить, заговаривать его. Голос хрипел, сходил на нет, а потом опять про-являлся, как призрачные фигуры на старой фотографии.

— Не тронешь меня... не тронешь... не тронешь...

Морда волка стала расплываться перед ней, будто бы она и впрямь глядела на старую, пожелтевшую в альбоме от многолетнего лежания фотографию: стоит зверь, пасть открыл, вроде как улыбается. Она ловила свои мысли—вдруг они стали распадаться на части, рваться на лоскутья, вырываться из-под её лобных костей, исчезать, улетать. Волк стоял или падал? Она не понимала.

Волк перестал рычать. Хрипло выдохнул. Женщина всё продолжала говорить, бормотать и гладить воздух. Волк припал на передние лапы. Широко зевнул. Склонил тяжёлую голову набок. Голова падала вниз медленной, поросшей шерстью гирей. Руди лежала на полу и снизу вверх глядела на волка. Он вытягивал лапы. Ложился перед ней на пол. Лёг. Вытянулся весь. Оголодавшее, отощавшее тело почти с неё ростом. Ребрастые бока поднялись и опали: зверь длинно и тяжело вздохнул. Из пасти вырвался прогорклый, вонючий горячий воздух. Волк закрыл пасть. Открыл опять. Через зубы наружу свешивался розовый наждачный язык.

«Как у собаки».

Это была её первая мысль. Она витала над пустотой, над её безумной пустой головой, как малая невесомая птица, и Руди всё повторяла про себя: как у собаки, как у собаки.

«Он лёг рядом со мной. Как мужчина».

Волк лежал рядом с ней. Прел теплом своего тела её тело.

«Какая горячая шерсть. Как хорошо греет».

Она, не сознавая, что делает, прижалась к волку боком, животом. Он не отпрянул. Она прижалась сильнее. И он сильнее, крепче прижался к ней.

Так лежали рядом, прижимаясь боками.

Руди обрела способность удивляться.

Приказала себе: не удивляйся ничему. Иначе спугнёшь.

Кого? Что? Волка? Себя? Удачу? Эту секунду?

«Такое не повторится больше никогда, никогда».

Лежали. Прижимались. Зверь и человек.

«А может, я мать этому волку. Или жена. Он во мне волчицу чувствует».

Углы губы Руди чуть растянулись. Она боялась улыбнуться.

Ей казалось: её улыбка произведёт шум, и лежащий волк рассердится и снова оскалит клыки.

«У него нет одного клыка. Бедненький».

Она уже умалишённо жалела его.

Первым шевельнулся волк. Он поднял голову, лежал, вытянув передние лапы и слегка поджав задние, с поднятой головой и внимательно смотрел на Руди.

Руди не шевелилась.

Шевелился и играл её живот.

Ребёнок, чувствуя волка, сквозь тонкую кожу живота играл со зверем.

Зверь косился на дышащий живот. Зрачки то сужались, то расширялись. Потом взял и положил на живот женщины тяжёлую серо-жёлтую морду.

Руди смотрела, не двигаясь.

«У него морда будто присыпана грязным снегом. Весенняя линька? Такая расцветка?»

Мысли появлялись и бестолково толклись, как мошкара.

Волк всё сильнее давил головой на живот Руди. Она положила обе руки ему на голову.

«Чёрт, он совсем как овчарка. Домашний».

— Не раздави моего ребёночка... слышишь?..

Волк встопорщил уши. Шевелил ими. Вздёрнул голову. Поднял морду отвесно вверх. Тоненько, жалобно, как щенок, завыл. Потом вой резко пополз вниз, упал, загустел, гудел угрожающе, тоскливо. А потом опять взмыл и истончился до волоса, до нити.

— Ну что ты так плачешь?.. Не надо...

Волк выл над ней, над её не рождённым ребёнком.

«Так воют над покойником. Может, я уже умерла и мне всё это снится в ином мире?»

Руди подняла руку и выставила её ладонью вперёд. Волк понял и прекратил выть.

Встал на передние лапы. Потом на задние. Стоял на всех четырёх лапах перед ней, лежащей. Встряхнулся. Во все стороны полетела серая жёсткая шерсть.

И попятился.

Он медленно, осторожно, будто бы у Руди в руках тряслось ружьё и она могла его подстрелить, пятился к окну, откуда прыгнул в комнату. Руди увидела у волка на боках полосы тёмной крови.

«Когда прыгал в окно, оцарапался о разбитое стекло».

Она снова пожалела его, как жалела бы своего пса. Волк оттолкнулся задними лапами и вспрыгнул на подоконник. Руди, косясь на окно, видела лишь волчий серый силуэт. Серый, как волчья шерсть, утренний свет. Кислое молоко рассвета. Дикая зверь стоит в белом квадрате разбитого окна. Он её не загрыз. Он сейчас уйдёт.

Она не запомнила миг, как и когда волк выпрыгнул в окно. Только услышала шорох и звон стекла.

Дом вырос внезапно, как гриб после дождя. Один. Единственный.

Ступени лестницы закрипели. Кто-то спускался робко и медленно. Потом ноги затопали быстрее, и человек скатился с лестницы, шумя, грубо грохоча башмаками.

Руди думала, откроет дверь мужчина, дюжий и ражий.

Открыла худая долговязая девушка. Чёлка до бровей. Тонкий острый нос. Похожа на лису. Тонкие губы поджаты. Смерила Руди взглядом.

Ничего не спрашивая, посторонилась.

И Руди, поняв жест, вошла, и плод у неё в животе перевернулся, играя.

Они поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж. В плохо освещённом коридоре Руди запнулась, едва не упала через кучу мусора. Подобрала юбку. Девушка с чёлкой толкнула дверь рукой.

Комната ударила Руди в нос забытым запахом. Она раздула ноздри. Кофе? Да, кофе! Но что-то ещё. Она вдыхала воздух и выдыхала, пока не поняла, что это: сандал.

В пустой маленькой бутылке из-под пива тлела сандаловая палочка.

На ободранном коврике, скрестив ноги, сидела другая девушка. Грела руки о чашку с кофе. Она обернулась, и Руди чуть не вскрикнула. Точная копия той, что открыла дверь. Такая же чёлка. Такой же хитрый лисий нос. Такие же плотно сжатые тонкие губы. Такой же поджарый живот.

Обе девушки — в абсолютно одинаковых светлых грязных джинсах. Только майки разные. У той, что открыла дверь, красная. У сидящей и пьющей кофе — чёрная.

«Близняшки. Так безумно похожи. Одно лицо».

Пьющая кофе жестом показала Руди на пол: садись.

Она села, не отрывая глаз от чёрной майки.

На груди шевелился, приподнимался дыханием рисунок: круг, в круге точка.

— Абсолют, — подала голос чёрная майка, показав на рисунок пальцем.

Руди кивнула, ничего не понимая. Понимать было нечего. Она в доме, и здесь тепло, и здесь люди. И, кажется, они её не убьют.

— Издалека? — спросила красная майка, усаживаясь рядом с чёрной на коврик.

Руди села на голый пол. Красная налила в щербатую чашку кофе из большой медной джезвы. Плеснула в другую чашку. Вылила остатки, с гущей. — И на тебя хватило. Бери. Горячий. Сахар любишь? Вон фруктовый, валяя вприкуску.

Красная кивнула на стеклянную вазочку на полу. В ней лежали куски коричневого фруктового сахара. Руди осторожно взяла один, надкусила. Она так давно не ела сладкого. Ребёнок в ней разыграл от удовольствия. Она положила руку на живот, успокаивая его бурный восторг.

— Ну у тебя и брюхо, — покосилась чёрная. — На сносях?

Руди отхлебнула кофе. Пососала сахар.

— Ещё нет. Шесть месяцев. А может, семь уже. У меня нет календаря. Считаю приблизительно.

Молчали, прихлёбывали кофе.

— Пойду наберу воды, ещё сделаю, — сказа красная и исчезла.

Чёрная, положив ладони на торчащие врозь колени, исподлобья глянула на Руди.

— И где рожать думаешь? У нас хочешь остаться? Не выйдет.

— Я дальше пойду.

— Понятно. Случайно забрела?

— Иду издалека.

— Вон оно что.

Сандаловая палочка догорела. Чёрная изогнула тонкую гибкую спину, пошарила сзади себя,

вытащила узкую, в виде трубы, коробку. Встряхнула.

— Какой запах любишь? Иланг-иланг? Камфору? Эвкалипт? А может, пачули?

— Поставь пачули,—донёсся из-за спины Руди голос красной.— Возбуждает.

— Да,—согласилась чёрная.— Хотя до ночи,—подняла глаза на красную,— далеко.

Руди переводила взгляд с одной на другую, а девушки обменивались странными взглядами. Так кошки в темноте смотрят друг на друга.

Чёрная щёлкнула зажигалкой. Палочка с ароматом пачулей загорелась, белое пламя на её конце вспыхнуло и осело, придавленное пальцами чёрной, превратилось в тусклый алый огонёк.

Чёрная вытащила из-за пазухи сломанную сигарету. Раскурила.

— Хочешь есть.

Это прозвучало не вопросом, а утверждением.

Чёрная дымила ей в лицо. Руди помотала головой.

— У меня кое-что с собой. Могу и вас угостить.

Спустила с плеч лямки рюкзака.

— Вываливай. Поглядим, какая ты щедрая.

Красная искривила губы. Чёрная следила, как Руди роется в рюкзаке. Двигала сигарету языком из угла в угол рта.

«Зря я похвасталась. Не так уж и много у меня сейчас еды». Спасибо той лавчонке в заброшенном селе. Там, кроме юбки и джинсов, она поживилась ещё тремя банками сгущёнки, банкой индийского кофе, двумя палками копчёной колбасы, мешочком сухарей и куском заплесневелого сыра.

— Вот, смотрите, сыр.

— Да уж видим!

Чёрная выплонула на пол окурков, раздавила ногой. Глаза её зверино загорелись.

— Ладно, дай сюда! Плесень срежем! Что ещё?

— Кофе у меня тоже есть! Индийский!

Чёрная быстро и грубо выхватила у неё банку из рук.

— Нам кстати! У нас на исходе! Индия, супер, Восток мы любим! Ещё?

Руди вытащила из рюкзака банку сгущёнки. Чёрная ухватила за края рюкзака и одним сильным движением вывалила всю провизию на пол. — Не жмись! Всё показывай! Ага, понятно! Негусто, но продержимся!

«Всё. Это конец. Они отняли у меня всё. А своего ничего не показали. И, кроме кофе, не дадут ничего».

Слишком поздно она поняла, что её ограбили. Но её никто пока не выгонял. Газовая плита стояла тут же, в комнате. Красная взяла банку кофе Руди, встала с коврика, подошла к плите, зажгла синий венчик газа. Газовый баллон маячил за плитой.

«А света у них нет, лампочки в люстре все разбиты».

Чёрная проследила за взглядом Руди.

— Да, с электричеством плохи дела. И, думаю, не только у нас. Тут рядом была высоковольтная линия. Грозой оборвало провода. Тут знаешь какие грозы! И ураганы не редкость. Сейчас кофе попьём со сгущёнкой! Вкусно!

Руди с тоской глядела, как ловко красная открывает консервным ножом банку. Как насыпает кофе в джезvu.

— Молотый, отлично. Растворимый не люблю. Химия.

— Я тоже не люблю,—кивнула чёрная.

«Они и любят-то всё одинаково. И ненавидят одинаково. Близнецы».

Руди уже задремала, когда в её непрочный, как паутина, сон ворвались придушенные крики и сдавленные стоны. Она открыла глаза. Не шевелилась. Слушала. Стоны доносились сбоку, с матраца. Она осторожно повернула голову.

Голые близнецы лежали на матраце друг на друге. Такие одинаковые, не различить, кто сверху— красная или чёрная. Теперь они были не чёрная и красная; нагота уравнила их безукоризненно, абсолютно. Абсолют. Рисунок на майке. Точка в круге. Круг— вагина, точка— клитор. А может, так: матка и зародыш.

Они не зародят друг в друге жизнь. Они только будут стараться прибежать к наслаждению, а оно, подразнив их, всё будет ускользать и ускользать.

Та, что лежала сверху, чуть сползла вниз. Пальцы её ног коснулись пола. Она припала ртом к груди той, что лежала под ней. Лежащая навзничь раскинула руки, отвернула лицо и громко застонала. Они совсем не стеснялись её. Они просто не думали о ней! Она была для них обеих хуже вещи!

Руди привстала на полу. Глядела. Перед ней впервые, наяву, не в порнофильме, две девушки ласкали, кусали и гладили друг друга. Лежащая навзничь выгнулась, подняла с матраца зад. Лежащая сверху облизала палец, и он мгновенно исчез в густых зарослях её лобка. Теперь стонали обе. Извивались. Лежащая внизу крепко обхватила ту, что сверху, и повалила её на себя. Они, сплетаясь, катались по матрацу. Остановились. Та, что оказалась внизу, подняла ногу и обняла ногой сестру. «А это красиво. Жестоко и странно, да. Но красиво! И кто людям запретит вот так любить друг друга?! Если им хорошо?!»

Закрывать глаза и лечь ей уже не удалось. Та, что лежала внизу, обернула голову.

Взгляд вошёл во взгляд.

— Ну что, дрянь?—громко спросила лежащая внизу.— Кайф ловишь? Кино бесплатное?

Та, что была сверху, дёрнулась всем худым телом. У неё можно было сосчитать рёбра.

«Как они плохо едят. И что они тут едят? Овощи с огорода? Лес рядом. Охотятся, что ли?»

Потная смуглая кожа поблёскивала в полумраке. Ягодицы напряглись двумя твёрдыми орехами.

Лежащая внизу катала по грязной подушке коротко стриженую голову.

Лежащая сверху разжала объятия. Поманила Руди рукой.

— Что зыришь? Раздевайся и иди к нам! Мы ещё ни разу не трахались с брюхатой! Вот забавно-то будет!

Руди одеревенела. Онемели пальцы и лодыжки, шея и локти. Не двигалась.

Та, что внизу, водила руками по груди сестры, пальцами крутила ей соски, и раздавались лёгкие стоны сладкой боли.

— Застыла! Как статуя! Что ждёшь!

Руди набрала в грудь воздуха и крикнула отчаянно:

— Так не надо! Так нельзя!

— Ой,— сказала та, что лежала снизу, выползла из-под сестры и отодвинула её ласкающие жадные руки,— а ты одна знаешь, как можно, да?

Руди вскочила с пола. Стояла перед любовным матрацем, сжав кулаки.

— Я?! Не знаю! И не хочу знать! Это Бог за нас за всех знает!

— Ой,— насмешливо протянула та, что была сверху, села, скрестив ноги, и потянулась за пачкой сигарет в изголовье матраца,— а ты у нас одна такая умная и знаешь, что знает Бог! Да ты...

Щёлк зажигалки. Всплеск огня. Запах острого женского пота. Голые груди. Голые животы.

— Да ты же первая в Него не веришь!

Курила. По скрещённым ногам Руди догадалась: это чёрная.

— Марта, ну куда ты делась? Иди ко мне!

Капризный сонно-туманный голос красной разорвал табачную тишину.

Но Руди уже не могла остановиться.

Она кричала и кричала, сжав кулаки и потрясая ими перед грудью, перед торчащим животом.

— Вы не понимаете! Пусть всё сдохло! Погибло! Мы-то не погибли! И не может женщина с женщиной! Потому что такого в природе нет! Что-то неправильно у вас пошло! В этом есть страшно! Вы сами не знаете! Страшно это! Словно ломают что-то... живое! Или смеются над ним!

— Ломают?

Чёрная выгнула спину. Ссыпала пепел себе в ладонь. Усмехнулась.

— Ишь ты! Ломают! А что и у кого мы сломали? У самих себя? Так мы такими родились.

— Вы же сёстры! Вас же одна мать родила!

Руди уже орала во весь голос.

Жестокая широкая улыбка надвое, как арбуз, разрешила лицо чёрной. Дым вился над её стриженным затылком.

— Что шумишь, парикмахерша? Тебе бы овец стричь! Ну родила и родила, тебе-то что? Тебя что, не учили, что нельзя мешать чужому интиму?

— Её ещё и пригласили... много чести...

Руди сжала кулаки.

— Да вы! Вы... Вы не знаете! Вернее, вы знаете! Но не хотите так жить?

Рот чёрной кривился в улыбке.

— Как мы не хотим жить? Ну как?

— Есть же правила!

— Что-что?

Руди видела: передние зубы чёрной, ровные, красивые, чуть выпуклые, перламутровые, гниют с краёв.

— Всё то! Нельзя! Нельзя красть! Блудить нельзя! Убивать! Драться! Предать! Быть сволочью нельзя! Дрянью быть! Дерьмом! Нельзя этого!

Чёрная продолжала улыбаться. Потом рассмеялась. Сначала тихо смеялась, потом всё громче и громче. А потом заорала. Радуясь, веселясь, наслаждаясь криком.

— Да что ты говоришь! Ещё все заповеди вспомни!

Сколько там их было?! А мы вот не по заповедям! А мы просто так! Как нам надо! Как мы хотим! И нам твои дырявые заповеди не указ! Не красть?! Так тут всё у нас ворованное! Не блудить?! А мы блудим, да! Сношаем, как собаки! Как кролики! Потому что нравится! Нравится! Не драться?! А мы дерёмся! В кровь друг друга лупим! Рожи друг дружке царапаем! Мы дряни и сволочи! Что, выкусила?! А такие мы! Такие уж! Суки!

Красная опять легла на спину и раскинула руки. Чёрная наклонилась и приблизила лицо к её животу. Высунула язык. Красная раздвинула ноги.

Странный звук раздался за окном.

Стук. Потом сдвоенный стук. Будто сигнал.

И тишина.

И потом опять: то ли стук, то ли треск.

Может, дерево в лесу упало. Может, какой зверь зашёл в огород.

Ночь шла и проходила, и ни на миг не прекращался звериный бег дикого времени.

Сухо и быстро, будто часы, стучало внутри Руди сердце.

Огонь в ней лизнул тёмным языком странную, страшную ночь, свернулся мрачной красной шкурой, вспыхнул, затлел, погас.

Она сама не знала, как из неё вытолкнулись эти слова.

— Хоть бы ребёнка на воспитание где нашли!

Красная, уже плашмя лежа на чёрной, оторвала губы от губ сестры и весело сказала:

— У нас есть ребёнок!

Месяц седьмой

Обезьяна

Веселиться. Прыгать. Скакать.

Передразнивать тех, кто был, и тех, кого не было; передразнивать самого себя.

Цепляться за красные ветки. Раскачиваться на алых лианах. Падать вниз с красного дерева — и никогда не разбиться: тёплая вода красного моря держит тебя, не утонешь.

Ты не утонешь никогда. Но ты, наделённый сознанием, соображаешь: другие тонут.

Пусть тонут другие! Ты-то будешь жив!

Жизнь в тебе так счастливо, так бешено играет. Ты не можешь справиться с ней — она крушит и ломает тебя, и ты выбираешься из-под обломков и хочешь: вот так поиграли, вот так повеселились! Костей не соберём! Ты маленькая обезьяна, ты оброс шерстью, и постепенно, медленно, мучительно она сползает с тебя лоскутами, лохмотьями, мусорными, грязными полосами, а там, под клоками свалывшейся шерсти, ты весь — чистенький, голенький, уже настоящий человек. Человек.

Нет ещё. До человека тебе осталось совсем немного. Капля в море.

Эту каплю надо выпить. Это море надо переплыть.

Красное море. Море крови.

Проклятая кровь. Она лётся везде и всюду.

Зачем она течёт в тебе, маленькая обезьяна?

Что ты хочешь от такой большой жизни, маленькая обезьяна? Ничего не хочешь, кроме как жить?! О, так это уже очень много! Жизнь может подарить тебе только смерть. Жизнь такая щедрая. Она может подарить тебе смерть и войну. Ужас и боль. Печи, где горят и сгорают трупы, и бичи-девятихвостки, чтобы свинцовые шарики, вшитые в концы хвостов, раздирали твою покорно согнутую спину, полосовали её, разрезали на красные куски.

Ты разве не знаешь, маленькая обезьяна, что человек ненавидит человека? Что он хлещет его плетьюми, забрасывает камнями, расстреливает в затылок? Что мужчина отрезает девочке, своей дочери, нос и уши только за то, что она переспала в сарае с любимым мальчиком, а её братья, уже безносую и безухую, хватают её и волокут на задворки, на пустырь, чтобы там разжечь огромный, до неба, костёр и сжечь её живьём? Что людей гонят под дулами автоматов, как скот, в резервации и гетто, где не разрешают ни есть, ни пить, и спокойно, холодно наблюдают, как эти люди, эти подъяремные скоты, сдохнут один за другим, и так сладко наблюдать чужую смерть, сидя в комфортабельной машине, покуривая вкусную сигару, отпивая из фляги глоток марочного коньяка.

Человек человеку зверь, это понятно всем давно; так что же ты прыгаешь до небес от радости, глупая маленькая обезьяна?

Не прыгай так весело, зверёк. Лучше погляди на человеческий род отсюда, откуда никто из людей на него не глядит — и откуда всем позволено на него смотреть, да только все маленькие обезьяны

в животах у счастливых матерей от стыда закрывают круглые испуганные глаза.

Что видишь? Говори, кричи, пищи, что видишь. Подавай голос.

Молчишь? Страшно?

Не закрывай глаза. Смотри.

Только отсюда ты можешь всё это увидеть.

Когда будешь жить на земле и бегать по ней живыми ногами — глаза твои будут слепы, бельма забот и горестей затянут их, плева насущных дел и бессмысленных хлопот, и не увидишь того, что видно отсюда, из утробы.

Так! Держись крепче, обезьяна.

Всегда есть возможность зажмуриться.

Плод

Тело. Вот оно, тело.

Оно плотное. Оно имеет форму и объём. Оно тёплое, нежное; иногда даже горячее.

Что у меня в сердце? Что у меня в дышащей глотке?

Что у меня между бровей? Что у меня на темени? Там огонь. Я знаю, сознаю: там огонь.

Он алый. Он золотой. Он синий. И на самом верху, над затылком, лиловый.

Я слышу мир. Я различаю вкус. Я знаю голос матери. Жду его и люблю его; он омывает меня тёплой безбрежной волной. Моё внутреннее ухо так чутко, что я слышу барабаны своей далёкой прежней смерти и яростный крик будущей кончины.

Что есть конец? Я и это знаю. Я знаю, что я умру — там, далеко, когда-нибудь. Но есть близкая смерть, после неё надлежит жить. Что это будет? Я осознаю, что это будет неотвратимо. Чего будет больше в это время — радости или страдания?

Мир обрушится всё давящим огромным звуком. Ор, шум, звон, крик всё погребут под собой. Кто будет кричать, вопить? Может быть, моя мать?

И я не смогу утешить её.

Мать старалась не пить воду из водоёмов. Она пила из огромных бутылей, что сиротливо стояли на прилавках безмолвных магазинов. Плод, когда она пила, расправлял руки и блаженно повисал в прозрачной, перламутровой водной толще. Она глотала, и он глотал.

Он повторял её во всём.

Но кое-что он делал сам. И даже вопреки матери.

Когда она вечерами садилась у костра отдохнуть и разогревала на огне вскрытую банку с консервами, а потом осторожно ела, вытаскивая еду из банки пальцами, а иногда пользуясь для этой цели, как китаянка, двумя щепочками, плод, вместо спокойного отдыха и расслабления, принимался играть внутри неё в футбол. Бил и лупил изнутри по её животу весёлыми ногами! И мать бросала есть, смеялась и тоже слегка толкала себе в бок кулаком: вот тебе, нá тебе тоже!

Так он её веселил.

И так оба, вместе, играли они.

А далеко за лесополосой, у горизонта, горел город.

Плод не видел этого огня; зато мать видела.

И из глаз матери огонь по кровеносным сосудам медленно скатывался вниз, всё вниз и вниз, к животу, к райскому дому младенца; и он видел глазами матери. И содрогался. И раскрывал рот, как птица, в неслышном удивлённом крике.

Молодую Луну сменяла старая Луна. Там, где плод ещё не жил, где ему только предстояло жить, всё было по-старому: на земле проплешины бесповоротной гибели сменялись оазисами робкой, надеющейся жизни. Где была, где жила его мать? Где она шла? А может, остановилась где-нибудь на ночлег, да так и осталась там? Он не знал.

Он знал о ней всё больше и лучше, чем она сама.

Он понимал: путь, это только путь, и ничего больше.

И он когда-нибудь оборвётся.

Кровь делала своё дело — текла спокойно и постоянно. Тело делало своё дело — росло и увеличивалось. Огонь тоже не забывал трудиться: он горел подо лбом и в груди, в животе и на затылке, и огненные точки обозначали средоточия будущих необоримых страстей. Мать всё шла и шла, и приходила ночь, а с ней неподвижность; пространство замирало, не тревожимое ничем, даже материнским дыханием. Они в ночной темноте дышали вместе — в один материнский вдох вмещалось десять его вдохов. Мать просыпалась, и он пробуждался вместе с ней, приветствуя её — ударяя ступнёй, коленом в выгиб тёплого круглого дома.

Мать шла, с виду не обращая на него внимания, вроде бы даже и не думая о нём; но плод всё время чувствовал её, а она его, им незачем было думать друг о друге. Разве думают о своей руке? О своей ноге? Они просто есть, и всё.

Это было чудо, что мать не подстрелили, не задушили, не утопили, не сожгли. Жизнь продолжалась, и плод, невредимый, лежал в сердцевине её обжигающего, до небес, костра. Что такое роды, он не знал. И лёгкими ли они будут для его матери, он тоже не знал. Разве, когда живёшь, ты каждый день думаешь о смерти?

Вожак

Она сделала беззвучный шаг к серебряному в лунном свете старому деревянному крыльцу.

Шорох взорвался громким треском и скрежетом. Под ноги ей свалился зверь. Зверёнок.

В неё вцепились маленькие ручки. Пальцы с когтями. Когти проткнули ей кожу. На юбку текла кровь. Она не чувствовала боли. Вскинула руки и схватила зверёнка за глотку. Вспомнила, как боролась с волком.

«Этот моложе. Сильнее. Стремительнее. И злее. Этому нужны я и моё мясо!»

Руди и зверёнок, обнявшись, покатались по крыльцу. Скатились на землю. Зверёныш ловко подсунулся ей под локоть, ощерился и стал искать зубами её горло.

«Моё дитя! Я не дам тебя убить!»

Она думала о нём, не о себе. А с ней тоже боролось дитя. Только зве'рье, дикое, злое. Страх обхватил её цепкими лапами. Сейчас она должна будет убить зверёнка. Зверьего ребёнка. Кто это? Выродок? Обезьяна? Бешеный лемур? Почему он молчит?

В борьбе спутанные грязные космы отлетели со лба, и Руди глядела на высокий, слишком выпуклый лоб, на слишком глубоко провалившиеся в глубь черепа крошечные глазёнки, на впалые голодные щёки. Мальчик ощерился, а Руди уже бесстрашно протянула руку и дотронулась до его замызганной щеки.

Погладила его по щеке.

— Прости меня, — просто и тихо сказала она.

И дикий ребёнок замер. Оторопел. Он не знал, что делать, что сказать. Замер под неожиданной лаской. Вслушивался в эхо её голоса.

«Он понял, что я сказала».

Больше не наскакивал на неё. Так стояли друг против друга.

Руди подхватила подол юбки и зажала рану.

— Ты сделал мне больно.

Детёныш опустил голову, будто ему стало стыдно. Спутанная кошма волос снова упала ему на лицо, закрыв глаза, нос и рот. Он, сквозь лес волос, промычал раз, другой.

— Да ты немой. Вот так штука.

Детёныш мычал. Замолчал. Молчала и женщина. Не знала, что сказать.

...Они сидели на крыльце, пока не стало светать. Руди обнимала немного, а он прятал мохнатую голову у неё под мышкой. Она грела его своим телом. Он согрелся, успокоился, задремал, что-то нежное, невнятное мычал тихонько. Она обнимала его обеими руками, будто укрывала крыльями. Нависала над ним тёплой живой горой. Напевала ему — нежно, еле слышно. Её подбородок щекотали его всклокоченные волосы.

Небо наливалось розовым соком. Ночной ветер утих. Из леса ползла сырость. Громко пели птицы. «Здесь ещё остались птицы; здесь хорошее, дикое место и мало разрушений. Мало, да, потому что это лес и вдали от большой дороги и городов». Руди затрясла детёныша за плечи:

— Послушай, проснись. Утро! Пора!

Мальчик разлепил глаза. После сна у него оказалось совсем не звериное, а даже миловидное лицо, только очень худое, голодное. Щёки ввалились. Чересчур большой, страшно выпуклый лоб походил

на воздушный шар; Руди казалось — немой сейчас поднимется, взлетит. Сонные тёмно-синие, сливовые глазёнки шарили по Руди, изучали её, вспоминали, осознавали.

— Ты живёшь в лесу?

Кивок.

— А сюда зачем пришёл?

Немой медленно поднял руку и указал на дверь.

— К сёстрам?

Опять кивок.

— Ты их знаешь? Марту? Миллу?

Мычание.

— Они тебя кормят?

Короткий резкий взмук.

— Ты остаёшься тут ночевать?

Немой помотал головой.

— Почему ты не ночуешь тут?

Детёныш опустил голову. Птицы вокруг них пели всё громче.

— Они тебя обижают?

Немой поднял голову и резко, остро глянул в глаза Руди. Камешки его глаз пробили её глаза и застряли в затылке.

Руди сжала губы и встала на ноги. Стояла на крыльце, и ветер раздувал её юбку.

— А давай убежим?

Город вырастал перед ними, пока они шли, медленно, неумолимо. Вылезал из-под земли, как чьи-то давно похороненные и колдовски ожившие чёрные железные, каменные кости. Это был не город, а остов, скелет города. Немой таращился на высотные дома. Руди с тоской глядела на скопище разрушенных камней. Раньше это было городом. Он вспыхнул и обвалился. Всё, что делал на земле человек, оказалось таким непрочным. Камень стал картоном. Сталь обратилась в пипифакс.

Они вошли в город по изрытому взрывами шоссе, пробирались сквозь навалы камней и вывороченного из земли асфальта. Вместо деревьев на улицах валялись обгорелые чёрные, сизые брёвна. Ни одного живого существа. Ни человека. Ни кошки. Ни собаки. Птиц нет. Молчание пожара. Гарь лезла в ноздри, забивала глотку.

...Вооружённые люди толпились, дышали тяжело, вставали вокруг бледной брюхатой женщины и дико глядящего из-под косм, похожего на зверёныша немого мальчишки.

— Да что там! Кончай их!

«Это они про нас? Значит, всё. Прощай!»

Руди, теряя сознание, надавила ладонью на живот, и её ребёнок толкнул её в ладонь. Дикий детёныш вышагнул вперёд. Отвёл назад руки.

Он заслонял женщину грудью, как и должен был сделать мужчина.

«Мы отличная пожива. Нас трое. Баба, плод и парнишка. Много мяса».

Она сама сейчас думала быстро и холодно, как они. Повторяла их мысли.

Мужик, что стоял ближе всех к ней, поднял обрез.

«Он разнесёт мне башку в кисель».

Она подгребла к себе немого. Детёныш обхватил её за шею.

— Не бойся. Никогда ничего не бойся!

Сзади, за головами, раздался рык:

— Стой! А может, она врач!

Мужчина опустил обрез. Немой дрожал крупно.

Руди слышала, как стучат его зубы.

— Эй! Ты не врач?!

Глаза женщины расширились и остановились.

— Унас Вожак умирает! Спасёшь — оставим жить!

Не спасёшь... — резанул ребром ладони себя по горлу.

«Соври им. Что тебе стоит?»

— Я врач.

— Отлично! За дело!

Ей по спине, по лопаткам, больно ударили прикладом автомата. Она поднялась тяжело. Боль в животе то нарастала, то уходила. Наваливалась опять. Немой жался к её ногам.

— Где больной?

Старалась придать голосу уверенность. Нарочно нахмурилась. Плод бил в неё капризной пяткой, настойчиво, часто. Вот откуда боль.

Её подхватили под локти. Детёныш уцепился за её юбку. Их поволокли вверх по лестнице. На первом этаже, в разрушенной анфиладе, провели, конвоируя, в комнату. Плита с газовым баллоном. Широкая кровать, спинка с серебряными шишечками. На стене — ободранная картина. Масляная живопись. Изображены женщина-хозяйка в смешном чепце и мальчик, стоящий около бочки с медной клёпкой. Женщина подняла ступу и опускает её в бочку. Сбивает из сметаны масло? Мальчик на неё немого похож. Глазки маленькие, волосы висят по спине.

— Эй! Кончай таращиться! Перед тобой человек сейчас сдохнет! А ты!

Опять грубо двинули в спину прикладом. Она чуть не упала на колени перед кроватью. На грязных простынях лежал рослый грузный человек. Лежал поверх белья в куртке и сапогах. Лицо в саже. Глаз вытек. В глазнице кровавая каша. Другой глаз глядит осмысленно, ненавидяще. Наткнулся на женщину. Хищно вспыхнул красной лампой.

Искусанный рот изрыгнул ругательство. Руди села на край кровати.

Внезапно всё внутри неё оледенело, ожесточилось.

— Таз с водой мне! И мыло!

Тот, кто бил её прикладом в спину, оскалился:

— Ишь какая! А крем-брюле тебе не...

Немой сел на пол у её ног.

— Ей руки надо чисто помыть! Дурень!

Мужчине с дробовиком в руках дали подзатыльник. Он заткнулся. Откуда-то появился таз, в нём плескалась грязная угольная вода. Ей в руки сунули обмылок. Она тщательно намылила руки и смыла. Опять намылила и опять смыла. Вместо полотенца ей протянули рваные кальсоны. Она насухо вытерла руки и вскинула голову.

Мужчины попятились от светлого, жестокого льда её глаз.

— Где рана? Или их много?

— Вот! Гляди!

Человек, державший обрез, положил его на пол, к изголовью кровати. Расстегнул на раненом куртку. Живот был располосован холодным оружием. Рана гляделась чудовищно. Так японцы делают себе хакари.

«Чёрт, да он не жилец».

Руди холодно кинула в толпу убийц:

— Мне нужен спирт! Или водка! Или коньяк! Всё равно что! Спиртное! И чистые бинты! Или марля! Если нет марли—чистые тряпки! Ветошь! Чем ранили?

— Охотничьим ножом! В голову—огнестрельное! И тут вот ещё пуля!

Она уже и сама видела. По бедру лежащего, по светлой брючине, растекалось густо-багровое пятно. Тот, с обрезом, полоснул по штанине ножом. Мышца вздулась. Пуля сидела глубоко.

«Я не хирург. Я вообще не доктор!»

Немой с надеждой глядел на неё.

Ребёнок опять ударил её изнутри. «Только не хватайся за живот. Не бей на жалость».

Уже тащили тряпки, лоскуты. Рвали в клочки исподнюю одежду. Мужчина, что держал обрез, зубами открывал затычку. Остро запахло коньяком. «Глотнуть бы сейчас. Пахнет клопами, так всегда говорил отец. Чем я вытащу пулю?!»

— Нож мне!

— Ей?! Нож?! Да она нас тут всех...

— Бред! Неужели мы все с ней не справимся? Дай сюда!

Чья-то рука протянула ей длинный, как сельдь, нож с лезвием тоньше волоса. Руди бестрепетно взяла бутылку коньяка и залила ногу Вожака. Мужчина дёрнулся и захрипел. Руди промокнула коньяк и взмахнула ножом. Так, рассечь ткани, великолепно. А где пуля? Почему её нет?

Мышцы расходились, разъезжались под её пальцами. «Только не дрожать. Не трястись!»

Она направила остриё ножа немного вбок. Лезвие наткнулось на что-то твёрдое. Руди, чуть не теряя разум, засунула два пальца в рану и нащупала пулю. Человек на кровати корчился перед ней. Пальцами, как пассатижами, женщина зажала пулю и вытащила окровавленную руку на свет. Швырнула пулю в таз. Чёрная вода стала красной. С пальцев Руди капала кровь ей на юбку. Немой сидел не шелохнувшись.

— Так. Мне нужна игла! И вденьте суровую нитку!

Люди делали всё, что она приказывала, беспрекословно. Огромная сапожная игла со странно толстой ниткой, похожей на верёвку. Без разницы. Она сошьёт его страшную рану, а он всё равно сыграет в ящик. Она просто отсрочит их с немой гибель. Пробовать надо всё равно. Полить коньяком. Пульсируют внутренности. Кишки вылезают наружу. Так, заправить их внутрь. Главное, чтобы тебя не вырвало. Ты только успокойся. Успокойся. Так, хорошо. Ты же шила когда-нибудь в жизни? Шила. И здесь пошьёшь. Кожа человека—чем она отличается от чёртовой кожи? Да ничем. Такая же толстая, не пробьёшь иглой. Воткни! Ну!

Руди, прищурившись, всадила иглу в красный край раны. Стала шить. Мужчина заорал в голос. Ему ко рту поднесли коньяк. Он глотнул, припал к горлышку снова, пил коньяк, как воду в пустыне. Запрокидывал кадык. Открывал рот и снова орал. Потом захрипел. Руди уже заканчивала накладывать шов. Рваные края раны торчали из-под грубо затянутых ниток. Мужчины смотрели, как она зашивает рану: кто пристально, будто запоминая каждое её движение, кто ледяно и равнодушно, кто с любопытством, кто с глазами, полными слёз. Сопение, запах пота, солёный запах крови. Сделав последний стежок и затянув узел, Руди почувствовала, как зверски устала.

«А ещё глаз».

— Нож!

Протянула руку ладонью кверху. Ей в ладонь положили рукоять ножа. Она ловко срезала лезвием суровую нить. Подняла лицо к тому, что был с обрезом.

— Что с глазом?

— Я же говорю, там тоже пуля! В мозгах у него!

— Ты хочешь, чтобы я делала операцию на мозге?

— Ты всё знаешь, что с тобой будет! Тебе всё сказали!

Руди пропитала тряпку коньяком, осторожно обтёрла Вожаку брови, висок и щёку. Счастье: она видела пулю. Она застряла совсем рядом. В надбровной кости.

Женщина надрезала кожу и мышцу, осторожно извлекла пулю. Наложила на вытекший глаз повязку. Замотала голову Вожака длинными полосками тряпок. Уже не до чистоты.

«Он всё равно не выживет. И мы тоже. Это просто отсрочка».

Она смотрела на свои руки, вымазанные по локоть в крови. Руки не тряслись.

И она была собой довольна.

Детёныш не сводил с неё глаз. Она встретила с ним глазами.

Поймала его взгляд. Он покосился на обрез, что небритый бандит бросил у изголовья кровати. Руди крикнула глазами: нельзя! Немой прикрыл

глаза. Отвернулся. Ей оставалось только гадать, что мальчик решил.

Женщина сидела на краю койки. Немой — на полу. Мужчины стояли вокруг. Ждали.

— Всё. Теперь только ждать. Должен быть...

Она забыла это врачебное слово. Морщила лоб. — Кризис...

Мужчина с дробовиком усмехнулся:

— Ну да, ждём-пождём, жратвы никакой, антисанитария, на третьи сутки он и сам сдохнет. Так?

Руди постаралась говорить спокойно. Очень спокойно.

— Да, может быть заражение крови. Но в этом не виноваты ни вы, ни я. Нужен йод или чистый спирт. Всё остальное...

Мужчина с дробовиком закатил ей оплеуху, и её зубы клацнули.

— Заткнись. Всё как ты сказала. Будем ждать. Предупреждаем: жратвы у нас нет. Пить давать будем. Мы...

Немой неуловимо рванулся. Схватил обрез. Наставил на мужчину с дробовиком. Похожий на бешеного дитёнка подросток подскочил и сунул кулаком ладонь под локоть. Пуля ушла в потолок. Отскочила рикошетом.

Руди закусила губу. «Зачем? Дурачок!»

Тот, кто держал дробовик, дышал как после долгого бега.

— Парни! Запереть их!

Её и немного снова вели по анфиладам. По коридорам. Втолкнули в пустую комнату. Белёные стены осыпались. В штукатурке зияли дыры. Лепнина с потолка тоже осыпалась. Громадная, как скирда, люстра свешивалась почти до пола на тяжёлых медных цепях. Ни стула. Ни кресла. Ни кровати. Ни матраца. Голый пол под слоем белой пыли. Руди бессильно опустила на колени, и юбка легла вокруг неё венчиком огромного грязного увядшего цветка. Мальчик сел на корточках рядом с ней.

— Нас убьют?

Она не хотела отвечать. Не могла.

Протянулось пространство. Умерло время. Дверь открыли не ногой — залязгал замок. Вошли люди. Она уже знала, что произошло и зачем они вошли. — Вставай!

Она встала. Немой встал вместе с ней.

— Пошла!

Она пошла. Мальчик пошёл рядом с ней.

Их вывели вон из разрушенного здания. Двор ужаснул её. Будто разом рухнули все дома и завалили всё вокруг сколами, камнями, балками, трубами. Солнца не было. Серое небо. Тучи. Снова рваные грязные тучи. Она не увидит солнца. Пусть! Но жаль, как же всё жаль! Всё напрасно. Нечего было и пускаться в путь. Надо было пошарить у матери в аптечке. Найти горсть таблеток.

Пригоршню. Любых. Каких угодно. И запить стаканом воды. И всё. И не было бы ничего. Ничего.

Родиться. Жить. Заледенеть. Так всё просто.

Она нашла рукой руку мальчика.

— Ваш Вожак умер?

Можно было не спрашивать. Мужчина с си-ней щетиной поднёс пистолет к голове немного и выстрелил ему в лоб. Мальчик упал. Он лежал у ног Руди, убитый зверёк. Крохотные глазки не закрылись. Мертвец глядел на мир. А ей лучше закрыть глаза.

Она закрыла глаза.

Не видела, как во двор из дома выбежал подросток в ватнике, в потешной островерхой шапке. Как молча пробирался через завалы камней.

Холод ствола проник через лобную кость внутрь неё, скатился до сердца, упал в живот, туда, где ещё жил её младенец. «Говорят, когда они рождаются, они тёмно-красного цвета. Как вино. А я так этого и не увижу».

Ветер трепал её юбку.

— Он дышит! Крот, говорю тебе, он снова дышит! Он открыл глаза!

Она открыла глаза.

Мир ворвался в них. Затопил её. Она ловила ртом воздух. Тонула в жизни.

Надсадно проорал другой, незнакомый голос: — Крот, он заговорил! Слышишь? Он живой!

«И я живая».

— Крот! Слышишь? Не убивай её!

— Я и не убиваю.

— Она врач! Она нам ещё пригодится!

— Понял.

— Ну что вы тут стоите?! Мёрзнете?! В дом ступайте! Я чаю вскипятил!

Холод исчез с её лба. Мужчина отнял от её лба пистолет. Она смотрела на его синюю колючую щёку. Он напомнил ей того, кто её изнасиловал. От кого она понесла.

— Топай!

Её толкнули обратно к дому. Она покорно пошла, ноги заплетались. Потом внезапно встала и обернулась. Она хотела поглядеть на убитого немного. Мальчик лежал, лицо набок, щекой на землю, ладони щупают землю. Она успела остричь ему ногти, похожие на когти. А космы так постричь и не успела.

«Что с ним сделают? Освежают и съедят?»

Её привели в дом. Усадили в круг вместе со всеми, на пол. Посреди комнаты горел очаг, обложенный кирпичами. Дым разъедал ноздри, вылетал в форточку. На огне кипела вода в котле. Мужчина с обрезом за плечами бросил в котёл жменю чёрной заварки. Поплыл забытый чайный дух. Руди глубоко вдохнула. «Он лежит там, лежит один, в камнях и в пыли. У него дырка во лбу. Он больше никогда не промычит мне ничего. Не сожмёт крепко мою руку».

Ей в руки всунули старую, оббитую эмалированную кружку. Она сидела с горячей кружкой в руках, обжигала пальцы. Терпела. Надо было терпеть. Она хотела внешней болью перебить боль, что грызла её изнутри. Плод в ней не шевелился. Затих.

«Может, он там умер. От страха, ужаса. От года. Теперь уже всё равно».

Она дёрнула головой.

— Ты что, припадочная? Эй, доктор! Пей давай!

Ей в бок двинули локтем. Чай выплеснулся из кружки и залил ей колени и подол. Юбка истрепалась, по низу подола висела рвань, длинные грязные нити. Руди отхлебнула чай из кружки. Горячее полилось внутрь неё, убивая в ней боль, и она расплакалась. Рыдала взхлёб. Пила чай и плакала, и слёзы лились прямо в чай.

— Гляньте, парни, слезами умывается.

— Да мы ведь её чуть не грохнули.

— Чуть было врача не грохнули. Умные мы какие.

— Ну так ведь Крот сказал: если Вожак не выживет...

— Если, если! Дайте врачихе кусок!

— У меня нет.

— Пошарь за пазухой.

Ей на колени бросили кусок вяленой рыбы, и она поймала её коленями. Рыба пропитала её юбку жиром. Она долго нюхала рыбу, прежде чем откусить. «Он там лежит. Пыль заносит его. Тучи над ним летят. Мальчик мой. Сынок мой».

Ела. Слёзы текли. Мужчины переговаривались, хохотали, чавкали, ругались. Пили, глотали из одной пущенной по кругу фляги.

— Эй, доктор, хочешь коньячку?

— Что врешь? Это чистый спирт!

— Не шути с доктором, она этого не любит.

— Хлебни, не кобенься!

Она взяла фляжку и припала к ней губами.

И когда она глотнула и по ней, по всем потрохам, неистово и горько разлился коньяк, плод взыграл в ней, ударил в неё, как рыба хвостом.

Разрушенный огромный город кишел странными людьми-зверями, людьми-муравьями, людьми—летучими мышами. Всё это были люди; и всё это были уже не люди. Голод и невидимая отравка сделали из них иных существ. Они не знали жалости не только друг к другу, но и к себе. Вожак, чьи раны освободила от пуль, зашила и перевязала Руди, шёл на поправку. Хуже всего заживал располованный живот. Рана сначала загноилась, и Руди боялась, как бы не началось заражение крови; потом стала заживать вторичным натяжением, грубый рубец вздувался и синел, пугая любопытных, когда женщина перевязывала Вожаку рану.

К доктору никто не смел сунуться. На неё не посягали. Тот, кого здесь звали Крот, охранял её. Всегда маячил у неё за плечом. В банде были

люди разных возрастов. Мужчин было не так много—человек десять, а может, двенадцать, она не считала. Банда нападала на другие такие же банды в недрах города. Люди выслеживали друг друга. Охотились друг на друга. Отстреливали. Добычу свеживали, поджаривали на костре и съедали. Когда Руди впервые увидела это, её долго рвало на острые пыльные камни. Она утёрла рот и жёстко, углом рта, улыбнулась Крогу:

— Токсикоз.

Она врала ему. Токсикоз первых месяцев давно прошёл; мужчина не разбирался в таких тонкостях.

Развалины и руины. Обваливаются стены. Ветер свищет в скелетах арматуры. То, что построил человек, гибнет быстрее человека. Человек оказался самой прочной конструкцией. Он живёт и после всеобщей смерти.

«Сколько ещё проживут люди? Десять лет? Двадцать? Сколько проживёт мой сын, если...»

Она не договаривала это себе: если родится. Плод странно замер в ней. Шевелился очень редко. Она от кого-то слышала, а может, где-то читала, что когда плод перестаёт шевелиться в утробе матери, это его коварно обвивает длинная пуповина, и он может накрепко обвиться ею и задохнуться. При этой мысли её окатывал холодный пот.

Хищники и мародёры. Бандиты и головорезы. Как всё вечно, и как всё обыденно. Они же были всегда, во все века и времена. Что изменилось? Да ничего. Просто в воздухе летает гибельная невидимая пыль, и жить всем осталось чёрт знает сколько; судя по всему, не так уж много. Интересно, где они берут патроны, когда в пистолетах заканчивается обойма? Неужели есть запасы? Их пистолеты, револьверы, автоматы, карабины ничего не будут стоить после того, как закончится железная начинка, коей их заряжают. И что дальше?

А дальше—ничего. Будут набрасываться друг на друга и душить руками. И грызть зубами.

«Так, как хотел меня загрызть мой волк. И мой ребёнок».

Она звала убитого детёныша—«мой ребёнок». На дне её зрачков так и остался он: висящие по бокам лица и по спине космы, похожие на спутанные дреды, крохотные кротови глазки, маленькие, как у куклёнка, нос и рот. Дикий детёныш, её найдёныш. Зачем она похитила его у близняшек? Жил бы в лесу, приходит бы к сёстрам, горя не знал. Был бы жив.

«Все мы умрём. Рано или поздно».

Что такое жизнь? Она уже не знала. И у смерти не было имени. Как у её погибшего приёмного сына.

«Я так и не узнала, как его зовут. А может, его и не звали никак. И я никак не назвала. Не окрестила».

После перестрелок и стычек ей несли раненых: «Эй, доктор! Перевяжи!» В одном из разрушенных

домов бандиты отыскивали банку спирта и маленький пузырёк йода. Это был праздник. Руди жёстко сказала: нужны антибиотики. Банда отправилась на поиски больницы. Руди взяли с собой. Она ведь врач, должна знать, что написано на банках, ампулах и коробках. У неё сердце уходило в пятки. Внутри больницы её ждал ужас, какого ей не приходилось ещё испытывать. Лучше бы волк напал на неё ещё раз. В палатах мёртвые люди лежали на полу, свешивались с коек. Они умирали по-разному и в разное время. Скелеты, обтянутые кожей. Смердящие останки. В кувезах лежали трупы младенцев. Руди отвернула лицо. Она молчала, и её живот молчал.

Плод не шевелился. Или шевелился очень редко и вяло.

«Он недоедает. Он ослаб. Я плохо питаюсь. Они почти не дают мне еды».

Её руки и ноги исхудали, стали похожи на спички. Она с тоской вспоминала то время, когда она шла по дорогам и полям, с собственной едой в собственном рюкзаке. Ей, как собаке, швыряли кусок и наблюдали, как она ловит его. Вожак, спасённый ею, поправился и выходил вместе со всеми сражаться. Жизнь после смерти стала войной. В этом нечего было и сомневаться.

Из больницы они взяли все лекарства, какие нашли; Руди поглядела на срок годности и кивнула: пойдёт. Она не знала и половины названий. Но те, что знала, выговаривала без запинки: тетрациклин, ампициллин, цефтриаксон. Это против чего? Это против смерти.

Коробки потолкали в мешки и рюкзаки. Руди забила свой рюкзак ампулами, таблетками, шприцами. «Всё, теперь я доктор, только без лицензии».

Они пятились по палатам к выходу, и Руди старалась не смотреть и не дышать.

Ограбить. Обчистить. Подбить. Расчленить. Оставить после себя пепел и смрад. Перейти в новое жилище, чтобы там всё загадить и опять бросить его и уйти искать иную нору. Люди, с которыми Руди жила бок о бок, приучали её к своим обычаям и привычкам. Она делала вид, что привыкает, но не привыкала.

Она спала вместе со всеми в большом зале. Здесь не были выбиты окна. Сохранялось тепло. Пахло табаком и перегаром: мужчины курили и пили. На исковерканном рояле ей постелили верблюжью попону. Все спали на полу, а Руди — на музыкальном инструменте. Порванные струны торчали, колки впились ей в бок, протыкая верблюжью шерсть. Здесь тоже висела люстра, как в той комнате, где их держали с немой взаперти. И такая же адская, тяжеленная, пугающая; хрустальный катафалк, золочёный танк. Такие же толстые цепи держали её, но она всё равно падала, падала вниз.

«Вот сейчас упадёт мне на голову. И раздавит. Скорей бы».

Окна прошли, со звоном разбивая стёкла, автоматные очереди.

Мужчины повскакали с пола. Схватились за оружие, кто за какое. Ринулись к окнам — и свалились на пол, и ползли на животах к оконным страшным проёмам. Из пустоты огнём била смерть. Смерть плясала и радовалась. Справляла свой праздник.

Вожак, чей разрезанный живот был ещё туго перевязан и на лоб и глаз спускалась глухая плотная повязка, прыгнул на подоконник и, пригибаясь, выпустил из автомата очередь по нападающим. Огонь ударил в ответ. Вожак спрятался за рваной гардиной. Ждал. Подросток, что медленно полз к окну с аркебузой в руках, вдруг скорчился, застоялся и выблевал на пол ступок крови. Простонал ещё и затих.

Вожак глядел на него. Руди почувствовала всем телом, как каменеют мышцы Вожака под негнущейся кожей куртки.

— Мальчик... мой...

«Его сын. Убили его сына».

Вожак шагнул в оконный проём. Встал на подоконнике во весь рост. Поливал из автомата по тем, кто осаждал здание, толпился внизу, под окнами. Оскалился. Орал. Хрипел.

— Дряни! Я вас всех! Я вас...

Огонь прошёл его наискось и насквозь.

Вожак стал падать. Крот, полулёжа, стрелял из другого окна, рядом. Он обернул голову. Руди бросилась под градом пуль к телу Вожака. Сдёрнула с его плеча автоматный ремень. Быстро надела на себя. Держала автомат крепко, нагло, будто целый век держала оружие, и стреляла, и убивала. Обернулась ко всем, ко всей банде. Люди лежали на полу. Скорчились у подоконников. Прятались за карнизами и шторами. Сидели под роялем. Люди, потеряв своего Вожака, растерялись. Что ж, обычное дело. Людям всегда нужен Вожак. Всегда.

Руди вспрыгнула на подоконник. Огонь не скашивал её. Пули не находили. Она была как невидимая, заговорённая. Юбка задралась. Белизной пылала голая нога. Бешено горели глаза. Она стала зверем. Стала богом. Или чёртом. Держа автомат наперевес, она хрипло крикнула бандитам:

— Я ваш Вожак!

Месяц восьмой

Человек

Ребёнок. Человек. Мужчина.

Наконец он стал им.

Тем, кем изначально хотел стать.

Вернее, это не он хотел; это захотели за него те, с кем он был связан не красной порослью, кровавыми стволами, алыми бьющимися листьями,

а незримыми серебряными нитями, что тянулись от его макушки в серую клубящуюся тьму.

Человек, а не зверь. Человек, а не птица.

Он был червём. Был насекомым. Плыл рыбой. Проплыл много веков, морей, океанов, зонон. У него нет имени. Но он уже знает: его зовут человек. Он видит прошлое. Помнит ли он его?

Ему не нужна память: он сам себе память.

Он наслаждается настоящим.

Он знает будущее. Нет; это будущее знает его.

Будущее знает его повадки и ужимки. Его прыжки и прыжки. Его слёзы и крики. Оно знает про него всё. Они подмигивают друг другу, он и будущее. Они сообщники.

Боишься ли он будущего?

Осознавая будущее, человек всё равно понимает: там, впереди, бытие.

А что впереди у плода, который должен родиться?

Впереди у него смерть.

Человек раскрывает глаза. Вздрагивают его губы. Он неслышно шепчет в красную тьму: мать, не выпускай меня из райских дверей. Не надо. Что плохого сделал я тебе?

Мне так хочется жить, жить тут, здесь и сейчас.

Я не знаю другой жизни.

Я хочу тепла, любви, ласки, радости. Хочу кувыркаться в сладкой и нежной воде. Хочу пить её большими глотками. Ею дышать. Ею жить. Я верю, так будет всегда. Почему ты говоришь мне, шепчешь: это кончится, это всё скоро кончится?! Не хочу! Я не хочу исчезать!

Я не хочу умирать. Не хочу наружу. Не хочу вон. Не хочу вон из Рая.

Не выгоняй меня. Пожалуйста, не гони меня! Что я тебе сделал плохого?!

О нет, ничего, сынок. Я очень, очень, очень люблю тебя.

Я просто хочу посмотреть тебе в лицо.

Человек кричит и плачет: но ты же и так видишь, знаешь меня! Ты видишь меня с закрытыми глазами! Ты уже любишь меня! Зачем ты хочешь вытолкнуть меня из себя? Кто ждёт меня снаружи? Что? Ад! Я жил в Раю, а ты выглатываешь меня прямо в Ад!

Зверёнок мой. Лисёнок мой...

Я человек! Я человек!

Не бойся. Там тоже жизнь. Там живут. Там живём все мы! И я, твоя мать, тоже!

Не верю! Там нет никого и ничего. Там тьма. Там нечем дышать! Там я задохнусь!

Там земля. Твоя земля.

Нет! Там дикая, непроглядная тьма! Там зренья нет! Боли нет! Счастья нет! Там ничего нет! Не обманывай меня!

Я не лгу тебе. Я говорю тебе правду. Она вот такая. Она правда.

Для тебя правда! А для меня смерть!

Человек, скрюченный в утробе, не верит, что он родится на свет.

Он прижился. Он по привычке. Он счастлив. Не хочет расставаться навек со счастьем своим.

Его мать ему впервые лжёт. Он впервые не верит ей.

Они так хорошо все эти девять месяцев, девять веков, девять тысячелетий понимали друг друга.

И вот пониманию пришёл конец.

Пришёл конец доверию и любви.

Ведь его мать скоро толкнёт его на гибель. Головой вперёд к чёрной, кровавой, зияющей щели, что напололам разрезает его землю. И его мир, его сладкий серебряный Рай вывернется наизнанку. Всё закончится. Оборвётся алая нить. Разорвутся и вспыхнут огнём красные заросли. Он так любил прятаться в них. Играть в прятки. Не спрячешься теперь. Бесполезно.

Человек обнаруживает: есть время.

Есть время жизни. И время смерти.

И в Раю тоже есть отсчёт времени.

От времени не спрячешься никуда.

А зачем от него прятаться? Разве нельзя пойти грудью ему навстречу? Обнять его? Полюбить?

Обними его! Оно отшвырнёт тебя. Попробуй поцеловать! Оно плюнет тебе в лицо.

Оно вне тебя, и оно внутри тебя. Оно друг, и оно враг. Оно уже считает твои часы, минуты, секунды. Сколько тебе осталось в Раю. Сколько жизни тебе, человек, осталось.

А может, я не человек?! Может, я ангел?!

Не ври. Ты человек. Тебя в Рай пустили временно. И твоё время истекает. Истечёт завтра. Вытечет из лона матери твоей яркой густой мощной кровью.

И на гребне крови из Рая в смерть выйдешь, выскользнешь ты. Вдохнёшь воздух земли. И задохнёшься.

Я не хочу!

А тебя и не спрашивает никто. Время идёт. Время стучит. Подходит. Его шаги.

Сладкие напитки. Нежные касанья. Долгие ласки. Красные вина. Золотая чешуя драгоценных рыб. Богатые меха. Серебряные подвески. Рубиновая трава. Прозрачные звёзды. Бездонные небеса. Молочные моря. Кисельные берега.

Ах, как тут хорошо. Какое тут счастье. Неопи-сваемое. Ни в сказке сказать, ни...

Всё это Рай. Слышите, всё это Рай! Мой Рай!

Не твой. И не Рай. Это огромное брюхо твоей бедной матери.

И скоро ей придёт время родить.

Плод

Жизнь двигалась и шевелилась. Жизнь кувыркалась и сжималась в комок. Всё было жизнью, и всё было движением. И всё вокруг таило опасность. Наступило время, когда жизнь матери наиболее плотно, неразъёмно соединялась с жизненной силой плода. Две жизни мерцали, наслаиваясь, накладываясь одна на другую. Становились одним.

Навеки?

Опасность говорила: вам не много осталось вместе. Вдвоём. Скоро разорвётесь. Навсегда.

Круг крови вращался, колесо крови крутилось и текло, кровь соединяла два существа, и двое людей — мать и ребёнок — соединялись так полно, как потом, в жизни, не воссоединятся уже никогда. Солнца слились. Наползли одна на другую серебряные Луны. Снаружи матери шла война, а внутри неё царил и сиял Рай. Последний Рай, где вместе были она и её ребёнок — перед тем как расстаться.

Мать чувствовала каждую прихоть, всякое желание плода. О, уже не плода — человека, сына своего. Она доподлинно знала: это сын. У него ещё не было имени. Она боялась взглянуть судьбу. Опеределить время. Всему свой срок. Вот родится — и назову, думала она, ощупывая груди: они тяжелели, наливались, тянули вниз, к земле.

Мать старалась перелить в ребёнка все соки, всю радость, всё счастье. Снаружи боль — на тебе радость! Снаружи огонь — возьми свет и покой! Она сейчас для своего ребёнка была великой, несокрушимой крепостью. Её невозможно было взять с бою. Смерти не было теперь для неё.

Если смерть и придёт, весело думала мать, она придёт для нас обоих. А не для меня одной.

Какой ты будешь? — думала мать. Неужели пьяница и хулиган? Нет, ты будешь у меня прекрасный мужчина; ты ведь такой сильный, ты сильный и могучий даже внутри меня, в моём молочном, серебряном Раю. Ты никогда не будешь опьяняться отравными, постыдными зельями. Махать ножом. Ты никогда не обидишь женщину. Девушку. Девочку. Никогда не поднимешь руку на собственную мать. Я знаю, ты будешь у меня лучше всех! Веселее всех улыбаться! Звонче всех смеяться!

И ты — слышишь? — ты никогда не родишься мёртвым. Никогда. Я ведь чувствую, знаю: ты живой. Ты такой бойкий. Ты не обовьёшься пуповиной. Не отравишься жёсткими лучами. Мне нипочём война, нипочём она и тебе. Мы с тобой заговорённые. Почему так? Не знаю. Я не верю в колдовство. Не верю в чудо. Но то, что произошло с нами двоими, чудо.

И ты не родишься у меня недоношенным, думала мать; я чую, как ты прочно, цепко держишься за меня, как уверенно, будто в седле, сидишь у меня внутри. Я для тебя голубое молоко, я для тебя золотое топленое масло; пей меня, ешь меня,

набирайся сил. Скоро нам с тобой предстоит сражение. Ты его не бойся! Ты же мужчина, ты уже воин. Солдат. Ты будешь воевать со смертью. Я должна вытолкнуть тебя наружу, на свет, живым. Только живым, слышишь?!

А когда ты родишься, у тебя будет всё, что нужно младенцу для жизни. Не грязные тряпки, а чистые пелёнки. Не продавленный старый диван, а красивая кроватка. Не чужая соска, а тёплая родная грудь. У тебя будет золотая чайная ложка, я буду совать её тебе в рот, кормить тебя первой твоей манной кашей. У тебя будут самые яркие на свете цветные погремушки и звонкие колокольчики. Я свяжу тебе пинетки, сошью ползунки. Маленький ты, а человек! Не плачь там, внутри! Рай есть и снаружи! Рай — это руки мои, губы мои! Твоя мать обнимет тебя, поцелует! Это и есть Рай!

...Зачем бьёшься?.. зачем содрогаешься?..

...ручки заламываешь...

...не надо, я же с тобой, я же с тобой...

Зеркало

Люди на миг застыли. Перестали стрелять.

Все уставились на женщину.

Она прыгнула с подоконника. Выстрелила в потолок. Посыпалась штукатурка.

Люстра покачнулась, и медные цепи зазвенели. — Ты что, спятила?!

Одинокий голос погиб во всеобщем возмущённом гуле.

Руди вскинула руку. Гул утих так же мгновенно, как начался.

— Я приказываю вам! Прекратить огонь!

Мужчины изумлённо глядели друг на друга, потом на женщину, стоящую на широком подоконнике. Нападавшие её тоже видели в проёме окна. Стрельба прекратилась.

В молчании раздался тот же высокий мальчишеский, почти детский резкий голос:

— Да что ждатель?! Убей!

Сухо хлопнул выстрел. Руди отклонилась так же быстро, как когда-то двигался немой детёныш. Пуля разбила стекло форточки. Мелкие, как новогодние блёстки, осколки посыпались на голову Руди, застряли в её волосах.

Крот шагнул к парню и развернул вбок его охотничью двустволку:

— Нельзя! Она наш врач!

— Не стреляйте! — крикнула Руди.

Люди выполнили её приказ. Угрюмо смотрели. Руди, со своим выпяченным животом, встала в пустом окне, раскинув руки. Живое распятие. Стреляй не хочу. Но те, кто стоял внизу, не сделали ни одного выстрела. Люди внизу, враги, тоже глядели на неё. И тоже удивлялись. В одной руке у беременной бабы автомат, другая повернута беззащитной ладонью вверх. К небу.

Руди разжала пальцы. Автомат с громким лязгом упал на пол, усеянный стеклянным крошевом.

Теперь она стояла в окне безоружная.

Люди снизу смотрели на женщину.

Люди в комнате смотрели на женщину.

Все люди молчали. Выжидали. Дивились. Наблюдали. Были готовы ко всему.

И она тоже была готова ко всему.

Но не к тому, что произошло.

Снизу вверх, с улицы в дом, по водосточной трубе лез человек. Худенький, тощий, плюгавый. Совсем молоденький парнишка. Ёжик волос дыбом торчит. «Раньше такие ирокезы молодёжь носила. Куда его чёрт несёт?» Вот парнишка уже хватается руками за карниз. Заносит ногу на подоконник. Вот он уже стоит рядом с ней. Вскинул руки. Пистолет за поясом.

Стоят рядом. Руди и ирокез. Не глядят друг на друга. Просто чувствуют друг друга.

«Он не сделает мне ничего. Ничего плохого. Что сейчас будет?»

Вот теперь она поняла, что.

Парень раскинул руки, как она. У такого тщедушного оказался на диво зычный, далеко летящий голос.

— Братья! У них жоак — женщина! Видите, она с икрой! Значит...

Он слотнул слюну.

— Не всё ещё кончено!

И там, внизу, раздался нестройный вопль. Люди взбрасывали руки с оружием вверх. Подбрасывали ружья и автоматы. Ножи и биты.

Они приветствовали её!

«Не меня. Мой живот!»

Руди положила обе руки на живот и ещё сильнее выпятила его. Улыбнулась.

Крики усилились. Она затылком чувствовала: люди в комнате, у кого она только что стала Вожаком, расслабились, глубоко вздохнули.

Руди подняла руки.

Крики стихли.

— Люди! Я приказываю... — поправилась: — Я прошу вас! Не убивайте! Больше не убивайте! Ведь ничего не кончено! — она показала на свой живот. — Всё снова будет! Опять! Всё начнётся!

Она сама не знала, откуда у неё брались слова и мужество их выкрикивать.

— Столько слов! Столько пуль! Бомб! И всё зря! Давайте начнём сначала! Без крови! Без зла! Это возможно! Это... — задохнулась. — Наш шанс!

В полной тишине слышно было, как на жестяной карниз садится птица. Первая птица здесь, в этом городе.

Серая, с чёрными крыльями, ворона. Руди смотрела, как она ходит по карнизу. Ключёт пустой карниз. Ни крошки. Ни червяка. Люди всё убили.

«Мы сами всё убили. И продолжаем убивать друг друга».

Тщедушный парень рядом с ней сжал кулак и помахал им в воздухе:

— Точно!

Ещё миг молчания. Только миг.

И как прорвало плотину. Крики поднялись до неба. Разбивались в осколки, в стекло, в битый кирпич. Взлетали бешеными, бедными птицами. Падали наземь, катались по земле восторженными котятками, щенками. Люди ополоумели. Им так понравилось быть великодушными. Они обезумели, опьянели от возможности быть самими собой, от невозможности стрелять, ранить, резать, колоть штыком. Ворона подобралась ближе к ногам Руди. Ключула её в ногу. Кроссовки давно истрепались. Шнурки свисали мохнатыми хвощами. Худой парень нашёл её руку, сжал. Поднял в воздух. Так стояли, со вздёрнутыми над головой, соединёнными руками. Люди внизу опять закричали. Руди тонула в их криках. Люди сзади, за её спиной, молчали. Потом стали вскакивать на подоконники. Разбивать кулаками и прикладами уцелевшие стёкла. Впускать в разрушенный зал ветер.

Люстра качалась на сквозняке, тихо звенели цепи. Грязные хрустальные ягоды тоже звенели. Люстра издавала живой лёгкий звон, она приветствовала глупых людей, слишком поздно понявших, что к чему.

По лестнице раздался топот. Люди, что прибежали внизу, ворвались в зал и застыли у входа. Боялись войти. Ждали. Смущались. Люди в зале глядели на людей снизу. Такие же люди. Как они. Их тоже немного. Как и их. Десять? Пятнадцать? Кто считает? И зачем считать?

Руди и тощий пацан всё ещё стояли на подоконнике, сцепив руки. Только теперь повернулись от улицы лицом к вбежавшим в зал.

«Ну же! Как долго вы думаете!»

Сначала медленно. Один шаг, другой. Потом всё ближе. Всё ближе, ближе. И быстрее. Всё стремительнее. Бегом. Навстречу! Рядом! Близко! Чужое лицо! Чужие руки! Потные щёки! Крепкие кулаки! Рука в руке! Пожать! Да нет, не сломаешь! Да, брат! Прости!

И ты меня прости. И ты меня!

Обнимались. Хлопали друг друга по спине. Мужчины, бандиты, обречённые солдаты, вчера ещё хищные звери, они плакали, и они были детьми. И Руди, мать, стояла над ними на подоконнике, выше их всех, видя их всех, детей своих, наблюдая их смущение, их позднее страшное раскаяние, их дикую, без берегов, радость. Им не хватало воздуха. Они хрипло дышали. Скалили чёрные цинготные зубы. Смеялись. Хототали. Ржали. Уже вынимали из карманов фляги. Угощали друг друга. Хлебали из фляг, передавая из рук в руки питьё: жалкие, найденные на складах, в подвалах магазинов остатки водки, коньяка,

дешёвого вермута. Били друг друга по спинам, по плечам. Жмурились, как коты, чтобы скрыть слёзы. Стеснялись сами себя. Говорили громко, орала, сами себя и других перебивая. Братались. Уже, захмелев, плясали, положив руки на плечи друг другу, высоко вскидывая ноги. Разношенные боты. Залатанные сапоги. Заклеенные пластырем кроссовки. Человечья обувь. Человечья одежда: чёртова кожа, божья роса.

И они видеть не видели, кто стоит над ними, надо всей толпой. Кто всё это с ними сделал. Совершил.

Они забыли про эту женщину. Про нелепую, брюхатую эту. Что возомнила себя их Вожаком. Автоматом трясла. О чём она кричала? Разве кто теперь вспомнит?

— Эй, ребята! У кого пожарть есть?

— У нас! Мы нашли вчера продуктовый склад на Пороховой!

— Это класс! Живём теперь!

— Эх, очаг!

— Да, мы такие! Всё оборудовано! По последнему слову!

— Тащи мясо!

— Хитрый! А у тебя заначка есть? Тебя распотрошим сначала!

— Согласен! Вот!

— Хлебцы и табак! Негусто!

— Чем богаты, тем и рады!

— Хлебцы дерьмо, а табачок ничего!

— Из чего стрелял? Покажи! Неплохо!

— Смазки мало! Масло на вес золота! Хотя из себя масло выжимай!

— Выжми, ха-ха-ха!

— Люстра чумовая! Хочу такую!

— Всё наше теперь ваше!

— Чёрт, точно! Забыл!

— Жук, доставай бутылку!

— Откуда?!

— В рояле! Я в рояле спрятал! К пюпитру ближе!

— Не ругайся, слышь!

— Иностранные слова знает! Умник!

— Старики, жарко стало!

— А это Крот огонь разжёт!

— Огонь, чуваки! Как раньше в камине!

— Ничего! Отстроимся! И каминьки в домах будут! Во всех!

— И ванны, чувак, ванны, ты забыл! Чтобы купаться!

В ушах женщины стоял рваный гул радости. В дырах вспыхивал и гас смех. Всё затягивалось тонкой плёнкой дыма: мужчины курили. Слепой плевой тепла: разгорался огонь в кирпичном круге посреди зала. Иглистой марлей мороза: ударили заморозки, странные для этих краёв, и лужи подёрнулись льдом, и люстра играла ледяными шариками. И лёд, лёд сверкал внутри Руди, сколы, торосы льда.

Впервые за много дней ребёнок повернулся в ней мощно, тяжело, властно. Она охнула, схватилась за живот и присела на подоконнике. Тщедушный парень спрыгнул на пол, подвернул ногу в дыре в паркете, протянул руку Руди:

— Давай! Слезай! Миротворица!

Она очнулась. Бинт холода развязывался, разматывался, таял. Плод играл в ней яростно и сильно, бил её ногами, хлестал, толкал кулаками, бодал головой. Ожил. Разъярился. То ли сердился, то ли праздновал. Вместе со всеми.

Руди вложила руку в руку парня. Медленно спустила с подоконника одну ногу. Потом другую. Села. Мотала ногами.

«Я девчонка, и я сижу на скамейке в саду. И отец ещё не развёлся с матерью. Я слышу, как летают пчёлы».

— Ну? Что сидишь? Не высидишь яичко!

Хохотнул, довольный шуткой.

Руди тоже засмеялась.

«Пусть ему приятно будет, что я смеюсь».

Тяжело, уткой, сползла на пол, упёрлась ногами. Живот тяжелел день ото дня. Ей всё труднее становилось его таскать. «Там человек. Он зрел. Он уже созрел. Он скоро свалится с ветки и упадёт. Спелый плод. Яркий. Сладкий. Ему очень страшно падать».

— Видишь, какую бучу ты учинила?

— Вижу.

Она обвела глазами людей. Пили, курили, гомонили. Облапывали друг друга. Уже переругивались. Строили планы. А может, строили козни. Замирение всегда ненадолго. До первой ссоры. До первого бешеного огня.

«Наш мир мужской. Он и был мужской. Женщина в нём не значила ничего. И будет мужской. Гляди, тут одни мужики. Ты тут одна баба. Ничего не изменилось. А ты-то думала».

— У тебя кроссовок развязался. Дай завяжу.

Парнишка быстро опустил на одно колено и ловко, как фокусник в цирке, в одно мгновение завязал на кроссовке Руди лохматые шнурки.

Она засмеялась. Погладила парня по ирокезу.

— Спасибо. Ты такой галантный.

Самой стало смешно.

«Люди и после смерти остаются людьми».

Она подняла голову. Прямо на неё тяжело глядели два мрачных угольно-горячих глаза. Крот. Буравил её зрачками. Не моргал.

Обе банды, объединившись, заняли под жильё весь дом. Оборудовали спальные места: настелили на паркет мешки из-под картошки, дерюгу, сорвали с карнизов гардины. Приволокли с чердака изъеденные крысами бельё. Жёстко, но аккуратно: простыни в дырках всё одно простыни, а от паркета идёт тепло, дерево само греет.

На первом этаже оборудовали подобие бани. В помывочной стоял бак, туда наливали найденную

где угодно воду. Систему водоснабжения не всю разбомбили. В иных домах вода плохо, жалкой струйкой, а текла из крана. Бак подогревали живым огнём—разводили костёр под днищем. Из прокопчённого бака ковшом черпали кипяток, лили в корыто, ждали, пока остынет. Крот добыл ящик мыла.

Теперь живём! Живём-то живём, это понятно, а в городе ещё есть банды. Не мы одни тут веселимся.

И что, с ними брататься? Такое, как с нами, бывает лишь один раз. С ними номер может не пройти. Да, ты прав, может не пройти.

Они все по-прежнему носили оружие. Город был каменным лесом. В нём водились живые и умные хищники. Это блеф, что все пообнимались—и война кончилась. Дурень, ты что, забыл, что война не кончается никогда? Мир тебе только приснился. Значит, мы что, друг другу приснились?! В какой-то степени да. Спи дальше. Спи спокойно, дорогой товарищ.

Они спали беспокойно. Оружие под головой. В сонной руке. Не разжимать кулак. Напасть могут всегда. Видишь, спит Вожак. Охраняй её сон. Она должна много спать и хорошо высыпаться. Она родит нам нашего Вождя. Это будет классный пацан. Верю. Я охраняю её. Не бойся. С ней ничего не случится.

Тишина. Слегка позванивают хрустали люстры. Медные тяжёлые цепи отблёскивают в сумраке красным. Будто вымазаны кровью. Оштукатурить и побелить бы стены. Это потом, когда будет мир. А когда будет мир? А неизвестно.

Может, и никогда.

...Уже отойдя от города на большое расстояние, она обернулась и увидела: город горит.

Кто поджёт дома? Как пламени удалось так быстро обнять улицу, квартал, район? Как перекидывалось, гонимое ветром, с дома на дом, с крыши на крышу? Руди не знала. Она видела страшное рыжее зарево. Польхают крыши. Чёрный жирный дым клубится, реет над полосой яркого алого огня.

«Может, Крот поджёт. Может, его враги».

Раздула ноздри. Ей казалось, она чует запах гари.

Она стояла и смотрела на огонь. Как это здорово, что она вышла из города невредимой. Господь хранит её. А есть ли Господь? Его ведь нет давно. Его тоже взорвали и сожгли. Потому что его родили люди. Господь—дитя людей. Сам по себе Он не смог бы существовать.

И она не знает, кто на самом деле сотворил с ними всё это. Эту гибель. Войну.

Может, это сделали не люди. А тот, кто высоко над ними. Но не Бог. Не Бог.

«Бог бы просто не мог так с нами поступить. Нам всегда говорили: Он добрый».

Руди повернулась и пошла прочь от горящего города. Зарево билось за её спиной. Истрёпанная

дырявая юбка развевалась на ветру. Живот торчал вперёд.

«Только вперёд. Уже немного осталось».

Немного чего? Она не могла бы сказать. До цели? До родов? До конца?

Ветер наносил запах пожарища. Стали встречаться деревья. Они стояли вдоль дороги, мёртвые, обгорелые. Их верхушки гнул ветер. Руди шла по ленте асфальта босиком.

Хорошо, что уже тепло. Весна. Ноги не замёрзнут.

Ребёнок в ней проснулся и замолотил ручонками и ножками.

— С добрым утром! Завтракать нам пора!

Она села на землю, покрытую пеплом, под сизое обгорелое дерево, вытащила из сумки банку, открыла её зубами и пальцами, облизываясь и урча, как зверь, заталкивала в рот куски тунца. Съела всё до капли. Сок выпила из банки, запрокинув голову.

Месяц девятый

Роды

...Он ещё не понимал—и вдруг понял: он умирает.

Выход есть, и это выход в смерть.

Закончилась его жизнь. Вытаскивает его наружу светлый Рай.

Коварный Рай. Изменчивый Рай. Гиблый. Конечный.

Так вот чем кончаются все царства и троны! Все неги и нежности! Вся любовь! Всё упование! Все серебряные сны!

Они кончаются твоей смертью. Гибелью. Небытием.

Тебя, такого как ты есть, больше не будет никогда.

Голова всё теснее прижималась к кости. К неподатливой плоти. Плоть должна разойтись. Разъяться. Разверзнуться. Дать трещину. Это лаз. Слишком узкий лаз в смерть. А нельзя ли умереть полегче?!

Густая красная тьма стала багряной, чёрной, обволокла макушку плода, его лоб. Глаза закатились. Налились кровью. Он делал усилие. Проталкивался туда, куда протолкнуться нельзя. И всё же он продолжал делать это.

Ввинчивался. Бодал. Вкручивался. Толкал. Нажимал. Вворачивался. Давил и давил. Он мог расплющить себе череп. Ему казалось, он сам продавливая странную дыру в животе матери. Дыру, через неё он выйдет в крошечную тьму.

Там, снаружи, тьма. Ничего, кроме тьмы.

Только сейчас, толкая головой твёрдое мясо и железные кости, он понял, что кончается всё.

Жизнь кончается. Счастье рвётся. Красные нити, алые хвощи, кармин и сурик вспыхивают, гаснут, трепещут за спиной, над затылком.

Всё позади. Рай зади. Не оглядывайся. Не оглядывайся назад.

Никогда не оглядывайся назад. Иди только вперёд.

Даже если гибель впереди.

Плод вставил голову в разошедшуюся щель. Лонные кости сдавили луну черепа. Шар сплюснулся. Боль потекла ото лба в живот, из живота в пятки. Пятки загорелись огнём. Белки глаз стали ярко-красные. Ладони посинели. Он шёл головой прямо в смерть. В боль. Смерть—это боль. Как он раньше не знал? Боль, тёмная ночь. Боль, сверкающий нож. Боль теперь будет вечно. Значит, смерть—это вечно.

А он думал: смерть—это быстро, мгновенно.

Время, как больно ты рвёшься. Как тяжело тебе уходить. Истончаться. Какое ты непрочное, тонкое, нежное, время. Как тебя мало. Девять месяцев? Девять веков? Девять эпох? Время считать невозможно. Пока есть ты—есть время. Тебя нет—и времени нет.

Сейчас время перестанет быть. Боль шепчет прямо в уши: я кончусь. Я сейчас кончусь. И кончится всё.

Ребёнок не вздрагивал. Не корчился. Не дёргался. Он неуклонно, медленно, безумно шёл головой вперёд, упирался макушкой и лбом в ужас и боль. У него не было другого выхода.

Вошёл в узкую пещеру. Стены сдвинулись. Скала напозала на скалу. Лаз расширился, потом сузился. Ребёнок забился, стиснутый болью со всех сторон. Ловил разинутым ртом остатки жизни. Последние её вскрики. Последние золотые, красные блики на поверхности чугуно-чёрной воды.

В пещере сухо. Живая вода ушла. Навек. Вперёд! Нельзя. Назад? Нельзя.

Застрял в костяных клещах. Ни туда ни сюда. Нет выхода. Выхода нет!

Плод внезапно, весь, с маковки до пяток, стал скользким как угорь: пот последнего страха облил его, окутал серебряной ризой.

Обезумел. Втиснул голову глубже в море боли. Задышался. Лёгкие стали обрывками мокрой верёвки. Ноги ломались, как стеклянные. Кровь вскипала в жилах. Текла изо рта обращённым в молчанье долгим криком. Вперёд, ещё на миг вперёд, ещё на крик, на вздох! Он двигался. Он всё-таки двигался.

Он ещё не застыл. Не заледенел.

Смерть была рядом, но он ещё не был смертью. Не стал ею.

И это давало ему силы двигаться.

Сердце билось красной уродливой рыбой. Руки-рыбы плыли около груди, соединяли пальцы-хвосты. Ребёнок полз, продирался, карабкался вперёд, пьянея от близости смерти, оттого, что никогда не вернётся назад. Пьяное, страшное никогда! Голова прорезала тёплую красную волну. Голова

вставлялась в щель между плотно пригнанными брёвнами, и брёвна расходились в стороны, и камни разлетались, и снаружи в голый кровавый затылок плескали светлая боль и чёрная боль, и он хотел прижаться к обеим губами.

Вперёд! Вперёд! Обратного хода нет. Кончилось время. Смерть сейчас начнётся. Сейчас. Вот сейчас.

Мать стремительно, с улыбкой безумия, опускалась, разбросав руки и расставив ноги, в тяжёлый и плотный кровавый мрак, и там, во тьме, выгибом жемчужной рапаны горел испод её натруженного брюха, а сплетения алых шевелящихся стеблей с болью, хрустя, разрывались и сверкали, и всякий живой, надвое порвавшийся кровавый хвост имел человеческое лицо и вопил, распяливая страшные красные губы.

Рай и Ад, так вот вы какие. Ну, поборитесь.

...Ребёнок шёл Большой Водой, плескал в широкий мир океанским прибором, бесился, бился, корчился, плыл, разливался, из крохи стал громадным, его тяжести и натиска не вынесло время, просело, подалось под его головой и плечами, он обнял время слабыми ручонками, сильнее тысяч огней, и его мать бормотала искусанным ртом: сынок мой, сынок. Синюю воду сменила красная—кровь не желала отпустить от себя райское дитя просто так. Кровь ринулась наружу из всех лощин, родников, отрогов мёртвой, убитой земли, даруя ей последнюю великую свободу, питая её и лаская.

И через связанные, спаянные мощным огнём костяные костыли и стон и треск сухих, отживших хлящей-веток, хвороста плоти устремилась, заскользила, потекла по ржавой дегтярной реке к дышащему теплом и любовью Великому Океану меч-рыба, нож живой, с ногами, руками и головой, кровавый кус времени рассекающий надвое—на звериное метельное Ушедшее и на забытое, воблой засохшее чужое Грядущее, неизвестное и жуткое, как сброшенная змеиная кожа, жёлтый лошадиный череп!

Живой меч таранил лбом, носом, макушкой толстое крошево прибрежного снега и льда, заштопанную алыми водорослевыми нитями зимнюю рану нагого берега. Устье дороги. Конец пути. Воля дышит железным морозом в темя и в щёки. Ребёнок-меч бьёт телом, хвостом, животом, коленями в катящиеся мимо солёные валы, в медленно идущие красные льдины. Вперёд! Так заповедано. Назначено. Океан. Ширь. Свобода. Дикое, пламенное небо, пустой сосуд, из него вылита вся золотая вода. Ястребом летит в белом небе чёрное солнце. Пить воздух. Пить воду. Она солоня. Она твоя кровь. Растопырь бедные жабы! Молния режущей боли ударяет вдоль солёного скользкого тела. Глаза зажмурены. Уши залеплены воском ужаса. Свободен лишь рот. Он раскрыт. Он орёт.

Глотка вопит. Изо всех сил. Крик выходит наружу беспрепятственно. Не останавливаясь.

Безысходный, долгий, как жизнь, подземный. Поднебесный.

...Скользить, выпрастываться, выбираться...

...наружу, вовне, туда, где боли нет...

...протолкнулся. Вошёл. Прошёл насквозь.

...Выскользнул из смерти и тьмы—ударил ад и боль счастливым кровавым хвостом—рыдая, липкий, гладкий, в смазке, в поту, в крови—красный—орущий—грязный—чистый—чище рубина и алмаза—кричит беззубо—страшный—уродец—скрюченные ножки—пальцы с перепонками—жабры еле дышат—сбросил чешую боли—извивается змеёй—честно умирал и честно родился—кричит—вопит—визжит—поёт—вдохнул ещё и ещё, глубоко, глубже, ещё глубже—дышит—да, дышит—да, дышит—да!

...Не спрятать за выгибом рёбер. За веерами жабр. Крепко сомкнулись. Тяжко раздулись. Вдохнули свет. Выдохнули боль.

Не удержать!

Ори. Визжи. Бей хвостом. Неси над большой водой вдаль, к небу, неистовый крик. Пронзительный вопль. Вонзай копьём первую молитву в серую влагу. В чёрные тучи. В глубоководную тьму. В белый простор. В седые нити. В синюю толщу. В красное небо. В смерть без имени. В жизнь без берегов.

Он умер.

И он родился.

Как просто.

А он не понимал.

Океан

Поднялась на вершину холма.

Отдувалась. Пот уже тёк градом. Кофту хоть выжимай.

Ветер продувал насквозь. Выдувал жар из-под рёбер. Ребёнок в животе сидел тихо. Может быть, уснул.

Женщина посмотрела вдаль. Тучи то открывали, то закрывали красное солнце.

Вдали сверкала вода. Много воды.

Океан.

Совсем близко.

— Океан,— тихо сказала Руди, и тут же её выкрутила резкая, тонко-пронзительная боль.

Боль тянулась долго, длинно, вилась тонкой режущей проволокой.

Разрезала воздух. Кожу. Мясо. Душу.

Руди ухватилась за живот. Ветер толкнул её в спину. Корчась, держась за живот, сгибаясь, она сбегала вниз с холма, к измятой рябью большой

воде. Сумка висела у неё на локте, била её по боку.

— Океан... океан...

Она бежала к океану так, будто он мог её спасти. Пожалеть. Приголубить.

— Океан... помоги...

Ей уже никто не мог помочь.

Начиналось бесповоротное.

Она добежала до воды. Вблизи океан оказался серым и будничным. Ветер морщил воду, она содрогалась и колыхалась. Руди металась по берегу. Швырнула сумку на песок. Боль усиливалась. Она не знала, что делать.

— Чёрт! Но ведь делать что-то надо!

Надо. Надо. Она летела птицей. Раскидывала руки. Будто хотела подняться над землёй. Тут же пригибалась. Ломалась в позвоночнике. Приседала. Орала, безобразно расширяя рот. Зажимала себе рот ладонью. Таращила глаза. Вставала. Опять бежала. Опять сгибалась, охала. Падала на бок. Ползла по мокрому песку на спине, запуская ногти, пальцы в песок. Каталась по земле. Хваталась за живот.

— Ой-ёй! Ой, ужас...

Ужас последней боли стоял перед ней, глядел в её лицо уродливым лицом.

— Чёрт, я умру...

Лежала. Боль осторожно, хитро отошла в сторону. Чёрное лицо ужаса качалось рядом, невидимое. Волна плескала. Прибой шумел, шелестел. Руди почувствовала себя кувшином. Из неё выливали воду. Не воду, а молоко. Не молоко, а расплавленную сталь. И вдруг—растопленный лёд. Ноги мёрзли. Застывали. Песок увлажнялся, плыл, и она превращалась в тощую живую лодку. Уплывала. Под ней текла, билась, уплывала прочь её жизнь. Прежняя жизнь.

— Что это?..

Вода изливалась из неё наружу. Текла. Исчезала: песок впитывал её без следа. Песок вспыхнул под ней странным мутно-жёлтым сиянием. Жёлтая земляная волна несла её на хребте. Потом плеснула и выбросила опять на берег. И она царапалась, царапала ногтями неподатливый, жёсткий берег, песок набивался под ногти, рыбы смеялись над ней, высовывали морды из воды.

— Это воды... отошли...

Откуда она знала про воды? И что они должны отходить? Выходить из неё вон? А что ещё надо делать? Тужиться? Напрягаться?

«Сделать твёрдыми, железными мышцы живота. Чтобы вытолкнуть его».

Охватил страх. А если нельзя, чтобы железные мышцы? Она его задавит! Надо нежно. Тихо. Очень плавно. Плавно?! Боль взорвалась в ней. Разорвала её на куски. Она вглатывала кровавые куски воздуха, смешанные с лоскутами её плоти, с ошметками

её рваной, нищей души, уже не человеческой — куриной, кошачьей, стрекозиной, змеиной, — и, крюча пальцы и кусая губы, безмысленно согнула ноги в коленях и подтянула колени к животу.

Колени надавили на живот. Живот длинно, болезненно вздрогнул. Встал горой. Заслонил солнце и небо. Опал. Упал. Ей удалось увидеть свои колени. Они торчали в разные стороны. Она снова, резким коротким усилием, подтянула их к пупку. И снова испугалась: задавит ребёнка.

— Чёрт... Господи! Что делать?!

Крик плавно, насмешливой птицей, ушёл в небеса.

«Моё время. Оно выходит. Оно кончается. Время!»

Время кончается всегда и у всех. Всегда и везде. Время человека: он вырос внутри тебя. Он уходит из тебя. Выходит. Он — время. Твоё время. Ты родишь его. Выпустишь. Ты не можешь держать его в плену. Свободен! Свободен!

— Сейчас...

Огляделась беспомощно. Повернула голову к воде. Прибой набегал на берег. Плескал ей в слепое от боли лицо. Ловила губами брызги. Хотела пить. Много солёной воды. Не напьёшься. Вода, а не для питья. А для чего?! Для чего?!

Дрожа, встала. Качалась. Колени подгибались. Ломались. Побрела к воде. Ноги увязали в песке. Шла медленно. Гнала себя: быстрее! Зачем в воду? Почему в воду? Так надо. Так спасёмся! Так...

Вошла в тёплое, плещущее. Уже вошла. Ноги обняла ласковая соль. Вода, вечная. Ты успокой меня. Утешь. Вода, обними. Спасёшь! Я знаю. Глубже. Глубже. Ещё глубже!

Входила в воду. Ступни ощущали, как расходится песок. Ласкается мягкий ил. Вода обнимала колени. Целовала бёдра. Юбка надувалась. Намокали, тяжелели лохмотья. Руди ухватила юбку за пояс и стащила её через голову. Бросила в воду. Прибой играл с тряпкой. Пригнал её к берегу. За юбкой полетела кофта. Женщина с бугрящимся, торчащим животом входила в воду голая, живот разрезал волны форштевнем корабля.

Глубже. Не бойся. Ничего не надо бояться. Вода поможет тебе. Видишь, она ласковая. Она мать. Она всегда поймёт мать. Ты мать, и она мать.

Руди присела. Окунулась в воду по плечи. Протянула руки. Они поплыли по воде, две белые рыбы. Она села в воде на песок. Вода оказалась ей по шею. Раздвинула под водой ноги. Шире. Ещё шире. Живот вспучился. Раздулся, разбух. Опять провалился. Боль резанула вниз, между широко, до хруста, разведёнными ногами. Женщина шире расставила ноги. Надавила на живот кулаками. Кричать! Громче!

«Стыдно орать. Не буду вопить».

Она боялась криком сделать больно земле, воде. Такому ласковому, мокрому, нежному песку.

Голова младенца разрывала её кости. Разламывала хлебом тело. Ею обедают, и она цыплёнок табака. Больно и крепко держат невидимые руки. Незримые зубы едят её. Клыки погружаются в плоть, глубоко, ещё глубже. Природа жадная. Она хочет насытиться. Ей всё мало. Ей мало времени и смерти. Она хочет жизнь. Всегда жизнь. Ещё одну жизнь.

Шире развести ноги. Дай ему выход!

Освободить. Вода, прими! Судорога скрутила. Её отжали несчастной кровавой тряпкой прямо в просвеченную солнцем воду. Вода или кровь? Густое питьё. Ледяное. Обжигающее. Не всё ли равно? Окунула лицо в воду. Хлебнула соли. Боли. Солёная вода втекла внутрь, и лишь тогда женщина заорала — вольно, радостно, ликующе, дико.

И вместе с раздирающим напряжённые внутренности острым ножевым криком из неё вышла, выскользнула сначала голова ребёнка; потом голова повернулась вбок, наружу вывернулись плечи. За плечами в воду вышла узкая птичья грудь. Белая тарелка крошечного живота. Скрюченные ноги расправились уже под водой.

Руди, согнув ноги, глядела в воду. Под воду. Вглядывалась в то, как её ребёнок выходит на свет.

Перестала кричать. Замолчала.

Плод вышел. Боль ушла.

Человек вырвался из матери вон, в солёную тёплую воду и поплыл в ней, растопырив, как плавники, руки.

Руди, опомнившись, опустила руки в воду. Поймала под водой ребёнка. Своего ребёнка!

Он выскользнул у неё из рук. Уплывал. Она в ужасе ринулась. Поймать! Уплывёт!

— Рыба моя...

Нырнула. Наплыла на него всей грудью. Навалилась. Подмяла под себя. Схватила. Обхватила. Обняла. Прижала. Весь в крови. Кровь смывала солёная вода. Руди хлебнула её воды. Соль забила горло. Она поднималась со дна, вставала на ноги, поднимала, крепко обхватив, ребёнка. Вынимала его из воды на свет. Из воды — в воздух и ветер.

— Родился!

«Я тебя родила».

Ребёнок сморщил лицо. Ноздри раздулись. Вдохнул воздух. Рот изумлённо раскрылся. Лёгкие развернулись лепестками. Теперь его пронзила боль. Руди почувствовала её. Он ещё был ею. Они ещё были друг другом. Она видела: это мальчик. Мужчина. Он перенесёт эту боль. И ещё много другой боли позже, потом. Он вынесет всё. И невыносимое.

Ребёнок вдохнул земной воздух. Глубоко. Глубже. Ещё глубже.

Вдыхать. Вбирать. Впускать. Не выпускать?!

Всё, что войдёт внутрь, выходит наружу. Есть только выход!

Воздух вышел из маленького красного человека вместе с криком.

Первый вдох. Ужас в слепых солёных глазах. Первый крик. Радость!

Мать крикнула. Мать выдохнула страх. Выплюнула смерть. Мать засмеялась вместе с ним.

Младенец плакал и кричал. Вдыхал и выдыхал. Жил.

Крик. Боль. Плач. Ветер. Вода. Слёзы. Это и есть жизнь?

Ты сознаёшь, что ты родился?

Где ты сейчас? И что с тобой?

«Он же ничего не знает. Кто понимает! Он всё знал и понимал, когда жил внутри меня. А сейчас он родился. Он умер. Он не знает, что такое жить. Он думает—это смерть. Он родился в смерть. Может только кричать. Сознание умерло вместе с ним. Оно не прошло воротами боли. Я прошла. Я».

Руди прижимала ребёнка к мокрой солёной груди. Плакала вместе с ним.

— Пстой! Погоди... Я сейчас!

Брела, выходила из воды с ребёнком на руках.

Села на песок. Ноги дрожали. Пуповина вилась, исчезала внутри. Пальцами ноги Руди подцепила юбку. Подтащила ближе. Положила на влажные лохмотья младенца. Легла на песок. Ещё усилие. Ещё. Послед вышел. Песок, как хлеб, впитывал винную кровь.

Женщина наклонилась над ребёнком.

Глаза в глаза. Не видит! Веки склеились.

«Это морская соль. Сейчас он разлепит глаза. И я загляну в них».

Наклонила голову. Зубами перегрызла пуповину. Соль океана. Соль крови. «Я как волчица. Я всё знаю, что делать». Вытащила из подола юбки нитку. Плотно замотала кровавый отросток. Ребёнок визжал и плакал. Дёргался. Корчился на песке.

«Какой красивый! Почему такой красный?»

Новорождённый и вправду был густо-красный, цвета молодого сухого вина. Он крючил и поджимал ноги к животу.

— Тебе больно. Терпи! Заживёт!

Руди наклонилась и поцеловала сына в солёный живот. Чуть выше замотанной нитью пуповины.

Вот теперь он открыл глаза.

Она поймала первый взгляд. Глаза плыли. Серые, голубые. Чистые. Без дна. Туманное небо. Отражается мир. Тает и умирает. Зеркальный плач. Зеркальное страданье. Глаза помнят Рай. Ловят его тень. Ищут его звук, блеск и свет. Плачут по нему. Спрашивают: зачем? Зачем вынули вы меня из моего великого, туманного и сладкого блаженства?

Вынули. Лишили счастья.

Первого и последнего.

Ребёнок крючил ноги, руки. Закидывал голову. Испускал то тонкие крики, то кряхтел, будто, не успев родиться, заболел, и горло хрипело. То вдруг заходил визгом на высокой, поднебесной ноте. Визг обрывался. Руди глядела на ребёнка. Пот

тёк по её лбу и щекам, а может, морская вода с мокрых волос.

— Тебе холодно!

Замотала его в юбку. Взяла на руки.

Так сидела с ним на песке.

Из тряпок высовывалось красное личико. Морщилось. Руди заглядывала в беззубый младенческий рот.

«Надо идти. Куда я пойду, полуголая?»

Встала. Шатнулась. Сжала ноги, не выпуская наружу боль.

«Может, надо, наоборот, лежать. А не ходить. Сыро тут, на песке».

Медленно, трудно переставляя ноги, пошла по берегу. Навстречу солнцу.

Солнце било ей в лицо.

Ноги вдавливались в песок. Ей нравилось это. Она нарочно шла по самой кромке, по песку, зацелованному прибором.

«Иди. Иди. Иди. Важно идти. Передвигаться».

Она понимала: надо найти укрытие. Океан. Ветра. Дожди. Прилив. Уводы много опасностей. На берегу, у прибор, оставаться нельзя.

«Море. Можно уплыть».

Думала: а вдруг лодка, а вдруг чужой корабль? А вдруг не все на земле пострадали так, как её страна? Вдруг где-то осталась жизнь? Остался—Рай?

«Рай, мой Рай, живи, не умирай».

С закутанным в рваную юбку младенцем, с голыми грязными ногами, шла по берегу, и вода щекотала ей пятки и пальцы.

Мысли текли медленно, чуть шевелились под ветром водой, шли мелкой рябью, подёргивались солнечной плёнкой.

Младенец совсем лёгкий. Даже не оттягивает руки. Сколько он весит? Раньше, до всеобщей смерти, новорождённых взвешивали, она знает. В больницах. В поликлиниках. Дома. Богатые люди покупали специальные весы для взвешивания грудников. Ах, прекрасное время до смерти. Живое время.

А она живая сейчас. И ребёнок живой. Живые. Ещё живые.

Её шатало от боли.

«От голода. Это от голода».

Солнце палило, а песок не высыхал. Он тут вечно был мокрым.

«Когда же начнётся прилив?»

Ласковый прибор, смирный котёнок. Земля повернётся, и океан начнёт наступать. И затопит. Всё затопит. Зальёт. Захлебнёшься.

Она боялась оглядеться вокруг. Смотрела только прямо перед собой. Себе под ноги. Опять увидеть развалины? Пахло горелым. Иногда в песке торчали обломки кирпичей. Свалились ей под ноги. Она переступала через чьи-то брошенные ислевшие тряпки. Видела круги золы: здесь люди жгли костры. Рыбы кости валялись там и сям. Нет, это

не Рай. И никогда это место не было Раем. Это самый край ада. Адская кромка. Вода хуже ножа. Вода — яд. Зачем она родила ребёнка в воде?

«Я не знаю. Так было легче».

Голое побережье. Нет, вон, вдали, кусты. Солнце бешено танцевало на воде. Вода бросала блики на лицо Руди. Она жмурилась, как кошка. Ребёнок перестал визжать и кричать. Уснул у неё на руках. Она крепче прижала его к груди. Ближе подошла к кустам.

За кустами слышались рыдания.

Там плакал человек.

Не плакать кто. Мужчина или женщина.

Руди остановилась. Солнце грело лицо младенца. Он спал, приоткрыв рот.

«Он ещё не брал мою грудь. Он тоже устал, рождаясь».

Медленно поднялась по обрыву к торчащим кустам. Ей казалось, они колючие, а вблизи оказались мягкие ветки, длинные нежные листья. Плач слышался громче. Руди, прижимая младенца одной рукой к груди, другой осторожно раздвинула ветви.

Мужчина стоял на коленях. Перед ним холмик. Маленький земляной холм. Могила. Сам и насыпал её. Кто же ещё? Плачет. Закрыл лицо рукой. Спину сторбил. За плечами котомка. Как страшно рыдает! Думает, он один и тут никого нет. А она подглядывает. Ей стало плохо.

«Я как надсмотрщик в тюрьме. Наблюдаю в глазок».

Накатила тошнота. Её чуть не вырвало от отращения к самой себе. Быстро шагнула вперёд. Нарочно громко продралась через густой куст. Ребёнок не проснулся. Руди, преодолевая боль, крупно, размашисто шагала босыми ногами к рыдающему над могилой человеку.

— Эй! Привет!

Мужчина так плакал, погружённый в свою горе, что не сразу услышал её.

— Эй, слышишь?!

Когда она уже подбегала, была совсем рядом, он повернул голову.

Руди споткнулась о его твёрдые, железные глаза. Зрачки вышли из её спины, две ненавидящих пули.

Встала. Младенец проснулся.

Всё-таки проснулся. И заревел.

Человек вздрогнул. Отвернулся. Смотрел на могильный холм.

— Кто?

Руди погладила ребёнка по щеке, и он затих, зачмокал губами.

Она видела голый затылок человека. Поднятый ворот его ватника.

Редкие, похожие на сухую прошлогоднюю траву русые волосы шевелились на ветру.

«Так тепло, а он в зимней одежде. Значит, ему холодно».

Человек, не оборачиваясь, сказал:

— Сын. Я похоронил ребёнка. Своего ребёнка.

Руди обдало огнём.

«Вот я родила. А он — закопал. Чаши весов. Смерть, жизнь. Мы никогда не поймём, что оно всё значит».

Она села на корточки рядом с человеком.

Подумала. Вздохнула. Осмелилась. Положила руку ему на плечо.

— Не плачь. Всё уже совершилось.

— Да. Всё уже совершилось.

Он покосился на ребёнка. Младенец выгибался в тряпках.

— Грязные какие. Нужны чистые. Заболеет.

— Да. Я знаю. Всегда надо чистое.

Вздохнула. Ветер шевелил её отросшие волосы.

Она исподтишка разглядывала стоящего на коленях мужчину. Немолодой. «Сейчас все быстро стареют». Редкие волосёнки. Скоро начнёт лысеть. А глаза такие! Вроде спокойно смотрит, а зрачки, радужки выходят навывлет. Где она видела их?

«Где я видела эти глаза?»

Махнула головой, будто отгоняя муху. Запустила пальцы во влажную, смешанную с песком землю.

— Большой?

— Да. Двенадцать.

«Сколько было сыну Крота? Сколько немому дикарю? А сколько тому... с белкой?..»

Дёрнулась, как от ожога. Ребенок закричал. Запищал. Руди сунула руку за пазуху. Вытащила за цепочку медальон. Фальшивое золото потускнело, от влаги подёрнулось рыжей ржавчиной.

— Что это у тебя?

Глядел, и опять глаза сквозь неё летели.

Поёжилась.

— Ничего. Штучка одна.

Повела глазами вбок. Села на землю. Вытянула голые ноги.

Мужчина смотрел на её ноги.

Она перехватила глазами его взгляд.

— Расстегни!

Ему было удобнее, чем ей. Он встал с колен. Отряхнул штаны. Присел рядом с ней. Взбросил руки. Отколупывал неуклюжими пальцами медальонную крышку. Полушилось. Раздался негромкий железный лязг. Снимок полетел по ветру, Руди поймала его на лету, как бабочку. Протягивала на ладони мужчине:

— Вглядись-ка! Не твоя родня?

Человек взял в грязные, заскорузлые руки её руку, наклонил голову и стал смотреть.

Смотрел долго. По небу побежало стадо чёрных туч. Тучи заслонили солнце. Ветер усилился, из тёплого стал холодным. Принёс явственный запах гари. Маленькая медная пуговица солнца тоскливо, тускло блестела сквозь копоть непогоды. Человек вздрогнул. Руди насторожилась. Потом

обмяк. Женщина выдохнула, отворачивая лицо от ребёнка, чтобы не испугать его шумным дыханием.

Мужчина всё ещё держал руку женщины в своих руках. Потом коротко, крепко сжал. И выпустил.

«Точно. Это его отец».

Она набрала в грудь воздуха.

— Твой отец чуть не убил меня.

Он не поднимал головы. Глядел в сторону.

Ребёнок пицал, ворочался, чмокал, ахал.

«Зачем я показала ему снимок? Ему больно. Он не знает, как, что мне сказать. Сейчас встанет и убежит!»

Ей стало страшно.

«Я останусь одна!»

Молчали оба.

Близко, за косогором, шумел прибой.

«Сейчас начнётся прилив. Бежать отсюда сломя голову!»

Ветер трогал распахнутые полы его старого, заляпанного известью ватника.

Корни куста с нежными узкими листьями высунились из-под земли. Мотались, белые и голые, на ветру. Тучи спустились всё ниже, летели, задевая их головы. Куст трещал и шелестел. Океан густо, гулко загудел.

«Буря идёт. Ни укрытия! Ни шалаша!»

Она вспомнила перевёрнутую лодку погибшего моряка.

Мужчина вскинул на неё глаза. Опять она чуть не вскрикнула.

Он ударил её глазами.

«Сейчас скажет: прости. Прости меня... за него».

Разлепил губы. Между небритыми тёмными губами блеснули жёлтые, длинные, как у коня, зубы.

— Нет. Этого человека я не знаю. Не знаю, кто это.

«Ты врешь!»

Она сжала снимок в кулаке. Измяла его.

— Я верю тебе.

Он осторожно разогнул её сведённые, будто судорогой, пальцы. Вынул измятое фото. Снова вставил в медальон. Защёлкнул крышку.

— Сейчас все всем родня. Я не удивляюсь ничему.

— Я тоже.

Ей стало чуть легче дышать. Будто она вынырнула из-под воды. Будто тонула и спаслась. Как тогда.

— Мы тоже родня.

— Да ну?

— Шутка.

Мужчина улыбнулся краем рта.

— В каждой шутке есть доля правды.

— Нет. Доля шутки.

Можно было засмеяться, но оба молчали. Ветер свистел в ушах.

— Знаешь, скоро начнётся прилив.

— Догадываюсь.

— Тут небольшие приливы. Нестрашные.

— Это хорошо.

Помолчали. Руди держала ребёнка обеими руками. Медальон висел поверх старой кофтенки. Младенец захныкал. Он хотел есть и просил есть всем голосом и телом.

Руди медленно, тяжело встала с земли. Мужчина глядел на неё снизу вверх. Ветер трепал волосы женщины.

«Я кажусь ему красивой. У него восторженный взгляд».

Она сама не знала, почему сказала так:

— У тебя теперь есть сын.

— И ты.

Сидя на земле, он нашёл её руку. Сжал.

Она сжала его руку в ответ.

— Да. И я.

Он поднялся. Встал рядом.

Стояли, держась за руки.

«Как дети. Мы как дети».

Отсюда, с косогора, был виден океан. Огромные серо-синие валы катились издали, накатывались на берег.

— Вода ещё не поднимается?

— Ещё нет.

— Значит, успеем.

Мужчина не переспросил, что.

Ветер крепчал. Дышал далёкими льдами.

Они смотрели на мерно, обречённо катящиеся из глубины к берегу волны.

— Сколько мы проживём?

— Не знаю.

Он крепче сжал её руку.

Руди хотела обернуть к нему лицо, но боялась расплакаться.

— Как ты думаешь, Земля оживёт после этой бойни?

— Это от нас зависит.

— От нас с тобой?

Он ещё крепче сжал её ладонь, и она дёрнулась больно!

Мужчина ослабил хватку. Женщина улыбнулась.

«Он сильный. С сильным ничего не страшно. Даже смерть».

Посмотрела на румяное под ветром лицо сына.

«Что я вру сама себе? Я не хочу смерти!»

Слишком нежная кожа лица. Слишком сияющие тоской по Раю глаза.

Рай покинут. Мы изгнаны из Рая. Навсегда. До скончания века. Аминь.

Мы умрём, да. Но прежде чем умрём—мы будем жить!

«Я ему нужна! Им. Им обоим».

Они оба видели и слышали мерное, размашистое биение океана. Билась, взлетала и опадала синяя кровь. Песок плыл под ногами. Уходил из-под ног. Побрели по берегу. Мужчина выпустил её руку. Подхватил лежащую на песке сумку. Внутри сумки, как в животе старой матери, слабеньким

желанным последышем лежал он сам. На жёлтом, сером, жемчужном, прокуренном фото. Руди прижимала к себе ребёнка обеими руками. Шептала ему непонятное, ласковое. Напевала. Замогла, слушала ветер. Ветер гудел небесной музыкой, пел. Он пел страшную древнюю песню. Чёрный песок сменялся жёлтым, потом грязно-серым, потом кирпично-красным. Песок менял свет и цвет. Ноги тонули в песке. Вода тихо, неуклонно поднималась. Ни корабля на горизонте. Ни лодки. Всё мертво. Всё на дне. Зачем думать о том, что утонешь? Лучше плыви.

Ветер трепал нетленный человеческий мусор, старые конфетные фантики, косточки слив, пустые пластиковые бутылки с яркими надписями, сигаретные коробки. Они подходили к заброшенному пляжу. Деревянные грибки и зонты валялись на песке. Шезлонги разбросаны, разломаны. Везде сизые круги кострищ. Далеко, у воды, лежала мёртвая собака. Руди отвернула лицо.

Её глаза увидели камень. Большой валун. Она кивнула: туда. Оба пошли, загребая ногами сырой песок. Женщина села на валун.

— Он хочет есть. Я покормлю его.

Мужчина кивнул. Снял с себя ватник. Укрыл её голые ноги, уже покрывшиеся на холодном ветру гусиной кожей.

— Спасибо.

— Всё нормально. Корми.

Руди растегнула кофту.

— Мне стыдно! Не смотри.

Человек отвернулся.

Опять её будто огнём обожгло.

— Нет! Смотри! Я пошутила!

Он послушно повернулся и неслышно, коротко рассмеялся.

Ветер вздувал его грязную старую рубаху. Руди выпростала из лифчика грудь. Из-под ослабшей лямки выскользнул сырой листок. Помятый влажный снимок. Мёртвая рыба времени, без чешуи, объединенная до скелета голодным ветром, жадной водой, угольным солнцем. Ещё один кадр жизни, что была до смерти. Мальчик в бархатной курточке, с кружевным воротником. На девочку похож. И правда, кто это, мальчик или девочка? Не всё ли равно? Снимок летел по ветру, Руди провожала его глазами. Зачем он так долго жил с ней? У её сердца? Её сердце ловило биение сердца этого мальчишки. Она закопала его в мёрзлой зимней земле. А может, он вовсе не умер? И это он и есть, вот, рядом, стоит у валуна и смотрит на неё? На её полную молока грудь? На то, как она суёт грудь в рот ребёнку, и он ухватывается, и сосёт, и радуется, и насыщается? А у них нет еды. Нет жизни. Нет смерти. У них есть только одна минута. Вот этот миг. Лишь этот миг.

Ребёнок впился в материнский сосок. Крепко схватил губами, дёснами первую пищу, жадно

вытягивал из матери молоко, глотал, закрывал от счастья глаза. Потом открывал опять. Смотрел прямо в глаза матери. И мать смотрела на него.

Она смотрелась в него, в живое зеркало.

Подняла голову. Мужчина глядел на неё.

И в него она гляделась, как в зеркало.

И он, как в зеркало, гляделся в неё.

«Тихо! Почему так тихо? Как перед взрывом».

Ребёнок чмокал. Лилось невидимое молоко. Тихо гудел за спиной океан.

«Может, ничего ещё не было? И смерти не будет никогда?»

Ребёнок отдавал ей тепло. И она отдавала ему тепло.

Мужчина стоял на сыром солёном песке и смотрел на них обоих.

Фотография мальчика в куртке с кружевным воротником подкатилась, гонимая ветром, к воде и окунулась в весёлую грязную пену прибоя. Прибой играл с ней. Крутил её и вертел. Она намокала. Тяжелела. Превращалась в белую, серебряную рыбу. Играла и плыла, исчезала. Медленно, медленно опускалась на дно. Тонула.

Руди впервые в жизни глядела, как её ребёнок ест.

Насытился. Выплюнул сосок. Отвалился. Уснул мгновенно. Рот открыт. Глаза уплыли синими мальками. Дышит спокойно. Руди затолкала грудь под лифчик. Одной рукой застегнула кофту. Вот теперь покраснела. Смутилась.

Мужчина не сводил с неё глаз.

— Как думаешь, он наелся?

— Конечно. Видишь, как сладко спит.

Она встала с валуна. Её ноги лизнула вода.

— Вода прибывает.

— Вижу.

— Пора уходить. Мы всё успели.

— Да. Успели.

Руди отошла от камня. Мужчина посмотрел на её голые ноги.

В его взгляде она прочитала заботу.

— Ты не можешь так идти. Тебе нужна юбка.

— У меня её нет.

— Я понимаю. Так. Подумаем.

Думал недолго. Стащил с себя ватник. Потом рубаху. Рубаху протянул Руди.

— Застегни на поясе. Носи как юбку. Потом придумаем что-нибудь.

Она не стала спорить. Она снова была худая, как раньше. Живота не было. Рукава рубахи смешно мотались по бокам.

— Я смешная.

— Тебе это только кажется.

Накинул ватник на голое тело. Потом закусил губы и опять сбросил его.

Укутал ватником плечи женщины.

— Что делаешь?!

— Ничего. Кто в доме хозяин?

Ветер всё сильнее гнал волны. Всё жесточе раскачивал, мотал прибрежные кусты.

Руди плотнее завернула в юбку ребёнка. Мужчина застегнул пуговицу ватника. Теперь ребёнок был как в домике, защищён от холода и ветра. Вода ощутимо поднималась. Им заливало ноги.

Мужчина обнял женщину за плечи. У него были волосатая грудь и тощие рёбра. Под правой ключицей — бугристый уродливый шрам. Он крепче обхватил за плечи Руди. Они пошли прочь от берега, стараясь идти в ногу, так, вот так, приноситься друг к другу, слышать друг друга, вместе дышать, слить воедино шаги.

Литературное Красноярье . ∴ КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Марина Саввиных

Милосердие творчества

О стихах и песнях Ольги Никитиной

Милый, милость, милосердие... какие тёплые, согревающие, лелеющие русское ухо слова!

Я долго не могла ухватить нерв, творческую основу песен и стихов Ольги Никитиной. Всё у неё как-то уж очень просто, без малейшей ужимки, без претензии на оригинальность, без педалирования формы... О таком говорят: «комнатное искусство». Камерное, если всё же хочется польстить автору. Кажется, Никитиной нечем зацепить, удержать нынешнего читателя и слушателя, балованного избытком всевозможных стихотворных экспериментов. А ведь не так! Ольга Никитина много гастролирует, выступает перед самой искушённой аудиторией — и всякий раз публика встречает и провожает её с неизменной благодарностью. В чём же дело? Чем она завораживает? Что и как говорит собеседникам, если они — такие разные — отвечают ей признательностью и готовы снова и снова включаться в этот неторопливый и вроде бы непритязательный разговор?

И вдруг — в очередной раз перелистывая страницы авторского сайта Никитиной, возвращаясь к знакомым песням, рассматривая рисунки — я поняла наконец: вот оно!

Мы уже сыты до отвращения бездушным умничаньем, под видом поэзии заполонившим страницы толстых журналов и литературных блогов. Не новизны нам хочется и даже не «свежести» пресловутой, а... милосердия. Особого художественного милосердия, которое далеко не каждому пишущему даётся и требует совсем особенного мастерства.

Ольга Никитина любит своего читателя, слушателя и зрителя. Любит его, внимает и сострадает ему. Я написала как-то, что, по моему мнению, настоящий поэт — тот, кто не столько говорит, сколько слушает. Настоящая поэзия — торжество слуха. Так и здесь. Ольга — словно драгоценный музыкальный инструмент — настроена на голоса, шёпоты и затаённые желания современников. Она положила на музыку и сама спела стихи многих ныне работающих русских поэтов, чем — как минимум — расширила их аудиторию, введя другое слово в гармоническую атмосферу собственного миропонимания.

И всё же главное её достижение — в том, что своим стихом, музыкальным по существу, своим артистическим обликом, своим умением завязать и выстроить с людьми честный доверительный разговор (да! предельно интимный, комнатный, «кухонный» — как хотите!) Ольга Никитина добивается отклика самой тонкой, самой, может быть, оболганной, униженной и за последние двадцать лет будто бы окончательно загнанной в угол субстанции каждого человеческого «я». Благодаря таким художникам, как Ольга Никитина, мы вспоминаем, что у нас есть сердце! Что оно способно на бескорыстное добро. На свободную и радостную милость. Что «милосердие» — не только в подавании хлеба насущного или помощи в исцелении, но и в прямом, открытом слове, обращённом к твоей душе и поощрившем в тебе человека.

Будь я врачом, я прописывала бы книги и диски Ольги Никитиной как болеутоляющее и общеукрепляющее средство. На себе проверено — очень помогает!

Михаил Стрельцов

Боб

Восьмилетний Боб был старше на два года. И по собачьим меркам я мог считаться его внуком. Потому играл, слегка дурачась, в половинку силы: хватал конец палки цепкой челюстью — и тянул, присев на задние лапы, делая вид, что твёрдо намерен вырвать. Мелкие ровные зубки и вогнутые крючки клыков — белоснежные, словно чистил пастой! В доброжелательных сливах зрачков внезапно проскальзывала почти человеческая ехидинка прямо перед тем, как внезапно разжимал пасть. Отчего я, тянувший с другого конца, должен был хлопнуться в траву. И тогда, победоносно тьякнув, пёс оказывался подле, взгромождал на плечи лапки с чёрными пружинками подушечек и принимался приветливо облизывать лоб. Было щекотно и слюняво. Тем не менее, я наловчился улавливать ехидный миг в зрачках и старался отпустить палку первым. И тогда Боб недоуменно приседал, притворялся побеждённым, игриво заваливаясь на бок, а я начинал чесать ему холку и за ушами. Пёс медленно, неуклюже даже переваливался на спину, подставляя мускулистый тёплый животик, чтоб его и там почесали.

Вероятно, вначале его назвали Бобиком, но, вымахав, он заставил прежних хозяев вызвать к себе уважение и изменить имя на солидное. В действительности, захоти он, то отобрал бы у меня махом ту палку. Помимо куцей бульдожьей челюсти, имел и другие признаки боксёра: сильные плечи, упругий и гладкий торс, уверенно стоящий на лапах, словно выросших не под телом, а вдоль него. Ушки торчком и объёмные глубокие глаза, в которых не было породистой надменности. Они были светлыми, где-то даже зелёными, будто только что вымытые летним дождём. Крупная дворняга, одним из предков которой, вероятно, был коли, проглядывала в Бобе не только тёмно-рыжим окрасом, но и в шее с царской горбинкой, и, конечно же, в совершенно не куцем, а прямо глядящем пятаке носопырки. И уже — само собой — характером псина задалась не в благородного дона, а в беспородных папашу своего или мамашу. Пёс действительно напоминал боб: упругий, покатый, продолговатый, твёрдый и юркий, мог выскочить из скорлупы будки с такой резвостью, что осмелившийся оказаться в пределах досягаемости чуток вряд ли бы успел отскочить.

И хотя свою службу на цепи пёс нёс исправно, я бы не сказал, что был он прямо-таки вундеркиндом, скорее наоборот — приветливым, как большинство деревенских дурачков. Иные собаки переставали брехать, когда ты ещё только подходил к калитке, узнавая твой запах из-за забора, и приветствовали затем с видом преисполненной достоинства стражи у княжьего крыльца. Боб же надрывался в ошейнике — даже когда уже окажешься во дворе, попадая в пределы видимости. И только несколько шагов спустя пёс тебя признавал, начинал виновато суетиться, переминаясь лапами, а прут хвоста дребезжал и вихлялся по неммыслимым траекториям.

Вообще-то подобным породам, как и их незадачливым отпрыскам, хвосты при рождении принято купировать. На нашей же городской окраине никто подобной ерундой себя не беспокоил: что вышло, то вышло — лишь бы дом охранял да где попало не гадил. К тому же единственное ветеринарное заведение находилось, как чёрт закинул: не знаешь, так и не найдёшь. Оттого Боб напоминал несуразного маленького львёнка, потому как кончик его голого рыжего прутика заканчивался небольшой волосяной кисточкой. Да ещё и достался бабушке уже взрослым, с таким вот хвостом.

Раньше баба жила в другом конце города; деда умер два года назад, и избышка совсем покосилась и захирела. Мы же и Рыжиковы — две семьи — обосновались в пригородном посёлке Шюфёрском, название которого говорило само за себя. Неподалёку — завод керамзитового гравия, автобазы городских мусоровозов да глиняный разрез кирпичного завода. И всё же дома здесь поновее, построенные не более двадцати лет назад. Вот дочки и присмотрели матери домишко подле себя, перевезли мою бабушку, как та ни упиралась, а соседи по какой-то причине и псом одарили, взяв себе собаку помоложе.

Полагаю, не оттого, что я оказался у неё одиннадцатым и самым младшим внуком, а в силу прескверного характера, баба Наташа нисколько не походила на тех шаблонных бабушек, что сверх меры потчуют пирогами и коровьим молоком. Никогда и никого баба не усаживала за стол, реагируя на твоё появление как на досадные заботы: словно муха в дом залетела либо комар. В доме

имелись две небольшие комнаты, пройти в которые можно было только через кухню с финской печью. Стол всегда чистый: ни ложек, ни крошек. В зальной комнате — стол под кружевной скатёркой с пустой вазой и фотографией деда в рамочке. Окна постоянно плотно задёрнуты шторами, а на столах — горшочки с алоэ.

В левом дальнем углу горела лампадка под иконой, изображавшей женщину с младенцем. Немногословная, бабуля порой громко отрывала икоту, при этом крестила рот, приговаривая: «Господи прости согрешила», — скороговоркой. Всегда в валенках, опоясанная шерстяным платком вокруг пояса, в заношенной жёлто-зелёной кофте с пуговицами со свиной пяткой величинной, маленькая, грузноватая, постоянно бродила из комнаты в комнату, прихрамывая на правую ногу, и отрывисто приказывала: это не трогай, туда не лезь. В своём вечном кирпичного цвета платке и мужских тесных очках на резиночках, с тяжело опавшими уголками губ, она напоминала неопрятного зрителя в деревенском музее, куда заходят лишь затем, чтоб переждать жару или дождик. Телевизора баба не имела из принципа и даже оставшийся от их с дедом совместной жизни подарила на свадьбу Ленке Рыжиковой. Была чуть глуховата, оттого радио в доме трещало громко и не переставая — от гимна до гимна.

Оттого, приходя к бабуле, в доме я не задерживался подолгу: здоровался, обозначая своё присутствие, спрашивал про самочувствие, как просила мама; несколько минут стоя, ибо присесть не предлагалось, выслушивал её ворчание по поводу того или иного родственника — тот напился, а этот живёт с кем попола. А поскольку из пятерых её детей в живых осталось три дочери, а две оказались поблизости, больше всех доставалось старшенькой, Хвидоре, и её соответствующим фамилии — рыжеватым и огрублённым, словно неряшливо натёсанным, — сыновьям, Тольке и Сашке. Надо сказать, что повод они давали. Ещё не закончивший школу сухопарый конопатец Саша уже обклеил двери в своей комнате этикетками от выпитых им портвейнов, а готовящийся к армии Толя предпочитал водочку, после которой с наслаждением поколачивал свою беременную жену либо гонялся с топором за отчимом по огороду.

Перехватив бабулю на паузе, говорил, что пойду во двор поиграть с Бобом, и на час-полтора она забывала о моём присутствии. Затем, словно спохватившись, выхрамывала на крыльцо и начинала мной распоряжаться. Некоторые хлопоты я не понимал. Известно, зачем нужно натаскать в баню дров и воды, мы сами приходили к бабушке в баню, поскольку свою перестраивали. Ясно, для чего нужно было слазить в пахнувший плесенью погреб — бабуле захотелось солёного, особо предпочитала квашеную капусту с редькой. Но

зачем нужно было переставлять инвентарь в сарае с места на место? Сама бабуля огородом не занималась, мы ей и копали, и садили, и снимали урожай; скотины, кроме кур, не держала, и я был уверен: в сарай не заходила с момента переезда. Но сколько вил, тяпок, лопат на месте, не пропало ли чего — ей обязательно надо было знать.

Пока я возился и склонялся к мысли, что пора бы и лянть по направлению к домашним, где чего-то можно и пожать, покататься в гамаке и дождаться с работы маму, Боб изредка поскуливал, перебирая передними лапами; принимался грызть кость с олядкой в мою сторону, недоумевая, отчего я законопатился в стайку для бесполезных занятий, вместо того чтобы играть с ним...

Последнее длинное предшкольное лето на Шофёрском тянулось бесконечно; я шатался с утра до вечера где желал, предоставленный сам себе, бездельничал и только позже понял: то было самое что ни на есть счастье — уютное, тёплое и безразмерное. Но оно было скучным. Телевизор быстро надоедал, картинки в книжках не изменялись, как мультики; родители с утра уходили на работу и меня с собой не брали, как ни просился. Однажды отец, устав от канючек, взял всё же, но там было ещё скучнее. Экскаватор просто копал глину и вонял мазутом. Вокруг было грязно, муторно, запустело, и даже местные — разреза — прикормленные собаки со мной не играли, а уныло валялись в тени, зевая и сонно выгрызая из шерсти репей. Детей на нашей улице было немного, и почти все куда-то на лето подевались. Кроме вертлявой Паулины в самом первом доме у трассы в город. Но родители похвастаться передо мной коллекцией фантиков от конфет её без присмотра отпустили ненадолго, а ещё они держали гусей. И когда те выходили на прогулку, я спешно ретировался, потому что самый главный гусь меня не любил. Завидев, начинал хлопать себя крыльями по бокам, изгибать шею, словно подкрадываясь и намереваясь цапнуть за пятку. Оттого, кроме Боба, друзей тем летом у меня не оказалось. И у него, помимо бабули, выносящей ему в миске месиво из невкусных каш и хлеба, знакомых не наблюдалось. Неудивительно, что он радовался моим посещениям и, отбросив свои собачьи дела — грызть кость, гавкать и дрыхнуть в будке, — увлечённо следовал всем моим ребячьим придумкам.

С нетерпением я ожидал выходных, когда мама не ходит на работу и варит супы с мясом либо печёт блины. Я умолял её положить в борщ именно кость, чтобы затем вместе с другими объедками отнести бабушкиной собачке. Не отказывался Боб и от позавчерашних блинов, заглатывая их с достоинством. Мама же сердилась, когда сообщал, что пошёл не к бабушке, а поиграть с Бобкой. Но зря: я не отводил бабушке вторую роль. В моём представлении они вместе — и Боб, и бабуля — являли

картину целого, неизменного, словно так и появились на свет, друг от друга не разделённые. К ним прилагались и домотканые половики в доме, и высокое зелёное крыльцо, и финская печь без дверцы и поддувала. Баня всегда была с ними, огород, погреб, стайка, летняя кухня, где мама с бабулей шинковали и засаливали капусту по осени тазами и стоял маленький, глубокий и пропахший пылью диван, где я иногда дремал в жару. И вытоптаный у будки грязноватый пятак среди лужайки, где после дождя собиралась лужа и марала Бобу лапы и хвост, также был сопричастен общей картине.

Доставшуюся ему нелепую кисточку Боб использовал умело: свернувшись подремать, отгонял ею мелких мушек, липнувших на уголки глаз. А когда она огрязнялась и засыхала коркой, расчёсывал мелкими, частыми, чуть ленивыми покусываниями. И однажды, не рассчитав, взял да и откусил. Другое его наследие — ровные острые зубки с косыми клыками, никогда никого не укусившими, — сыграло злую шутку. Мне очень жаль было той забавной кисточки, утешало только, что этого никто не заметил: ни мама, ни бабушка, ни Рыжиковы, да и самому Бобу, казалось, всё равно — есть у него кисточка на хвосте или нет её.

Случилось то после дождей в конце июля, а в начале августа солнце, спохватившись, начало одаривать полноценным летом. Толька Рыжиков поехал на рыбалку, задремал сидя и дефилировал ныне с полосатым животом, где полоска белой кожи чередовалась с полоской загара. Подсолнухи в огороде распрямились, налились, растопырили ярко-жёлтые ободки, предвещая скорое семя. Комары спрятались, и оживилась мошка. Она липла на подживающую коросту кончика хвоста изнывающего от зноя Боба. Тот раздражённо тыкал в неё носом, облизывал и покусывал, расцарапывая. Ранка щипала, начинала отвлекать. Порой во время обычных наших игр он на несколько секунд переставал меня замечать, разворачивал изогнутую, но куцую шею, рассматривая маятник хвоста, и прыгал за ним. Хвост, конечно же, прыгал вслед за Бобом, прятался под задние лапы, и пёс о нём забывал. Тем более если предстояло со мной играть — тянуть палку, гоняться за мячом...

В какой-то из дней так же начал следить за хвостом своим, изготовясь к прыжку, а я, нетерпеливый, потянул к себе за шею, привычно сгребая в горсть тёплые складки под ухом, намереваясь ласкать, чесать, как он любит. Но собака внезапно отхлынула, огрызнулась, хватая зубами воздух, где только что болталась моя ладонь. Испугаться я не успел, решил, что это какая-то очередная игра, потому как Боб в следующую секунду вновь стал жизнерадостным и льнул ко мне, подставляя бок и виновато облизывая запястье.

Так получилось, что через пару дней я на неделю уехал. Папа пошёл в отпуск и, решив навестить

свою сестру в Канске, взял меня с собой. Это был новый город с кучей впечатлений, с огромным кинотеатром и светофорами. Деревянные дома вековой давности казались необычными и рассказывали, что не всё так просто и поверхностно в жизни, как нам объясняли в детском саду. До революции была ещё какая-то жизнь — основательная, не без изяществ, а не так, как выходило по этим рассказам: динозавры, запустение и сразу — хоп! — светлая эра социализма. Под впечатлениями я совершенно забыл про Боба. И только на обратном пути, в поезде, представил, как он мне обрадуется. Как я буду почёсывать, гладить его и рассказывать о том, что нового увидел, о чём думал; о том, как охранял вещи на вокзалах, пока папа стоял за билетами в кассу; о том ещё, как в электричке было разбито окно и сильно дуло. Я всегда рассказывал Бобу о своих делах, в том числе и о злом главном гусе, и о мелкой Паулине с фантиками. Но мама сказала, что Боб заболел, и просила, когда пойду к бабе, чтобы я к нему не подходил. Это было странным, поскольку взрослые всегда говорят много странного и ни к чему не обязывающего. И, конечно же, я бы даже не подумал прислушаться к маме. Мне рвалось, не терпелось увидеть дружочка и отнести ему косточек, поскольку к нашему приезду мама сварила лапшу с курицей.

Не насторожился, и когда не услышал привычного лая, открывая калитку. Боб лежал в будке и никак не отреагировал на моё появление. Выложив кости в миску, принялся его звать, протягивал косточку — он словно не слышал. Расстроенный, зашёл к бабушке, надеясь хоть ей рассказать, как съездил в Канск. Бабуля немного послушала и начала ругать Ленку Рыжикову, которая недавно родила и целыми днями только и делает, что катает по Шофёрскому коляску с ребёнком, не стирает, не готовит, а трещит с подружками. Насчёт Боба сказало только:

— К собаке сегодня не ходи!

Не знаю почему, но бабушка никогда не звала Боба по имени, а только «собака». Давно закрадывалось подозрение, что она его просто забыла.

И только выйдя во двор с нашим слегка пожёванным мячиком в руках, что подобрал в сенях, я увидел пса. Боб играл, кружась, притопывая, вокруг своей оси, повизгивая и изредка лая. Он по-прежнему не замечал меня, и хотелось уже побежать, обнять, повалить, потискать, рассказать, как внутри образовался ровный сгусток спокойствия, а нисколько не страха, когда два здоровенных парня на вокзале принялись оттирать от вещей. О том, как, набычившись, вцепился в ручку тяжелой сумки и сказал им, чтобы уходили, а то позову папу. И кивнул на какого-то незнакомого огромного мужика, сидящего на скамейке неподалёку, совсем не похожего на моего тщедушного и сухопарого папулю в очках,

стоящего за билетами где-то в другом зале. Как те парни стусывались и мигом исчезли. Я никому не рассказывал про эту мою внезапную находчивость, которую считал чуть ли не геройством, даже отцу. Я хотел рассказать о ней Бобу, ведь он же сторож, он должен был понять и оценить.

Но, спустившись с крыльца, внезапно почувствовал именно такой же стусок спокойствия, стирающего холодком все эмоции, словно хороший ластик карандашную линию. Не знаю как, но понял, что Боб вовсе не играет. В нём всё стало неправильным. Он должен был уже унывать, замешивать навстречу, подтягивая и припадая на лапы от нетерпения. Но этого не происходило, собака, как прежде, отрешённо кружилась на месте, никого не замечая. Но ещё более неправильным был в запёкшихся красных укусах огрызок хвоста. Больше не напоминающий гибкий прутик. Нарост размером с большой палец, разбухший от воспалений, неприятно и ало смотрелся на задку собаки, словно выглядывающий обломок кости из мяса на рыночном прилавке. Постепенно, день за днём, час за часом, стараясь унять жжение заживающей раны, Боб откусывал свой хвост маленькими кусочками до тех пор, пока уже не смог дотянуться до его остатка. И недостижимость, невозможность повлиять на причину боли возмущённым раздражением пробегала по его рыжеватому тельцу—от мощных плеч до нетерпеливо подрагивающих коготочков. Было в этом даже чуточку комичного, мультяшного. Но только до тех пор, пока пёс не повернулся в мою сторону.

Бросился не сразу. И это спасло. Потому что словно лом к земле приковал. Вкопанным—не узнавал его взгляд. Некогда улыбчивые зеленоватые зрачки потеряли осмысленность и утонули в красноте. От напряжённой, выматывающей погони за фантомом хвоста—в глазах полопались сосуды, избородившие пространство их молниями. Сквозь сетки трещин ещё проглядывало нечто знакомое, мимолётное узнавание меня, мольба о помощи. Первые прыжки Боб совершил именно как к спасителю. Тому, кто если не избавит от страданий, то хотя бы пожалеет. Но за миг фигура подобралась, словно волна пробежала по мускулам: я чуть ли не в действительности разглядел несуществующую гигантскую руку, которая сама по себе в воздухе погладила моего пса, проводя чёрной ладонью от макушки до огрызка. И неслось уже незнакомое чудовище на цепи. С безумным взглядом и хрипло лающее. И если бы я оторопело не отступил на пару шагов, вывернутая к земле приплюснутая голова с поджатými ушками, напоминающая главного гуся, врезалась бы мне в колени, повалила с ног... Брызгая слюной, выплёвывая лай, Боб ненавидяще тянул пасть из ошейника, задыхаясь, но не отступая. Мячик из рук выпал сам по себе, и пёс моментально вгрызся

в него, прижимая лапами, кусая и мотая во все стороны. В другой ситуации это могло выглядеть игриво и забавно. Но тут я заревел.

Завыл белугой, слёзы противно рванулись по щекам. При этом не было никакой обиды, страха, а нечто большее, невероятно неисправимое ждало изнутри и давило глаза, как сок из лимона. Я уже чётко знал порядок мироустройства: если заплакать, то родители исправят то, что мне не понравилось. Но тут плакал скорее от бессилия. А ещё—глубоко—от чувства вины. Подумалось вдруг, что если бы не уехал, если бы не гулял с папой по Канску, ничего бы не произошло: я как-то, наверное, мог бы повлиять, чтобы дружок мой не изменился на ненавидящее всех существо. На крыльце образовалась бабуля с костыльком, который брала с собой всегда, когда выходила из дома. Она подняла его и замахала в никуда, в воздух, но выглядело грозно.— Ишь ты! Ну на место! Дрянь такая! На ребёнка кидается ещё!— сварливо, почти безэмоционально выкрикнула, но пёс отчего-то послушался и стремительно заскочил в будку. Будто и не было ничего, и только чуть сплюснутый мячик у тротуара напоминал о кошмаре.

Мне показалось, что нашёлся тот, кто смог бы понять мою вину, мои сожаления, моё горе. Шмыгая, взобрался на крыльцо и уткнулся в бабушку, ожидая, что она погладит по голове, пожалеет. Но попал лбом в эту огромную пуговицу её, едва не оцарапавшись. А баба принялась отчитывать:— А ты чего ревьешь? Сказано тебе было: к собаке не ходить! Взбесилась скотина.

— Я не ходил... Мячик...— я возненавидел своё бесполезное бляение, поэтому, наверное, беспрословно подчинился самому из необычных бабушкиных распоряджений.

— Ты сейчас иди в стайку,— вытирая лицо мне краем грязного кирпичного платка, отрывисто приказывала.— Посмотри тяпки. Выбери самую гнилую. Выдергу возьми. Ржавые гвозди выдерни, а черенок вытащи. В банке там из-под селёдки новые гвоздики лежат. Вбей их по краям палки. Друг напротив друга. Только не в гнилой конец бей! В целый. И мне принеси.

Это оказалось самым сложным поручением из всех, что мне доводилось получать от бабушки. Нет, тяпки я знал, можно сказать, в лицо. Потому сразу взял ту, что давно взбугрилась ржавчиной настолько, что потеряла одно из своих крайних заострений, а гвозди, крепившие её к палке, такие же обмусоленные красноватой пылью, разболтались наполовину. Раскачивая, их можно было выдернуть и голыми руками. А вот новые вбить, когда палка крутится и норовит выскользнуть из-под прижимающего её колена,— упарился и даже дважды съездил себе молотком по пальцу. Боб наблюдал за мной от лужайки, словно в «старые времена», интересуясь, чем я таким интересным

занят, что не соизволю с ним поиграть. Но Бобу я больше не доверял. Потому как наблюдал он молчком, без дружелюбных повизгиваний. Лежал, выставив лапы перед собой. Внезапно вскакивал, пару минут кружился, всё же пытаюсь поймать уже несуществующий хвост, затем вновь укладывался в вытопанное у будки, вывалив язык набок и тяжело дыша.

Ещё более необычно вела себя бабушка. Она пряла. Я и не знал, что у неё в доме есть такая старая и красивая вещь. Подсунув под себя гладкую полукруглую дощечку, из месива шерсти, привязанной к другой, изрезанной раскрашенными узорами в форме петушиных голов, она вытягивала толстую нить, вокруг которой по полу бегал тюрёчек — так же ярко разукрашенный, с гладкими выемками для нити. И он был прекрасен! Красивее всех магазинных волчков и почти самостоятельно выбирающий направление. Однако было в нём, привязанном к нити, и нечто бессмысленное, как крутящийся за собственным хвостом пёс во дворе. Оттого я принялся рассматривать петухов на макушке доски. Пока не понял, что и они меня гугают. Красно-каштанового цвета, безучастно взирали мелкими ладными дырочками вместо глаз; в некоторые отверстия были просунуты верёвочки, прижимавшие шерсть к доске, и петухи, раскрыв полированные клювы, словно вопили от боли.

Осмотрев принесённую палку с гвоздями, похожую теперь на неряшливую антенну, бабуля замечаний не высказала — наоборот, похвалила. — Вот и сладно, — сказала, вновь взявшись за толстую нить, примеряя, повесив её петлёй. — Сегодня Сашка с Толькой зайти обещали. Они его и отведут. — К врачу? — как о само собой подразумеваемом спросил, всё ещё любуясь скольжением тюрёчка по половнику. — К врачу, — согласилась бабушка. — К собачьему доктору.

И дёрнула нитку сильнее обычного, так что верёвочка в глазнице петуха натянулась. Она сделала долгую паузу перед тем, как согласиться, оттого я внезапно потерял интерес к старинной прялке и уставился на бабулю, впервые осознавая, что взрослые могут врать. Вот так — в лицо и не скрывая удивления в интонации. И бабушка, видимо, поняла, что я ей не поверил. Строго выпучившись за очками, сказала, чтобы не мешал и шёл домой. Как отрезала.

Будто только того и ожидая, Боб вновь кинулся на меня. Прижимаясь плечом к стене дома, держась поодаль от края тротуара, куда цепь не пускала пса, осыпаясь лаем, сжавшись и покачиваясь, еле добрался до калитки, внезапно ощущая некую запредельную усталость. Больше всего мне хотелось сейчас действительно оказаться дома, лечь в гамак во дворе и смотреть в раскачивающееся голубое небо, стараясь угадать, на кого похоже то

или вон то облако. Но не мог, погружаясь в то тяжёлое марево, которое наступает перед глубоким сном. Внезапно Боб с сожалением взвизгнул вслед, как он всегда делал, прощаясь. Повернулся к нему, подпирая калитку спиной, и мы стали смотреть друг на друга. Поджимая ушки, припадая на лапы, пёсик вновь казался тем дружочком, которого я знал. Шагнуть к нему, погладить сейчас — казалось самым разумным. Возможно, это вылечит его: вернёт глазам прежний свет, успокоит рану от хвоста.

Но так и не сделал. По той же причине, что не пошёл домой. Ноги не слушались, наполнились ватой, и показалось, что даже начал понимать почему. Воздух во дворе бабушки стал иным. Лето, закатав подол, уже перешагивало ручеёк, оставляя нас до следующего года. От его сарафана ещё веяло теплом и сверкало подсолнухами, но и те уже склонили головы под тяжестью вызревшего груза. Берёза за оградой аккуратно перебирала резными листочками, как тётя Хвидора, работавшая бухгалтером, костяшками счётов. Но здесь, во дворе, ни ветерка, меж приятно вдыхаемых и знакомых вкусов вились немного другие, горьковатые и серые, струи, оплетая пространство, превращая нависшую над лужайкой атмосферу в утяжёлённый мутноватый столб. Как будто гигантский невидимый слон опускал над нами ножищу, придавливая и затемняя обзор.

Крохотным существом своим ощущал я, что в бабушкином дворе поселилось новое, непонятное, способное из ниоткуда вытащить чёрную огромную ладонь и в любой момент погладить несчастного Бобку. Именно такое, чего бы я не хотел знать и видеть. И когда из-за ограды раздалась бойкие матерки и сверкнули подпалины макушек братьев, цепкость чьего-то присутствия ослабела. Где-то внутри обрадовался, вновь ощущая способность шевелиться, но, с другой стороны, стало ещё страшнее. Я знал, что Рыжиковы идут к бабе, и та расскажет им, как поступить с Бобом. Но боялся даже уже не за собаку. Мне становилось страшно за них, шагающих в этот двор, где сквозит могилкой.

И за себя немножко, потому как Толя общался со мной исключительно при помощи подзатыльников. И что бы там ни было, лишний раз попадаться ему на глаза желания не возникало. Притом я пребывал в уверенности, что взрослые люди всегда знают, как поступать, что правильно, что нет; у них в обиходе больше слов, они больше видели, многое знают, потому могут договариваться и переубеждать друг друга. Во мне же ощущения никак не оформлялись в подходящие слова, от них чаще всего отмахивались, подзатыльниками от братьев в том числе, и не припомнил момента, когда бы мог кого-то из них в чём-то переубедить. А порой из меня вылетало, неслось впереди мысли. И только произнеся, мог приурочить слова к тому, что чувствовал. И выходило совсем не про то.

А тут — тем более. У меня не было пока решения, я не знал, чем помочь Бобу. Ожившие ноги думали за меня, и, не покидая ограды, проскользнул между грядок с засыхающими кустиками виктории и спрятался за дом.

Там был небольшой заброшенный участок, на котором ничего не сажали. Когда-то там, видимо, было небольшое строение, от которого остался только заросший осотом фундамент. Прямо надо мной теперь приятной тенью сгустилась кроной берёза, резные листочки продолжали отчитывать время на счётках. Усевшись на землю, спиной к стене дома, вначале пытался расслышать, о чём в нём бубнят, но не разобрал ни слова. Сквозь штакетник можно было видеть ключущих траву бабушкиных кур, неспешно прогуливающих по бровке. За небольшой канавкой — пустынную дорогу Шофёрского, где люди проходили настолько редко, что вызывали своим появлением удивление. Одиноким вялым комар попытался укусить в колено, я прихлопнул его мимоходом. Но, разглядывая изогнутый червячок его тельца на ладони, представляя, что потом бы нога чесалась, вспомнил внезапно, как она чесалась прошлым летом, когда упал на щёбёнку и расцарапал коленку. Мама тогда помазала её зелёнкой, под которой росли зудящие коросты, и, чтобы я их не расчёсывал, сверху наклеила лейкопластырь.

Время от времени с обратной стороны дома доносилось шебуршание цепи, глуховатые рыки-взлаи собачки, и я понял, что нужно сделать. Бобке надо смазать хвост зелёнкой и обмотать лейкопластырем! Но как только об этом подумал, на крыльце зашумел хрипловатый старший из Рыжиковых:

— А чего здесь — нельзя? Вон, за домом, где пороси воняли, — и зарыть.

— Заразу хочешь оставить? — как каркнула бабушка. — Ведите в лес давайте!

— Ну не знаю, — почти незнакомый, мягко в нос, голос. Сашка слыл молчуном, разговаривал редко, только с прищуром улыбался холодновато, отчего его рыжеватые, вступающие в силу усишки удлинялись по-тараканьи. — Стрёмно как-то. Я их не давил никогда.

— Вчера курицу задушил. Сегодня на дитё кинулся. Это как?

Заметил, что за бабой всегда оставалось последнее слово.

Потянуло дымком, братья закуривали и вроде даже продолжали с ней спорить, но уже не было слышно: Боб внезапно облаял, загремел цепью, а потом... взвизгнул от боли.

— Да не пинай ты его! — внезапно заорал Толька. — Держи лучше! Я отцеплю.

И тут я понял, что тёмно-червивый воздух никуда не исчез. Он притаился на крыше и теперь

падает на меня, похожий на сугроб вперемешку с угольной пылью. Внезапно захотелось вскочить, побежать, раскидать их — чувствовал, что могу, что настолько стал сильным. Затем схватить Бобку и бежать с ним по пустой улице, унося подальше, вздымая над головой, предлагая дышать новым, свежим пространством. Картинка настолько отчётливо и пугающе пронеслась в голове, что обмер внутри, стал пустым на секунду. Из этой пустоты стремительно росли досада пополам с растерянностью. И только когда сквозь штакетник замаячили плотные фигуры, как-то странно толкавшие, почти волочившие что-то, я спохватился и выбежал за калитку.

Боба вели при помощи того самого черенка, что я выдернул из старой тяпки, на гвоздях крепилась плотная петля, не позволявшая ему отказываться от движения и приближаться к ногам. Вначале упираясь, пёс, похоже, смирился, что надо идти. Засеменил, свесив язык, норовя свернуть с дороги на бровку, где удивлённо тарасились на него куры. Обхватив палку двумя руками, цыкая ругательства, Толя пихал собаку перед собой, а Сашка, как обычно, вяловато и чуть покачиваясь под матроса, вышагивал следом. Припустив за ними, я закричал:

— Куда вы его тащите?! Не надо! Нужно зелёнкой помазать!

Толя обернулся, свернув физиономию в брезгливость со словами:

— Этот ещё откуда?

А я бежал и вопил:

— Не убивайте его! Пожалуйста! Ведь вы не его, вы себя убьёте. Его вылечить можно!

И так удивился тому, что выкрикнул, что насколько не сопротивлялся, когда сильные руки Сашки поймали за плечи. Я не знаю, почему решил, что так и будет. Но что так и будет — знал чётко, как и то, что зимой снег, а летом — тепло. Нависая усишками, Сашка спросил:

— А у тебя зелёнка есть? Ну так неси!

Уставившись на его пахнущее портвейном лицо, я понял, как брат прав. У мамы же в шкафчике стоит зелёнка, и если я её принесу, то Бобу помажут, и всё закончится.

— Да! Я сейчас! Вы пождите. Сейчас! — развернулся и понёсся по направлению к дому.

Я бежал, как никогда не бегал. Грунтовка больно отдавалась в пятки и отсчитывала ритм в голове: «Спаси Боба, спаси Боба...» И только когда в боку закололо, обернулся и понял, что был обманут. Рыжиковы еле различимыми спичками фигур уже маячили у дома Паулины, где, должно быть, главный гусь провожал их, любопытно хлопая крыльями по бокам. За трассой, где на небольшой полянке, скованные бетоном по ногам, были распяты на проводах гигантские звёзды с разноцветными шишками на лучах, виднелся

край леса, куда папа водил меня как-то по грибы. Там видел большой и красивый мухомор — точно такой, каким рисуют в книжках.

Уже знал, что если потом спрошу у братьев про Боба, они, честно глядя в глаза, скажут, что тот вырвался и куда-то убежал. И никогда о том, что случилось на самом деле. Я не понял, отчего реву больше — от жалости к пёсику или от такого наглого обмана. Плёлся домой, вытирая рукавом сопли, и взывал к пустой дороге. Ни души. Никто не выскочил, не спросил, не случилось, не догнал Рыжиковых, не остановил их... Было больно. Не знал почему, но было. Маме, как смог, пытался рассказывать, навзрыд трясясь, что Боба убьют, а надо было — зелёной. Она налила мне чаю и дала кусок рафинада, что делала только по праздникам. Облизывая его, посасывая, успокаиваясь, лёг в гамак и не заметил, как уснул.

На следующий день родители повели меня в город, в магазин, где покупали портфель, школьную форму и тетрадки. Оказывается, папа ещё в Канске купил необычный пенал — таких не было в нашем магазине. Помимо ручек разных цветов, в нём были строгалка, круглый ластик, маленькие ножницы и даже указочка для чтения. Перебирая внезапно свалившееся богатство, выводя на листочке то красной, то зелёной, почувствовал себя настолько взрослым, что понял: наверное, так было и надо. Боб бы содрал зубами лейкопластырь и не испугался бы кусать раскрашенный обрубок. Собаки не различают цвета — так сказала мама. Но к бабушке больше заходить не хотел. Только когда пришло время копать картошку, пришёл к ней вместе с родителями и, проходя, мимо пустой будки, чувствовал, как сердце начинает колотиться часто и тяжело. Бабушка огорошила нас новостью, что Сашка Рыжиков ушёл из дома и теперь живёт на соседней улице с Маринкой, что намного его старше. Её муж в армии, и Сашка чинит его старый, давно не ездивший «жигулёнок».

В последние дни лета я заболел. И пропустил первые дни в школе. Вначале большим и указательным пальцами правой руки стало к чему-либо больно прикасаться, а как-то наутро они перестали болеть, но стали зелёными. Мама ужаснулась и повела в больницу, где две тётеньки в белых халатах держали меня и руку, а третья резала по моим пальцам острым ножиком, выпуская тёмную, почти чёрную кровь ручейками. Я, конечно, дико орал, но больше от непонятности происходящего, чем от боли, потому что пальцы, перед тем как позеленеть, ничего не чувствовали. А потом на левой коленке выступил огромный чирей, и меня опять повели в больницу. Разглядывая замусоленные бинты на руке и ноге, подумал, что этими пальцами держал молоток, а коленкой прижимал черенок от тяпки, когда вбивал в него

гвозди. Хотел рассказать об этом кому-нибудь, но промолчал, потому что следующий чиряк вылез около паха и спутал все карты.

К нам зачастила тётя Хвидора. Держась особняком, чуть надменно — бухгалтер всё-таки, — ранее заходила редко и только по делу. Они что-то обсуждали с матерью: про засолы, толковали бабушкины сны, которыми та делилась с каждым, кто приходил. А затем, отведав меня в сторону, тётка сунула в руку деньги и попросила отнести Сашке. Из взрослых пересудов я уже слышал, что Саша разругался с родными, и они наобещали друг друга не видеть. Дом Маринки я знал, потому тут же направился к ним, найдя брата в гараже, с перемазанным липко-чёрным лицом. Тот выбрался из-под машины, подмигнул и заулыбался, шевеля усиками. Деньги попросил занести в дом, отдать Марине, потому что руки грязные. Тогда я не знал, что видел его в последний раз.

Как ни просился, меня отправили в школу. Я сидел на уроках, когда его хоронили. Не прошло и недели, как заходил к ним с деньгами. Они решили опробовать «Жигули», что-то там не получилось с тормозами. Машину занесло на железнодорожную насыпь и несколько раз перевернуло. На Маринке, что сидела позади, ни царапины, а Сашку выкинуло через стекло.

Зимой нам дали квартиру, и через какое-то время мы забрали бабушку к себе. Оказалось, что она болеет раком лёгких. Иногда бабуля видела галлюцинации: убеждала, что в шкафу у неё Толька Рыжиков, а за окном пролетал зелёный телёнок. Порой начинала задыхаться, вставала на четвереньки, в таком виде кружилась по полу и выползала на лестничную площадку. С криками: «Они меня травят!» — стучалась к соседям. Когда же чувствовала себя хорошо, поставив перед собой табурет с широким сиденьем, раскладывала на нём карты. Мне нравилось, когда она гадала, потому что тогда она не несла чепухи, не вопила, а была спокойной и умиротворённой. Бабуля гадала на всех родных по очереди, приговаривая, бормоча. А однажды рассердилась на карты, посреди гадания грубо сложила в стопочку, упала на кровать и заплакала.

Толю нашли повешенным в казарме, где он проходил службу, где-то в Тюменской области. Бабушка умерла в апреле. Она лежала, изогнувшись, грудь к потолку, откинув голову и широко раскрыв рот. Я и не подозревал, что у неё настолько длинные волосы. Всегда уложенные под платок, на этот раз они разметались по подушке, свисая с неё на удивление чёрными прядями с небольшими и красивыми ручейками седины.

Мне досталась её комната, но жить и расти там было не страшно. А когда со мной случалось что-то плохое, болезненное, неприятное, говорил себе: «В конце концов, я ведь тоже делал эту палку!»

Виктор Теплицкий

Шелест дыхания

Двери, которые приятно открывать

Утро начиналось как обычно. По-быстрому закончив с домашними делами, я отправился в любимую кофейню. Открыл знакомую дверь, повесил мокрую куртку на крючок, оглядел уютный зальчик. Посетителей — никого, и мой столик у окна — свободен! Я извлёк из пакета стопку чистых листов бумаги, карандаш, ластик и устроился в кресле в ожидании официанта. Через пару минут ко мне подошёл молодой человек, давно работающий в этом милом заведении. Меню в его руках не было. «О! Здесь уже в курсе моих заказов!» — обрадовался я. Но едва произнёс:

— Сегодня как обычно... — как он вдруг сухо оборвал:

— Опять писать собираетесь?

Я кивнул:

— Пожалуйста, «американо» и канапе с...

— Нет! Никакого кофе! Никакого сыра!

Сказал как отрезал, стоит и смотрит немигающим взглядом, будто манекен. Я поёжился, оглядел пустующий зал.

— А почему, собственно?

— Почему? — брови вскинулись, словно стрелки на пружинках. — Да потому, что вы тут часами сидите, строчите, а берёте чашку дешёвого кофе и несчастное канапе. Нам это уже надоело. Правда, девушки?

Местные официантки тут же окружили столик и застрочили как по команде:

— Ну сидишь тут по полдня, так закажи что-нибудь конкретное!

— Чаевые — смех. Совесть совсем потеряли!

— Другие за это время столько понaberут, что о-ё-ё-ой. А этот! Достал уже! Эконом, блин! — особенно громко возмущалась симпатичная бариста, которая всегда была со мной подчёркнуто вежлива.

— Вот видите, — подытожил молодой человек, — никто уже не хочет терпеть ваши выходки. Так что покиньте помещение.

— Да на каком основании?..

Я пытался сопротивляться, но их натиск был внезапным и крепким. В одинаковых коричневых рубашках и фартуках, плечом к плечу, поднос к подносу, они напоминали холодную шершавую стену без единой щели. И всё-таки я продолжал искать брешь в этом кофейно-кирпичном монолите.

— Послушайте, ведь я ваш постоянный клиент и имею полное право заказать...

— Кофе с кусочком хлеба? Вы издеваетесь?

— Хорошо, я закажу что-нибудь подороже.

— Знаем мы ваши штучки! Сегодня обед, а завтра снова канапе и столик на четыре часа. Повторяю: покиньте заведение и не устраивайте истерик.

Официант отошёл, давая понять, что разговор закончен. Фигурки в кирпичных фартуках выстроились вдоль барной стойки.

Я убрал в пакет бумагу, карандаш и ластик, обмотал шею шарфом, надел мокрую куртку...

...Влажный, тяжёлый снег на глазах превращался в грязное месиво. Подняв воротник, я двинулся навстречу ветру. Через квартал была ещё одна кофейня с модным заморским названием.

Открывая массивную дверь, я сразу же почувствовал себя не в своей тарелке: драпированные стены, длинные диваны, низкие лакированные столики — всё выглядело вульгарно и неоправданно шикарно. О ценах я даже не рискнул помыслить, но выбора не было. Я как мог небрежно направился к пустому столу у широченного окна. Одно из самых больших удовольствий — наблюдать за жизнью по ту сторону стёкол.

Но тут, будто из воздуха, передо мной возник молодой человек в синем, с иголки, жилете со значком на груди «Администратор» — и что-то сжалось у меня под рёбрами. Молодец со значком окинул цепким взглядом куртку, пакет, и губы его сложились в безупречно отточенную улыбку. — Добрый день! Поработать зашли? С бумагами? — Ну да... И кофе попить, конечно.

— Кофе, значит? Понимаю, — он продолжал целлюлоидно улыбаться, не пропуская меня в зал. — Вы, я вижу, писать собираетесь? Понятно. А ноутбук, простите, у вас с собой?

— Что?

— Ноутбук у вас с собой? Или вы предпочитаете смартфон?

— Мне не нужен компьютер. У меня есть карандаш.

— Карандаш?

— Да. Могу показать.

— Нет-нет. Не надо. Карандаш — это замечательно. Но с карандашами к нам нельзя.

Уголки его губ опустились вниз, и улыбка за-вязалась в розовый казённый бант.

Дело принимало скверный оборот. Но я не собирался сдаваться без боя.

— А почему нельзя-то? Какая разница— ноутбук, карандаш, ручка, в конце концов?

— Вы бы ещё печатную машинку сюда принесли! Видите, здесь многие работают, но у всех цифровые, понимаете,— он обвёл рукой помещение своей модной кофейни,— цифровые устройства!

Бант развязался, и лицо снова провалилось в непроницаемую улыбку.

— Вы понимаете, что такое формат заведения, клиентура?

— Так ведь я и есть ваш клиент!

— Нет, с карандашами тут не ходят. В другой раз, пожалуйста,— и рука администратора изящно указала на дверь.

...И снова ветер, снег и грязная жижа под ногами. С общепитом дело накрылось, дома сейчас жена и старший сын, ближайшая библиотека на ремонте. А мне позарез нужны хотя бы полтора часа!

Мысли скакали, снег падал, ноги сами выбирали дорогу. Я не очень удивился, когда оказался у стеклянной двери старого книжного магазина на первом этаже моего дома. Стоять возле полок, вбирая в себя цвет и запах новеньких корешков, не спеша перелистывать страницы— это было сродни блаженству гурмана, открывающего вожделенную пыльную бутылку.

У классиков я, как обычно, медлил, готовясь нырнуть в море знакомых имён. И уже протянул руку к Кафке, как меня негромко, но строго окликнула крашенная блондинка лет пятидесяти— в модных очках.

— Здесь нет ничего интересного. Вон там,— пухлый палец с длинным ярко накрашенным ногтем указал в противоположную сторону,— эзотерика, психология, бизнес, на худой конец— Мураками. — Худой конец Мураками,— машинально повторил я за ней.

...Не помню, как я покинул эту книжную гавань. Помню только, что продавщица как-то внезапно завелась, помню палец, нацеленный прямо на меня...

...Почти час я месил грязь возле дома, пока не вымок окончательно. Озябшая рука торопливо ищет в кармане ключ. Как приятно всё-таки открывать дверь своей квартиры!

Тихонько проникаю в тёплый тёмный коридор. Никто не выходит. Стало быть, жена на кухне, а старший у телевизора. Отлично! Оставляя на полу мокрые следы, крадусь к двери спальни. Пальцы уже касаются ручки-защёлки, когда меня настигает извиняющийся голос жены:

— Ой, Юра, там папа отдыхает. Он утром приехал. Погостит несколько дней. Может, ты сегодня

в какой-нибудь кафешке поработаешь, пока я тут готовлю?

...Я стою перед закрытой дверью собственной спальни. А на улице ветер, и снег, и нескончаемое грязное месиво.

На семнадцать минут раньше

Сегодня утром Аркадий Карлович Чаровский, известный в городе часовщик, проснулся на семнадцать минут раньше. Такое неожиданное пробуждение было сродни толчку землетрясения, ведь каждое утро Чаровский открывал глаза в одно и то же время. Годы детства и юности не в счёт. Но когда в жизнь основательно вошли стрелки и цифры, он уже не позволял себе лишнего. Всё лишнее выносилось за скобки циферблата. В скобках жизни Аркадия Карловича оставалось Время, мерно тикающее, непрерывно струящееся по пружинкам и колёсикам. Лишь оно влекло часовщика, томило его страстью обладания. Неверно идущие часы воспринимались им как оскорбление, и потому, затагивая крохотные винтики, он верил, что укрощает неуправляемую стихию. И время, казалось, подчинялось ему. А он подчинялся времени.

Чаровский всегда просыпался за несколько секунд до того, как стрелки образовывали прямой угол: маленькая вставала на девяти, большая— на двенадцати. Сегодня же вместо привычного прямого угла Аркадий Карлович увидел на циферблате совершенно иную картину. Ошеломлённый, он с ужасом наблюдал, как минутная догоняла часовую. Ещё немного— и они сольются в одну линию, и уже невозможно будет различить среди них мужскую и женскую. Он смотрел на будильник с неприязнью, ожидая начала слияния, предотвратить которое было не в его власти.

Чаровский отвернулся, но это не принесло облегчения. Стрелки он теперь не видел, но слышал, как они неумолимо сближаются, и совершенно не знал, что делать. Подняться раньше— сбить весь распорядок. Лежать просто так— терять драгоценные минуты.

И вдруг часовщик понял: он не сможет подняться с постели раньше отмеренного будильником срока. Оставалось только, закрыв глаза, ждать, пока мужская не преодолет женскую. Но как же громко идут часы! И чтобы не слышать это тик-таканье соития стрелок, Аркадий Карлович стал вслушиваться в посторонние звуки.

Сначала размеренное тиканье сливалось с монотонным гулом улицы. Затем, словно призраки, стали проступать другие звуки. Ухо, навывшее к тихому стрёкоту пружинки и колёсиков, вникало в утреннюю механику далёких машин, чашек, дверей, половиц...

Он почти без остатка погрузился в эту музыку, но необычный звук заставил его вынырнуть и вслушаться. Еле уловимый, он напоминал

медленное шуршание волн по гальке пляжа. Он так отличался от всего прочего, что казалось, будто стрелка завязла в нескольких повторяющихся нотах.

Медленно и верно, как влага сквозь песок и камни, звук просачивался в Аркадия Карловича. Странно, но часовщик не сопротивлялся этому проникновению. Все остальные шумы и шорохи теперь казались пустыми и ненужными. Они мешали. Гул за окном, тиканье будильника, скрипы над потолком окончательно поглотило... дыхание. Ровное, спокойное дыхание супруги Аркадия Карловича. Как всё, оказывается, просто: вдох-выдох безмятежно спящей женщины!

Чаровский открыл глаза.

Мария Александровна лежала на спине, правая рука согнута в локте — под головой, левая вдоль тела на одеяле, наполовину закрывавшем грудь. Вырез ночной рубашки, обнаживший левое плечо, и беспорядок волос на подушке — вот что сразу бросилось в глаза. Он будто впервые видел жену спящей.

Каждое утро Аркадий Карлович поднимался раньше Марии Александровны. Он входил в новый день спокойно и твёрдо, как острая мужская стрелка будильника. Супругу он воспринимал как тонкое колёсико в размеренно идущем механизме их совместной жизни. Она всегда оставалась где-то позади. Неприметно появлялась чуть позже него из спальни, почти бесшумно готовила завтрак, пока он брился, и аккуратно закрывала за ним входную дверь, поправляя резиновый коврик в коридоре. После недолгих сборов уходила на работу, с которой приходила непременно раньше мужа. Возвращался часовщик всегда к накрытому столу. Ужин обычно был немногословен и без изысков. После ужина его ждала заваленная часами комнатуха, изредка — телевизор или журнал (если устал или недомогал). Заканчивалось всё кроватью, в которую она ложилась вслед за ним — минут через десять.

Так ровно текла их жизнь — без особых потрясений и без детей, что, впрочем, воспринималось Чаровским как то, что вынесено за скобки. Стрелки двигались по поверхности циферблата, периодически сливались и снова расходились. Эти часы никогда не спешили и не отставали — до нынешнего утра, когда часовщик проснулся на семнадцать минут раньше.

Аркадий Карлович взгляделся в лицо жены. Лёгкая дрожь скользнула по плечам. Так бывало, когда он брал в руки только что сданные в ремонт часы. Это был всегдашний трепет первых осторожных шагов по неизведанной земле. Но сейчас ощущение было намного сильнее.

Вдох-выдох. Ровно, нешумно. Вот солнечный луч пробился сквозь тюль и упал на подушку. Будто кто резко отдернул завесу, и вспыхнули кончики волос

и пушок над верхней губой. Линия лба плавно перетекает в линию носа, словно волна на холсте классика. Вдох-выдох. Эти еле приметные веснушки, ямка на подбородке, родинки-крапинки, оказывается, живут своей собственной жизнью!

Аккуратно-аккуратно, будто боясь спугнуть редкую птицу, Чаровский приподнялся на локте. И снова обнаружил что-то новое в лице Марии Александровны. Тончайшая сеточка морщинок, как бы небрежно накинута на лоб, и две глубокие продольные линии, поднимающиеся от уголков бровей, напоминали неразгаданную клинопись. Но таинственнее всего были губы: цвета какого-то неведомого, чуть недозревшего плода, мягкие и в то же время чётко прорисованные, слегка приоткрытые — сокровенно и даже целомудренно. Губы, с которых не сорвалось ни одного слова упрёка. Губы, которые он целовал механически, будто заводил часы на ночь. И часовщику вдруг открылось, как открывается крышка циферблата: он совершенно не знает своей жены.

Он взглянул на ресницы — чуть изогнутые, едва подрагивающие. И было в этой беззащитности что-то такое...

Какая-то неведомая пружина резко натянулась в нём. Чаровский видел, как солнце играет с волосами жены, как светятся нежным золотистым светом все линии, все изгибы её лица, как бесшумно пробегают неприметные волны по коже, тронутой печалью и временем.

Игра света и тени. Сокровенная и непонятная ему жизнь. Вот она — настоящая terra incognita. Но как же нежно бьётся жилка на её виске! Бесшумно и непостижимо. И в этом биении — всё! Вся жизнь. Вся тайна. Вся красота.

Он лёг на подушку и закрыл глаза. Непривычное лёгкое жжение расходилось по груди плавными волнами...

Аркадий Карлович безвольно и радостно качался на этих волнах. Чувствовал свет на лице, слышал дыхание жены, ясно видел сквозь ресницы пульсирующую венку на виске. Теплота разливалась в нём сильнее и сильнее с каждым вдохом-выдохом, с каждой секундой. Секундой!

Он открыл глаза. Без двух девять. Однако! Чаровский видел, как торопится секундная, выравнивая угол между минутной и часовой, как холодно, словно иней на траве, блестят цифры... Теплота уходила, звук дыхания растворялся в утреннем шуме. Венка продолжала биться, солнце купалось в волосах, но Чаровский уже поднимался; он не любил, когда время опережало его.

И всё-таки что-то не ладилось. Лишние семнадцать минут выбили часовщика из колеи, а пульсирующая венка так и не выходила из головы. Он удивлялся своей растерянности и даже отложил

срочный заказ. Такое с ним случалось крайне редко.

Откуда эти семнадцать минут? Где произошёл сбой? И почему? А если повторится?

Вместо ответа снова и снова всплывали венка на виске жены и солнечный луч на ресницах. После обеда этот осевший в сознании образ уже мешал работать. Часовщик отмахивался от него как от назойливой мухи и пытался вынести за скобки. Время, соскользнув с пружинки, совершенно не желало подчиняться.

К вечеру часовщик знал, что делать. Всё очень просто: сколько прибавилось, столько должно убавиться. Школьный закон! Он успокоился и приступил к очередному будильнику.

В шесть вечера он даже не двинулся с места. Сегодня работа должна закончиться на семнадцать минут позже! И потому он продолжал заниматься будильником ещё четырнадцать минут. Две минуты ушло на то, чтобы одеться. Выключил свет, запер дверь — ещё минута. Всё!

Довольный, он неспешно шёл к остановке. Сегодня время чуть не ускользнуло от него — часовщика! Но он опять победил.

Он знал каждый поворот, каждую выбоину в асфальте; знал, сколько секунд горит светофор и когда примерно приходит нужный маршрут.

Но когда переходил дорогу, откуда-то сбоку внезапно возник автобус. Часовщик не мог знать, что водитель опоздал с выездом на семнадцать минут и потому летел, нагоняя упущенное время. Аркадий Карлович слышал визг тормозов, видел испуганное лицо водителя в квадратном окне... и бьющуюся венку на виске жены, нежную-нежную...

Шелест дыхания

Во сне он часто слышал звук её дыхания — еле уловимый, как шелест страниц любимой книги. Ночью он наслаждался знакомыми строчками, но утром ничего из прочитанного не помнил.

Он всегда просыпался чуть раньше неё и наблюдал, как солнце меняет цвет её волос. Он знал количество её ресниц, справа их было больше на три. Когда она просыпалась, он притворялся спящим, чтобы не потревожить мелодию её пробуждения.

Ей нравилось вставать раньше него, бесшумно ускользать из комнаты и готовить завтрак, ожидая привычного скрипа двери. Так начинал звучать их каждый новый день, нисколько не похожий на предыдущий.

Когда она выходила, он, не открывая глаз, пытался вспомнить то, что было написано на тех страницах — во сне. Но память держала врата закрытыми.

Шли годы. Они старели и видели, как начинают стареть их дети. Он ещё помнил шелест страниц книги из сна, но стал забывать, как выглядит сама книга. В его глазах светилась мудрость, в её — нежность. В волосах обоих печаль оставила свои пометы. Он всё так же просыпался раньше, наблюдая, как тень штор прячет ресницы, но он знал, что справа их всегда на три больше. И даже когда ему поставили смертельный диагноз, он не забыл об этом. Дни теперь звучали несколько иначе — приглушённо и неспешно. Однажды он понял, что проживёт ещё три года и вспомнит всё прочитанное во сне.

Когда подходил к концу третий год, он услышал неторопливые шаги смерти. Тело почти не слушалось и зачерствело, как хлебная корка, но душа всё ещё напоминала гибкую ветку, склонённую к земле под тяжестью спелых плодов. Он отказался от обезболивающих. За три дня до прихода смерти он впал в беспробудный сон. Врачи называли это комой, но он знал, что так открываются врата. Его сон длился и длился, и в нём было пусто и уютно. Но вдруг будто ветер скользнул по осенней траве, и он увидел книгу у себя на коленях. Цвет выцветших страниц, запах кожного переплёта — сомнений быть не могло: та самая! Он медленно переворачивал страницы, не столько всматриваясь, сколько вслушиваясь в написанное. Да, эти слова звучали! И такой знакомой была мелодия! И тут он узнал. Это была кажодневная мелодия, начинавшаяся с чуть слышного скрипа их двери. Книга была написана от руки одним почерком. Её почерком! Чуть размашистым, с небольшим наклоном вправо. Дочитав почти до конца (последние три страницы были пусты), он закрыл кожаный переплёт, но мелодия не умолкла. Теперь он знал, как звучал в шелесте её дыхания. И ещё он понял, что книге чего-то недостаёт. Последних аккордов. Он пробудился и вышел из комы.

Она была рядом и молчала. Его губы уже не могли разжаться — смерть иссушила их, превратив в чёрную трещину; веки отяжелели, как ветви осенних яблонь, но слух цеплялся за еле уловимые звуки жизни. Каждый её вдох-выдох звучал теперь по-особому. И в этом шелесте он ясно различил всего одно слово. И уже знал, что когда уснёт, в руках снова появится книга, на последних страницах которой будет написано это самое слово — его имя. Оно будет аккуратно выведено на всех трёх страницах размашистым почерком с небольшим наклоном вправо.

Мария Песковская

Федька и стрекозиная фея

Кошка Федора только что лениво обозначила своё присутствие едва уловимым движением хвоста. Прицелилась взглядом и одним резким прыжком угодила хозяйке на колени. Устроилась, мурча. Прищурила глаза и сделала вид, что всегда «так и было». Что вид у неё такой же отстранённо-скучающий, как у хозяйки. Впрочем, ещё надо разобраться, кто здесь хозяйка.

На Федоре держится дом. Кто еще обойдёт его весь мягкой поступью, насторожённо поводя усами, кто обследует каждый уголок и только потом позволит себе роскошь прилечь на мягких подушках, где запах её духов, вытянуть лапы, выпускающая точёные коготки? Только не задеть, ничего не задеть!.. Хотя иногда так хочется. Когда хочется чего-то, о чём она, Федора, не знает, вот тогда в ход идут когти! И бегать! Бегать! И сделать что-нибудь назло, какую-нибудь бяку... Нет, нет, конечно, она не такая. И потом бывает немножко стыдно. Но всё же...

Лучше бы она приходила домой пораньше. Мёрзнет где-то, носится. Прибегает голодная, уж она-то знает. И грустная иногда. Сначала выдаёт еду ей, Федоре. А как же иначе? Самой на вечер надо настроиться. Пошуршать платьями. Побрызгать водой. Потом колдовство такое иногда бывает: одна еда превращается в другую. Фр-р... По ней, так не всегда вкусно получается... Горячее особенно никуда не годится.

Поэтому надо ещё ждать. Ждать, когда наступит этот благословенный момент «полупустой тарелки». Голодная хозяйка хуже голодной кошки. Покормит, а погладить и приласкать может и забыть. Пока тарелка не станет обычный свой вид приобретать. Если запрыгнуть и потянуть носом, пощекотать усиками воздух вокруг... Нет-нет! Ничего большего она себе не позволяет! Она воспитанная кошка — так вот, нет там ничего особенного... Вот разве только кусочек сыра. Всего кусочек. Мр-р...

Размечталась Федора. Сыра сегодня не было.

Федора тронула лапой спичечный коробок, левая лапа поближе, и выжидательно посмотрела на хозяйку. Не видит — убедилась она и царапнула податливый картон. Маленькая коробочка поддалась и перевернулась, упав на истёртый ковёр совсем неслышно. Нет, она вовсе не хотела играть

со спичками или высекать искры при помощи когтей. Она просто стала гонять пустой коробок по ковру и старалась производить при этом как можно больше шума.

Это всего лишь коробок. Маленькая коробочка. Туда можно спрятать все неприятности, которые успели случиться за день. А потом можно выбросить. Или поджечь. А можно дать поиграть своей кошке. Просто маленькая коробочка...

Федора посмотрела на хозяйку. Их взгляды наконец-то встретились.

— Ну и дурочка же ты у меня, Федька! — сказала хозяйка.

Да, это не то что «присниться» ей какой-нибудь сон. Федора снова увидела стрекозину фею. Какая-то там козявочка, а поди ж ты! Наряд невиданной красоты. Изящно изогнутая ножка...

Но что-то она отвлеклась. Федора прошлась из угла в угол — для виду. Поворотилась в сторону большого кресла, которое она не раз раздирала когтями. Там как раз устроилась хозяйка, её заблудшая душа... Федора точным движением легко запрыгнула на спинку и оттуда уже «свалилась» хозяйке на колени. Она вовсе не была неловкой, какой её нередко считали. Просто иногда ей хотелось её развлечь, вот она и чудила. Разве кошка может быть неловкой? Это против её природы. А природу стоит уважать.

Кошка устроилась на коленях и задремала, мерно мурча. Звук был какой-то утробный, словно маленький моторчик работал внутри задремывающей кошки, успокаивающим и уютным было её мурчание.

Какой муж? Какой ещё очередной тренинг? Сколько уж можно?... И что за глупость: «замуж за тридцать дней»?.. Да и не надо ей. И так хорошо. Она погладила басовито урчащую кошку.

— Никого нам с тобой не надо, да, Федора?

Кошка была согласна.

Ещё будет в ботинки ему гадить. Этому неведомому «ему». Из ревности. А он и не виноват ни в чём... Ха-ха.

Спросят: «С кем живёшь?» — «С Федькой». А Федька — это кошка.

Вот кому стоило бы нагадить в ботинки — так это Калистратовне. Только эту ничем не проймёшь. Тожэ лвица нашлась. Царица офисных джунглей.

Да ну её... И эта её фразочка: «Никто не хочет махать кайлом!»

Как же она устала. Иногда ей приходилось буквально «собирать себя по кусочкам». А тут — ба-ланс! Отчёт!.. Ей бы сказки писать. А не в офис ненавистный ходить. Так сидела бы целыми днями с Федькой на коленях да сказки сочиняла. Для взрослых.

Она опустила голову на валик большого кресла и закрыла глаза. Комната с книгами закрутилась с ней вместе, как стол-рулетка в казино...

— На что будете ставить? — любезно обратился крупье.

Он был лысоват, и весь его облик, включая и фрак с фалдами, делал его похожим на большого кузнечика. Федька такого бы на раз съела. Видимо, он тоже не хотел «махать кайлом».

— Ставки сделаны, — по-деловому сообщил «кузнечик» и коротко взглянул на неё.

Её платье переливалось в искусственном свете всей радугой оттенков, волшебным перетекающих один в другой. Плечи обнимало боа, а платье уходило в пол, и, словно мантия, два округлых драгоценных крыла опускались по обе стороны от изящной фигурки, раздваиваясь, и заполняли собой всё пространство вокруг. Она стояла, грациозно отставив тонкий каблучок, и перебирала в руке фишки.

— Семь красное, — сказала она и подвинула фишки.

— Ставки сделаны, ставок больше...

Одна фишка выскользнула и укатилась под стол. Стрекозиная фея заглянула в сумочку — крошечный ридикюль на золотой цепочке, который сверкал камнями, — и извлекла оттуда миниатюрное драгоценное зеркальце-футляр.

Что-то было не так, и на этот раз футляр словно сам хотел, чтобы его открыли. Фея была безупречна, но ворсинка от боа упала на её ключицу.

Из раскрытого изящного футляра на неё испуганно смотрела толстая Калистратовна. Она отчаянно держалась за края малюсенькими пухлыми ручками, повторяясь в круглом зеркальце, которое делало её больше, но не настолько, чтобы она не боялась оттуда выпасть. А ещё больше она боялась там остаться. По правде говоря, она вдруг стала настолько мелкой, что с лёгкостью там помещалась и отражалась в окошке маленького зеркала во весь свой новый рост. Вот только каким ветром её туда задуло?

— Ба-ланс, — жалобно протянула Калистратовна из футляра.

Кажется, оттуда послышалось ещё какое-то непонятное слово: «отчёт»?.. Но феечке стало неинтересно, с боа всё было в порядке, и она захлопнула зеркало-футляр вместе с Калистратовной. Пусть там и сидит.

Одна фишка упала, и чтобы восполнить ущерб, она подвинула крупье маленькую блестящую штучку, размером с фишку.

— Ставки сделаны, ставок больше нет! — наконец закончил фразу «кузнечик» и стрёб все фишки на красное.

Комната с книгами раскрутилась с новой силой вокруг невидимой оси, а осью было как раз большее кресло, где уютно задремали кошка Федора и её хозяйка.

— Красное. Восемь, — сухо сообщил крупье и подтянул к себе все игравшие фишки. Вместе с Калистратовной.

— Федька, мы проиграли... — услышала она свой голос и посмотрела на кошку.

Федора, против обыкновения, не дрыхла, а со скучным видом гоняла по старому ковру какую-то штучку, похожую на фишку из казино. Впрочем, ни Федора, ни её хозяйка никогда в казино не играли.

Елена Жарикова

Горячегогорские истории

Катай и Корлик

Лёгкий, сухопарый, сутуловатый, узколиченький (так у нас в Горячем говорят), бесшумно исчезнет, покорно кивнёт... Это Корлик, мой брат. Не Кролик—Корлик! Откуда такое прозвище пошло? Да бог весть. Зовут и зовут. Может быть—Орлик, Орлёнок было первоначально? Помните, «Пионерская зорька» бравурно голосила с утра: «Орлята учатся летать!» И ещё: «Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца»,—и голос, как тот орлёнок, тоже вверх, и не хватает то ли сердечной, то ли голосовой мышцы вывести: «Наве-ки умо-олки весё-о-олье хлопцы, в живых я остался один...» Орлик—Корлик. Вечно папа чего-нить выдумает!

Корлик—мамино утешение и папина надежда. В честь отважного князя Игоря из «Слова о полку...» назван. Воспитан в послушании. «Корлик, за водой!»—уже несёт. «Корлик, ведро помойное вынеси!»—вынесет—бегом, широко шагая, побежкой, стыдливо опустив голову—девчонки из соседнего дома смотрят. «Корлик, Ленку в садик отведёшь?»—я упираюсь, кусаюсь, ору благим матом, я терпеть не могу дурацкий садик—но Корлик волочит меня туда молча и упрямо, а потом ещё и из сада заберёт. «Корлик, свиньям дай!»—и даже если опаздывает в школу—в три прыжка метнётся к стайке, где рыхло хрумкают мороженую картошку хряк Моряк да свинья Дашка, вылет свиную кормёжку хоть и мимо корыта (и так сожрут!), Катаю мочёный кусок кинет в миску—и айда назад! Катай только зальётся ему вслед заполошно-оглушительно, брякая старой ржавой цепью: мол, куда побежал? Меня возьми!.. Беда с этим Катаем! Есть же собаки—одно наказание: ни проку от них, ни пользы, ни утешения.

Отец принёс Катайку—пушистого, как варежка, тёплого, молочно-пузатого—новогодним вечером, когда мы с Маринкой сидели на полу в спальне и мастерили домик для кукол на нижней полке старой этажерки. Папа был в лёгком подпитии, не буйнистом—сентиментальном. За водой они, что ли, с Игорёшкой ходили: вернулись румяные, красноносо-молодцеватые, лопухие шапки обмётаны морозцем... Папа достал из-за пазухи щенятинку скулящую, пушистую, белоплапую—псиной пахнуло, молоком,—положил рядом с нами у этажерки, погладил: вот, мол,

Стёпа-сосед удружил, говорит, порода охранная будет. А мы-то в щенячем восторге! Щекочем пушистый живот, шелковистые ушки трогаем... Папа велит звать животинку Катаем. Ну, Катай так Катай! Он же—шаляй-валяй и шалтай-болтай! Лапы у свеженаречённого Катайки разбегались, завалился на бок, дурашка, помолочивая хвостом, а под пузиком обнаружилась тёплая лужица.

На другой день щенка перенесли в огород, в коряво сколоченную большую будку, положили ему там соломы клочок-другой—и стал Катайка жить-поживать, добра наживать, носиться вслед за нами по огороду, косолапя, взлаивая и кувыркаясь. За зиму здоровенный вымахал, пушисто-кудрявый, палевая морда добродушная, в чёрных очках карие шарики озорно катаются, из штанов только варежки чесать, дремучий—да дурной, заполошный, из тех собачьих полукровок, что ни дому, ни улице, ни Богу свечка, ни чёрту кочерга! Ей-богу, не псина—стихия необузданная: чуть что—мах через забор и давай носиться по окрестным проулкам что есть духу! Оттого и садили Катайку на цепь тяжёлую ржавую: спустишь—бед не оберёшься! Вчера вот двух куриц у тёти Шуры подавил, сегодня кошку капшуконскую рыжую порвал напрочь и потом ввязался в драку с их же Барсыком, тот мелкой собачьей породы, да злой—от обоих клочья летели, пока водой не разлили. Чумной-дурной!

На Масленицу снежно ещё было, с горы катались у стадиона, под ночь уже, по темну, возвращались мы, ребятишки-первоклашки, все в мыле, растрёпанные горочной чехардой, саночной вознёй,—а навстречу какой-то ком лохматый летит! Летит кубарем! Не успела шагу в сторону сделать—сбил с ног, такой здоровущий! Заливается, скачет, в шапку мою кроличью шутя зубами вцепился и мотает головой кудлатой: добычу поймал!

Пока огород копали да грядки выводили—извёлся весь, измаялся: хочется ему поноситься вдоволь по свежевесенней воле, да нельзя—цепь старая не пускает. Рвётся, непутёвый, волочит цепью двухпудовую будку по земле... К вечеру умается от бесплодных усилий, бухнется прямо в разрытую грязь—недовольный, всклокоченный, исхлопотавшийся вусмерть.

Огородные хлопоты нескончаемы. Папа кладёт огуречную навозную гряду со знанием дела, что твой кондитер праздничный торт; Игорёша бросил копать, смотрит, как отец управляется. Каждый слой отец ухлопывает вилами и пересыпает чернозёмом; сверху побольше земли, по краям бортики...

— Корлик, принеси фляжку!

Корлик тут как тут. Папа-трудяга пьёт морс из облезлой зелёной фляжки, с подбородка течёт, со лба каплет... Катай сидит и замороженно-влюбленно на папу глядит, подметая лохматым пером огородный сор.

Назавтра папу привезли с работы и положили на кровать, тязко стонущего, странно-неподвижного, словно чужого, не нашего. Последние полгода подрабатывал он в бригаде лесорубов. В то злополучное утро отец во время валки старого листовяжника не уберётся: падающая листовница задела его прямо по загривку, чиркнула по спине, хорошо — вскользь, а то б...

— Корлик, ты у меня теперь в доме главный мужик, на тебе всё...

У Корлика-Орлика слёзы под веками кипят, нахмурился, но не плачет: не к лицу ему, теперь он и защитник, и опора в доме — и мне, и маме, и всё хозяйство наше небольшое на нём, и огород, и скотина.

Папа почти два месяца лежал, трудно возвращался к привычному образу жизни. Не в его характере болеть-валяться, всегда ведь живчиком по посёлку — стремительный, лёгкий, улыбчивый... Приходила врачиха, ставила уколы, компрессы, капельницу... Ночью папа стонал, Корлик вставал с диванчика колченогого, подавал пить...

Папа только начал подниматься, ходить по дому и выползать на крыльцо, только-только на вскопанных им грядках закурчавилась первая зелень и огуречная рассада бодрым строем пошла в рост, как грянула новая беда.

— Всё снёс, сатана такой! Всё как есть! Смесил всю гряду, и бортики деревянные разнёс, и всю рассаду потравил, измолотил, нечисть такая! И у соседей тож! Стыдно глаза показать! — у мамы срывается голос, она редко так ругается, значит, дело совсем плохо.

Всё это я слышу из-за стены, поджав хвост в своей комнатёнке. Слышно, как папин голос крепчает — не к добру. Мама жалуется отцу, что Катай сорвался с цепи и снёс, порушил все наши труды огородные, в том числе и папину огуречную грядку — гордость его и усердие! А потом в соседском огороде устроил такой же шалман и раскардаш. Они ж теперь в поссовет подадут, соседи-то. И будут правы. Нечего собак распускать.

Корлик ушёл на кухню. С него главный спрос. Отец больной, еле ходит, рука правая отказывает.

Корлик теперь отвечай за всё. Катай-дуралей накуролесил. Да чтоб ему!

— Корлик!

У меня холодеет под ложечкой от этого зова. Брат идёт не сразу. Я слышу, как он топчется в коридоре, молча гремит на кухне посудой, шмыгает носом. Всё-таки ему только четырнадцать лет. С меня-то спрос невелик, я соплячка-первоклашка. Мне голоса на домашнем совете никто не давал. Спать уложили — и шабаш!

Папа неумолим, папа, сын суровой эпохи, всегда рубит наотмашь. Папа растит из Корлика сурового бойца, спортсмена, охотника, мужика, а не тряпку какую-нибудь.

— Корлик, поди в лес подальше и пристрели его.

Брат стрелять умеет, отец мальчишку с двенадцати лет на охоту берёт: по осени — на утиную, а зимой — так и белок, и зайцев мужики с охоты приносили.

Слова за стенкой проваливаются в бубнёж и невнятицу, но тон я слышу: Корлик, послушный, пытается впервые возразить папе. Худенький, сухопарый, слегка сутуловатый, с негромким голосом — бесшумно исчезнет, покорно кивнёт... Зубами скрипнет, комок слёзный проглотит, папин тяжёлый подзатыльник стерпит. Слышу, прорывается его упрямое, тихое:

— Я не смогу.

— Ты ж у меня...

— Папа, нет, я не буду!

Папин тон уговаривающий переходит в угрожающий. Слышу, как Корлик говорит что-то ещё. — Не пойдёшь — из дома выставлю! Одностволку свою возьмёшь. Ты же видишь, я ещё не в силах.

И ещё что-то, и ещё... Слышно, как тарелка падает на пол, как мама пришла на кухню, шаркает громко... Я затыкаю уши, реву и проваливаюсь в подушку. Чем заканчивается разговор, уже не слышу. Так и засыпаю, уткнувшись в мокрую наволочку.

Ух, как возрадовался Катайка, когда повели его в лес! Да ещё раным-рано, на зорьке — птицы вон как заливаются! Запахи майские дурманят! Рвёт поводок бодрый Катайка, не знает, дурак, что его сейчас к берёзе привяжут — и бабах! Чумной-дурной! Корлик сжимает челюсти до боли, чтобы не плакать, но слёзы набегают, засыят глаза; Катайка базлает радостно, скачет, лакает из придорожной лужи...

Я никогда не спрашивала брата о том, как он застрелил Катая.

Я могу только представить, как они идут по утренней вязкой тропинке к водомерному мосту, переходят Базыр, потом поднимаются к Трёхскалке, всё дальше, дальше... Отец велел уйти поглубже в лес, перевалить гору, к Косым ложкам ближе. Стрелять-то нельзя по весне, не сезон. Вообще

с ружьём нельзя в лес. Корлик хочет отпустить поводок: вали, дурной на все четыре,— да нет ведь, вернётся Катай домой, собаки дорогу помнят. Надо так устать, чтобы было уже всё равно, думает Корлик-Орлик. Выстрелить-то недолго. Привязать, закрыть глаза... Привязать и уйти? Бим бьётся на верёвке у зимней берёзы, рыдает... Да, там кино, а тут... Катай суёт любопытный нос в каждый куст, фыркает, прыгает... Сказать: сорвался с поводка и удрал? Почему не выстрелил вслед? Не позвал?

Наконец Корлику кажется, что пора: подламываются ноги, шум в ушах так полнит голову, что не слышно ничего, кроме буханья собственного сердца. Руку правую, которой ведёт Катая, ломит, во рту сухо и пусто... Катаю хоть бы хны, попрыгивая на поводке, меньше выворачивает руки, вроде даже послушно идёт. И всё-таки вертится-дурчится, путается в ногах, пока Корлик приматывает непослушными руками поводок к дереву...

Целится Корлик вслепую, расплывается и качается перед ним берёза старая, к которой он привязал Катая, а чумной-дурной вертится, хвостом юлит, куда-то за спину Корлику глядит, влаивает, подсказывает...

...Так мне видится эта незамысловатая история издавека, годы и годы спустя. На следующий день, когда я пришла из школы и прибежала на огород, в Катаевой корявой конуре лежали только ржавая старая цепь с ошейником, недогрызенная кость и свалывшиеся клочки шерсти.

И всё-таки мне думается, что было так.

«Стой, малой. Чего удумал-то?»—и онемевшему Корлику на плечо чья-то рука ложится. Чуть надавила—и осел парнишка на траву, повинувшись. Послушный, что сказать.

Смотрит Липатыч на паренька худенького, узколиченького (так его Олюшка говорит), плечи уронившего: вроде знакомый. Только сомлел совсем.

«Дмитрича, что ли, сынок? Ну как же ты чуду такую—и стрельнуть? Дмитрич велел? Шальной, значит, говоришь? Огород снёс? Ну-у, малой, ну что ты, такой мужик суровый, с ружьём—и такой рёва-корова!»—улыбается Липатыч, качает головой, а сам уже Катая отвязывает, ерошит ему загривок, гладит, а тот, вот чудной-дурной, на него смотрит словно на родного, уши умильно прижал, голову бедовую в колени тычет...

«На вот платок, что ли... К своим я собрался, в Казахстан. Надолго, да. Года на два, может. Старик совсем сдал, помочь надо. Завтра еду, племян везёт на машине. И чуду твою с собой заберу! Хорош, охламон! Там мне нужно доброго пса на охрану. Ишь, юлит, словно своего признал! Как кличут-то? Катай? Ну, катай его, валий! Чуешь, что другой раз на свет нарождается?»

Липатыч и Катайка

Вполне себе рождественская история

Оглохшими зимними вечерами в Долгом логу, что тонет в январской снежной купели, едва просверкивает пара огоньков. Вон теплится окошко у старой Кузьминичны: гости городские, видно, к ней понаведались. И то верно: ишь, машина-то у крыльца сугробом горбатится—мело весь день с утра, света Божьего не дарило. Через пару заброшенных избёнок-завалюх ещё огонёк подрагивает: Липатыч печь топит да, пожалуй, с Катайкой лясы разводит. А чего им? Зиму как-то коротать надо. А то, глядишь, навалится тоска сугробищем удушливым—ни дохнуть, ни всплакнуть. И не то чтоб они вдвоём горе мыкали—бобыль Липатыч и Катай, дворняжина-приблудня,—нет, для скромного житья-бытья им хватало Липатычевой пенсии, да и крепок был ещё Липатыч, и за всякую работу на бабьих одиноких дворах брался: кому дровишек порубить, кому воды натаскать, кому огород вскопать,—ну и, понятное дело, дают чего-нить—молоко иль сметаны, творогу, малины с огорода. Грех жаловаться: кто деньжонкой, кто одежонкой жаловал. А уж Катайке при Липатыче и подавно житьё привольное, да и по логам рыскай, не ленись: то мыша схватишь зазевавшегося, то одичалую кошку за хвост поймаешь. Есть прокорм.

Да только в зиму—хоть и куль муки, да воз тоски. Вот и воют на одинокую луну по переменке: то Липатыч затынет «Когда б име-ел золотые горы...», то Катай зайдётся в скулеже своём, жалобится на долю свою собачью, а чего жалобится—не разобрат. А так-то они понимать друг дружку научились; подмигнёт было Липатыч Катайке: мол, завтра в посёлок пойдём, глянем, чем дышит Горячий, вон Кузьминична врёт, что в «Берёзке» какие-то сласти заморские навезли и фрукт неведомый—помело, что ли, называется. Липатыч смешком поперхнулся, как услышал: ишь, помело бабы-ёжкино какое-то!

Нет, не унимается метель. Хоть бы завтра, на Рождество, солнышко глянуло, что ли,—всё повеселее бы. Сидит Липатыч у печи, брови кустистые в завитках подгорели от жара печного, глаза—как выцветшая зелёная вода в болотце, стоячая, неясная, и в уголках глаз тужит вечная влага: вспоминается ему Олюшка—сердечная долюшка, покинула его, непутёвого, пять годов уже как покинула... это он с тех пор-то словно надломился, сохнуть остовом стал, а при ней эдак браво шустрил—догоняй, молодые! Чтò ему лога эти—Долгий, Осиновый: до озера домахивал (километров двенадцать будет!) часа за четыре, сутками в тайге ореховал—Катайка уж на что охламон выносливый, а и то едва приползал на порог после всех их скитаний; а ему ничего, словно только крепче кричал да громче заводил своё

любимое: «Когда б име-ел златые горы и реки, полные вина...» Вина-то он отроду не пил, так, когда пригубит по случаю на поминках, а вот вина на сердце его лежала неизбывная, непоправимая—перед Олюшкой вина. То ведь как было? Опять же под самое это Рождество. Сладкое было утро тогда, тихое. Улеглось после метели, скрепчал снег, перенова легла, заиграла поутру блёстка и в воздухе, и по покрову—благодать!

«Липат, ты б вынес золу, а? Вон, смотри скока, а? Поди вон, хватит валяться! А я пирогов начну, тесто подошло». И уже—шур-шур-шур по избе, ловко так, не уследишь—словно вещи её слушаются и сами на место ложатся.

А Липат любил поутру по празднику дремануть повольнее, шире. Послышал, что Олюшка попросила сквозь дрёму,—да и опять ухнул в сугроб сонный, пуховой...

Открыл глаза оттого, что Катай в рукав рубахи вцепился зубами, привывает, визжит-плачет, волочит его куда-то... Спросонья даже торкнул его ногою: пошёл, мол, чего дикуешь? А тот—к двери. Распахнул Липат дверь—обмер: Олюшка во дворе лежит, ведро золное рядом на боку, зола поверх снега рассыпана... Верно, несла ведро с золою, поскольку на гладком-то подворье и грянулась о камень головой. Камень-то этот сам он уложил около калитки: нашёл у Базыра, подумал—в хозяйстве пригодится, приволок. Вот и пригодился. Спекла долюшка пирожков на светлое Рождество.

Нет, не вспоминает он это утро—стоит оно у самых глаз, припорошённое печною золою. Нет ему прощения. И покаяться не перед кем—только вот Катайке, охладону кареглазому, и выплакивает он свою кручину. Знает всё дремучий Катайка, морда вся в белой печной золе, загривок совсем седой... Подползёт к Липатычу, головой лопухой в колени уткнётся и скулит, словно приговаривает: «Ничего, брат Липатыч, не убивайся, мол...»

Вышел Липатыч проведать погоду. Как-никак завтра Рождество. Хорошо—вернули праздник. В советские времена и не знали о нём. А теперь словно на место он встал, и стал замечать Липатыч: и вправду в этот день и солнышко играет, и снегирь веселей скрипит. Чего это у Кузьминичны окно всё горит? Чёй-то припозднилась, старая. Стряпается, что ли, по ночи? Внучку ей привезли на зимние каникулы—девчоночку долгоногую, рыжеватенькую, с белёсыми ресничками. Уже с горы катались и в Горячий на машине ездили, родни у них тут много, надо всех проведать.

Постучал тихонько, валенки обмёл голичком на веранде:

— Кузьминична, гостя-полуночника пустишь?

— Тишей давай, Галя у меня приболела. Горит вся, докаталась вчера на санках-то. В снегу вся извалялась. Худа-то така, в чём душа держится,

былиночка моя... захворала...— Кузьминична захлопала, засморкалась.

— Лечить-то есть чем? Температуру мерила, старая? А родители её где? Машина-то перед домом. — Да мерила, мерила, тридцать восемь и пять; уже не знаю, чем полечить-то её: и мёду с малиной давала, и горчишники ставила... Нету у меня лекарств-то. А родители в Горячем заночевали, у кумы на Барсучке.

— Э-э, мать, совсем ты из ума выживашь. Горчишники! На Барсучку забрались, говоришь? Так мож, доктора вызвать?

— Да куда там! Середь ночи? У меня и телефона ихнего нету, больничного-то.

— Остарела, однако. Сотовый-то ещё сын не подарил? Звонить как будем?

— Нету,—всхлипнула Кузьминична.—Липатыч, чё делать-то будем?

— Ты следи за девчоночкой-то, ей уход надобен. Пошёл я до Лидии, она в фельдшерском по ночам дежурит. У них машина, приедем, вылечим твою долгоножку.

— Липат, ты чего чумной такой? По ночи, что ль, пойдёшь? По метели? Непроглядь такая, дорогу, гляди, перемело...

— Пошёл! Врача привезу. Гальку сторожи, старая. Питьё ей давай кислое, брусники мороженой достань, наладь ей киселька, что ли. Водка ж есть—разотри её да закутай. Смотри, осторожней. Былиночка и впрямь...

Липат уже увязал в снежном море, еле вытягивая валенки. Часа три, что ли? Часы дома забыл, тетеря. Катайку дом оставил сторожить, дверь припёр чурочкой поувесистой, чтоб не увязался. Старый Катайка, да шальной. Вот ведь непрогляд... На дороге было светло от снега, но по временам так взвизывало, так дыбился сплошной белой пеленой снег, что Липат останавливался, задыхаясь, пережидал, укрывши капюшоном лицо... И шёл дальше. Фельдшерский пункт, где по ночам и в будни, и в праздники дежурила врачиха Лидия—высокая, породистая, светлица, всегда в одной стройной поре, был в центре посёлка. Из Долгого идти недолго, пошучивал сам себе Липатыч. Получас ходу всего—да пурганище взялся сегодня не на шутку. Со вчера понизовка шла, перемело дорогу, на пригорке выдуло, а потом такой невпроворот пошёл: что ни шаг—словно вяжут по ногам путами тебя.

Ходил тою дорогой Липатыч не век, конечно, но знал её так, что и вслепую дошёл бы. А тут завертело так, что и вправду белые бесы вокруг почудятся. В школе учил Липат стихотворение Пушкина: «Мчатся тучи, вьются тучи...» А тут и туч не было видно, и ни звёздочки не показывалось. Да, слупил ты, Липат, понесло тебя в ночь да в пуржищу: ну вот чё потащился, старый? не дожила б она, что ли, до утра?—с досадой подумалось

Липату... Но словно Олюшка с укоризной глянула ему в глаза из метельного хаоса—и мысль досужую снежным вихрем сдуло. Да дойду, чего там. Вот, кажись, уже баня Ольшевичей дымит: это они моются перед Рождеством, что ли? Усмехнулся, встряхнулся бодрей и шагнул пошире... У-у-ух!

На мгновение Липатыч словно исчез для себя, а когда в разум пришёл—подивился, как вдруг стихло всё, словно оглохло. Мать честная! Зазевался старый—оступился, в овраг завалился. Мало-мало до центральной дороги не дошёл! Забарахтался Липатыч в снежном омуте, за ветку берёзовую подвернувшуюся уцепился, подтянулся—и охнул от внезапной боли, резанувшей левую ногу...

Катайка проснулся от вороватого холодка, пробежавшего из подпола. Печка погасла и отдавала последнее тепло рассеянно, словно нехотя, и казалось, сама она дремала, подмигивая погасающими рубиновыми угольями.

А Липатыч-то где? Катайка поскрёб лапой дверь, поскулил, насторожил ухо: нет, не слышно шагов Липатыча—ровных, сильных, привычных... Увесистая старая дверь прятала от него тёплого человека. Пёс присунул к дверной щели нос—и уловил слабую ниточку Липатычева запаха. Ну, тут уж держись, старая дверь! Катайка собрал всю свою собачью мочу, заскрёб отчаянно, головой лобастой толкнул твёрдое. Дверь подалась—и Катайка ухнул в снежную круговерть, ловя нитку знакомого запаха. Дорога Катаю была знакомая, но лапы так увязали в снежном плену, что подвигался он туго, вяз, скулил, барахтался, по временам хапал снег пастью—и всё-таки шёл по нитке родного запаха, что становился то едва различимым, то нестерпимо густым, почти домашним. (В этих местах Липатыч останавливался, отплёвывался от назойливых снежных мух, тёр лицо снегом, стряхивал с бороды налипшие комья.)

Липатыч хотел крикнуть—но звук голоса тонул в метели, как в глухой подушке, не отлетал в сторону. Даже если Ольшевичи затопили баню, придут они туда только утром. Кто его услышит? Не думал Липатыч помирать так глупо в овражном сугробе с вывихом враждебным в ноге. Хотя—чего там? Какая ему жизнь? И вот словно забыл, куда идёт. Девчонка-то! В жару там, бедняга, мечется, маму зовёт! Растудыт её, такую маму-то! В гости ушла, дитё подкинула... Разозлился Липат не на шутку, такое его зло взяло, беспричинное даже, такое лютое желание пожить ещё, не сдаваться глупой смерти такой, что он завопил громче ветра и метели—что-то дикое, первобытное, зычное, как сильный зверь... и в тот же миг прямо на его голову обрушился огромным лохматым комом, вихрем, визгом, снегом охламон Катайка! Завертелся, захлопотал по-своему, завыл, к лицу полез—облизывать...

— Ну всё, всё, чумной-дурной!—не успел договорить воскресший заново Липатыч, как Катайка выскочил из оврага и с отчаянными собачьими воплями кинулся к баньке у заметённого ручья, у которой и вправду в пять утра топотили уже мужики Ольшевичи, парни серьёзные, знающие, как баньку взгреть, чтоб душой воспеть!

Привёл их заполошный Катайка к снежному оврагу, вытащили мужики, матерясь и чертыхаясь (в святую-то ночь!), увесистого и вполне живого Липатыча (нога—что, заживёт как на собаке, что он—ноги не вывихивал ни разу?) и довели его, хроматого, до фельдшерского пункта, где и сдали на белы ручки белохалатной Лидии.

И ещё до восхода машина амбулаторная с врачихой добралась до Долгого лога.

Катайке не понравилось сидеть в этой тарайке: уж больно пронзительно, едко шибали в нежный собачий нос дурацкие медицинские запахи.

Мариян Шейхова

Откройте мне имя отца

Да будут пути далеки

Небо позволь пересечь — ждут двенадцать богов до рассвета,
 Рог врага набирается сил, чтоб пронзить моё имя насквозь.
 Поднимаюсь в ночи и плыву сквозь владения Сета,
 Не поглотит уснувшее око тишину засыхающих слёз.

Боги Дуата! Откройте к жилищу дорогу — так велит вам могущество Гора.
 Боги Дуата! Лицо поднимите, чтобы я видеть вас мог.
 О великий Осирис! Пред тобою я чист и спасён от вины и укора.
 Из убежищ выходят хранители храма, призывают меня на порог.

Ибо я осыятил все пути, что ведут к горизонту, пути его стражей,
 Обращался к богам — и речью, исполненной силы, открыл воплощения зла.
 Я равен отныне бессмертным, и в вечности Ра не откажет,
 Я сохранию свою сущность, я владею названьем числа.

Сорок два бога признают моё воскрешенье, ибо чист и богам поклонялся,
 Землю у смертных не отнял, не крал подношений, на птиц не готовил силки,
 Не обрушивал берег канала, огонь не гасил, ложной клятвой не клялся...
 О, даруйте способность дорогой идти — и да будут пути далеки.

Небо позволь пересечь — воздадут мне хвалу горизонты и пребудут во мне,
 Тени смотрят мне вслед. Я прогнал прочь врагов и свожу их деянья на нет.
 В изголовье Исида стоит, силу дарует Осирис, живущий в зерне,
 Ибо сын я ему, ибо сын я ему, ибо сын я ему, ибо вечен любви его след.

Откройте мне имя отца

Две сестры, две богини, откройте мне имя отца.
 Расщеплённое горло удержит от входа в ладью.
 Я вдыхаю восточные ветры, провожаю их тени с лица,
 Позволяю вкусить от хлебов и голодные реки кормлю.

Я избавлю отца от огня на ладони ладьи,
 Он с мольбой обратится к гробнице вчерашних владык.
 Над пучиной воды, о отец мой, как Солнце, взойди,
 Ты обрёл мою жизнь, я к твоим возвращеньям приник.

Две сестры, две богини, легко разомкните уста.
 Для привратника — речь, для писца — возвращение в дом.
 О нашедший лицо! Парус знает, где пристань отца.
 Будь прямее богов и склонись к их молчанью челом.



Ты познал начало и конец,
 Ты пил молоко из вымени четырёх коров,
 И боги простирают к тебе руки
 И узнают тебя.
 Следите за теми, кто мёртв,
 И вы пройдёте свой путь.

Я больше не мёртв

Пять белых лепёшек, пернатая дичь—и только не ведать рук;
Пшеница и пиво, ячменное поле—в колосьях колеблется звук.
Владенья Дуата под стражей у Солнца—я больше не мёртв, если жил;
От гавани ночи плот к свету несётся—в объятая поющих светил.

Сердце—моя мать,
Стук в чужую жизнь,
Сердце—моя мать,
Сердце—мой двойник.
Будет ли карать
Мой случайный крик
На весах судьбы
Осирис?

Перо или сердце, истинна ль правда—молчит погребальный Совет;
Трон и гробница, посох и птица—в лотосе спрятан ответ.
От подношений до поклонений—путь пожирателя душ;
Скипетром тайным блюдо разбито, полное бычьих туш.

Сердце—моя мать,
Стук в чужую жизнь,
Сердце—моя мать,
Сердце—мой двойник.
Будет ли карать
Мой случайный крик
На весах судьбы
Осирис?

Птица Маат, сёстры прячут глаза—не следит за весами писец.
Пожирателю мёртвых отдам свою тень, зорко смотрит за мною отец.
Сокол в темя клюёт, и владыка ветров наполняет дыханием смерть.
Я принёс тебе воды, я вспахал твоё поле, сохранил твои камни и твердь.
Я пришёл, я пришёл, я пришёл
В подземелье Дуат.

Сердце—в руке,
Потерпи, мой сын.
Боги пьют в реке
Высохших причин.
Сердце—плод любви,
Возвращаю в сад,
В океан травы
Голоса летят:

«Сердце—моя мать,
Стук в чужую жизнь,
Сердце—моя мать,
Сердце—мой двойник.
Будет ли карать
Мой случайный крик
На весах судьбы
Осирис?»

Пять белых лепёшек, пернатая дичь—и только не ведать рук;
Пшеница и пиво, ячменное поле—в колосьях колеблется звук.
Владенья Дуата под стражей у Солнца—я больше не мёртв, если жил;
От гавани ночи плот светом несётся—в объятая поющих светил.

Старцы

Старцы!
Быки, потерявшие поле,
Дом украдут.
Старцы!
Ночи, спящие вволю,
Свет не найдут.
Старцы,
Четыре стороны света—
На дне...

Юноши в поле!
На ноги встаньте,
Руки по локоть в грязи.
Хлебом и солью
Старцев встречайте—
Небо ищите вблизи.
Юноши в небе!
Ласточка плачет—
Двери открыты
Дню.
Юноши в небе!
Путь только начат,
Души доверьте
Огню.

Ласточка в доме!
Океан
Просит ладью умереть.
Ласточка в небе
Тоже тонет,
Чтобы приветствовать
Смерть
Лодочник в море!
Горизонт
Имя просит твоё.
Лодочник в море
Тоже тонет,
Чтобы взлететь
Легко.

О уходящий!
Скошено поле.
Не обвиняй покой.
Посох—не птица.
Вкуси от пшеницы.
Старцы ждут за рекой.

И позади,
И впереди
Найдёшь ли отца своего?..

Нина Гейдэ

В чужом раю

Датская фотография

Вот датское фото—торжественный глянец
твердит: мы прекрасны, чисты и юны.
И, право, без зависти тайной не взглянешь,
как мы совершенны и как влюблены.

Ещё ни морщинки, ни ниточки снежной
в разлёте волос, и осанка стройна.
На фото мы так вдохновенно и нежно
целуем друг друга на все времена.

С десяток рассеянных лет миновало—
ты имя моё вспоминаешь с трудом,
но снимок твердит как ни в чём не бывало
о том, что мы вместе—навек притом.

Не пыль, а Везувия пепел с альбома
стираю... Фотограф, кто ты, наконец?
Ловец совершенства? Создатель фантома?
Правдивый свидетель? Отъявленный лжец?

Век минет—у снимков края пожелтеют.
И, может, услышу из космоса я,
как датский мой правнук вздохнёт по-житейски:
чудила прабабка, да Бог ей судья.

Датская метель

Метели датской письма
на русский не переводимы.
И кажется, что нет меня
на свете, где сердца—как зимы,

где жизнь расходится по шву—
как тот кафтан нелепый Тришкин;
где всё, чем с юности живу,—
уже обманывало трижды.

И Андерсена колдовство
не помогло печальной Герде
постичь комедий естество
в исконном облике трагедий.

Зимы чужой старинный хлад
судьбы меняет изначальность.
И жизнь, что вся ни в склад ни в лад,
чем совершенней—тем печальней.

В чужом раю

Есть что-то безнадежное в раю
для тех, кто до конца ещё не умер.
В чужом раю, как и в чужом краю,
под каждой розой—ностальгии зуммер.

Трава не та, листва совсем не та.
Не те дожди, не так цветут каштаны.
Зима не та—сплошная маета.
На санках нас не так отцы катали.

Не те дома, соседский дух не тот.
И праздники не те, застолья, песни.
Не те друзья, не тот уже полёт
в расчерченном на клетки поднебесье.

Не те моря, не тот воды глоток,
не та победоносность на престоле.
И жизнь сама—опрятный закуток,
а не просторы, Боже, не просторы.

Язык не тот—в нём не найти следов,
ведущих за незримые пределы.
И слово сокровенное «любовь»
звучит не так, как сердце бы хотело.



Найди границу слов
и тишины границу.
Весь бытия улов
лишь там и сохранится.

Между молчаньем дня
и многоречьем ночи
черта проведена
незримым многоточьем...

Иди по ней, иди—
над явью сна и бденья.
Небытия пути
там сходятся с рождением.

Услышь—ещё до слов,
до дрожи каждой жилки:
моя к тебе любовь
была—ещё до жизни.

Дорога назад

Сквозь пальцы, сквозь воздух, сквозь вздохи и взмахи ресниц—исчезает судьба невпопад.

На гуще кофейной, ладони, бумаге гадают чужбины суровые маги и знают, что тщетно: назад не попасть—

туда, где скворечники в сини апрельской, трава, что едва начала прорасти, а после листвы обессиленной, прелой старинного запаха тайная прелесть пророчит, что всё не дано просто так.

Там детство как действо—тот первый подарок, где краски, слова и мечты во весь рост. Там гордый олень, а не жалкий подранок. Картина жива—не один лишь подрамник, который в твердыню житейскую врос.

Сквозь пальцы, сквозь воздух, сквозь слёзы и вздохи всё тает судьба, и кому рассказать, что, днём обивая чужие пороги, во сне по знакомой до боли дороге торопимся, мчимся, стремимся—назад?

Сокровища детства

Детства ларец тяжёл—что мне делать с ним? Поздно колпак Пьеро серебром латать. Даже драчун Арлекин загрустил и сник. Птичье перо разучилось давно летать.

Только стекляшки цветные ещё хранят летопись кладов дворовых и пар земли. И паруса расправляет легко фрегат, но остаётся по-прежнему на мели.

Что же с богатством делать теперь моим, кладом смешным, старомодным моим ларцом в мире, где детство растаяло, словно дым, маски срослись навеки с живым лицом?

Эти сокровища детства кому отдать? Будет в морях фантазий ещё пловец? Будет ещё кому-то светло от дат в календаре настольном за прошлый век?

Сыну такое наследство совсем не впрок. В новой стране игрушки совсем не те. Значит, моим придётся дожить свой срок на чердаке, в забвенье и темноте.

А когда я сама в темноту войду, мне бы хотелось последний найти приют там, где на ёлке зимней зажгут звезду и паруса свою алую песнь споют.

Эмиграция

Жесты словно из жести, грация манекена и мимо взгляд: мисс железная Эмиграция—ты не женщина, ты солдат.

Это ты поначалу умница-чаровница, зато потом как забросишь плутать по улицам в равнодушный людской поток!

Лица как на засовах—ключик всё не отыщется. Есть ли он?

Как мы долго, как трудно учимся в незнакомый вживаться сон,

именуемый кратко «Западом»: в речь невнятную за окном, в мир, который нам ни по запахам, ни по замыслам не знаком;

где так редко и немощно снег идёт, будто светлых лишился сил, в мир, где фразу по-русски нехотя произносит с акцентом сын;

где края совмещаем, тужимся—швы расходятся каждый миг. Короля, что был голым, ужасы—эпиграмма на нас самих.

Счастья бедная имитация. Тонких струн бытия распад. Мисс жестокая Эмиграция—мягко стелешь, да жёстко спать.



Оставьте сегодня меня одну, пускай я даже иду ко дну. Быть может, это такое дно, где только мне побывать дано, где безымянный порог лежит: не смерть ещё и уже не жизнь. И так легко возвратит назад клубочки шерсти цветной—вязать узоры спутанных дней невмочь. И день уже не светлей, чем ночь. Вязанки слов—вот и всё, что есть. Их, слава Богу, пока не счастье. И, значит, маленький костерок, вздымаясь, светом зальёт порог, где продолжает в глаза смотреть ещё не жизнь, но уже не смерть.

Дмитрий Филиппов

Я — русский

Главы из романа

Сергей Арутюнов Филипповский вариант

...Парень любит девушку, девушка любит парня, но чувство оказывается слабым и беспомощным, пропитанным «условностями века»: промискуитетом, лёгкими формами алкоголизма, отсутствием жилищных перспектив и с трудом уравнивающими эту мутную массу твердолобыми догмами, опирающимися на пустоту.

Будешь пить — расстанемся, говорит сияющее от внутренней правды живое воплощение гуманизма по имени Слава. Невнятно одно: откуда в этой героине столько решимости выковыривать из грязи, а значит, «получать самое лучшее» и ни с чем данным в ощущениях не примиряться? Телевизор воспитал?

Художественная логика Филиппова не подводит: на очередной пирушке святая узнает, что её парень был связан с одной из пирующих девиц, святая оскорблена, святая уходит, святую насилует около подъезда — конечно же, гастарбайтер.

Парень, носящий фамилию теперь скорее пошловатую, нежели религиозно окрашенную (Вознесенский), собирает несусветную сумму, чтобы некие бандиты насильника нашли, забирает у деда из деревни ружьё. Дальше — трагикомедия сродни раскольниковской.

Мсть, подчинённая голому принципу «мужик сказал — мужик сделал», оканчивается конфузом: убивают совсем не того. То есть ружьё стреляет, но дробью сносит голову вовсе не насильнику, который, как оказывается, совсем и не насильник, а подставленный вместо него землячеством (институт подставы — полностью воровской). В общем, головы в итоге лишается «браток», решивший покуражиться над мнимым насильником: главный мститель отказывается стрелять, и распалённый организатор бойни пробует обратиться в исполнителя, возникает драчка, а за ней поспеваает и случайный спуск курка. Катарсис: в публицистических частях Филиппов дважды, но лишь отчасти объясняет эту на ходу произошедшую метаморфозу «русскостью» персонажей — их-де не понять — только что дрались насмерть, и вдруг мирятся. Занятно, что помириться с мёртвым,

в противоположность максиме, уже не получается по чисто физиологическим причинам.

Действительность русская и впрямь такова: хотелось одного, ан выходит другое. Врагом чаемому ладу оказывается тот, кто подначивает, стремится к убийству. «Братка» закапывают в скудную землю под Питером, и герой с мнимым насильником возвращаются в город, чтобы — что? Продолжать поиск подлинного гада? Герой, как следует из дальнейшего, уходит на нелегальное положение, оставляя свои заметки где-то в безбрежной сети.

Деда его, вступившегося за свою деревенскую землю, сжигают заживо вместе с домом, то есть жить парню ещё более негде, чем до всего этого.

Что же это всё значит?

А вот что: быть русским по-филипповски — это идти до конца, насколько это вообще возможно, но при этом каждую секунду выбирать, до какого из них.

Более десяти лет назад у Тиля Линдемманна из «Rammstein» спросили, какую цель преследует его группа, и он неожиданно серьёзно ответил: мы пытаемся понять, что такое сегодня быть немцем. С инфернальным ужасом отшатнулся от Тиля корреспондент легкомысленного журнальчика: ему, привыкшему к излияниям о любых мыслимых и немислимых сексуальных и прочих личностных расстройствах, было жутко услышать фразу, от которой за версту несло... чем? фашизмом? Но что теперь называть этим словом? И что плохого в том, чтобы осознавать себя скопищем национальных генов?

Но как раз это в утвердившемся мировом Вавилоне и есть главное табу: нельзя покушаться на самоидентификацию вавилонянина, которая «всё и ничто». Он может быть весёлым педерастом, гангста-дрочером или серой до безымянности офисной сволочью, но он не может быть ни русским, ни немцем, ни французом, ни венгром, ни арабом — кем-нибудь иным, кроме вавилонянина. Это путает карты. Это против правил. У нас нет национальности, потому что нашей родиной объявили Вавилон.

<...>

Филиппов не первый пробует нарушить этот обет молчания и делает это с неуклюжей грацией неофита, «ещё одного, кто всё понял». Насколько это читается? Это читается. Насколько это правда? Практически абсолютная: ничего у нас не выходит. Нет пути. Сверху Царь, снизу мы. Промежуток заполнен ворочающимися в коррупции жирдяями с богатыми биографиями (иные за наши дела и не возьмутся).

Власть нашу народной никак не назовёшь, вся политика её — во имя богатых. Говорится: неблагодарные, богатые вас и кормят. Спасибо, только мы-то помним, что когда-то было — иначе.

...У этого текста два источника — текстовый и визуальный. Первый — рассказ Леонида Бородина «Вариант» (1978), в котором убийством постового милиционера оканчивается попытка молодых людей отомстить сталинскому палачу; второй — популярная так же ещё недавно среди «русских националистов» майка с надписью «Я — русский», давшая роману название.

Майку продают и сейчас, только цвета её стали разнообразнее. Теперь она какая угодно, а раньше была чёрной, а буквы белыми, и носили её в знак протеста против национального унижения целой государствообразующей, как стыдливо стали признавать во второй половине нулевых годов, нации.

Издавляя можно вообразить человека в синей, зелёной или оранжевой майке с такой надписью и экологическим активистом, и защитником сексуальных меньшинств. Мир обуржуазивается стремительнее, чем сами буржуа, и это настоящий мировой рекорд, сравнимый с преодолением скорости звука.

Роман «Я — русский» — попытка высказать всё. И сразу.

Поэтому это не роман, а расширенная до романного объёма повесть, если не рассказ, во вкусе жёсткой реалистической русской прозы, помесь автобиографической исповеди и лебединой песни с обвинительным заключением. Оттого голос Филиппова высок, будто у Достоевского подростка, разоблачающего низость павшего мира. Лирические фрагменты чередуются с философско-политическими манифестами, разъяряющими граду и миру, кто виновен в падении страны. Каждое понятие нужно объяснять, как буквы нового алфавита, и сочетание этих букв задаёт общность координат.

Шкалы эти просты и интегрально следуют в довольно узкий смысловой коридор: есть люди, есть нелюди. Лучше мучительно, обременительно для себя самого быть человеком, чем нелюдью.

Постоянно сбиваясь на школьные штампы («мир живёт по воровским понятиям» — «народ обокрали» — «героев перебили» — «все олигархи евреи»),

Филиппов пробует если не раздробить их, то вырвать между ними на огромной скорости произнесения, близкой к истерической.

Почему?

Потому что каждую секунду может стать поздно.

«Что нужно сделать? Я не знаю. Может быть, сбросить лживого царя, который говорит одно, а за окном всё совсем по-другому. Но, поменяв царей, сменив шило на мыло, мы не приблизимся к равенству. А я убеждён, что лишь одно равенство сможет спасти нас от полного вырождения и гибели, повернуть этот мир вспять, избежать падения в пропасть. Наверное, надо поверить, что один в поле воин. Только один в поле и воин», — говорит Филиппов, и в этот момент начинает казаться, что молодой и дотошный парень берёт толстовскую высоту. Метод прост: надо проговорить то, о чём молчат другие. Роман является попыткой преодоления страха, проговаривания пусть банальностей, но с целью доискаться до простых истин, найти единственно надёжный путь исхода.

«Нас так долго учили молчать, что мы позабыли сладкое, волшебное чувство правдивой речи, которая, невзирая на звания и чины, называет чёрное чёрным, а белое белым. Но стоит начать говорить, как моментально и вдруг возникает чувство упоения честностью, вырвавшейся за пределы страха»

«Рассерженная молодёжь» — тренд не меняющийся. Русские нигилисты, студенты, поляки... стоп.

На Первой чеченской я не был. Учился, работал, с быстро испаряющимся ужасом смотрел на отрезанные головы, вызволенных из плена солдат, называвшихся почему-то «федералами», сопереживал до поры до времени киселёвскому телевидению и каждое утро (впрочем, как и сегодня) думал, где бы достать денег.

Двадцать лет назад я инстинктивно боялся людей с нашивками «РНЕ» на рукавах камуфляжа (они изредка попадались в метро образца 1993 года), брезгливо обходил ступени музея Ленина с толкавшимися на них мертвенными от стужи продавцами газет «День» и «Русский порядок».

В 1994-м многие из нас пытались осознать истину, вставшие перед нами впервые: олигархи (ну не все же), порабощение страны западным импортом, разграбление народного добра. До многого ли додумались? Ни до чего особенного.

Кто из русских (не чеченцев) совершил самоожжение или самоподрыв на Красной площади в знак протеста против всей обрушившейся на нас неслыханной мерзости? Такие наверняка были, но имена их не стали ни нарицательными, ни даже собственными. Квачков? Это было позже. В романе Филиппова он появится настоящим пророком, безапелляционным и честным до самого конца. Его словами будут говорить и наше недалёкое

и уже неотвратимое будущее, и наша фрустрация, и беспомощность, и полнейшая разоружённость даже перед самой простой бедой.

Квачков — старик в кафе — пророчит войну, говорит о «православном социализме», некоей следующей модели справедливого мироустройства, но ничего не может ответить насчёт иноверцев: каково им будет в этом раю?

Бандит, разруливающий ситуацию героя, говорит: нет больше русских, мы теперь каждый сам за себя. Это понятно, но ради чего мы должны быть — вместе и тогда — русскими? Чтобы защитить — что?

Славу. Девочку-сиротку, бабушка которой могла бы быть любовницей Бродского, да не стала. Что-то ей в этом Бродском не понравилось: может, фамилия, а может, глумливая самоуверенность.

Славу надо защитить — много охотников до неё. Это не обобщённые узбеки-таджики, не финансово-промышленные боссы-«единороссы» и даже не монструозные «агенты влияния»: влиять не на что, всё уже отобрано и находится «в чьих надо» руках. Это — мы. Защищать и спасать Славу надо от нас — от нашей трусости, апатии, в которую мы постоянно норовим свалиться, как в обморок какой-нибудь дистрофик.

В обмороке сладко: снятся сны, видятся видения. По утрам не хочется просыпаться. Век бы не слышать вкрадчивого будильника, не вставать, не обжигаться вскипевшим чаем, не одеваться в поношенное шмотье, не проверять, всё ли взял (сигареты, зажигалка, паспорт, деньги), а слушать уличные шумы, не впуская внутрь ни единой мысли о том, что всё катится к чёрту.

Или вскочить? Закричать? Взяться за оружие? Погибнуть при глупом, стихийном штурме Кремля или Петросовета? Быть арестованным, судимым, отбыть невозможные сроки вдали от дома, что бы — что?

Чтобы так вскочить и решиться, не мешало бы для начала осознать, способны ли мы заплатить за спасение Славы высочайшую цену. Одно дело — собрать деньги на поиск подонков (писать «вконтакте» и на «Фейсбуке» воззвания), но совсем другое — вывезти их в лес и выстрелить им в голову (штурмовать олигархические особняки). Более того — точно так же, как у Достоевского, праведная месть почти наверняка обернётся клоунадой, самосудом над невинными.

Так достижима ли вообще справедливость?

Слишком много вопросов.

Конечно, мы больше не можем жить в стране, пропахшей трупам, ложью и гноем. Рассчитывать, что кто-то придёт и за наши деньги сотворит нам «православный социализм», бесполезно. Значит, снова топор? Красный петух?

Перед этими вопросами тормозит и сам Филиппов, сын военспеца, интеллигентское семя, второе поколение городских, обитателей бывших рабочих слободок, разросшихся до спальных районов.

За топор время от времени берутся то те, то другие, попадают, сидят. Те, что покрепче, выходят после своих сроков и пробуют продолжить, прекрасно понимая, что за каждым шагом уже доглядывают. Кто-то, сломленный, уезжает в глушь или за кордон, вынося с перепутей одно и самое глубокое впечатление, связанное с элементарной невозможностью заплатить за свой «свободный выбор».

Нет у нас выбора, никакого. И не было. И мы пытаемся не молчать. Как это у нас выходит — другой разговор. Но вот уже упрямо пробивается через асфальт социальной апатии следующее колено террористов-романтиков, которым уже мало кидаться майонезом в лидеров парламентских фракций и тортами в летние веранды «Макдональдсов».

Чего же им надо? Ломать систему? Её уже провалили сломать неоднократно, а она стоит.

Потому что система — это мы.

Наш страх, наш конформизм, соединяясь в единый поток, рождает Царя. И, как волхвы, мы приносим ему наши налоги — по его мановению уходим воевать соседние страны, усмирять бунтовщиков, чтобы потом кричать по ночам.

Это такая страна. Она оказалась нашей, потому что к этому нас подвели наши предки. И что с ней делать — непонятно, хотя делать что-то надо. Работой можно забывать всю жизнь и лишь потом обнаружить (как мой отец), что тебя всю жизнь грабили. Что налоги твои шли на какое-нибудь братоубийство или — в лучшем случае — на чьи-то коттеджи и виллы в прелестных мирных уголках.

Есть ли здесь за что воевать? За кого? И не на абстракциях ли нас, смолоду романтически настроенных, ловят? Да.

Но Слава — есть. И она изнасилована.

Слава есть так же неопровержимо, как Родина — Россия. И наши предки почему-то считали, что гибель за неё — привилегия. Неужели за двадцать лет национального позора мы отвыкли от этой мысли? Теперь, в дни крушения Украины, мы примеряем на себя участь ополченцев, ждём какого-то сигнала, свистка, повестки и не можем его дожидаться: такие мы вряд ли понадобится будущей войне. Ей, а заодно и Родине, нужны другие мы.

Креститься ли огнём и мраком?

Спасать ли Славу?

Это должен решить каждый сам для себя.

... Так что нам делать, как нам петь, как не ради пустой руки?

А если нам не петь, то сгореть в пустоте;

А петь и не допеть — то за мной придут орлики;

С белыми глазами, да по мутной воде.

Только пусть они идут — я и сам птица чёрная,

Смотри, мне некуда бежать: ещё метр — и льды;

Так я прикрою вас, а вы меня, волки да вёроны,

Чтобы кто-нибудь дошёл до чистой звезды...

Борис Гребенщиков. Волки и вёроны

1. Детство

Для начала давайте познакомимся. Меня зовут Андрей Вознесенский, мне тридцать лет, я воинствующий графоман, и мне плевать, что вы думаете по этому поводу. Лет до двадцати я искренне верил в собственную гениальность. Ругал классиков, читал каждому встречному свои стихи, умело играл в трагизм. Потом что-то пошло не так.

Рембо в семнадцать лет написал «Пьяный ко рабль», Лермонтов к двадцати шести годам вообще уже всё написал. А кому нужен поэт с именем и фамилией Андрей Вознесенский? Это даже не смешно.

Моя мама была из тех восторженных барышень семидесятых, что ходили на поэтические вечера, выписывали «Новый мир», ругали Советы и сочувствовали диссидентам. «Шестидесятники» были их кумирами, Солженицын — отцом родным, а рыжий Иосиф сводил с ума заунывным чтением своих стихов. Пока не скрылся в тумане эмиграции. Дети «самиздата» с горящим взором. Их пылкие сердца были не приспособлены к жизни. Я уверен, она и за отца-то вышла, купившись на фамилию. А когда родился я, вопрос имени даже не обсуждался. Ох, мамы всех времён и народов, любите своих детей чуть поменьше, не мудрите с именами: расхлёбывать-то не вам.

Если говорить в социальном плане, то я — пустое место, разновидность офисного планктона на государственной службе. Я работаю в педагогическом университете. Должность громкая и пустая: заведующий студенческим отделом. Вы знаете, что это значит? Ни черта вы не знаете, даже представить себе не можете! Я — мальчик для битья. На мне может сорвать злобу любой декан, или проректор, или бухгалтер, или экономист планового отдела, или главный инженер. Для того и держат. Но я не жалуясь, мы сами выбираем свою работу. Редкий случай, когда работа выбирает нас. Это счастье. Я только в книжках о таком читал.

Ректором у нас Кобылянский Вячеслав Николаевич, ядерная сволочь. На днях отчислил семьдесят человек за опоздание. Семьдесят! Стоял на проходной и отбирал студенческие билеты. Скоро сменку проверять начнёт.

Короче, лет в двадцать я понял, что я не гений. Неприятное открытие, надо сказать. Ещё год назад ты писал что-то для вечности, для истории и потомков, веселился, представляя нелёгкую работу

своих биографов, впадал в экстаз по поводу и без, а потом выясняется, что всё это зря. А был ли мальчик?

Мальчик был, и мальчику стало мучительно больно оттого, что мир не рушится под натиском его стихов. Вот так он устроен, этот мир. Катастрофу я отметил недельным запоем и попыткой суицида. Это только на словах звучит внушительно. На деле я потыкал тупым ножом по венам, порезал кожу на руке, испугался и вылез из ванной... Как всё это мерзко и мило одновременно. Так по-детски, так по-настоящему. Ей-богу, я до сих пор умиляюсь, вспоминая эту сцену. Я, голый и мокрый, бреду по квартире, плачу от жалости к самому себе, ладонь в крови, и так хочется любить и ненавидеть этот мир (до сведённых скул, до прокушенных губ), что вместе с рыданием начинаешь давиться от смеха.

Я расскажу о крайнем годе своей жизни, но тут нельзя без предыстории. Предыстория — бич всех графоманов, поэтому не будем вываливаться из традиции.

Штука в том, что у меня никогда не было дома. Конечно, были квартиры бабушек, родителей, друзей, съёмные хаты и углы — затянувшееся общежитие. А дом... Он должен быть уютным, родным, с запахом самостоятельности и безраздельного владения. Родительский дом — это другое, это место возвращения. Но у каждого человека должен быть свой дом, свой кусок земли или бетона. Всё остальное — это игрушки в детском саду, они общие, никому не принадлежат, а потому скучны и неинтересны.

Я родился в 1982 году на Дальнем Востоке, в закрытом посёлке Шкотово-17, в семье военного. Отец мой служил на подводной лодке, мать работала при штабе диспетчером узла связи. «Шестидесятники» давно уже были за бортом, реальность писала хлёсткой, сокрушающей прозой, и с этим приходилось считаться. В наивной юности мы верим в поэзию бытия, а потом вырастаем. Я говорю банальности, да, — и что из этого? Они сидят в нас, как глисты, жрут изнутри и никак не выводятся.

Мне посчастливилось родиться русским в ещё великой Империи. Поверьте, это весомый бонус. И это единственное везение за всю мою жизнь. В школе меня не дразнили «чуркой» или «жидёнком», в девяностые не гоняли скинхеды, передо мной были открыты двери любого института (теоретически любого). Я был как все. Я был своим на своей земле и не замечал этого дара, принимал как само собой разумеющееся.

Мать вообще была строгой и не улыбочливой, с какой-то постоянной внутренней усталостью. Словно каждую секунду ей скучно было жить на этом свете. Иногда мне казалось, что в роддоме меня подменили, а она каким-то образом узнала об этом. Просто не хочет говорить.

Моё детство пришлось на эпоху перестройки, и я не могу сказать, что это было совсем уж плохое время. Сначала появилась жевательная резинка «Ну, погоди». Она была сладкой, вкусной и тянучей, как положено жвачке, но из неё совсем не выдувались пузыри. Высшим классом считалась «Turbo». Их завозили из Китая, и если «Ну, погоди» стоила пятьдесят копеек, то за «Turbo» выкладывали рубль. Высший класс! Пузыри выдувались огромные, звонко лопались, так что прозрачная сладкая плёнка прилипала к лицу. Мы жевали их по целой неделе, пока не останется даже намёка на сладость, и давали потом пожевать друзьям. Ещё там были вкладыши, картинки гоночных машин. Мы собирали их, обменивались, играли на них (вкладыши укладываются стопочкой на ровную поверхность тыльной стороной, и по жребью нужно резко хлопнуть по этой стопке ладонью; воздушный поток переворачивает их картинкой наружу; сколько перевернулось — все твои). Виртуозы переворачивали всю стопку с одного хлопка. Ещё мы играли на значки, собирали марки. Потом появились первые видеоманитофоны, приставки «Dandy». Это было погружение в иной мир, в запретную реальность. Мы рубились в «танчики», «контру», «принца Персии», «черепашек-ниндзя»... У меня было счастливое детство. По крайней мере, первая его половина. Западные боевики с Брюсом Ли надолго определили ход наших мальчишеских игр. Мы изготавливали самодельные нунчаки, вырезали из жести звёздочки, корчили из себя мастеров восточных единоборств.

Всё закончилось буквально в один день. Переворот 1991 года, ГКЧП, ввод танков в столицу. Всё это прошло стороной, мимо нас. Где Москва, а где Дальний Восток?! Сначала мать перестала покупать конфеты — их просто не было. Потом также с витрин магазинов исчезли колбаса, мясо, масло, сахар... Про крабов я молчу. Зато появились «ножки Буша». В выходные дни отец с друзьями выходил рыбачить в море, поэтому рыба была всегда. Ещё были консервы из его офицерского пайка, какие-то крупы. Перестали выплачивать зарплату. Мне было всего десять лет, и я многого не понимал. Я не знал, что советским людям надоели их вожди и демонстрации. Мне всегда нравились демонстрации, и Ленина я уважал — так в школе учили. Но, наверное, в этот момент и закончилось моё счастливое детство.

Я хотел быть пионером, но ровно за год до вступления эту организацию отменили. Теперь никто и никогда не повяжет мне красный галстук перед всем строем, не будут родители смотреть на меня с гордостью в этот момент, я никогда не стану частью великого и настоящего, ничего этого не будет!

В 1994 году отец вышел на пенсию, и мы переехали к бабушке в Ленинградскую область. Это было

дикое, ужасное время. Это была уже другая страна, с волчьими порядками. В этой стране каждый был сам за себя, все друг друга обманывали, кидали, предавали. И вот задумываешься: эти люди изменились в одночасье или всегда такими были?

Я продолжал ходить в школу. Всё самое необходимое у меня было, но мои одноклассники одевались лучше, могли позволить себе шоколад и конфеты и ещё кучу других мелочей, которые так бросаются в глаза ребёнку.

Мой отец, офицер в отставке, устроился инженером на ТЭЦ. Мать стала торговать кожаными куртками на рынке. Зимой и летом, каждый день, по десять часов, в жару и мороз. Хозяевами были «азеры». Работали на них русские. «Азеры» крыли их матом, унижали, платили копейки. А тем деваться было некуда. Мать всё чаще стала возвращаться с работы пьяная, загадочная и растрёпанная. Изменяла ли она отцу? Я думаю, что да. Потому что иногда у нас заводились лишние деньги, а родители месяцами не разговаривали друг с другом...

17 августа 1998 года наше правительство объявило дефолт. Отца уволили по сокращению штатов, закрылся рынок. А через месяц мать выбросилась из окна.

Боли не было — только сосущая пустота в душе. Пустота без конца и без края. Мир рухнул и разбился на тысячи осколков. Они рассеялись по этой необозримой пустыне, и стало понятно, что я всю оставшуюся жизнь буду их собирать, но так никогда и не соберу в одно целое.

Кого винить в том, что мать жила бедно, честно и просто пыталась выжить? Кого винить, что у неё это не вышло? Ведь кого-то надо обвинить, проклясть, чтоб этот кто-то в аду горел! Всегда есть правые и виноватые, но как их найти, как отличить одних от других?

Я иногда просматриваю её старые фотографии.

На меня смотрит молодая и красивая девушка, которая гуляет по городу, смеётся, сидит за праздничным столом, читает книги, катается на велосипеде, загорает на пляже.

Эта девушка счастлива.

Взгляд чистый, открытый, весёлый, искристый. Фотографии чёрно-белые.

Я борюсь с искушением сжечь их.

<...>

4. Блудный отец

Мы разругались с отцом три года назад, на годовщину смерти матери. Он с вечера ходил хмурый, раздражённый. Засыпая в бабушкиной комнате, я слышал, как он о чём-то тихо спорил с новой женой. В шёпоте угадывались извиняющиеся нотки. А утром мы пили чай на кухне, и отец сказал: — Я не пойду на кладбище. Оля против. Ты один сходи...

— Пап, ты чего?—Я помахал рукой перед его лицом.—Это же мама!

Он встал из-за стола и отвернулся к окну.

— Я знаю. Просто я не могу.

— Это свинство!

— Чего ты душу мне рвёшь? Я просто пытаюсь жить дальше. Как умею.

— Неплохо умеешь. На этой вон женился... Секаса не хватает?

— Не борзей.

— Посмотри на себя, в кого ты превратился. Ты же маму предал.

— Ещё одно слово, и я вышвырну тебя вон.

Отец напрягся. Было видно, как сжались плечи, потяжелела спина. Тесное пространство кухни не вмещало в себя ситуацию, да и никакое пространство не могло её вместить. Разве что оградка маминой могилы. Я не видел его глаз и не знал, что он чувствует (голос жёсткий, холодный—не определить). А в моей душе ржавели обида, и усталость, и разочарование, и злость. Как будто на твоих глазах котят топят, они пищат, ворочаются в мешке, а ты ничего сделать не можешь. Стало понятно, что точка невозврата была уже пройдена. Ну что я мог ему ответить? Вариант был только один, мы оба понимали это. Время шло на секунды. Я знал, что он не обернётся, не схватит меня за плечи, не тряхнёт как куклу, обволакивая больным взглядом. И тогда я ответил, вбивая каждое слово ему в затылок:

— Ты больше мне не отец.

Молча собрал вещи. Кинул в пакет рисовую крупу, конфет, достал из холодильника приготовленную с вечера бутылку водки. Отец продолжал стоять у окна. Не обернулся, не вышел в прихожую проводить.

Я вырвался из подъезда в холодное сентябрьское утро и зашагал на автобусную остановку, оставляя за спиной чужой дом, чужого отца и своё прошлое. Ночью прошёл дождь, и асфальтовая дорога была сплошь усеяна мясистыми кляксами раздавленных лягушек. Такова жизнь: всё самое паскудное происходит внезапно. До кладбища я так и не доехал. Напился по дороге.

Через месяц я ему позвонил, хотел объяснить, но он не взял трубку. И не перезвонил. Я почувствовал облегчение в тот момент. Значит, всё идёт правильно. Каждый из нас сделал свой выбор. А сейчас...

Городок встретил меня сонно и равнодушно. Наверное, все провинциальные городки похожи один на другой. Помните зачарованного Теодена, короля Рохана из киноэпопеи «Властелин колец»? Сидит дряхлый старик на троне, щёки впали, глаза мутные, подёрнутые белёсой плёнкой, губы еле шевелятся, озвучивая унылый маразм. Вот так и провинция. Морок этот впаян крепко и безусловно; родившийся в провинции впитывает его

с молоком матери. Морок этот гнёт плечи, сутулит спины и плотно держит цепкими пальцами за кадычок. Соскочить удаётся немногим, выдирая глотку с мясом и кровью, по живому. Только соскакивать всё равно надо. Когда мир начнёт корчиться в агонии, бесчисленные посёлки, городки, деревни вяло разлепят ресницы и будут молча ждать приближения конца. Лишь в глубине сонных глаз мелькнёт отблеск долгожданного облегчения.

Ничего не изменилось за те три года, что меня не было, только прибавилось ям на дорогах и стало больше бездомных собак. Они бегали стаями из двора во двор, нагло забирались в помойные баки, облаивали прохожих и, казалось, чего-то ждали.

Дверь открыла Кира, моя сестрёнка. Открыла, не спросив, увидела меня и сразу попыталась захлопнуть, но я уже входил, отталкивая её в глубь коридора. С криком: «Мама, этот приехал»,—она побежала в большую комнату, сверкая голыми пятками. В коридор вышла Оля.

— Мать честная, блудный сын явился.

— Тебя не спросил. Отец дома?

— На работе.

— Ничего, я подожду.

В моей комнате всё изменилось. Проще говоря, не было моей комнаты. В ней сделали ремонт, переклеили обои, выкинули старую мебель. Новые шкаф, тумбочка, кровать, занавески... Всё новое и безликое, не имеющее памяти. А вещам, как и людям, необходимо прошлое, чтобы выглядеть если не живыми, то хотя бы одухотворёнными.

Оля молча зашла в комнату, кинула на кровать постельное бельё и так же молча вышла, аккуратно прикрыв за собою дверь. Я стал разбирать рюкзак. Выложил зубную щётку, пасту, мыло, бритву, свежую рубашку, свитер, носки, томик Сарояна «Приключения Весли Джексона». Всё. Как мало на самом деле нужно для путешествия. Не имеют значения сроки и расстояния: то, что не влезает в твой рюкзак, не заслуживает права в нём находиться.

Мачеха крикнула из глубины коридора:

— Иди поешь. Суп на столе. Остынет.

Я долго мыл руки под струёй горячей, обжигающей воды; плотно растирал кусок мыла, пока пена не скрыла полностью худые ладони, потом смывал, доводя кожу до скрипа. Какую грязь я хотел смыть? Я и сам толком не знал.

На кухне пахло варёным луком и уксусом. Такой неродной, противный запах, раздражающий ноздри. Его никогда раньше не было, а вот взял появился, напитал собой воздух, вычёркивая меня из этих квадратных метров.

Я сел за стол, занёс ложку и замер на полпути. По центру тарелки плавал сочный сопливый плевок.

Посмотрел на сестру—Кира старательно прятала глаза. Красивый, но неприятный ребёнок.

Волосы густые, белёсые, как у мамы, а губы и подбородок отцовские, в любую секунду готовые задрожать; взгляд карих глаз вёрткий, не пытливый, а выпытывающий.

— Тебя где так плеваться научили? — спросил я.

— В школе.

— Ясно. А брата уважать тебя в школе не учили?

— Мама говорит, что ты мне не брат, а приبلуда.

— Мама говорит... — передразнил я. — А сама как считаешь?

— Никак.

Она о чём-то задумалась, а потом выпалила:

— Дай пятьсот рублей.

— Ишь ты! Зачем?

— В «МакДак» схожу.

— Обойдёшься. На вон лучше супу поешь, — я придвинул к ней тарелку и встал из-за стола.

— А ты правда болтаешься, как говно в проруби? — звонкий её голос цвёл недетской иронией.

— Правда.

Отец вернулся домой под вечер, небритый, грустный и во хмелю. Я думал, что буду рад его увидеть, но когда мы обнялись и он ткнулся мне в лоб щетинистым подбородком, изо рта шибануло перегаром, — жалость развернулась в душе. Это была особенная жалость, ни на что не похожая, потому что она не приносила облегчения и накаляла рождающиеся слова ещё до того, как они будут произнесены. Собственно, ничего не изменилось за три с лишним года.

— Ну, здравствуй, Андрей.

— Здравствуй, — ответил я.

— Устроился?

— Вроде того. Только вещей своих не нашёл.

— Отвезли к деду в деревню. Извини.

— Ничего. Всё равно.

Мы разговаривали о всякой ерунде, и я никак не мог понять, что же в нём изменилось. Морщин прибавилось над переносицей, мешки появились под глазами, седина окружила проплешину на затылке... Но это всё внешнее. А ведь что-то печальное, непоправимое произошло внутри него, и я никак не мог уловить эту спрятанную ноту.

— Веру Родионовну помнишь? Над нами жила.

— Ну.

— Умерла на днях. Онкология. Она и так всю жизнь худая была, а в последние месяцы совсем высохла. Я её одной рукой поднять мог. Не напрягаясь.

Я вспомнил сухопарую невысокую старушку, вечно всем недовольную. Старая дева. Всю жизнь прожила одна. Учась в школе, я делал «дымовухи» из линейки и подкладывал ей под дверь. Она мерзко жаловалась отцу, и тот драл меня за уши, оттягивая их до красноты, почти отрывая.

— Оказалось, у неё сын есть, — продолжил отец. — Приехал откуда-то с Севера, сейчас квартиру на себя оформляет. Даже на похороны не явился.

Её и не хоронили. В крематории... — он замылся и не стал заканчивать фразу.

— И так бывает, — произнёс я.

— Может, по пять капель за встречу?

— Нет, я не пью сейчас. В праздники хорошо отметился.

— Как знаешь. А я выпью.

Он достал из шкафа початую бутылку коньяка, пузатую стопку. Налил себе до краёв и осушил одним махом. И уже просвечивалась в этой то-ропливости стойкая алкоголическая жажда.

— Ты знаешь, — что-то живое зазвучало в голосе, — мне часто снится лодка. Тусклый свет лампочки в отсеках, трещат переборки на глубине, плещется балласт в цистернах. Я даже запах чувствую: спёртый, солёный и такой вкусный, родной. Я прохожу из отсека в отсек, а никого нет. Только лодка и я. И в этот момент я понимаю, что она живая, умеет думать, способна чувствовать, и мы с ней как будто связаны невидимой ниткой. Мне плохо — и она на борт заваливается; мне хорошо — и лодка идёт ровно, радостно. А потом вдруг наступает тишина, как в фильмах ужаса, и сразу же верещит сирена, зажигаются аварийные лампочки, и рвётся нить между мной и лодкой. Страшно становится до чёртиков, а лодка, потеряв меня, не чувствуя связи, уходит носом в глубину с жутким дифферентом (такой уже не выровнять, даже если все цистерны продуешь). Сжимаются переборки с треском и хрустом, манометр зашкаливает, а я вдруг понимаю, что это сон, но просыпаться мне нельзя, нужно выровнять лодку, вытащить её на поверхность. Откуда-то из глубин памяти доходит, что если увидишь во сне свои руки, то можешь управлять сном. И я смотрю вниз — ничего не видно. Лодка дрожит, аварийная лампочка мигает красным светом. И тогда я пытаюсь поднять руки и поднести их к глазам, но в них будто свинца налили, тяжесть нечеловеческая. Становится обидно, как ребёнку, у которого конфету отобрали. Спасение рядом, а ты ничего сделать не можешь. И вдруг картинка меняется. Я уже не в лодке, а снаружи, на глубине, плаваю эдаким красивым дельфином и вижу, как тонет мой корабль. Глубина мерцает зеленоватым светом, всё видно, хотя должна быть тьма кромешная. А сон разбивается на кадры, идёт с такими паузами: лодка приблизится ко дну и остановится, снова приблизится и снова остановится. И перед самым её падением на дно я просыпаюсь. Глаза на мокром месте, сердце колотится. Выхожу в туалет покурить, а потом долго уснуть не могу... Как думаешь? Это ведь снится мне неспроста?

— Попробуй помолиться.

— Пробовал. Серьёзно, пробовал. Не помогает.

— Налей мне тоже, — произнёс я.

Мы выпили, легонько чокаясь. Отец сидел не радостный и не хмурый, но будто потерянный,

заплутавшийся в трёх соснах. Он растерял предметы, к которым можно прикипеть кожей, костями, прикипеть не ради мещанства, а чтобы жизнь оставалась наполненной смыслом. Лодка, мама, я, Дальний Восток — мы являлись этими предметами. Он их растерял. Думал, что сможет нажать новые, — не вышло. Новые предметы оказались иного масштаба, чужой эпохи. А ведь ничего уже не исправить. Это как склеить чашку: пить можно, но выглядит уродливо.

Бесшумно возникла Оля, порезала лимон, разложила сыр, колбасу на тарелки и так же незаметно удалилась.

— Вообще плохо спать стал. День через день. Вернее, ночь... В общем, неважно. Как у тебя дела? Когда внука мне подаришь?

— А ты внука хочешь? Ни за что бы не подумал. — Годы идут, годы, — отец сделал вид, что не заметил иронии. — Я их тормозить пытаюсь, придержать за узду, а они скачут в своём темпе, болезненные, лихорадочные. Я раньше не любил стариков. Ущербные, немощные и сморщенные, они казались мне ошибкой природы. Их нужно ждаты, уступать им место, пропускать в очереди, переводить через дорогу, терпеть их брызжание, жалеть, уважать... Тьфу! А сейчас чувствую, как сам в скором времени превращусь вот в такого шаркающего, никому не нужного. Сколько мне ещё бодрых лет? Пять? Десять? А дальше? Кто мне хлебушек жевать будет? Ты? Кира? Оля? Кто?

Я молчал, ничего не говорил в ответ. А отцу казалось, что если я не возражаю, значит, соглашаюсь, молчаливо одобряю его скорбный пафос. — Скажи, Андрей, что я не так сделал в этой жизни? В какой момент произошла ошибка и всё пошло наперекосяк?

— Я не знаю, — соврал я.

— Не лгал, не подставлял, не предавал, — он стучал кулаком по столу, жёстко вбивая каждый глагол. — Папа, хватит.

— Любил жену, вырастил сына. О, даже дерево посадил. Помнишь, у деда в деревне яблоньку купили — саженец — и посадили за баней? Помнишь? По-о-омнишь. А недавно звонил деду: как, говорю, яблонька моя? А никак, говорит. Пятый год яблок не даёт. Срублю, говорит... Я всё делал по совести. Так за какие грехи я не сплю по ночам, зачем лодка мне снится? А по утрам работа из рук валится, тошно, хоть в петлю лезь.

— Перестань.

— И ни одна дрянь мне руки не подаст, по плечу не хлопнет, не подмигнёт. Что, капитан третьего ранга Вознесенский Валерий Викторович, обгадились? Так точно, тащ Бог, по полной программе.

Он не был пьяным — выпившим малость, не больше. Но вся боль, которую он копил долгое время и не давал выхода, внезапно хлынула горлом, и было её не остановить. Отец уже и не пытался.

Морщился, бил кулаком по столу, смотрел мне в глаза, остро и цепко, выедавая подтверждение своим словам, а потом внезапно ронял голову на грудь, больно сглатывал и тяжело дышал ртом, чтобы не зареветь. На проплешине выступили капельки пота. Лицо покраснелось. Он вяло закусил куском колбасы, разлил остатки коньяка.

— А давай к деду в деревню рванём? Прямо сейчас, — взгляд его оживился. — Баньку затопим, как в старые времена, выпьем, поговорим...

— Поздно уже.

Он криво усмехнулся:

— Да, ты прав. Поздно.

А потом он выпил коньяк, не чокаясь со мной, закусил лимоном, аккуратно отставил стопку в сторону и начал говорить, глядя мимо меня.

— Оля у меня молодец, всё понимает, не лезет с расспросами. Живём душа в душу. Она в «Пятёрочке» работает, продавец-кассир. Зарплата небольшая, но ничего, крутимся. Я снова инженером на ТЭЦ устроился. График сменный, удобно. Работа не пыльная — следи за датчиками приборов; чаёк, кроссворды, пиво после смены. По выходным гуляем, магазины, посылочки. Ничего, жить можно. Стабильность появилась, уверенность в завтрашнем дне. Не то что раньше.

— Это ты к чему?

— Кира растёт не по дням, а по часам. Платьвица ей нужны, туфли нужны, косметика детская, телефон хороший, игрушки всякие. Всё денег стоит, всё не просто так. Ты теперь сам знаешь, как деньги зарабатываются. Да и я на ржавой «семёрке» езжу, заводится через раз. Надо карбюратор чистить, сцепление барахлит, регулировать надо, холостой ход плохо держит. А зимой так вообще беда — глохнет постоянно. Надо менять машину. Я уже присмотрел себе «Logan», трёхлетку. Но на всё деньги нужны. Замкнутый круг какой-то.

— Пап, ты чего?

— Но я не жалею. На днях хотел матери позвонить, бабушке твоей, да потом передумал. Как считаешь, может, зря передумал?

Он говорил и не слышал меня. И не для меня говорил. Как школьник, вызубривший урок, монотонно отвечает у доски, не вдумываясь в смысл произносимого, с одной мыслью: не забыть, отбарабанить слово в слово и получить пятёрку, — так и отец сейчас разговаривал сам с собой.

— А ведь я наврал тебе, — он продолжал смотреть мимо, вскользь, на чёртика за моим левым плечом. — Не был я на могилке, оградку не красил. Вообще не знаю, как там всё. Покосилось? Заросло? Не знаю. И знать не хочу. Потому что жизнь идёт дальше, и нам надо в ногу идти, шаг в шаг, след в след. А задумаешься, помедлишь на секунду — и всё, пропал. Не догонишь, заблудишься. Я раньше тоже думал, что всё просто, что всегда есть выбор, а потом понял, что выбора нет. Это только

в книжках правда одна, а в жизни много правд, и каждая правда верная. И ошибок никаких нет.

Мне захотелось встать и уйти. Что-то неприятное, мерзкое было даже не в словах, а в самой интонации, в голосе. Я сидел и думал о том, что этот человек не может быть моим отцом. Только не он. Но ведь нельзя без отца. Кто-то обязательно должен быть моим отцом, иначе как я на свет появился? — Оля по вечерам «Дом-2» смотрит, переживает, ну совсем натурально. Говорит, вот это настоящие проблемы у людей. Они, конечно, тупые, но такие живые, искренние, их так жалко. Я улыбаюсь: ничего, пускай смотрит. Она молодая ещё, ей интересно. Кира планшет какой-то хочет, у всех, мол, в классе есть. А где денег взять?

— Посмотри на меня, пожалуйста. Папа, посмотри мне в глаза.

Не смотрит. Только слатывает нервно.

— Вот мы и решили. Ты с нами всё равно не живёшь, а комната мёртвым грузом висит. Будем менять квартиру на «двушку» с доплатой. Правильно, как считаешь? Я на «Logan» пересяду, оденемся, обуемя, кухню купим нормальную. Тебе что-то останется. Ну, правильно же мысляю? А за наследство не переживай. Тебе и Кире всё отпишу. Сами потом решите, поделите... Только сейчас тебе выписаться надо из квартиры. У Оли знакомые в паспортном столе, всё быстро сделаем, без очередей, без проволочек. А пропишешься у деда в деревне. Он не против. Я, правда, с ним не разговаривал. Он, как голос мой слышит, сразу трубку бросает. Но он согласится. Дед же. Родной. А нам надо дальше жить.

И он решил. Посмотрел в глаза. Взгляд прямой, смелый, уверенный в своей правоте. Только в глубине глаз, на самом дне зрачка, что-то дрожит еле заметно.

— Придумал про яблоньку? — спросил я.

— Что?

— Дед ведь не разговаривает с тобой.

Он заморгал часто-часто, а потом расхохотался во весь свой жёлтый рот.

— Ишь ты, молоток! Подловил отца, поймал на крючок...

Дрожали плечи, ходуном ходила грудь. Он смеялся и всхлипывал, смеялся и всхлипывал. Выступили слёзы на глазах, но было не понять: это от смеха или от стыда.

— Всё, хватит, — хлопнул он ладонью по столу.

Смех оборвался мягко, бесшумно, как лопнувшая нейлоновая струна.

— А если не выпишусь?

— Решим через суд.

— Ну ты и тварь, папа...

— Дай Бог тебе не оказаться на моем месте.

Атомная подводная лодка проекта 670 «Скат» зарылась носом в песчаное дно, замерла на мгновение, вздрогнув от удара, и упала на грунт. Линии

вала сместились вперёд, разгерметизировались сальники выхода вала за борт, за ними переборочные сальники, и хлынула с кормы в лодку плотная, густая чёрная морская вода. Корабль замер навсегда.

Удар был сильный, но не смертельный. Это я уже не о лодке — о себе. Спасибо, папа, тебе за всё. За то, что родил, вырастил, воспитал. За то, что предал сначала мать, потом бабушку, потом меня. Спасибо, что научил не жаловаться, не плакать, не бояться и ничего не просить. Всё ещё пытаешься научить не верить, но здесь проблемы: ученик упёрт и бестолков. Спасибо за то, что в детстве я гордился тобой. Гордился силой, когда взирал на мир с высоты твоих крепких плеч. Гордился мужеством, когда втайне от тебя и от мамы доставал твои медали и цеплял их на детскую бессовестную грудь. Спасибо за честность. Спасибо за то, что учил не сдаваться. Я и сейчас не сдамся. Тебе плохо. Спасибо за то, что превратился в сволочь и подлеца: теперь я буду знать, как происходит это превращение. Спасибо за всё, и гори в аду!

Я лежал не в своей комнате, на чужой кровати, пытался сосредоточиться на Сарояне, но строчки плясали перед глазами, буквы прыгали, как кости в пустом стакане, а смысл слов доходил с трудом, прорываясь из вакуума. Игра в испорченный телефон.

Стены в панельной пятиэтажке тонкие, почти из картона. Это один из минусов великого прошлого моей страны: дома строили серые, безликие, штампованные под копирку. Не потому, что пилили деньги. Нужно было построить как можно больше домов в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить жильём всех. Обеспечить всех не удалось. Великая страна рухнула, в её развороченное сердце хлынул яд либеральной демократии. Но стены домов не стали от этого толще.

Я слышал, как ложится спать отец со своей женой, как скрипит пружинами диван, как они ворочаются, устраиваясь поудобнее, о чём-то шепчутся вполголоса...

Зачем я приехал? Ведь всё было понятно ещё три года назад. Я сказал своё слово — он сделал выбор. Всё. Ничего лишнего. Ни упрёков, ни елейных объяснений. Зачем я сейчас всё это терплю? Можно испортить им жизнь, не выписываться из квартиры, нанять адвоката и через суд добиться размена. Всё это можно сделать. И, наверное, нужно поступить именно так. Потому что подлецов надо учить. Потому что подлость и предательство не должны оставаться безнаказанными. Но в тот самый момент, когда я об этом подумал, я уже знал, что никогда так не поступлю. И дело здесь не в принципах, не в родстве и не в крови. Если я так сделаю — он победит. Я стану таким же. Это паскудное противоречие невозможно объяснить рационально, но я чётко знаю, что должен сделать:

выписаться из квартиры и забыть о существовании отца. И никогда его не прощать. Так будет правильно. Только так и будет правильно. А человек всегда знает, прав он или нет, совершая поступок. Всегда.

Отец не соврал, формальности заняли полчаса. Никаких очередей, коридоров, заявлений. Оля сама всё написала, о чём-то переговорив с паспортисткой. Я только подпись свою поставил. В паспорт плюхнули едкий штамп о выписке... И ничего не ёкнуло в сердце. Так я остался без дома. — Ты не переживай, — суетливо затараторил отец. — Наследство на тебя и Киру оформлю. Продадим квартиру — я тебе позвоню.

— Хорошо.

Я знал, что это ложь. Он, вероятно, тоже об этом знал. Да и какая разница, позвонит он или нет? Никаких денег от него я брать не должен. Для меня это было ясно. Мысль оказалась легка, свежа и приятна. Ни копейки. Никогда.

Мы вышли из здания мвд. Ударило в глаза зимнее солнце, лёгкие наполнились морозом и свежестью. Ломко захрустел плотный снежный наст под ногами. Облезлая собака погнала вдоль дороги такого же облезлого кота, заливаясь от гневного лая.

Перед тем как уйти, я обернулся к отцу и сказал с улыбкой:

— А ведь тебе жить с этим. До самого конца.

Я шёл и улыбался. Чувствовал спиной его злой, растерянный взгляд. Я шёл и ни о чём ни жалел. В душе были мир и покой. Так всегда бывает, когда делаешь выбор, а он оказывается правильным. И стоило жить, и работать стоило.

На автобусной станции я заглянул в окошко кассы и спросил:

— Скажите, «семёрка» когда пойдёт? Мне до кладбища надо.

— Маршрут на зиму отменён.

5. Слава

Февраль наступал, лупил, утюжил. Мороз бездвигал город, и каждый шаг в этом холоде давался с трудом, каждое движение в звенящей ледяной густоте утверждало апологию борьбы за существование. Кровь противилась собственному току, бежала медленнее в жилах. Жар дыхания не грел, пар застывал на лету, едва вырвавшись из-под простуженных губ. Я убеждён, что зима придумана Богом в испытание человеку. Чтобы сквозь морозную немоту он продолжал бороться, утверждая движением жизнь внутри себя и вовне. А после ценил весеннее тепло как величайшее чудо, внимал звонкому всхлипу первых проталин. Учился преодолевать себя. Каждый год. Каждый день. Ведь в конечном итоге только небольшое имеет смысл в нашей жизни.

В феврале я сдал аспирантский экзамен по философии истории. Сдал легко и блестяще.

В феврале либералы окончательно развалили протест. До президентских выборов оставалось два с половиной месяца, но всё уже было понятно без слов. Как чёртик из табакерки, появился Прохоров, чтобы оттянуть у коммунистов искомый процент голосов. Волшебник Чуров изображал из себя дурачка. Шоу продолжалось.

Также в феврале дед прописал меня в своём доме в деревне. Это единственное жильё, которое точно перейдёт ко мне по наследству. Дед не заводил об этом разговора, да и я не поднимал тему: мы просто понимали друг друга без слов. Есть вещи, которыми тесно находиться во фразе. Произнесённые вслух, они неизменно теряют вес и объём.

В феврале...

В феврале...

Много всего произошло в феврале, как много всего происходит с нами каждый месяц. Жизнь происходила в феврале, и это нормально. Так и должно быть. Но это не самое главное. А самое главное в том, что в феврале я встретил Славу.

Я возвращался вечером с работы, усталый и раздражённый. Плечи ныли от навалившегося одиночества. В Петербурге оно особенное, не такое, как, скажем, в Москве, Ростове, Армавире. В Петербурге одиночество — бесконечно и безусловно. С ним невозможно бороться — только пропустить его сквозь себя. Ты словно заключаешь с городом пакт о ненападении: Питер обязуется не убивать тебя до смерти, а ты в ответ не трепыхаешься, не мечешься в бессмысленной борьбе, а исправно избываешь свой крест до конца, до последней капли. Только тогда город начинает тебя уважать.

В городе прибило сумасшедших за последний год. Я увидел одного в узком коротком переходе на «Техноложке». Толстый и неуклюжий мужчина лет пятидесяти, одетый в бесформенное пальто нараспашку, драный свитер и трубы-брюки. На шею намотан шарф, бывший когда-то жёлтого цвета. Лицо серое, туберкулёзное; спутанная борода в мазках седины. Крупный мясистый нос и какой-то внушительный платоновский взгляд. Он стоял посередине прохода и одышливо взвизгивал, обращаясь ко всем и никому:

— Будет гараж стоять! И никаких гвоздей! Волоком потащу!.. Волоком!.. Волком! Волком!

Он замахал руками и протяжно завыл... Из глубины перехода уже выплывали два сотрудника полиции.

Выйдя на улицу, в вечерний холод-свет-скрипяк, я глубоко вздохнул, наполнив лёгкие ледяной свежестью, торопливо закурил на морозе и нырнул в подземный переход. И в этот момент закрутился маховик случайностей.

Подземный переход на «Парке Победы» усеян вдоль стен ларьками, прилавками, лотками с ширпотребом. Осоловевшие от холода продавцы тяжело дышат, согреваются водкой и пританцовывают

на месте. Адская работа. Мать четыре года так отработала. Что-то тёплое и жалостливое рождается в груди, когда я вижу всех этих торговцев. Наверное, поэтому я часто покупаю у них разную не нужную мне ерунду: дешёвые зажигалки, статуэтки, фонарики, лупы, лазерные указки. И в этот раз я остановился у лотка.

Повертел в руках маленький ножик для резки бумаги. Пластмассовая ручка, стилизованная под кость. Изогнутое тонкое лезвие.

— Сколькo?

— Тебе за двести отдам. Бери, парень! Хорошая вещь.

Я расплатился, кинул нож в сумку и, разворачиваясь по ходу движения, налетел на чьё-то жёсткое плечо. От неожиданности меня крутануло на девяносто градусов.

— Смотри, куда прёшь! — я крикнул зло и рассерженно.

— Чё?

Кавказцы. Трое. Эти редко ходят по одному. Молодые парни лет по двадцать, здоровые, с гордой порослью первой бороды. Одинаковые кожаные куртки, чёрные вязаные шапочки, плотно обтягивающие голову. Чёрные беспощадные глаза: смесь нахальства и готовности убивать.

Надо уйти. Развернуться и уйти, принимая спиной ругательства и оскорбления. Но в такие моменты меня несёт. Неудержимое бешенство рождается в затылке, кровь резкими толчками бьёт в голову, и яд скапливается на кончике языка. — Ты тупой или в уши долбишься? — ответил я.

Я успел развернуться и засадить с локтя одному из них, а потом меня повалили на бетонный пол.

Били недолго, но сильно.

Никто не заступился. Люди обходили место драки стороной. Отводили взгляд или нет, я не знаю, мне не до того было. Наверное, отводили. Дорогие мои трусливые русские люди. Ваша хата обычно с краю. Просто запомните одну вещь: когда в ваш дом ворвётся дикий варвар, кровожадный гунн, начнёт вырезать семью на ваших глазах, насиловать жён и дочерей — никто не придёт вам на помощь!

Спаса продавщица. Закричала грудью, по-бабы:

— Убива-а-ают! Мили-и-иция!

— Заткнись! — крикнул один.

Но бить перестали. Кто-то напоследок приложился с ноги — ударил в грудь носком ботинка. Пропал воздух, и зазвенело в голове. Мир закачался, потемнел, в груди всё разрывалось на мелкие кусочки. Так сильно в солнечное сплетение меня били один раз в жизни, в армии, и эти секунды звенящей, выворачивающей нутро боли я запомнил надолго. И вот сейчас опять... Когда вернулась способность дышать — хрипло, по кусочку втягивая воздух, — я перевалился на колени. Подбежала

продавщица, помогая подняться. Те уже дошли до конца перехода, остановились, закурили. Они о чём-то болтали на своём наречии, весело поглядывали в мою сторону и гортанно смеялись пустым клёкотным смехом. Минуты мне хватило, чтобы отдышаться. И вновь бес упрямства и гордости оттолкнулся в груди от рёбер и рванул к горлу. Я достал купленный ножик, сунул его в задний карман джинсов — так, на всякий случай, — и зарорал что есть мочи:

— Суки! Твари! Чтоб ваши дети сопли сосали!

Слова родились внезапно, на озарении...

Бежать пришлось быстро.

В кино всё это выглядит весело и забавно. Экран телевизора гарантирует безопасность. Главный герой сматывает удочки, ловко обегает все препятствия, оставляя злобно кричащих преследователей далеко позади.

В жизни всё не так. Начать хотя бы с того, что никто не кричит тебе в спину. Бежали молча, тяжело дыша. Бежали изо всех сил. И это уверенное молчание отзывалось в висках единственной мыслью: догонят — убьют. Без красоты и картинных ударов, просто запинаят до смерти. И я бежал, не чуя ног под собой, на втором, седьмом и десятом дыхании. От силы ног и выносливости лёгких зависела моя жизнь. Ну и от удачи, конечно. Без неё никак. Я бежал как ветер. Нет, быстрее ветра. Ничего не свистело в ушах, мир не проносился перед глазами. Это был тяжёлый бег по прямой, с выбранным темпом. Бег на измор. И я ускорялся, наращивал темп, спасая собственную шкуру. Но и они не отставали.

Мы сделали круг: сначала по Московскому проспекту, потом я свернул на площадь Чернышевского, нырнул налево в арку и дворами выскочил на Бассейную улицу. И понял, что силы мои не бесконечны. Я задыхался. Звенело в голове. Загустела слюна во рту. Тошнота подкатила к горлу. Помню, что мелькнула шальная мысль: «Хана тебе, Вознесенский».

Ноги сами вынесли меня к зданию национальной библиотеки — огромному зданию, эдакому книжному Колизею. Я рванул вдоль стены и сразу понял, что попал в ловушку. Их было трое, и они разбежались веером, захватывая меня в полукольцо. Я машинально провёл рукой по заднему карману джинсов, но карман был пуст: смешной перочинный ножик выпал на бегу. Да и вряд ли бы он мне помог.

И в этот момент откуда-то из стены раскрылась дверь. Зуб даю, это чудо! Минутой позже — и меня бы уже ничто не спасло. Но дверь открылась в нужном месте в нужное время. И я не подкачал. Точно, кто-то наверху рисует нашу жизнь, заботливо очерчивая каждую секунду. Есть, есть ангел-хранитель. И то, что я жив, — прямое тому подтверждение.

В дверях показалась девушка, но выйти она не успела. Я втолкнул её обратно, забежал следом и захлопнул за собой дверь. И повезло, что дверь захлопывалась, а не запиралась с ключа. Уже через несколько секунд послышался яростный стук: лупили ногами, разбегались и прыгали со всей силы, но дверь была тверда, надёжна и нерушима. Ангелы-хранители фуфло не подсовывают, всегда точны в мелочах и нюансах. <...>

Я опустился на холодный пол, вытянул ноги и просто сидел, тяжело дыша, сплёвывая липкую тягучую слюну. Смотрел на девушку. Она на меня. Первые несколько минут никто не произнёс ни слова.

Невысокая, напряжённая, как белка на лесной дорожке, тронь—зазвенит, взорвётся; глаза огромные, синие-синие, испуганные. Длинные каштановые волосы прижаты вязаным беретом. Строгое полупальто, юбочка до колен, начищенные лакированные сапожки на остром каблуке.

Я с трудом поднялся, тяжело сипя прокуренными лёгкими.

— Не бойтесь... Простите меня, так получилось... — я махнул рукой в сторону двери, надеясь объяснить этим жестом всё, но она даже не обернулась.

Строгая, испуганная, рассерженная, она долго смотрела мне в глаза, а потом произнесла:

— Не надо плевать здесь.

Самый обычный женский голос, немного дрожащий от волнения, немного детский, с такими ласковыми, взлётными интонациями. Но вдруг стало понятно, что этому голосу принадлежит всё: лестница, тусклая лампочка под потолком, библиотека... И сверх этого: солнечный свет, снег, зима, — весь видимый мир. В знании этом не было восторга или любви с первого взгляда. Просто от него стало спокойно, как будто решён долго мучивший тебя вопрос или принято долгожданное решение. И ты умыт этим успокоением, равен ему и верен.

Смолк клёкающий шум за дверью.

— Тут такое дело...

Я объяснил в двух словах. Девушка улыбнулась и махнула рукой:

— Пойдёмте, я выведу вас через центральный вход. Не бойтесь?

Надо быть полным кретином, чтобы признаться в страхе. Я только хмыкнул и повёл плечами.

— Всего доброго.

Затерев слюну подошвой, я шагнул к двери и уже взялся за ручку, готовый повернуть замок, лязгнуть, распахнуть дверь, выйти в ночь и подохнуть, но девушка легко сбежала вниз и накрыла мою руку своей, резко и взволнованно.

— Ну что вы делаете? Я же специально вас провоцирую.

— Я знаю.

— А зачем поддѣтесь?

— Такие правила. Не я их придумал.

Мы улыбнулись одновременно, а она убрала свою руку, задержав её на полвздоха дольше.

— Андрей.

— Слава.

— Это как певица?

— Нет, это как Ярослава.

— Восхитительно.

С ней было некомфортно молчать. С ней хотелось говорить, говорить, говорить, задавать вопросы и выслушивать ответы (не слова, не их смысл, зависающий на периферии сознания, а звучание голоса, все эти прыгающие, скачущие нотки). Такой голос хотелось оберегать, защищать, убаюкивать, по-новому открывая для себя суть мужского предназначения.

— Понимаете, беда, если ваша мать помешана на древнерусской литературе. Вас ничто не спасёт от славянского имени, от бесконечных сказок, былин, а впоследствии — филфака. Это крест, который нужно нести всю жизнь. Вас заставят учить наизусть «Слово о законе и благодати» Иллариона, выпьют кровь над учебником старославянского...

— Мне нравится ваше имя. Редкое и красивое.

— Всё равно вам не понять.

И тут я не выдержал и расхохотался. Не просто случайность — сама судьба улыбалась из-за угла, подпрыгивая, пританцовывая от своих проказ.

— Я что-то смешное сказала?

— Всё в порядке, я потом объясню.

И она кивнула, соглашаясь с этим «потом», умещая в нём хрупкое и неопределённое будущее.

По узкой лестнице мы поднялись на второй этаж, Слава остановилась у двери в фойе, повернулась, пропуская меня вперёд, а я не удержался, подошёл вплотную и попытался её поцеловать... Как это объяснить? Она как будто заранее знала любое моё движение, не отошла, не отстранилась, но и не подалась вперёд, только взгляд стал задорным и насмешливым. И я осёкся. А потом задохнулся от пряного запаха её волос. Вдруг стало очень страшно разрушить ещё не созданное.

— Извините.

— У вас синяк под глазом... Набухает.

Красным стало лицо, красным стал воздух. Слова стали красными. Густой стыд разогрел уши, шею, ладони, а Слава делала вид, что ничего не замечает, только хохочущие зайчики прятались в углах губ.

— А вы всегда такой... шустрый?

— Нет. Всегда. Не знаю... Вы простите, много всего за один вечер.

Мы вышли в фойе, и сразу же обрушилась на головы гулкая тишина библиотеки.

— А вы давно здесь работаете? Вы ведь здесь работаете?

— Давно... Недавно... Полгода. Устроит?

— Давно. И как вам? Нравится?

— Вы задаёте много вопросов.
 — Любознателен от природы. Может, на «ты»?
 — Я же говорю — шустрый, — Слава улыбнулась куда-то в сторону, мимо меня. — Вас едва не убили десять минут назад, а вы уже со мной флиртуете.
 — Что поделаеть, жизнь коротка.

Мы спускались по широкой лестнице рнб, она шла чуть впереди меня и отвечала не оборачиваясь, так что я не видел её лица. Протяжным эхом отдавалась звонкая чеканная походка. Я на секунду представил, что эта девушка — моя жена, и не почувствовал никакого дискомфорта от этой мысли. Наоборот, мысль была правильной и спокойной, простой и естественной. И это при том, что никакой влюблённости и в помине не было. Так, игра, интерес, случайность... А потом я сразу же представил её беременной, носящей моего ребёнка. Обязательно мальчика. Слава лежит на кровати, улыбается, а я глажу её красивый холмистый живот... Бред, что за бред лезет в голову?

— Я провожу вас?

— До метро.

Мы могли нарваться... Запросто. Вот в этом самом единственном переходе. Но я подумал об этом, только когда она скрылась из глаз. На «Парке Победы» стеклянные двери. Слава помахала мне рукой и скрылась за ними, а я продолжал стоять и смотреть, как она проходит через турникет, ступает на эскалатор, слепая механическая сила везёт её вниз.

Женская интуиция абсолютна и непобедима. За мгновение до того, как пространство сжалось и вырезало её из моих глаз, Слава поправила чёлку (небрежным, автоматическим жестом, единственно верным, цепляющим за крючок) и обернулась. Одно мгновение длился взгляд, и он ничего не успел выразить. Но он и не должен был ничего выражать — это был взгляд подтверждения, узнавания, утверждения. Один короткий миг, определяющий понимание взаимности... Чего? Ещё не любви, но чего-то загадочного, волнительного. Миг, выводящий за пределы понятий и объяснений, разрывающий эти пределы, как упаковочную полиэтиленовую плёнку.

Конечно, я не забыл взять у неё номер телефона.

Вот что главное я почувствовал в Славе: в ней не было опасности. Женской игры и позы тоже не было, но главное не в этом. Ей как-то сразу хотелось верить. Даже не ей самой, не словам, а её взгляду, запаху, улыбке. Наши отношения начались легко и непринуждённо. Уже на втором свидании я обнял её и сказал, что соскучился. Это нормально, ответила она и ткнула носом в моё плечо.

С ней не нужны были прелюдии, конфетно-букетная необходимость. То есть мы не нуждались во времени привыкания друг к другу. Момент узнавания был точечным, внезапным и стопроцентным.

И всё это было так непохоже на предыдущие клятвы, страдания, ревность и страсть.

Мне хотелось быть для неё мужем, другом, братом и отцом одновременно; хотелось её защищать, укрывать от серости этого мира. А ведь любовь не свалилась на нас внезапным огромным чувством, но втекала в сердца размеренно, расширяясь в границах, постепенно становясь смыслом и содержанием любого поступка.

Слава работала библиотекарем в Российской национальной библиотеке. Это тяжёлая работа — для тех, кто не знает. Три смены, утренние, дневные и вечерние, разбиваются на два блока: четыре часа — «за прилавком» на выдаче книг, и четыре — в фондах на формировании заказов. Наказать могут за что угодно. Если ты принял у читателя неправильно заполненный формуляр, то виноват будешь только ты. Самодисциплина и сумасшедшая усидчивость вознаграждаются двенадцатью тысячами рублей в месяц. Текучка кадров в библиотеке дикая, безнравственная. А Слава ничего, справляется с улыбкой. Я никогда не слышал, чтобы она жаловалась.

— Неужели тебе хватает на жизнь? — спрашивал я.
 — Мне много не надо. К тому же у меня есть репетиторства. Учю малышей английскому.

— Слава, ты святая!

— Брось, я только учусь.

Наша первая ночь... Я не буду о ней рассказывать. Это как исповедь, как крещение — таинство. Принадлежит только мне и ей. Скажу только, что никогда не испытывал ничего подобного. Не подозревал, что такое вообще существует. Оценочные критерии нашей близости лежат не в плоскости наслаждения, а неизмеримо выше, в пределах единения, робости, трепета, надежды, защиты, гармонии и покоя. Так бывает. Просто поверьте мне на слово.

Ярослава не была красавицей в устоявшемся смысле этого слова. Высокий выпуклый лоб, который она прятала чёлкой и называла наковальной, сам по себе смотрелся странно и внушительно. Острый прямой нос, огромные синие глаза, мило вздёрнутая верхняя губа и татарские скулы сами по себе вообще не смотрелись, но, воплощённые в одном лице, оживали, приобретали шарм и неуловимое очарование. И в каждом повороте головы — робкая чистота, детская непосредственность и вера в добро (неискоренимая, впитанная с молоком матери, окончательная и безусловная). Как ещё мне её описать? Славу как будто Богородица по голове погладила. Я не встречал девушки чище и светлее.

В одну из ночей в конце марта Слава осталась у меня. Уставшие от близости, счастливые от полноты опустошённости, мы лежали на моей узкой кровати, и я задал ей неизменный банальный вопрос: — У тебя много мужчин было до меня?

Нельзя было об этом спрашивать. У Славы — нельзя. Она не создана была для таких плебейских вопросов, но я спросил, а слово, как известно, не воробей.

Она ничего не ответила, только отвернулась. Вначале я не придал этому значения: мол, не хочет отвечать — ну и ладно. Через некоторое время Слава начала мелко вздрагивать, я попытался её обнять, повернуть к себе, но она крепко вцепилась в подушку, пряча лицо.

— Девочка моя, ты чего?

Звук моего голоса окончательно разрушил невидимые подпорки в душе, и она зарыдала, не в голос, но тихо, стараясь сдержаться изо всех сил, но от этих попыток только давилась слезами, сглатывая плотные, больные комки.

Я стал трясти её за плечи, целовать, снова трясти, шептал на ухо успокаивающие глупости, зная, что смысл слов не доходит, но важна сама интонация...

— Как ты... мог? — всхлипнула она, заикаясь от рыданий. — Зачем ты... спросил? Зачем?

— Прости, прости, я дурак, я полный дурак...

— Неужели ты... не понял?

— Что не понял, Славушка?

Этой ночью слезами и словами обиженной девушки судьба преподнесла мне подарок. Я не знаю, заслужил я его или нет. Хочется верить, что заслужил. Ночь наполнилась смыслом, когда Слава, продолжая рыдать у меня на груди, произнесла: — Ты мой первый мужчина.

<...>

7. Лад

Чувство, переходящее в привычку, ущербно в самом зародыше. Любовь, если она единственная и настоящая, в привычку перейти не может, ибо ежесекундно подпитывается счастьем. И счастье тоже не может перейти в привычку, потому что в какой-то момент возникает страх. Это не страх смерти или боли, скорее — боязнь потери. Тот самый случай, когда всё настолько хорошо, что невольно закрадывается в голову мысль: так не бывает, обязательно что-то случится, и хрупкий картонный домик твоего счастья рухнет. Именно страх потери, и только он, цементирует счастье, выветривает яд привыкания и заставляет трудиться (постоянно, осторожно, твёрдо) каждый Божий день. Да, любовь — это счастье, но ещё и труд. Не стоит об этом забывать.

После пьяного психоза в общежитии я заболел. Поднялась температура до тридцати девяти, кружилась голова, как в бреду, и постоянно тошнило. Неделью я провалялся в постели, и всё это время Слава была рядом со мной. Стрелба в «лентовский» пакет батареею пустых бутылок и вынесла на помойку, отпаивала горячим чаем с малиновым

вареньем, выносила тазик с желчной рвотой, готовила еду, мыла посуду, читала вслух стихи Блока, просто сидела рядом и гладила по голове. Именно в эти дни я впервые задумался о том, что могу её потерять, и эта мысль не просто ужаснула — от неё повеяло могильной мерзлотой; в короткое неуловимое мгновение душа взлетела к горлу и тут же обвалилась вниз, к животу. Слава сидела рядом, и я крепко сжал её ладонь. Она удивлённо посмотрела на меня, коротким взглядом вопрошая: что? Я замотал головой, сглотнул кислый комок: ничего, родная, всё в порядке. Но ладонь не отпуская.

— Ты должен бросить пить, — сказала она.

— Я знаю.

— Этого мало. Ты должен бросить пить совсем, понимаешь меня?

— Понимаю.

— Нет, не понимаешь. Совсем — это значит совсем, то есть ни капли. Никогда. С сегодняшнего дня и всю оставшуюся жизнь.

— Это слишком. Так я не смогу.

— Сможешь.

— А если нет, что тогда? Уйдёшь от меня? Разлюбишь?

— Не уйду и не разлюблю. Но уважать перестану.

Любовь — это когда ты делаешь выбор и трудишься каждый день во имя того, чтобы этот выбор оказался правильным. Без одолжений. Без полумер. Просто потому, что так надо.

— Я попробую, — сказал я.

— Мне этого недостаточно.

— Я не могу тебе обещать за всю жизнь.

— Можешь, я знаю.

— Откуда такая уверенность?

— Я люблю тебя, — сказала она просто, — а человек, которого любят, может всё.

— Человеку, которого любят, не ставят условий.

— Ещё как ставят. Только ему и ставят. Ты мужчина, и чтобы ты оставался мужчиной, я всю жизнь буду ставить тебе невыполнимые задачи. А ты будешь их решать.

— Ты делаешь мне предложение?

— Да, я делаю тебе предложение.

Именно так мы решили пожениться. Конечно, я дал слово не пить.

Май выдался тёплым в этом году. Страна кипела, пузырилась от злости, люди били полицию, полиция била людей в ответ, кого-то сажали в тюрьму, кого-то выпускали. Появилось новое модное слово — «окупай». Оно не имело ничего общего с покупками или купанием. Молодые люди с гитарами, свитерами и спальниками занимали скверы, парки, пятачки по всей стране, горланили свободные песни и несли вахту бессмысленной доблести. Круглосуточно. Без перерыва. Одни уходили, приходили другие, менты настороженно дежурили рядом, искали малейший повод, чтобы прицепиться и разогнать народ. Иногда это получалось, иногда нет.

Мир продолжал сходить с ума. Пидорасы требовали разрешить им официальные браки с правом усыновления детей, наговские войска продолжали бомбить арабский Восток. В день инаугурации Царя силовики зачистили улицы от восторженного люда: кортеж следовал по пустой Москве, вымершей, брошенной людьми и Богом. Шоу продолжалось.

В начале июня я сказал Славе:

— Поехали ко мне в деревню? С дедом тебя познакомлю.

— Давно пора.

Она была в курсе моих семейных дрызг. Добிரались мы целый день, сначала до моей малой родины на электричке из Питера, потом несколько часов ждали на автовокзале нужный рейс. Пообедали в привокзальной кафешке, отравились ужасным кофе и жёстким шашлыком.

— Ты будешь деду спиртное покупать? — спросила она.

— Он не пьёт.

— О, у тебя есть с кого брать пример.

Автобус трясся по раздолбанной дороге, проезжая мимо заброшенного завода, речки, полей, лесов. В салоне пахло тосолом, людей набилось под завязку — дачный сезон. Мы проезжали мимо заброшенных когда-то деревень, начинающих оживать, расправлять сутулые бревенчатые плечи. Деревни на глазах превращались в дачные посёлки — и на том спасибо. Всё-таки есть в русском человеке неистребимая тяга к земле; веками её пытаются выбить, в девяностые почти вышибли, но люди иррационально тянутся к своим корням. Летом деревни оживают, к зиме замирают; так дерево тормозит движение соков в своих венах. Остаются к ноябрю две-три старухи, в апреле снова стягивается народ. Не все деревни ожили после гибельных девяностых, но и погибли не все. Конечно, в былом виде деревню уже воскресить не удастся никогда. Но и окончательно ей хребет переломить никто не в силах.

Нас встретила облезлая сука Дина дрожащим, залившимся лаем. Это был лай узнавания, приятия. Она рвалась с цепи, давилась звуками, а когда я подошёл вплотную, бросилась на грудь, облизала лицо, завертелась вьюном, схватила зубами за руку, но не кусая, только легко сжимая пасть, чтобы навек привязать меня к этому месту.

Дед работал в гараже, ковырялся в движке мотоблока.

— Здорóво, дед!

— Здоровей видали.

Он широко улыбнулся во весь свой белозубый рот, крепко обнял, потрепал по голове, как в детстве, грубо потрепал, с любовью, так что сердце на секунду сжалось. Я чуть отстранился.

— Это Ярослав, моя невеста.

Дед посмотрел на неё мельком, но цепко, твёрдо.

— Здравствуйте, — шагнула вперёд Слава.

И сразу мир вокруг... нет, не стал ярче, просто встал на своё место, обрёл чёткость границ и внятность замысла.

Дед цокнул языком:

— Знатное имечко. Да и сама как с картинки. Ты откуда, девонька, такая чудесная? Из какой сказки сбежала?

— Я не сбежала, меня украли, — отвечала Слава со смехом.

— Кто посмел?

— А вот он и украл, — кивнула она в мою сторону.

— Андрюха может, — произнёс дед с гордостью. — Идите в дом, чай ставьте на плиту. А я баньку затоплю.

В сених было прохладно, несмотря на летнюю жару. Стены были обиты стареньким линолеумом, утеплены поролоном. Вдоль стен висели полки с бесчисленными банками, жестянками, коробочками. Каждая на своём месте. Дед всегда знал, в какой из них лежит нужный винтик, или проволочка, или крючок, или наждачка. Всё в его мире было упорядочено. Всё было грубо, но добротно, без спешки и суеты. Каждый предмет, обретая своё место, никогда уже его не терял — ошибок тут быть не могло. Даже косы, обычные деревенские косы, которыми дед давно не пользовался, аккуратно висели на стене впритирку к потолку, наточенные и начищенные до блеска.

История дома уходит своими корнями в историю деревни Чернецы. Когда он встал на этом месте, уже и сам дед не помнил. Его дед, Кли́м Серафимович, родился в этом доме через неделю после смерти Пушкина, прожил долгую жизнь, начиная крепостным крестьянином, вкусив прелести реформы 1861 года, умело миновал все войны Российской империи, застал революцию и Гражданскую войну. Он прожил сто четырнадцать лет и умер в бедности, как и родился, как и всю свою долгую жизнь протянул. В Великую Отечественную дом горел вместе с деревней, после войны мой прадед-алкоголик пытался его поднять, да только водка не крепит фундамент. Как умер Кли́м Серафимович — дом запустел, забросился. Дед же перебрался в деревню поздно, в середине восьмидесятых, после того как вышел на пенсию. Бабушке он сказал так: «Воля твоя, но в городе я больше не могу. Останусь — загнусь. Уезжаю я. Хочешь — поедем со мной. Не хочешь — оставайся. Я своё слово сказал». Бабушка решила остаться. С тех самых пор он и жил в деревне, в родовом гнезде, восстанавливая его кропотливо, по брёвнышку. Я приезжал к нему на всё лето, иногда он сам выбирался в город, но надолго там не задерживался: земля звала обратно. Сам перебрал фундамент, построил веранду, срубил баню взамен сожжённой немцами. Дом обрёл хозяина и зажил новой жизнью. И сам дед, перенёсший

в городских условиях язву, грыжу и много других болезней, словно сбросил с плеч невидимый груз, задышал легко и свободно. Щеки вернули себе былой румянец, руки наполнились молодецкой силой и крепостью. Дом, почувствовав хозяина, подпитывал его своей энергией, и её с лихвой хватало на жизнь и здоровье. Разменяв восьмой десяток, дед многим молодым мог дать фору. Глаз его был остёр, разум ясен и чист, тело слушалось и не подводило. Свежий воздух, колодезная вода, баня и ежедневный труд — вот и всё, что нужно для крепкого здоровья. Немного, совсем немного. Дед собирался жить долго, и решимость его было не расшатать.

Деревенский дом имеет свой собственный, ни на что не похожий язык, и он понятен с первого слова, с первой произнесённой фразы. Этот язык лишён пафоса и стилистических нагромождений, но главная его особенность в другом: он лишён заимствований. И оттого речь деревенской избы легка, проста и глубока. Постепенно возникает логичное понимание ситуации: язык этот тебе родной, просто забытый, отложенный в запасники памяти за ненадобностью. Любой лингвист или переводчик вам скажет, что язык, если на нём не говорить, очень быстро забывается. Отсутствие речевой практики губительно для человеческой памяти. Но при этом раз выученный язык забыть невозможно. Начинаешь разговаривать на нём — утраченные навыки возвращаются. Это вопрос усилия и продолжительности речи.

Я вернулся в старый дедовский дом и понял, что все эти долгие месяцы жил в безъязыковом пространстве, а сейчас простая речь полилась в мою душу, наполнила её до краёв и, плескаясь, зазвучала родным, ключевой чистоты, исконным Словом. Очень трудно передать это ощущение. Тут и память крови, и чувство защищённости, надёжности бревенчатых стен. А ещё понимание, что за стенами — бескрайние поля, леса, реки, сопоры, а над всем этим — благодать Божья; и ты причащаешься этой благодати.

Почти по центру избы, чуть ближе к левому краю, стояла русская печь. Летом дед запасался дровами, а зимой растапливал её и грел спину на лежанке. Пространство избы наполнялось тёплым запахом красного кирпича, гудел воздух в печной трубе, потрескивали поленья. Концерт для трубы с оркестром. Нет, конечно, это не музыка в привычном понимании, но звуки и запахи на топленной печи сливались в древнюю языческую мантру. Душа поглощала эти напевы, насыщалась ими сполна. За окном трещит стужа, сквозь наледь на стекле ничего не разглядеть. Фонари не горят — это вам не город. Тьма — хоть глаз коли. И в этой стухившейся ледяной мгле есть только огонёк избы и натопленная печь — целый мир, вселенная, космос.

Слева от печи холостяцкая кухня: ничего лишнего, несколько тарелок, кружек, ложек и вилок, пара кастрюль, чугунная сковорода. Старенькая плита с двумя закопчёнными от гари конфорками. Тут же раковина с рукомойником. Водопровода нет, поэтому за водой нужно ходить каждый день на колодец. Справа — жилая комната. У стены широкая деревянная кровать добротного советского образца, шкаф для одежды, книжные полки, заставленные хорошими книгами. На стене висит ружьё — старенькая гладкостволка иж-54. Дед давно не ходит на охоту, но оружие содержит в образцовом порядке, регулярно смазывает солидолом колодку и чистит ствол, скорее по привычке, чтобы ощутить в руках приятную тяжесть. В правом углу избы, под потолком, старая икона Богородицы с младенцем. Дед говорит, что икона эта была в доме всегда, сколько ей лет, он не знает, но в одном уверен точно: сколько лет дому, столько и иконе. Оклад образа вырезан из меди, потемневшей от времени. А младенец смотрит так, как только раньше умели смотреть: он всё про тебя знает, и ему грустно от этого знания.

Слава чудесным образом стала своей в этом доме, влилась естественно и органично. Сложила наши вещи на лежанке, налила воду из бака в чайник, поставила его на плиту. Она ни о чём не спрашивала, где что лежит, но находила каждую вещь понятным только ей наитием. Но главное даже не это: само её присутствие в доме вносило цельную, глубокую ноту мира и лада.

По дороге мы купили продуктов, Слава достала сыр и колбасу, аккуратно нарезала, разложила внахлест по тарелкам. Чайник на плите засвистел, зашипел, забулькал. И сразу в избы вошёл дед, шумно и по-хозяйски хлопнул дверью и, закрыв, чуть вдавил на себя, задвигая полотно двери надёжно и плотно.

Над вешалкой у двери висели широкие лосиные рога, покрытые лаком и блестящие на свету. Слава их не сразу заметила, а как только разглядела — привстала, удивлённо воскликнув: — Красота какая... Это трофей? Это ваша добыча?

Дед кивнул с улыбкой:

— Да, добыча. За литр добыл.

— В деревне много охотников?

— До водки много. А лося нельзя бить, да залётный народец один чёрт браконьерит. Лесника нет, был один, да сбежал.

— Надоело?

— Испугался. Бандиты лес валили, он сунулся было порядки наводить — еле жив остался. Начальству всё это побоку, да и бандюки начальству отстёгивают. Вот так и живём.

Он помолчал немного и добавил:

— А рога мне ханурики местные приволокли. В лесу грибы собирали на продажу — нашли. Рога лось

к зиме сбрасывает, полгода, значит, они пролежали. Я подумал, возьму, один чёрт пропьют.

Чай дед заваривал со смородиновым листом и чабрецом. Слава потянулась было нарезать хлеб, но дед мягким движением остановил её, взял буханку из её рук и лично, будничным властным движением, отрезал три крупных ломтя.

— Хлеб хозяина любит, — добавил он.

Дед пил чай крупными глотками, шумно прихлёбывая кипяток, обжигая гортань и морщась от удовольствия. На лбу проступали капельки пота. Я рассказывал ему о своих делах, он слушал вполуха, изредка кивал. Он никогда ни о чём сам не спрашивал, не лез в душу, и новости мои ему были неинтересны. Самое главное между нами не произносилось — диалог вёлся в иной системе координат. Вздох, поворот головы, нечаянный смешок или улыбка, пристальный взгляд — этого было достаточно, чтобы высказать главное, не событийное, но смысловое.

Я помню, мальчишкой лет двенадцати приехал к нему на лето. Дом охраняла новая собака — немецкая овчарка Искра, злая и сумасшедшая. Собака сидела на цепи, и длины этой цепи было достаточно, чтобы перекрыть проход к двери. Зверь сидел у конуры, напряжённый и готовый убивать, перегрызть горло любому, кто осмелится войти. Дед шурился и усмехался. «Давай, смелее», — подбадривал он. «А ты собаку поддержишь?» — «Нет, давай рывком, успеешь добежать». Мне было страшно. Овчарка, не отрываясь, глядела на меня спокойным безжалостным взглядом и ждала знака, повода и причины. Уверенная в праве рвать и грызть, она вклинилась занозой в мой мир, травмировала трусость под кожей. «Ну, раз боишься, стой у ограды». Дед махнул рукой и вошёл в дом, забыв обо мне. Я стоял минут сорок, собираясь с духом, вот-вот готовый побежать, рвануться, но каждый раз предательский холодок в лодыжках примораживал меня к земле. «Де-е-ед», — закричал я. Никто не ответил, только занавески глумливо кольхнулись за окном. И вдруг я побежал, неожиданно для себя самого. Собака кинулась наперерез, без лая, в полной тишине. И сразу стало понятно, что я не успею добежать — и обратно вернуться не успею. Она настигнет меня на полпути и загрызёт. Говорят, что отчаяние придаёт силы, — ни черта подобного, отчаяние рождает злость и готовность идти до конца, но сил больше не становится. Я готов был сражаться за свою жизнь, но внезапно распахнулись створки окна, и властный окрик деда хлестнул зверя. Овчарка засемила по инерции и, жалобно скуля, завертелась на месте, не смея послушаться хозяина. Я добежал до двери и был спасён. А дед улыбался, как и прежде. «Молоде-е-ец, — протянул он. — Наша порода, касатовская». Я тяжело дышал, стараясь успокоить бурлящий котёл в груди, чтобы подленькая дрожь

не проскользнула в голосе. Внутреннее чувство подсказывало мне, что ничего не нужно отвечать. И я молчал. Тяжело дышал, молчал и заглядывал в серые глаза деда. А тот одобрительно улыбался и трепал меня по голове тяжёлой мозолистой рукой. Вот в таком молчании мы учились говорить друг другу о главном. И это было ценнее и понятнее всяких слов.

Дед продал Искру через несколько лет, после того, как та передавила соседских кур. Продал легко и без сожаления. Он вообще никогда ни о чём не жалел. Приняв решение, был верен ему в мельчайшем поступке и всегда был готов за него отвечать. Он никогда не ходил на выборы. И решение своё объяснял очень просто: «Ходят на выборы мудозвоны. Они думают, что их спасут жирные коты в телевизоре. Хотят переложить ответственность на других. А я твёрдо знаю, что никто меня не спасёт, и страну никто не спасёт, если я сам этого не сделаю». Я спорил с ним, доказывал необходимость централизованного управления государственными и общественными институтами, призывал себе в помощники экономическую теорию и мировую историю, объяснял необходимость мудрого и сильного правителя, но дед только посмеивался. Уверенность в собственной правоте заполняла всё его существо, каждую клеточку, и было не перешибить эту веру.

— По земле есть новости? — спросил я у него.

— Нет, всё тянут. Через месяц опять суд... То справка из архива не пришла, то эти жиды не являются.

Дед уже третий год судился с соседями за участок земли. В девяностые они захватили кусок в пять соток и построили на нём баню, сарай, дровник. Дед смолчал — в доме соседей жил ветеран войны, инвалид без ног Михеич. Ветеран жил с хозяйкой-старухой, а как та померла, наследники выгнали его на улицу. Земля принадлежала дедовской родне исконно, с основания деревни, да потом кто умер, кто в город уехал — запугалось дело, а дед не поторопился оформлять наследство. Он жил по старым законам, родовым, когда земля передавалась из поколения в поколение без справок и кадастровых паспортов. Ветерана выгоняли на его глазах. Молодой краснорожий амбал, сын хозяйки, нёс его на руках, а старик колошматил культами воздух, орал и плакал. Новый хозяин швырнул старика за ограду, как тюк с вещами, жена его выбросила следом старенький коричневый чемодан. «Что же вы, паскуды, творите?» — сказал дед. «Не твоё дело, Касатонич, не лезь». — «Я молчал за вашу баню, долго молчал, но теперь возьмусь за вас основательно, сукины дети...» Михеич до вечера скулил у забора, царапал его въедливой слабой рукой, крыл матом хозяйского сына, пытался перелезть. Дед приютил его на ночь, а утром ветеран уполз в сторону автобусной остановки

и больше никогда в деревне не появлялся. Только борозда от культей осталась на пыльной дороге. До первого дождя. С тех пор началась судебная тяжба. У соседей нашлись родственники, работающие в районной управе, дело затянулось, но дед упрямо гнул свою линию.

— Все областные архивы перевели в Выборг. Пока запрос составишь, пока отправишь, пока он дойдёт, пока за него возьмутся... А время бежит. Адвокат мне ушлый попался, всё что-то юлит, вертит, деньги из меня тянет, фраерок. Не знаю, может, эти его подмазали.

— Пять соток дорого стоят? — спросила Слава.

— Дорого — не дорого... Всё денег стоит. Не в этом дело... Свою землю нельзя предавать.

Дед верил в справедливость суда. Ни горький личный опыт, когда он сел ни за что, ни долгая жизнь не вытравивши из него этой веры. Но сейчас, за три года тяжбы, вера его пошатнулась.

— Не знаю, что там присудят, но я своего добьюсь. Не на того напали. Тут ведь как в лагере: спустишь один раз — заклюют.

— А если проиграете суд? — Слава сощурилась.

— Сожгу их на хер.

Дед произнёс ругательство сочно, с разухабистым задором в голосе, и мечтательно улыбнулся. Так неожиданно прозвучал мат в присутствии Славы, но так непосредственно был он произнесён, что мы втроём громко захохотали.

— Мы пройдемся до реки, — сказал я, отдышавшись.

— С удочкой?

— Нет, просто.

— Дело хозяйское.

Жара на улице ещё не отступила, но уже томилась, надрывалась ветгерком с реки. Мы шли через поле, держась за руки, и молчали о своём, а в целом — об одном и том же. О том, как хорошо летом на природе, о том, что у меня мировой дед, о безногом Михеиче и лосе, сбросившем свои рога...

— Ты похож на него, — произнесла Слава. — Тот же овал лица, тот же нос с орлиным изгибом. Вообще вся верхняя часть лица — дедовская.

— Все об этом говорят.

— Он у тебя сильный. И справедливый.

— Да.

— А мой дед был предателем. Врагом народа.

— В смысле? — я удивлённо обернулся.

— В прямом. В армии Власова воевал. Попали в окружение. Перешёл на сторону врага. Или не перешёл. Тёмная история. После войны отсидел в лагере. Весь срок отсидел, амнистия пятьдесят третьего года его не коснулась. Вышел на свободу в начале шестидесятых, встретил бабушку, потом родилась мама.

— Ты никогда об этом не говорила.

— О таком не говорят.

— А почему сейчас сказала?

— Не знаю. На твоего деда посмотрела и сказала. Мы помолчали.

— Как думаешь, почему...

Я не договорил, не зная, как завершить вопрос, но Слава поняла меня.

— Он ненавидел Сталина, вообще советскую власть ненавидел. Родом он был с Поволжья, его семью раскулачили, самого отправили в детдом. Ему не за что было любить страну. Только он ошибся. Думал, что сражается против Сталина, а на самом деле в Родину стрелял, в себя самого. Ведь, отказываясь от народа, от земли, от языка, неизменно что-то главное в себе ломаешь. В этом спрятан весь груз необратимости: ломаешь один раз — и больше не склеится, не срастётся... Я никогда его не знала. Когда маме было пять лет, он повесился. Бабушка говорит — от стыда.

— Ты осуждаешь его?

— Нет. Нельзя осуждать необратимость.

— Знаешь, мой дед по молодости в Мурманске работал — знал одного человека, Дедюхина Фёдора Ивановича. Тот тоже у Власова в армии служил. Когда они попали в окружение, их батальон решил прорываться. Вся армия сдалась, а их батальон единственный пошёл на прорыв. Триста одиннадцать человек. Прорвались тринадцать. И он в их числе.

— Это ты к чему?

— Нет необратимости. Каждый сам делает свой выбор.

— Может быть, ты и прав. Может быть, и нет необратимости. И мой дедушка сделал свой выбор, хоть и с запозданием в двадцать пять лет.

— Тогда и ты права: его нельзя осуждать.

— Да. Его нельзя осуждать.

Мы вышли на берег Волхова. Поле обрывалось пологим склоном, который во всю длину был покрыт ивняком, кустами и высокой, по колено, осокой. Тропинка уходила вниз и, петляя в зарослях, выводила на песчаную площадку — деревенский пляж.

Волхов дремал, прикрыв свои седые ресницы. Ни единой волны, даже легчайшей ряби не было — абсолютная зеркальная гладь. И только сухие ветки да зелёные листья, вклеенные в зеркало тяжёлой свинцовой воды, пронесли мимо и напоминали о стремительном течении; о том, что Волхов дремлет, но никогда не спит: так было, есть и будет с сотворения мира и до конца света. — Красивое место, — сказала Слава.

— Я его с детства люблю. Дальше по течению, метров через пятьдесят, место рыбное. Я там запруду делал. Ещё ниже, метров двести-триста, лодочные гаражи и самодельная пристань. Там тоже можно рыбу ловить. Раньше мужики ругались за место на пристани, сейчас — ни одной лодки. Лет пять уже пустует. Гаражи проржавели — стоят памятником былой славы.

— У тебя было счастливое детство.

— В этом месте я не помню зла или раздражения... Вообще ничего плохого не помню. Только светлые воспоминания. Здесь я — дома, понимаешь?

Слава кивнула с улыбкой, смахнула невидимую соринку с моей щеки.

— Это ты ещё в лесу не была. В августе белые попрут, я тебе такие места покажу — закачаешься! Шляпка у гриба в корзину не вмещается — пополам разрезать надо.

— Как же я тебя люблю...

Река сделала вид, что заснула, облака стыдливо отвели глаза. Мы любили друг друга под открытым небом, земля впитывала наш пот, запоминала его. Соединившись друг с другом, источая сладость и радость, мы оба почувствовали, как пульсирует под нами гордый нерв родной земли. Любимая женщина, трепет её родного тела, река, небо, тёплый песок с островками мягкой осоки, дед, лосиные рога, натопленная добела баня, солнечное деревенское детство, жирные подлещики и белые грибы... Всё это было во мне и было сейчас. И останется в глубине глаз на веки вечные.

Вернувшись с прогулки, мы долго парились в бане. Слава хлестала меня изо всех сил душистым берёзовым веником, а я хохотал и кричал ей:

— Ещё! Сильнее! Крепче!

Она выбивалась из сил и, откидывая ладонью слипшуюся от пота чёлку, опускалась на полок. Отдышавшись, набирала полный черпак колодезной воды и окатывала меня, распаренного и расслабленного, не ожидающего подвоха. Я вскрикивал от неожиданности, раскалывая звуком горячий воздух, а она, уперев руки в бока, довольно улыбалась, потом начинала хохотать, потом визжала, когда я поднимал её на руки и опускал в бак с холодной водой. Мы выходили в предбанник отдыхать, пили квас, наблюдали, как тело прощается с горячим паром, мерным током уплывающим наверх, к потолку. Потом мы снова занырявали в баню и снова парились до изнеможения. Очищая душу и тело, мы освобождали от шлака и шелухи собственное счастье, смазывали петли на его дверях, врезали замок, наглухо закрывали и прятали ключи — между печкой и сочащимися

смолой брёвнами, под ссохшийся наст из мха и берёзовых листьев. Никто не узнает. Никто не найдёт. А дед не выдаст.

После, довольные и покрасневшиеся, мы пили горячий чай, слушали дедовские байки о былых временах. В этих простых и незамысловатых рассказах оголялась история, без примеси условностей. И эта история, в отличие от учебника, имела вкус, пахла жизнью и потому казалась правдивой и точной. Истинная история не в обобщениях, а именно в частностях, в людской жизни. Но жизнью много, они переплетаются друг с другом, сталкиваются лоб в лоб, и потому такую историю никто никогда не запишет — её можно передать лишь из уст в уста. Как, собственно, и делали в старину.

Дед постелил нам на веранде. Мы забрались под марлевый палантин, оставляя за бортом жужжащих комаров, с головой накрылись одеялом, прижались друг к другу, обнялись крепко и нежно, интуитивно стараясь прорасти друг в друга, стать одним целым.

— Сегодня был хороший день, — сказала Слава.

— Дельный.

— И чистый.

— Светлый и простой.

— Я счастлива, когда ты рядом. Это так просто, и этого так много одновременно, что сердце дрожит. У тебя дрожит?

— Не знаю... У меня как будто свеча горит спокойно и ровно.

— Это одно и то же.

Потом мы слушали дыхание друг друга, зуд комаров, лай деревенских собак. За стеной захрапел дед могучим, знатным храпом здорового человека. На улице запели сверчки. Слава приподнялась на локтях и, нависая сверху, поцеловала меня в лоб. Сказала:

— Сегодня мы зачали ребёнка.

Потом отвернулась и больше не произнесла ни слова. И я ничего не сказал. Только обнял её сзади, прижался губами к затылку. Мы так и заснули, спокойные и счастливые. Уверенные в неслучайности собственного счастья.

Этой ночью тяжёлые и бесчеловечные воды обрушились на Крымск.

Окончание в следующем номере

Елена Тимченко

Вовка с Надькою и другие обитатели моего детства

Хотелось бы вам вернуться назад, в детство? Большинство людей, не думая, ответят: «Да». А я не знаю. Не уверена. Может, я бы даже хотела освободиться от этого груза. Сколько можно таскать за собой грохочущие на стыках времён расписные вагончики? Вагончики, в которых тебя нет...

Кто есть кто

— Вовка идёт! — что есть мочи кричу я, завидев в окно дядьку, стремительно шагающего вдоль палисадника своей рваной, подпрыгивающей походкой.

Непонятно, зачем на такое простое дело, как ходьба, тратить столько сил и нервной энергии? Казалось, что если Вовка не будет так ходить, то его разорвёт от невысказанного внутреннего злого напряжения.

Вовка всю жизнь проработал в деревне электриком; мне он приходился дядькой по маме и, поскольку никогда женат не был, жил с матерью, моей бабушкой. Бабушкин дом — родовое гнездо для всех моих многочисленных дядек и тёток. Все-го у бабушки было восемь детей. Двоих последних она родила после войны.

Надька, самая младшая, получилась очень шустрой, рыжей, косички заплетёт — вылитая Пеппи Длинныйчулок! Я помню её молоденькой девчонкой, она со мной водилась с младенчества.

Науки в Надьку никак не лезли, она кое-как закончила десять классов, но замуж выскочила удачно — за военного, вырвалась из деревни и объездила с ним весь Советский Союз. Надька отличалась жизнерадостностью, работоспособностью и деревенской смекалкой. Несмотря на своё скромное образование, могла освоить любую работу, которая подворачивалась ей на пути, и сообразить, как сделать эту работу для себя интересной во всех отношениях.

А вот Вовка — второй послевоенный отпрыск — был какой-то странный. Я помню его то на костылях, то с переломанной челюстью, цедающего жидкую кашку, приготовленную бабушкой. То он в тюрьме, то только откинулся, то пьёт, то на принудительном лечении. Бабушка только и отдыхала от него, пока он лечился.

Каждый раз после очередного возвращения блудного сына ему всей роднёй справляли обновки: часы, брюки, ботинки, щегольскую тужурку и шапку. Вся многочисленная родня, затаив дыхание, ждала: может, на этот раз обойдётся, Бог даст.

Как только он начинал пить, первым делом исчезали часы, потом шапка, и, наконец, в один прекрасный вечер он являлся домой без тужурки. Тужурку было особенно жалко. Этот предмет казался мне просто щегольским, в основном, конечно, благодаря названию отдававшим Францией, но и вообще такая одежда была нехарактерна для сибирской деревни: не ватник, не тулуп, а нечто пижонское — короткое тёплое пальто-куртка. Мне казалось, что тужурка делает обладателя этой восхитительной вещи более изящным и привлекательным.

В трезвом виде Вовка был страшный молчун. Если он вынужден был отвечать всё же что-то, то делал это резко, с усилием рубил слова на выдохе, вкладывая всю нервную энергию в первый слог. Получалось свирепо, как у японского самурая. Когда он всего лишь обращался к старшей сестре: «Нинка!» — это звучало примерно как «Банзай!».

Зато пьяный он брал реванш за своё длительное молчание — не переслушаешь! «И ж... па разговаривает!» — говаривала в таких случаях бабушка. Мы с ней не знали, куда от него деться, и облегчённо вздыхали, когда он, раздухарённый алкоголем, бежал в ночь, навстречу приключениям, которые нередко венчались побоями...

...Заслышав мой вопль: «Вовка идёт!» — бабушка рысью бежит в кухонный закуток за печкой, где уже давно томятся неизменные щи из квашеной капусты. Удивительные щи варила бабушка! Они были всегда такими вкусными, как следует упаренными на печке, а мясо в них — мягким и сочным. В обед мы каждый день ели щи, хлеб и молоко, и эта простая еда нам никогда не надоедала.

Вовка мрачно хлебает суп из эмалированной миски, я сижу напротив в фартучке поверх байкового платья, ем суп с крошенным в него хлебом, верчусь и пялюсь на Вовку круглыми глазами. Он лишь изредка хмуро зыркает на меня исподлобья, как на козявку, от которой деться всё равно некуда.

Может показаться, что у меня было унылое детство с бабушкой, мрачным дядькой и рыжей девчонкой, и почему-то без родителей. Сирота, что ли? Это не так всё. Родители жили в той же деревне отдельно, работали главными специалистами в совхозе. Работали они тяжело, с утра до ночи, папа строил мастерскую для техники, у мамы отчёты и планы, а мне с бабушкой было хорошо, уютно. Вокруг много родни, все взрослые.

В пору моего раннего детства Вовка был ещё не совсем пропащий, даже вовсе не пропащий. Иногда он меня до ужаса смешил пьяненький. Он, к примеру, умел пукать на заказ! Это был наш секрет. Вовка наводил на меня палец, как пистолет, и давал залп. Я смеялась и требовала: «Ещё!» — и он повторял на бис. Он имел неиссякаемый запас пуков. Уже взрослой я видела в фильме Бергмана похожий эпизод, там вполне благочестивый господин смешил своих племянников подобным образом. Вот я вспомнила тогда своё детство золотое...

Накануне Нового года, какие бы жуткие морозы ни студили нашу избу, Вовка брал лыжи, отправлялся в лес и приносил мне ёлку, настоящую, с пушистыми лапками и под потолок. Надька эту ёлку наряжала, игрушек было полно, и я две недели радостно скакала вокруг неё...

Как Вовка загремел в тюрьму? Я слышала от взрослых тревожные шепотки, а Вовка куда-то делся. Слова «прокурор», «тюрьма», «статья», «изнасилование» или «хулиганство» будоражили мой детский ум и пугали меня ужасно.

От этих разговоров полушёпотом на меня веяло жутким холодком. Была какая-то таинственная она. Возвращались с танцев. Вовка ей что-то сделал или, вернее, пытался сделать. Теперь его посадят в тюрьму.

Непереносимая тяжесть взрослого мира навалилась на меня всей своей громадой... но ненадолго. Я мудро отложила непонятные вопросы на потом.

А тут ещё Надька заневестилась...

Из няньки в невесты.

Фазовый переход

Надька как-то незаметно перестала быть Пеппи Длиннымчулком, превратившись в стройную девушку, где надо — тонкую, где надо — пышную, с телом, как это часто бывает у рыжих от природы, бело-розовым, словно у поросёночка. Особенно ножки были хороши — с икрами как перевёрнутые бутылочки и изящными щиколотками, что для деревенской красотки вообще большая редкость.

Старшие сёстры Надьку баловали, одевали хорошо. Не у каждой деревенской барышни было платье как у студентки Лидочки в «Приключениях Шурика», а у неё было — в нём она казалась мне настоящей артисткой, если бы не курносый нос и веснушки. Собираясь в клуб на танцы, Надька

из своих огненных волос сооружала бабетту с кокетливым бантиком посередине. Она даже пыталась свою причёску припудрить, чтобы сбить рыжину, — получалось а-ля графиня Помпадур.

Меня всегда процесс прихорашивания перед танцами завораживал. Я не отходила от Надьки ни на шаг, боясь пропустить малейшую деталь этих трепетных сборов. Помню задумчиво-мечтательное отражение курносого Надькиного лица в старом, много повидавшем зеркале: о чём-то таком она думала, о чём-то смутном, для меня неведомом... и в этом полусне меня явно не было. Я обхватывала Надьку за ногу, прижималась к упругой стройной ляжке... и ревновала её к танцам, кавалерам, всему взрослому миру...

Да, хорошенькая была Надька, лицо только простое, куда деться, с веснушками, с которыми что только ни делай, как ни пудри, а они всё равно — вот они! «Сам я рыжий, рыжу взял, рыжий поп меня венчал, рыжий конь меня умчал...»

Забегая вперёд, скажем, что конь умчал Надьку далеко, одарив нерусской фамилией...

Однажды днём на нашем пороге появился солдат (может, и офицер, не знаю, всех молодых мужчин в форме я мысленно называла «солдат»). Солдат был симпатичным и не по-деревенски вежливым. Спросил, здесь ли живёт Надежда, объяснил, что уезжает надолго и что хотел бы оставить для неё небольшой *презент*. «А кто такая Надежда? Так ведь это наша Надька! — сообразила я. — А зачем ей брезент?» Я смотрела на солдата, открыв рот. Остолбенела и бабушка. Молодой человек вынул из вещмешка нарядную коробку конфет и бутылку шампанского, положил всё это на Вовкину койку у двери и быстро ушёл.

Бабушка посмурнела лицом, поджала губы, строго наказала мне не трогать конфеты и взволнованно забегала по избе. Смутно понимая, что Надьке за что-то крепко влетит, я воспользовалась смятением бабушки и вытащила из коробки сначала одну конфету в золотистом фантике, а потом незаметно похитила ещё несколько. А бабушка ничего не видела — её «била лихоманка», как она выражалась.

Её материнскую тревогу можно было понять.

Ракеты, блудницы и младенцы

Дело в том, что за нашей деревней, укрытая в лесу, стояла секретная часть — ракетный щит нашей Родины. Пойдёшь в известном направлении в лес, увлечёшься грибочками, нагнёшься за одним, а перед тобой, как лист перед травой, взметнётся воин в маскхалате и вежливо так объяснит: «Поворачивай оглобли, мил человек, секретная зона!» Говорили, что там, укрытые глубоко в земле, спали чутким сном ракеты, готовые по воле человека в любую минуту прервать железный сон и унести выполнять свои гибельные задачи. И даже

однажды, говорят, поймали шпиона, который по лесу под видом старой бабки шастал.

А вычислили его бдительные советские граждане так. Заметили в одной деревне в определённое время, через некоторое «дельта тэ» обнаружили в другом населённом пункте, разделили путь «эс» на «дельта тэ» и поняли, что уж больно размашисто пришлось шагать бабуле, чтобы за это «дельта тэ» оказаться в данном месте! Так и прокололся незадачливый Джеймс Бонд. В деревне появились скромного вида мужчины со смазанной внешностью, позволявшей им не выделяться из толпы, взяли Бонда под белы ручки — и конец бондиане.

Каждое лето девки вереницами тянулись в лес, к солдатам, в поисках бесстыдной любви. Для любой матери было обидно обнаружить свою дочь в рядах этих блудниц. Вечером Надьке пришлось жарко. Разве что оглоблю бабушка об неё не переломала. — У солдата на каждой версте по п...зде! — учила её уму-разуму бабушка.

Надька ревела и пыталась объяснить, что познакомилась с парнем в клубе на танцах, а я старательно впитывала народный фольклор и мотала на ус...

Не ведаю я, как там девки управлялись, на сверхсекретном объекте-то, только результаты этих походов к солдатам сказывались через девять месяцев с очевидностью.

Как-то, когда я училась во втором классе, довелось мне лежать в больнице нашей деревенской в палате с тремя молодухами — все с младенцами, все без мужа, все от солдат...

Хоть без рёбрушка ходить, да солдатика любить!

Молодицы рассказали, как однажды офицер заставил их под пистолетом по-пластунски ползти до границ части. Пришлось ползти, а что делать? Он имел полное право застрелить нарушителя, даже если это всего лишь девка, которой дела нет до военных секретов и она по другой части. Просто на садиста нарвались. Что-то с этим офицером было не так, констатировали блудницы. Что-то у него от длительного общения с ракетами перестало работать как надо, смеялись бесстыдницы.

Эту и другие интересные жизненные истории прослушала я, лёжа на больничной койке, пока мама не пресекла на корню дальнейшее моё стихийное половое воспитание, переговорив с главным врачом. Долечивалась я уже в палате с бабушками, а там были совсем иные истории.

Конечно, они и такие, и сякие, эти девки, но мне их было жалко. Бедные, рожали отчаянно, одни, без мужа, как в омут головой! Пока ходили с огромным животом, ребятня за ними бегала, последними словами обзывала, взрослые вслед разве что не плевали. Обидно это и несправедливо. Как Базаров говорил? «Она мать, значит, права!»

Но лучше бы до этого не доводить, всякий скажет. Поэтому бабушку визит военного человека так и взволновал.

У Надьки всё сложилось удачно! Зря бабушка волновалась: видно, был у Надьки какой-то ум. Или ангел-хранитель — огненный такой ангел, весь в рыжих перьях... Вышла она замуж за прапорщика, наездилась с ним по гарнизонам, он дослужился до полковника, детей приезжала рожать домой, к бабушке, тогда настаивал мой черёд нянчиться — с Надькиными девчонками.

Хвостик

А пока я — Надьки рыжей белобрысый хвостик. Я даже не знаю, любила ли меня моя нянька. Скорее, воспринимала как обузу, довесок к бесконечным домашним делам. Тем более что я и вредничала, и упрячилась, а если она мне поддавала, с удовольствием ябедничала бабушке.

Странно, но я хорошо помню, как в детстве постигала самые простые вещи. Как не путать правую руку с левой. Как открывать и закрывать дверь. Это, между прочим, два совершенно разных процесса. Сейчас уже не помню почему, но закрывать дверь мне казалось гораздо легче, поэтому я сначала научилась закрываться. Однажды я закрыла себя в амбаре, а открыть тяжёлую дверь не сумела. Даже не знаю, сколько я просидела в этом жутком, абсолютно тёмном месте, отчаянно ревя во весь голос, замолкая лишь для того, чтобы с ужасом прислушаться к таинственным шуршаниям по углам. Ох и досталось Надьке, когда меня, чуть живую, заикающуюся от страха, вынесли на свет Божий. Не досмотрела за дитём — получи! Уже лёжа на кровати и бессмысленно пялясь на занавеску, всё ещё судорожно всхлипывая, мне всё-таки приятно было сознавать каким-то неведомым уголком сознания, что Надька как следует получила от бабушки за мои страдания.

А посидели бы вы в этом страшном амбаре!

Пчёлка, пчёлка, дай мне мёду!

Летом Надьку устроили на пасеку. В один жаркий июльский день я увязалась за ней. Добирались мы на телеге, в которую был впряжён юный жеребец, белый в серую крапинку. Конь был молодой, резвый, а ему не давали воли набегаться на свободе. Он всю дорогу фыркал, радостно вздрагивал тонкой шкурой и косил на меня хитрым глазом.

До самого вечера мы пробыли на пасеке, в обществе пасечницы тёти Паны и пчёлки. Ели хлеб с мёдом, запивая холодным молоком из погребца, а ещё мне давали жевать пчелиный деликатес — соты вместе с мёдом. Вдоволь насмотревшись на игрушечные пчелиные домики, на Надьку с сеткой на физиономии, которая делала вместе с пасечницей какую-то загадочную работу в ульях, я постепенно сморилась скукой. После обеда

меня, по малолетству, уложили спать, но день всё равно тянулся бесконечно, по-июльски знойный и липучий, словно смазанный мёдом. Наконец мы засобирались домой, но тут выяснилось, что наш коняшка сбежал.

Я устало плелась за Надькой по просёлочной дороге, когда за кустами мелькнул белый бок коня, раздалось бодрое фырканье, и наш транспорт, заметив нас, радостно гикнул и понёсся прочь. Надька быстро разулась, вручила мне свои растоптанные туфли, скороговоркой наказала не сходить с места и рванула босиком по пыльной дороге догонять коня — только ветер засвистел.

Я стояла на дороге одна в окружении деревьев, казавшихся мне огромными в лучах полусонного солнца, и думала о том, что сейчас солнце совсем уйдёт, станет темно... и на меня с ветки прыгнет рысь.

Рысь была лесной фобией моего детства. Даже когда я сидела в люльке папиного мотоцикла, то не чувствовала себя в безопасности на просёлочной дороге, а напряжённо вглядывалась в ветки над дорогой: не полыхнёт ли зелёным огнём глаз огромной кошки? Убеждать меня, что рыси не водятся в наших краях, было бесполезно.

...Прижимая к груди Надькины стоптанные башмаки, я пугливо озиралась по сторонам. Особенно меня страшил обрыв с торчащими из него корягами. Я старалась не смотреть на них, но взгляд упорно притягивался к обрыву над дорогой. «Не смотри туда!» — приказывала я сама себе, но бесполезно — намагниченные корневища не отпускали. И вдруг мне показалось, что одна из коряг шевельнулась и потянула уродливые ветки в мою сторону. Я молча вчистила прочь от страшного места. Как Элли из Канзаса в своём домике, подхваченная ураганом, я неслась, не чуя земли, забыв про наказ стоять смирно и никуда не сдвигаться...

Бабушка опять выставила мне диагноз: испуг. По её мнению, я часто бывала испугана то собакой, то лошадью, то петухом, то ещё кем-то или чем-то, а детский испуг, по мнению бабушки, нужно было лечить немедленно.

Нашёптанная водичка

Лечить меня водили к бабе Тюне. Старушка как старушка, совсем на ведьму не похожая, мне она нравилась. Она что-то шептала за занавеской на воду, потом осторожно поила меня этой водой, старательно прикрыв кружку ладонью — наверное, думала я, чтобы благодать из неё не выскочила, пока она подносила кружку к моему рту. Остатками воды она меня умывала и протирала мою мордочку изнанкой своей юбки. Я принимала эти манипуляции спокойно и небрезгливо.

В конце концов, бабе Тюне надоело со мной возиться, и она научила бабушку, которая была

младше её (это важно — передавать подобные дела можно только от старшего младшему), своим шепоткам. Хорошо помню вкус согретой бабушкиным дыханием воды...

Уже взрослой женщиной я заглянула в листочек, на котором кто-то из родственников пытался записывать бабушкин заговор. Это была затейливая молитва, исковерканная многократной устной передачей из поколения в поколение, первоначально на старославянском, а теперь уж и не понять на каком языке. Невинностью и простодушной верой в целебное слово веяло от этого текстика, но главное — ведь помогало! Особенно если верить...

Наступление цивилизации по всем фронтам

Благодаря моим родителям у бабушки одной из первых появился телевизор.

Какими наивными, по сравнению с теперешними, робкими и старательными были первые телевизионные передачи.

Я помню это телевидение танцующим и поющим. Бесперерывно кружились в школьном вальсе кадеты с девочками в форме и белых фарточках, их сменяли горцы с зажигательной лезгинкой, а потом чубатые украинские дядьки в шароварах отплясывали гопака; а вот и любимое блюдо — причудливые индийские танцы!

Родители упивались эпохой великого хоккея. Как они болели за наших, как бесновались у телевизора! «Гол!!!» — радовали своих болельщиков знаменитые форварды.

Английский язык для детей. Бабушка, шуруя на плите, замечает, вздыхая, какая прекрасная память была у неё в молодости. Эта вся премудрость — ван, ту, фри, тьфу! — далась бы без труда. Бедная бабуля, ей вообще не пришлось учиться в школе. Она читала по буквам. Но читала! Помню, как живо интересовала её судьба Агафьи Лыковой. Так и вижу бабушку: маленькая чистенькая старушка в неизменном фартуке, в платочке сидит за столом, покрытом клеёнкой, и, трогательно шевеля губами и прошёптывая каждое слово, пробирается сквозь дебри газетной статьи в «Красноярском рабочем».

У меня насчёт изучения английского в то время было твёрдое убеждение: я считала это крайне глупым занятием. Лёжа на Вовкиной кровати, просунув лицо между железными прутьями спинки, я терпеливо вглядывалась в экран — ждала мультиков. Или хотя бы танцев. Танцы я готова была смотреть всякие — хоть народные, хоть лезгинку, хоть индийские.

Телевизор был первым чудом в моей жизни. На жизни одного нашего поколения таких чудес появилось много: полёт в космос (ну, это в бессознательном младенчестве), телевизор, магнитофон, видеомагнитофон, компьютер, сотовый телефон... Что ещё? Скайп, конечно. ☺

Ах, ещё холодильник забыла! Один из первых советских экземпляров этого устройства, изготовленный на совесть на заводе «Красмаш», до сих пор ещё служит нам на даче. Открывая новый дачный сезон, я всегда с трепетом жду: заработает или сдастся? «Не дождётесь!» — ворчит мой ровесник. Фырча и капризная, он всё-таки вырабатывает холод. И пусть он при этом бьётся как припадочный и весь тряётся, но ведь работает! Боюсь я того момента, когда придётся тащить его на свалку. Это как старую больную собаку усыпить — тяжело.

Сейчас мы называем презрительно телевизор «зомбоящиком» и готовы выкинуть его с балкона (как какой-то сумасшедший француз скинул-таки его с Эйфелевой башни), потому что там, несмотря на шестьдесят с лишним каналов, смотреть нечего! Но в детстве мне в нём нравилось всё, начиная с загадочной настроечной таблицы и заканчивая трудолюбивым гудением стабилизатора.

Первым фильмом, который я посмотрела по телевизору и, кстати, ничего в нём не поняла, был «Багдадский вор». А понимать и не нужно, надо просто присутствовать при чуде.

Смотреть его собирались все соседи. Райка с взрослой дочерью и внуком Серёжкой, старички Филимоновы и бабка Парунья — с ней у меня были сложные отношения из-за её внучек, с которыми мы постоянно ссорились и обзывались.

Вся компания рассаживалась перед маленьким экраном в два ряда и выглядела весьма живописно. (Я недавно догадалась, почему меня так завораживает картина Ван Гога «Едоки картофеля». Мотив крестьян, сидящих вечером вокруг блюда с картофелем, отсылает меня в далёкое детство, в наше бдение перед экраном, и горящая лампа на полотне только усиливает это впечатление.)

Стульев и табуреток не хватало... Мы с Серёжкой забирались на сундук и прилипали к экрану. Бабушка ругала меня за такой способ просмотра телевизора — прилипание. Она утверждала, что я даже не мигаю; возможно, это так и было.

Ещё её очень раздражало, правда, гораздо позже, когда я пристрастилась к книгам, как я читала, поглощая богатую классикой деревенскую библиотеку огромными кусками. Бабушка от чтения по буквам быстро уставала и бросалась на кровать с мученическим выражением лица. Ей было непонятно, как можно читать целыми днями, вечерами и прихватывать ещё ночь. Сколько раз во времена моего читательского запоя меня приводили в чувство слова бабушки: «Брось ты эту книжку! Сходи на улицу — вольным воздушком подыхай!»

На улицу!

Как мы носились, кто бы знал! У деревенских летом свободного времени нет совсем — то покос, то картошка, то о скотине домашней нужно позаботиться. На улице за нами никто не смотрел,

так, иногда бабушка в окно выглянет себе на расстройство, за сердце схватится да кулаком погрозит. Расскажу вам два случая, когда бабушка не вовремя выглянула в окно.

Первый случай был действительно серьёзный.

Мимо бабушкиного дома бесконечно сновали трактора на ферму и лошади на конюшню. Носились те и другие без скидки на то, что шустрая внучка Степановны тоже носится туда-сюда и запросто может подлететь под колёса или копыта.

Я в нетерпении топталась на месте, ожидая, пока трактор, трясясь и воняя соляркой, минует меня, но оказалось, что он тащит за собой прямо по земле три толстых длиннющих брёвна. Согласитесь, редко выпадает такая удача. Мне некогда было ждать, пока он протащит эти брёвна, потому что спешила к дружку Серёжке, где нас ждала увлекательная игра, и я решила *перескочить дорогу по движущимся брёвнам*. И самое главное, что я это вполне по-каскадёрски проделала! Я просто не понимала, что второго дубля могло и не быть, если бы ноги мои попали между брёвнами. Бедная бабушка всё видела в окно и, отпившись корвалолом, сначала поддала мне маленько, а потом сделала необходимые разъяснения:

— А если бы ты между брёвен попала? Корыстные ли у тебя косточки? Хрясь — и всё!

Это «хрясь» было весьма убедительным, до меня сразу дошло.

А второй случай произошёл, когда я уже пошла в первый класс. Направляясь в школу во вторую смену, я вышла на нашу улицу Зелёную и от избытка радостных чувств так раскрутила над головой мешочек со сменкой на длинной верёвочке, что, казалось, могла бы подняться в небо, как вертолёт. Вертящаяся над головой сменка издавала упругий вжикающий звук; кроме того, шажки приходилось делать маленькие и аккуратные, в гармонии с вращением, иначе крутящийся зонтик над головой сломается и затухнет. Вот я шла, погружённая в интереснейший эксперимент, и даже не заметила, как бабушка меня догнала, схватила за руку и разъярённо уставилась на меня:

— Ты что, не слышишь?! Я тебе кричу: Ленка, Ленка!

— А что, баба? — с искренним недоумением ответила я.

— Ну как что?! Ты что творишь-то?

— А что я делаю?

Так мы и не поняли друг друга. Бабуля авторитарно добилась запрета на подобные действия, а я так и не поняла, *почему нельзя* и что я нарушаю в общественном порядке, раскручивая сменку над головой, кому от этого плохо. Тем более на улице в этот час не было ни души. Хотя на этот счёт мы, дети, часто обманывались. Когда ты полагаешь, что тебя никто не видит, обязательно кто-нибудь выглянет в окошко и донесёт бабке о твоих художествах.

К каскадёрским трюкам можно, наверное, отнести и прыжки с сеновала, с высоты, в два с половиной раза превышающей рост прыгуна. Прыжок — и земля со свистом несётся тебе навстречу. Удар о землю — и словно дух из тебя вон! Ради этих незамысловатых ощущений мы готовы были гукаться с сеновала до тех пор, пока каждая жилочка в нас не перетрясётся и не попросит пощады.

Одно развлечение, которое было в моём детстве очень популярно, я вспоминаю ныне с содроганием, хотя в детстве вместе с другими ребятами беспечно им наслаждалась.

На поляне вкапывалось толстое бревно вертикально, так что над землёй торчал конец примерно метр тридцать, в него вбивался здоровенный штырь, на который нанизывалась толстая длинная доска. Это, конечно, взрослые делали — устраивали для своих деток смертельный аттракцион. В результате получалась такая вертушка. Два товарища цеплялись у концов доски и бежали навстречу друг другу, разгоняя вертушку, потом поджимали ноги и вертелись в своё удовольствие. Ну, это простой вариант.

Было ещё вариант — я бы назвала его «остаться в живых». Двое здоровенных деревенских парней (можно, я скажу «два бугая»?) раскручивали вертушку до невообразимой скорости, при этом она становилась похожа на центрифугу для тренировки космонавтов, и раскрученная доска виделась уже как сплошной такой диск. Задача состояла в том, чтобы вбежать в круг и уцепиться за доску вблизи штыря или выбежать из круга. При этом выражение «не сносить головы» принимало своё буквальное значение, так как удар раскрученной доской был ужасен и приходился нам по росту как раз на голову.

О, сколько их было, этих чудных мгновений, когда ты именно жил на всю катушку — каждая клеточка в тебе жила! И пульсировала радостью!

И ничего, что во время игры в лапту, замахиваясь битой, товарищ по играм мог припечатать так, что и не сразу встанешь. «А чо, сама виновата! Чо близко подошла? Не видишь — очки носи, дура белобрисая!» — нервно «чокал» суровый деревенский пацан.

Но ничего худого не случится, когда ты в таком азарте, в такой гармонии души с разумом, ударив битой по мячу, несёшься через поле, лёгкий, практически бестелесный, а над тобой летит ангел-хранитель, придерживая тебя за косички. «На руках возьмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою...»

Половики

Бабушка всегда была занята. Она разбиралась во всех деревенских головоломках: как строить баню или дом, где и как рыть подвал, как класть печь, — и смело указывала мужикам на их ошибки в делах. Те сердились, но прислушивались. Настало время,

когда она уже не могла держать корову, но образцовый огород был в её жизни до самого конца.

Зимой бабушка ткала половики. Из кладовки извлекался деревянный ткацкий станок, собирався ею из отдельных деталей, отполированных временем до коричневого блеска. Подходить близко и следить за тем, как бабушка работает, нельзя — не поощрялось. Бабуля всегда требовала, чтобы не смотрели ей под руку. Даже когда мне приходилось крутить ручку швейной машинки, потому что у бабушки болели руки, и тогда виновата была я, если «Зингер» рвал или путал нитку. «Выпучит свои шаричи!» — ругалась бабушка.

Так вот, половички. Пережиток крестьянского натурального хозяйства, в котором ничего — никакая тряпочка, верёвочка или гвоздик — не пропало и ничего не выбрасывалось. Старые вещи рвали на такую длинную непрерывную полоску, скручивали с помощью веретена и ткали дорожки или шили круглые уютные коврики. Ходить, ползать и прыгать по ним было весело. Ничто не проходит бесследно; вот яркая полоска — это мамина старая юбка, а вот — бабушкин халат, а это — Надькино красное платье: привет, Надька, я шагаю по тому, что было твоим платьем!

Многоуважаемый шкаф и разбитая тарелка

Обстановка в доме бабушки была совсем простая, мебель в основном доставалась от детей после того, как они себе новую купят. Но был такой шкаф, как называла его бабушка, который выделялся из этого ряда невзрачных вещей, главным образом потому, что к нему приложили руки, и это было заметно. Высокий, причудливый, много раз крашенный не родной ему краской, внизу — комод с тремя ящиками, потом откидная доска, а венчал всё это великолепие ещё шкафчик для посуды со стеклянными дверцами.

Самое интересное было под доской. Для меня его внутренность была труднодоступна. Сколько раз я сверзалась с этого шкапа, пытаюсь покорить его секреты! Доска крепилась сверху на шарнирах, которые уже давно сломались, и бабушка, шуруя под доской, ловко придерживала её плечом. Я физически так не могла.

Там, внутри, было уютно. В уголке стояли бабушкины капли, а посередине — ниша в виде пещерки, здесь бабушка хранила свои немногочисленные тарелки. Справа и слева от пещерки — загадочные ящички и дверочки, с любовью выточенные мастером, манили своими тайнами: а что там? Тут можно было устроить для бумажной куклы замок, а здесь — темницу. Сокровища тоже имелись — целый кувшин пуговиц. А в самой глубине бабуля прятала от меня конфеты — яркие барбариски.

Вот за ними-то я и охотилась сейчас. Конфеты срочно понадобились, чтобы обменять их

на разбитую тарелку соседки. Дело в том, что Серёжкина бабка Рая разбила чудесную тарелку с незабудками. Была тарелка, с которой не поиграешь, а теперь — десятки замечательных стёклышек с цветочками — бесценный клад!

... За разбитую тарелку я вывалила из фартучка все барбариски, какие удалось тайно выгрести из-под доски. Счастливая обладательница сокровищ, я устроилась в укромном месте, чтобы поиграть стёклышками, но была грубо вырвана из своих грёз строгим голосом бабушки:

— И что — этот варнак Серёжка за разбитую тарелку все конфеты у тебя выманил?

— Нет, баба, я их бабе Рае отдала, — честно призналась я.

— Раисе? Ещё не лучше. И она взяла?! Вот подлая старуха. Ну, дитё ничего не понимает, но она-то! — бабушка была возмущена несправедливым обменом до глубины души и загаила обиду на соседку.

А стёклышки долго служили мне для украшения секретных кладов и создания надгробий безвременно ушедшим из жизни цыплятам.

О чём задумалась?

Какой была моя баба Таня? Маленькая старушка с приятно состарившимся лицом. Вот она сидит на сундуке возле окна, покойно сцепив руки на коленях в замок, большие пальцы медленно крутятся друг вокруг друга. Мне нравилось наблюдать завораживающее движение её пальцев: вся бабушка в глубоком покое, а пальцы живут отдельной жизнью, совершая медитативные круги. «Спокой и тишина», как бы сама бабушка определила это состояние. Мне всегда хотелось проникнуть, о чём же бабуля задумалась, куда она так глубоко ушла.

На картинах Рембрандта вечно живут такие старики и старушки с печальной думой, притаившейся в глазах, лице, во всём облике. «О чём они думают?» — невольно задаёшь сам себе вопрос — и словно слышишь ответ: «Скоро узнаешь». Что для Вселенной какие-то шестьдесят-семьдесят лет, разделяющие тебя со стариком, — миг!

Вижу бабушку в окне, она закрывает ставни, что-то беспрерывно шепча себе под нос. Как-то я спросила бабушку, о чём она там разговаривает сама с собой. Бабуля почему-то рассердилась на меня, видно, что вопрос ей показался бестактным.

— Вот доживёшь до моих лет — сама узнаешь, — недовольно пробурчала она.

Песни

— Баба, спой песню! — приставала я к бабушке, одновременно рисуя в голове пасторальную картинку, как это должно выглядеть.

Вот бабушка, она поёт внучке нежную тихую песню, а вот внучка, подперев ладошкой щёку, умильно внимает бабуле.

— Да не помню я никаких песен, скоро Вовка придёт, надо картошку чистить, — отнекивалась бабушка, потому что для неё это было серьёзным делом, требующим немалой сосредоточенности.

Но если она соглашалась, то пела всегда старательно, с каким-то отрешением, по-деревенски строго и безыскусно, как мне казалось, на одной ноте и без лишних интонаций.

Песни были неожиданные.

Вдова с ребёнком нашла себе мужа, а он условие ставит: дескать, женюсь на тебе, только дочка твоя мне не нужна, избавляйся «как хошь». И вот бедная женщина решает на грех — берёт малолетнюю дочурку за руку, ведёт её на кладбище и оставляет одну-одинёшеньку на могиле отца.

Или инверсное отображение.

Вдовец с сыночком нашёл себе молодую невесту, а она соглашается замуж, но ей его сын не нужен. И тут уж мужик-горюн берёт сыночка за руку и ведёт его на кладбище.

Эффект эти песни производили на меня необычайный. Я представляла весь ужас маленького ребёнка, коварно заманенного и оставленного в таком страшном, мёртвом и безлюдном месте. И вот уже вечер, он, голодный, замёрзший, в лёгкой рубашонке, всё плачет и зовёт свою маму, а за вечером — ночь, и никто не придёт, никто не спасёт...

Бабушка пела как умела, и откуда залетели в её голову и впечатались эти жалостные сюжеты, я не знаю! Понятно, что это не деревенские сценарии. В деревне все на виду, и такое откровенное злодейство с детьми проделать невозможно; скорее всего, это были какие-то романы, сочинённые простым городским людом — кухарками, конюхами, прислугой и мастерами, а ящики развезли их по деревням. Такая у меня гипотеза.

Но тогда, в далёком детстве, я не сомневалась: именно такие песни бабушки и должны петь своим внукам, других вариантов я просто не знала.

... Перед сном я ещё долго раздумывала над бабулиным репертуаром, и где-то в глубине души начинала рождаться тревожная мысль: а вдруг я тоже не нужна своим родителям? Почему они меня бабушке-то сбаврили?.. Вот ведь какая штука... На душе становилось тревожно и тягостно...

Простая арифметика

— Баба, знаешь, сколько тебе осталось жить?

— А ты знаешь, да? — усмехается бабушка.

Я горячо доказываю, что жить ей осталось тридцать три года. Думаете, это какой-то всплеск детской интуиции, нашёптанный провидением? Нетушки. Вычислить эту цифру очень легко. Хотите, научу? Отнимаете от ста текущий возраст человека. Например, мне семь лет, значит, передо мной девяносто три года приключений — невообразимая цифра, практически вечность и практически бессмертие.

Бога нет. А кто есть? Космонавты

— Бога-то нет, баба! — провоцирую я бабушку на разговор. — Вот и космонавты слетали в космос и никого там не обнаружили, никакого Бога.

Бабушка посмотрела на меня как на пионера... уroda. Насторожённо и вместе с тем пренебрежительно, как на дурочку, которая верит всему, что ей на пионерском собрании говорят. В те времена не принято было выставлять свои религиозные взгляды напоказ.

— А с какой стати Он должен кому-то показываться, хоть даже и космонавтам? — нехотя проговорила бабушка.

Веретено в её руке так и играло — кружилось, словно само по себе. Загипнотизированная этим непрерывным кружением, я живо представила себе ракету, Гагарина в скафандре и как Бог — добрый старичок с нимбом — заглядывает в иллюминатор. Но, поразмыслив, я признала, что бабушка сразила меня наповал своим вопросом. Мне стало совестно, что я привела такой недоброкачественный аргумент атеистической пропаганды.

Я родилась под знаком «космоса» — эпохи великого прорыва, первых полётов в космос, когда все с такой надеждой, сочувствием и огромной любовью взирали на космонавтов. Может, даже они были наши боги.

Кажется, в «Огоньке» печатали замечательные парадные портреты космонавтов. Я их все собирала. Однажды мама пришла с работы и ахнула! Вся стена в моей комнате была увешана этими портретами! Причём приколочены они были гвоздями — кнопки отказывались лезть в стену.

Незабудки и ангелы

В детстве я болела без конца и края, особенно доканивали меня ангины. Температура, тетрациклин, фурацилин, спиртовой компресс на шее, бабушка у постели, горячечный сон — всегда один и тот же: чернявая черноглазая соседка предлагает мне сжать кулак, а я не могу.

Однажды в жаркий летний день я опять болела какой-то детской инфекцией. Проснулась, вернее сказать — очнулась, после тяжёлого, горячечного сна, в котором я опять никак не могла сжать руку в кулак, а на заднем плане маячила злоеющая соседка.

Время было послеполуденное. Бабушка возилась с огородом. Я сошла с крыльца на слабых ногах и присела по маленькому делу. Прямо передо мной очутились синенькие незабудки. Вчера ещё они лежали на блюдце красивым веночком, а теперь завяли, и бабушка выкинула их прямо с крыльца. Поливая незабудки жёлтой горячей струйкой, я прониклась вдруг к их трогательной беззащитности великой жалостью. Я даже попыталась прервать процесс, и от этого пострадали штанишки. Мне до слёз стало жалко незабудки, и какая-то важная мысль пыталась проклюнуться

сквозь горячий туман в голове. Я никак не могла оформить эту мысль или ускользающее ощущение. Было так, словно я что-то знала, а потом забыла. Или что ещё только будет. Могу попытаться сформулировать свою бессловесную мысль сейчас, но придётся сделать это недетскими словами.

Невинность, простота и красота обречены. На преждевременное увядание, поругание и страдание. Вот пронзило что-то такое, несовместное с разумом пятилетней деревенской девчонки... Но душа-то, говорят, намного старше разума, в котором ты проживаешь детские годы.

У меня накопился таких «незабудок» целый букет. Две «незабудки» из детства особенно мне дороги.

В первом классе я училась в классе с Томкой Хасановой. Когда Тома была младенцем, случилась беда: отец, жестокий и буйный татарин, в пьяном безумии выбросил её из кровати. Она выжила, но навсегда осталась хромоножкой.

Удивительно, но Томка, несмотря на такое неудачное начало жизни, могущее, казалось бы, навести мрачный отпечаток на всю её жизнь, была необыкновенно безобидной, доверчивой, улыбчивой и мягкой. Круглое личико её всегда носило необычайно невинное, милое выражение, как будто ей только что сообщили неожиданно приятную новость. Глаза, коричневые и блестящие, неизменно вызывали у меня ассоциацию с конфетами «Изюм в шоколаде», до которых я была большая охотница. Круглый алый рот вечно слегка приоткрыт — так бы и расцеловать её в этот маленький влажный ротик.

Учёба давалась Томке с трудом. Когда она тупила на уроках, хотелось её немного треснуть, а в остальное время — защитить, оберечь. Особенно когда она шла, хромяя, всё тельце её от ступней до косичек, собранных в ассиметричную корзинку — с одной стороны бантик выше, с другой ниже, жалостливо подтрясывалось. Смотреть на это было тяжело.

Я не знаю, как сложилась судьба Тома, но у меня всегда было предчувствие, что она обречена. Как ангел, сломавший крылышко, запечатанный в нашем мире, — ему уже не взлететь, не выбраться к своим. Это была та самая очень важная мысль, которую я ещё раньше никак не могла выразить.

Такой взгляд, как у Томки, я видела у маленькой сестрёнки ещё одной нашей деревенской одноклассницы. Передо мной как наяву эта девчоночка: младенчески лысенькая тёплая головка, невинно распахнутые глазки, послушно и серьёзно тянется за ложкой каши, которой её кормит сестра. Позади неё — оконце, выходящее во двор, где ярким пятном зеленеет крапива. Солнечный луч заглядывает в окошко и ласково обводит всё тельце ребёнка ярким ореолом...

Разве можно причинить вред такому ангелу?

Когда после летних каникул я захотела понынчиться с малюткой и снова навестила свою одноклассницу, она показала мне окровавленный платочек, который сохранила на память о сестре. Малышку схоронили. Мать в бане спьяну окатила её кипятком.

Мишка

Это был пёс, который согрел моё детство.

Лично я была убеждена, что он не собака, а медведь, только маленький. Привезённый щенком откуда-то с Севера, он всю жизнь просидел на цепи у бабушки во дворе. Северная природа одарила его повышенной лохматостью и редким окрасом — цвета луковой шелухи. Сколько с него бабушка носков и рукавичек навязала для своего многочисленного семейства!

Однажды я его подло предала. Зачем-то сказала дядьке, что он меня укусил. Это было какое-то спонтанное предательство, необъяснимое... Прямо гнусность какая-то... Я как будто эксперимент проводила: а что будет, если я вот так? Дядька ответил, что коли так, нельзя оставлять дело без последствий, собака не должна кусать своих, и он избил Мишку до крови. Пёс смиренно принял несправедливые зуботычины и полез в свою будку.

Мне было ужасно стыдно. Прости меня, Мишка. Так человеческие детёныши растут, подличая, кусаясь, а потом мучаются, и что-то доходит до них, что-то важное, сострадательное.

Знаете, что мне не нравится в сельской жизни? Отношение к животным. Наш Мишка всю жизнь просидел на цепи, только к концу жизни, уже совсем старым, он заслужил право на вольное поселение — цепь сняли, но он уже никуда от своей будки не уходил. Лишь однажды ушёл и уже не вернулся...

Первый класс

Морозным вечером мы шли с бабушкой в школу. Закутанная в шаль по самые глаза, я весело вышагивала по скрипучему снегу, бренча замороженными пельменями в полотняном мешочке. У нас чаепитие! Вернее было бы назвать это мероприятие пельменеедением — сибирский вариант посиделок. Всем ученикам велели принести по десять штук — смешную порцию, рекомендованную Минздравом. У нас была девчонка в классе — юная сибирячка, знаменитая тем, что могла слопать сорок пельменей в один присест!

Так необычно было наблюдать своих одноклассников в неформальной обстановке. Вот стеснительный и тихий Сашка Тельных, я просидела с ним за партой несколько месяцев — он ни разу не вымолвил ни единого слова. Сейчас он тихо сидел над тарелкой дымящихся пельменей в бульоне и стеснялся есть. На другом конце стола Томка Хасанова сияла глазами: праздник!

А вот Сашка Симонов, самый высокий, красивый и умный мальчик в классе, и голова у него по всем законам высокого интеллекта представляла собой формальное яйцо. Пока я ещё не знаю, что следующей осенью, решив для себя, что буду любить именно его — ну, раз он самый красивый, высокий и умный, — я напишу на листочке: «Мне ндравится Саша Симонов», — и закопаю в ямку вместе с красивыми камушками и стёклышками, застолбив свою привязанность этим «секретом». Лет с шести я была убеждена, что в сердце женщины или девочки должен кто-то жить, иначе просто неинтересно и скучно. Нужно кого-то любить, а пока не знаешь хорошенько, что это такое, так мечтать о любви.

Любить Сашку было здорово. Не ведая ещё никаких библейских смыслов угощения мужчины яблоком, я скармливала ему китайские яблоки, которые «доставала» для меня мама и которые лежали у нас в ящике под кроватью, распространяя чудное благоухание. А Сашка с ещё одним мальчишкой, скрестив руки на манер стульчика, все перемены таскал меня, как рикша, по школе. Девчонки завидовали и дружили против меня.

С Сашкой произошёл трагикомический случай, я, пожалуй, расскажу о нём, в основном потому, что он свидетельствует об истинном милосердии и добросердечии моих маленьких деревенских одноклассников...

Пока нам не построили новую прекрасную трёхэтажную школу со всеми удобствами, мы учились в старой деревянной. Все классы, а также таинственная учительская выходили в большой зал, где проводили общие линейки, там же проводили уроки физкультуры. В каждом классе стояла большая круглая печка. Тепло и уютно было в этой маленькой школе. На большой перемене приходила полная, почти круглая буфетчица, для неё выгородили специальную будочку с окошком, к которому выстраивалась длинная очередь за аппетитными пончиками по пятаку и чаем по две копейки.

Напротив выхода всегда стоял дежурный; явно наслаждаясь своей властью и важничая, он заворачивал мальцов, норовивших выскочить на улицу без шапки. «Где головной убор?» — грозно вопрошал командир, и нарушитель семеня в класс за шапкой, а девчонки за платком.

Дело в том, что удобства были у нас на улице, и в зимнее время эта уборная становилась опасным местом. Не стану оскорблять ваши чувства описанием сталагмитов и скользких надолбов жёлтого льда. Посещение этого местечка было тем ещё испытанием, мы все боялись поскользнуться и улететь в жуткую дыру.

После перемены учительница не досчиталась одного бойца.

— Где Саша Симонов?

— Он в туалете.

Прошло несколько минут урока, Сашки всё не было. Учительница отправила мальчика выяснить, что случилось.

Гонец вернулся и отрапортовал:

— Саша упал, плачет и в класс не идёт!

— Он что... испачкался? — смущённо пряча улыбку, спросила учительница.

— Галина Иннокентьевна, он весь в го...не! — простодушно доложил ученик.

Когда зарёванного, очоленевшего на морозе Сашку наконец привели, весь класс исполнился сочувствием к страдальцу, *никто* не засмеялся, не хмыкнул даже. Девочки дружно достали из карманов фартуков платочки и передали несчастному мальчику, чтобы он мог как-то привести себя в порядок, а когда учительница спросила, кто хочет проводить Сашу домой, все как один подняли руки.

Расправа и бунт

Я с трудом сходилась с чужими взрослыми людьми. Наверное, потому, что жила в атмосфере безусловной любви бабушки, родителей, родни, с которыми не нужно было выстраивать отношения: как бы я себя ни вела, что бы ни сделала, всё простят и забудут, а главное — не станут любить меньше. По привычке испытывая терпение взрослых со стороны, например учительницы, ощущая в ответ обычную в таких случаях холодность, сдержанность, даже суровость, я постепенно обнаруживала жёсткую правду жизни: никто, оказывается, не обязан тебя любить.

Мне так привольно, так уютно и легко жилось с моей безграмотной бабушкой. Я была диким плодом хаотического влияния всей многочисленной родни. Но пришла школа, окончились мои золотые денёчки дикого беззаботного зверька. Бабушка выточила мне из полешка деревянную палочку, чтобы водить по строчкам в букваре, и началось. Пёрышки, чернильницы, тетрадки. А знаете, как трудно было: писали ведь перьями и с нажимом! Со временем я приспособилась: оказывается, надо просто дышать в такт. Вдох — тоненькая линия, выдох — нажим, вот истинная музыка каллиграфии!

Но сначала... Кляксу поставишь, то не там нажмёшь, то размажешь. Как бы я ни написала в тетрадке палочки и загогулилки, бабушке, которая сама никогда в школе не училась, всё было замечательно. А мама как ни заглянет в тетрадку, так всё брови морщит — сердится.

Однажды я нахватала двоек. Дежурный раздал тетрадки, и секунду спустя я оторопело уставилась на всю сплошь раскрашенную красным страничку с двумя жирными оценками. Двойками. Я учуяла, как зверёк, что учительница не просто, а в большом раздражении садистски чиркала в тетрадке. Вот тебе — получи, распишись! Да, я правда последнее время перестала стараться, и

учительнице надоело это терпеть. Но всё равно было очень обидно.

Расстроенная, я не пошла домой, а направилась к маме в контору, которая находилась недалеко от школы. В мои планы не входило, конечно, показывать свои двойки, но я нуждалась в утешении и поддержке, и просто хотелось увидеть мамочку.

В кабинете вместе с мамой работали ещё несколько женщин. Одна из них, Валентина, находилась в расцвете буйной женственности. Меня всегда несколько сбивала с ног шумная энергия этой тётки, которую окружало облако всевозможных ароматов — пудры, помады, крепких духов и ещё чего-то тёплого, пахучего и женского. Увидев меня, она радостно выкатила из-за стола свои мягкие округлости.

— О, это кто это? Это мамина ученица пришла? — бодро приветствовала меня тётка Валя.

Я хмуро смотрела на её большой красный рот. — А ты чего такая? Много уроков было? — красные губы открывались и закрывались, улыбались, показывая белые крупные зубы. — Ребятишек в школе так мучают, бедных. Тебе, Лена, нравится учиться? — Нравится, — хмуро ответствовала Лена.

— А что вы сейчас проходите? — тётка Валя упрямо не желала свернуть с опасной дорожки.

Я что-то ответила... А дальше случилась катастрофа.

— Ах, я так люблю первачей, так мне нравится *тетрадки их смотреть!* — и с этими словами Валентина бесцеремонно полезла в мой портфель.

Вот когда снится человеку кошмар как бы в замедленной съёмке, вот с таким же ужасом приговорённого к смертной казни смотрела я, как тётка Валя извлекает из портфеля злополучную тетрадь, открывает её... Позор! Немая сцена. Никто не ожидал от меня такой прыти, вроде бы дочка главных специалистов совхоза должна бы прилично учиться, а не двойки таскать. Валентина с притворным ужасом разглядывает мои двойки, а мама, бледнея, медленно поворачивает ко мне сердитое лицо.

Из конторы я вышла красная как рак: ну что же это за день-то такой?! Портфель в руке отвисился до земли, пальтишко вместе с мыслями о предстоящем домашнем скандале давило на плечи. Попадёт нам с бабушкой от мамы!

С трудом выдирая резиновые сапоги из раскисшей грязи, я медленно брела домой. Доташившись до высокой тёмной избы, в которой раньше был деревенский роддом, а теперь аптека, я направилась к серой покосившейся уборной в глубине двора.

Достала замёрзшими пальцами проклятую тетрадку, аккуратно выдрала из неё листок с двойками, зашла в вонючий туалет и использовала бумажку по назначению: получи, фашист, гранату! Я понимала, что предстоит тяжёлое объяснение с мамой, учительницей по поводу вырванной страницы, но вместе с тем испытывала какое-то

злорадное удовлетворение от своего поступка. Раз плохо, так пусть будет ещё хуже. А ужасная участь, что постигла вырванную страницу, будет известна только мне.

Чувствуя себя отомщённой, я устало поплелась дальше.

По дороге из школы, я часто видела в одном окне девочку. Она сидела за столом, покрытым клеёнкой, и учила уроки. Обыкновенная деревенская девочка с косичкой, старательно склонив головку, что-то писала в тетрадке. Глиняная кринка с молоком и ломоть хлеба, сдвинутые на край стола, дополняли картину в обрамлении окна. Эта молчаливая, уютная, случайно подсмотренная однажды сцена почему-то заставляла меня замереть в задумчивости, вслушиваясь в тайную красоту обычных вещей.

Проходя мимо знакомого дома и привычно взглянув на заветное окно, я не обнаружила там ни девочки, ни кринки.

Окно недружелюбно зияло пустотой.

Немирный атом

Какой страшной пищей для воображения снабжала нас пропаганда времён холодной войны!

В шестидесятых мы жили в убеждении, что война неизбежна. Нам, таким ещё маленьким, второклашкам, без конца и края рисовали в школе жуткие картины ядерной войны во всех подробностях. Стены начальной школы украшали зловещие плакаты, предписывающие быть бдительными, иметь особый чемоданчик на случай атомной угрозы. Зловещие фигуры в прорезиненных плащах в пол и противогАЗах пророчили неминуемую смерть от лучевой болезни, если ты загодя не запасёшься жутким костюмчиком.

— Мама, а что делать, если случится атомная война?

Мама в ответ на этот неизменный вопрос всегда отвечала одинаково бесстрашно:

— Завернуться в одеяло и отползать в сторону кладбища, — и дерзко смеялась.

Знала бы она, каких джиннов из бутылки выпускала этой легкомысленной фразой. Я надеялась, что хоть мама скажет мне, что этой проклятой войны *не будет!*

В моей голове тотчас начинали порхать бумажные журавлики, которые бедная японская девочка Садако всё сворачивает, борясь с лучевой болезнью; на смену девочке появлялся несчастный японец: ничего не подозревая, он идёт по своим делам — и вдруг адский жар мгновенно превращает его в отдельные атомы, и лишь отпечаток тени на парашюте остаётся от живого ещё секунду назад человека...

Вопросами смерти я мучилась с детства. Наверное, все мучаются, когда впервые осознают, что смертны.

Почему-то именно в доме родителей, когда я там гостила, меня обуревали страхи, но и прорывы

сознания случались тоже там. В доме бабушки ничего подобного не наблюдалось; обыденность, сплетая кокон вокруг меня, давала ощущение надёжности, безопасности и незыблемости мироздания. Бабушка, Вовка, Надька — все мирно спят, Мишка бдит в своей будке, корова в стойке мерно выпускает из ноздрей тёплое облачко пара, телёнок жив-здоров и при мамке, курицы, нахохлившись, дремлют на насесте, — всё так уютно и понятно: что вы, какая атомная война, какая смерть?

Как только меня вынимали из этого кокона, голова начинала работать.

Как можно спать, когда в любой момент сволочи-империалисты могут скинуть ядерный заряд на головы советских детей? Я боялась заснуть и не проснуться *никогда*.

Я лежу одна в своей комнате на новых белоснежных простынях под тёплым одеялом и прислушиваюсь к тишине. Часы в зале послушно и неумолимо отбивают мелодичными молоточками время. Десять, одиннадцать, двенадцать. Завтра, если оно, конечно, наступит, я просплю и не успею выучить уроки ко второй смене. Что я скажу маме и учительнице? Так, может, сейчас заняться уроками? Я встаю и на цыпочках крадусь по ледяному полу к столу, достаю свои тетрадки... и чувствую, что кто-то на меня смотрит.

— Так, одевайся, пойдём-ка прогуляемся.

Отец берёт меня за руку, и мы идём гулять по спящей деревне. Ядрёный морозец постепенно остужает пожар ядерной войны в моей голове. Звёздочки ободряюще подмигивают, где-то там, над Землёй, летает наш советский спутник. Снег ворчливо поскрипывает: «Ты маленькая девочка, зачем ты берёшь в своё сердце всю скорбь мира?»

Я еле долетаю до постели, б'ухаюсь и крепко сплю.

Что носили инфанты?

Мы знаем, как выглядела и во что была одета инфанта Маргарита, спасибо за это Веласкесу.

А я бы хотела увековечить девочку из моего детства. Знаете, как одевались в моё доколготочное время?

Освоить самостоятельное одевание было непросто. Во-первых, нужно было надеть *фланелевый лифчик*, доходящий где-то до талии, который заменял майку. Застёгивался он иногда спереди, а иногда и сзади на три большие плоские пуговицы. Спереди внизу к лифчику пришивались ещё две пуговицы, к которым цеплялись *пажики*. Это такие резиночки с причудливой застёжкой на конце. Пажиками пристёгивались *чулки* — это было самое трудное. Затем сверху надевали *панталончики* на резинках. Дозволялось платьё байковое носить короче панталон. Сверху платья мы носили *фартуки*.

А ведь ещё нам заплетали косички! Целое дело! Моя нянька Надька со мной не церемонилась:

расчёсывала больно, косички затягивала до того туго, что у меня глаза на лоб лезли, а возиться с чулками-пажиками приходилось и вовсе самой — чай, не инфанта.

Без сомнения, у инфанты Маргариты была куча помощников в нелёгком деле облачения в одежды и причёсывания. Вон на полотне Веласкеса — донья Изабелла, с какой заботой и преданностью вглядывается в лицо своей подопечной, опустившись перед ней на колени.

Мне так нравится эта картина! Златокудрая испанская принцесса, не по годам серьёзная: видно, что непростая жизнь у этой малышки, не подумаешь, что ей всего пять лет. Лобик высокий, глаза серьёзные, задумчивые, осанка царственная. А платье золотое с красными цветками на груди и на рукавах — ах, что за платье!

Как далека юная Маргарита от той деревенской девчонки, которой я была когда-то, далека по времени, пространству и сословию. Между нами тысячи и тысячи детей, которые ходили в садик или воспитывались боннами, спали в кроватках с балдахинном или на полатях в жалкой избе, ели ножом и вилкой или хлебали похлёбку из эмалированной миски, играли куклами или ракушками и камушками... Но почему мне кажется, что мы похожи, мнится, что она — сестра, которой у меня никогда не было?

Взгляни, принцесса, а вот это я... Лобик высокий, глаза большие, вдумчивые, а волосы — чистый лён, потому и Лена... Дай руку, Маргарита, пойдём, я расскажу тебе про Томку и Мишку и покажу стёклышки от разбитой тарелки с синими цветочками, напоминающими незабудки.

ДиН ДЕБЮТ

Александра Гангур Ты ждёшь дождя



У нас язык на всех один,
И все на нём поют и пашут,
И говорят: ты здесь ходи,
А там — ползи по-черепашьи.

Ты — в колее. Не потому,
Что говорил словами теми, —
А было тесно в терему,
И мысль выстукивала темя,

И ты бы с радостью — в леса,
Но выйти было — только боком,
И вот — сухая полоса,
Где след ложится неглубоко

Где ни черта не разобрать...
Пускай бы слякотно и грязно —
Ты ждёшь дождя, как Божью рать,
Чтоб в этой пропасти завязнуть,

Пускай не сбьётся до конца,
Но в путь свой след впечатать крепче.
И отливает зеленца
От пыльных трав чужих наречий,

Ты говоришь: мостите мной!
И кроет ямы плоть живая.
...А где-то в тереме темно,
И в окнах свеч не зажигают.



Ночью бывает каменно и светло.
Я цепенею в зеркале монитора,
Будто во мне окончила счёт контора,
Пересыпавшая в кассе добро и зло.

Дёрганный голос в наушниках воздух пьёт,
Кажется — эта запись бежит обратно.
Можно летать — я слушаю их полёт —
Самым свинцовым летательным аппаратам.

Уравновесились чаши, затихли стрелки,
Маятник покачнулся и тоже замер.
Чёрное/белое, истина/ложь — так мелко,
Если увидел главное не глазами.

Бога не может быть — падают самолёты,
И умирают дети. Всё это в стороне.
Я же храню невинность, в прочем — грешу без счёта.
После — умру, конечно. Бога не может не...

А в темноте вздымает звёздные уши Рысь,
Время идёт дождями, вперёд, по капле.
И разговоры (с тобой) так плавно уходят ввысь,
И так беззвучно падают дирижабли.

Сергей Курганов

Семейная педагогика профессора В. И. Недригайлова

Мой прадед, профессор Недригайлов (1865–1923), очень интересно воспитывал свою дочь, мою бабушку, Ольгу Викторовну Недригайлову (1896–1972). Перечислю некоторые принципы воспитания, точнее, педагогические идеи профессора Недригайлова в области семейного воспитания.

Идея дневника. Каждый день жизни маленькой Оли, начиная от рождения и в течение нескольких лет подряд, подробно описывался в дневнике. Дневник вёлся то Виктором Ивановичем, то его супругой, моей прабабушкой, Ольгой Недригайловой. Записи были адресованы дочери: «Моя милая доченька! Сегодня ты...» То есть предполагалась ответственность за каждый шаг родителей в воспитании. Ответственность — перед лицом читателя дневника. Ольга Викторовна, когда подрастёт, обязательно прочтёт и узнает, как её воспитывали, какие при этом возникали трудности, как эти трудности преодолевались. Так и произошло: двадцатилетняя Ольга Викторовна Недригайлова с восхищением прочла этот дневник, подробно его обсудила в собственном дневнике, который продолжала вести в той же тетради, в которой писали о ней её отец и мать.

Идея свободного воспитания. Ребёнку предоставлялась свобода быть таким, какой он есть. С самого начала, с момента рождения, предполагалось, что Оля — это свободный, самостоящий человек, к потребностям и действиям которого взрослые относились с огромным уважением. Вместе с тем сохранялся нравственный контроль: осуждались и не поддерживались поступки, которые наносили вред другому человеку, то есть поступки недобрые. Во всём остальном ребёнок был волен поступать, как он сам того хочет.

Идея родителя-врача. Папа Оли — и педагог, и домашний доктор. Он лечит своего ребёнка, он

рассматривает становление и развитие дочери с точки зрения современной врачебной науки.

Идея раннего и радостного обучения чтению и письму. Создаются условия, в которых ребёнок учится читать и писать как бы по собственной программе. Взрослый только помогает ребёнку освоиться в мире чтения и письма. Читать и писать Оля научается к пятилетнему возрасту. Поддерживается написание небольших писем, на которые ребёнок получает подробный ответ.

Идея раннего обучения рисованию, рассматривание и комментирование картинок. С самого раннего детства ребёнок учится обсуждать рисунки. Взрослый прислушивается к мнению ребёнка, поощряет диалоги и даже споры со взрослым о том, что нарисовано и как.

Идея раннего обучения двум иностранным языкам. Выбираются французский и немецкий. Приглашаются учителя. Используется путешествие за границу (в Париж) для обучения иностранному языку.

Идея диалогического обучения. Начиная с самого раннего возраста, Виктор Иванович Недригайлов очень внимательно относится к вопросам, которые задаёт его дочь. Эти вопросы обсуждаются на равных. Дочка подробно высказывает своё, детское, видение проблемы (например, формы Земли), а отец рассматривает проблему с точки зрения новейших достижений естествознания. В дневнике отец записывает эти познавательные диалоги¹.

Виктор Недригайлов

Дневник моей первой девочки

1896–1903 гг.

(отрывки)

Родилась в 7 часов 45 минут утром 24 сентября 1896 года в г. Харькове, Театральный переулок, дом Скиндера, №15-й. Моя девочка уже реагирует на свет и жмурит свои чёрные глазёнки.

1. С. Ю. Курганов. Выступление на «круглом столе» «Адресаты И. И. Мечникова на Харьковщине. Профессор Ольга Викторовна Недригайлова. Путь к Олимпу». Харьковская научная медицинская библиотека; Клуб истории харьковской медицины при ХНМБ, 24 февраля 2015.

14 октября 1896

Дорогая девочка! Целая неделя прошла, и я не имел времени записать в твою тетрадку несколько наблюдений.

20 октября 1896

Решено и подписано, что имя нашей малютки будет *Ольга*.

8 ноября 1896

Милая моя девочка. Наконец твой отец здоров. Сегодня я уже ходил на бактериологическую станцию. Портрет моей девочки в конвертике, в котором она лежит и днём, и ночью. Девочкина колясочка. Олечка любит пение—засыпает, когда я напеваю ей какую-нибудь песенку.

30 ноября 1896

Мама—«большая Оля»—покормила «маленькую Олю» и осторожно перенесла... Девочка накушалась и хочет спать. Очень любит, когда я ношу на руках. Как бы ни плакала—сейчас же перестаёт.

23 декабря 1896

Дорогая моя девочка Лёлочка, я тебя очень люблю. Через полчаса я буду тебя купать. Вчера ты очень брызгала водой.

24 декабря 1896

Лёля! Сегодня тебе три месяца. 3 месяца ты уже прожила на белом свете. Ты подросла, но всё-таки ты ещё очень и очень маленькое, беспомощное создание: ходить и сидеть не можешь, говорить не умеешь, кроме «агу», и долго, долго ещё ты будешь такой беспомощной. Сегодня ты смотрела на ёлочку и серьёзно что-то соображала. Ты, конечно, не будешь помнить той первой ёлки в своей жизни. Твои теперешние впечатления неглубоки, поверхностны, быстро проходящи.

29 декабря 1896

Лёлочка, вчера был у нас твой крёстный папа и подарил тебе игрушку—клоуна, одетого в ярко-розовый костюм.

3 мая 1898

Дорогая моя деточка, сейчас ты спишь крепким сном. Доченька моя, голубка, ты для меня вся жизнь, девочка моя Лёлочка! Твоя мама.

24 сентября 1898

Сегодня исполнилось нашей Лёле 2 года. Что ж из себя она представляет? Маленькая белокурая девочка, слегка бледнолицая, довольно порядочно разговаривающая. Волосы в последнее время заметно стали темнеть, так что её нельзя назвать уже чистой блондинкой. Волосы растут медленно и упрямо, не поддаваясь гребешку. Лицо чистое,

брови с изгибом. Между бровями ещё и теперь видны следы от того пятна, с которым она родилась, но только следы. Кожа тела тоже чистая. Выражение лица приятное, улыбка—тоже. Умеет держать серьёзное лицо—и тогда над бровями появляются характерные вдавления. Цвет кожи лица бледный, иногда кажущийся даже болезненным, хотя часто—в особенности после прогулок—щёки покрываются необыкновенным румянцем.

Сон спокойный, продолжительный. Засыпает скоро, не капризничает.

С большим удовольствием пьёт молоко, ест сухари, кисель из вишен, корочки булки, яблоки, арбузы, варенье, сахар, пряники.

Котлеты и суп ест с трудом, приходится уговаривать и пугать «Хининой»!

После питья в желудке очень долго слышится плеск жидкости, такое впечатление, что молоко или чай очень долго не уходят из желудка. Стул всегда твёрдый, кусками, куски почти всегда неимоверной толщины. Запах очень резкий и неприятный. Иногда приходится делать клизму.

Деятельность: прогулки, игра в куклы, кубики, мяч и т. д. Новые предметы рассматривает подробно. Любит карандашом писать. Пишет букву «О».

Настойчива в своих требованиях, нетерпелива. Раздражается, если не удовлетворяют её требования. Раздражительность выражается в топании ногами, в битье руками ближайших предметов и даже себя по лицу. Но раздражительность мгновенно проходит, если она чувствует, что её поведение вызывает недовольство или обиду у других.

К людям резко проявляет чувства симпатии и антипатии. Одних любит сразу, других сразу же почти ненавидит.

Так, например, возненавидела девушку Полю, которую наняли ей в няньки. Ни за что не позволяла ей брать себя на руки, укачивать, вообще близко приближаться—и всё это несмотря на то, что Поля относилась приветливо, с любовью. А кухарку, по внешнему виду менее красивую,—полюбила, позволяла брать на руки.

15 октября 1898

Говоришь, Лёлочка, ты уже очень много и фразами и довольно трудные слова легко произносишь. Говоришь правильно, с небольшими ошибками в окончаниях.

Любишь расспрашивать: что это? зачем это?

Игрушек у тебя очень много. У тебя опять твоя старая няня. Ты к ней охотно идёшь и играешь в игрушки.

18 ноября 1898

Раздражительность твоя уменьшилась. Ты стала очень мило играть с няней в игрушки.

Замечаем в тебе большую самостоятельность в поступках. Уж что задумала, то непременно хочешь

выполнить. Когда чем-нибудь занята, то ты ничего не слышишь, а вся углублена в то, чем занята.

Гулять очень не любишь на дворе и часто плачешь, желаешь добиться возвращения в комнату, чтобы играть в игрушки. Но, несмотря на это, нам всё-таки удаётся продержаться на дворе часа 2–3.

Любишь книги с картинками, которые папа тебе покупает. Картинки внимательно и до мелочей рассматриваешь и рассказываешь, что каждая изображает.

Часто споришь с няней о смысле картинок. Всё помнишь, что тебе скажут о какой-либо картинке.

Поёшь песню «Лес зелёный шумит» и при этом прибавляешь: «...и гремит, дождик идёт».

Нравятся тебе очень обезьяны, ты часто идёшь гулять, чтобы увидеть на улице обезьянку.

2 января 1899

За это время ты многое выучила. Знаешь буквы «А», «У», «О», «С», «З», «Я». «Наглядную Азбуку» Павленкова, рассматривая все картинки, можешь назвать, и в «Русском Букваре» тоже. Альбом наш знаешь, всех по именам называешь.

Знаешь фотографию Льва Николаевича Толстого и Пастера. Говоришь, указывая ручкой: Толстой, великий Пастер.

У тебя масса игрушек. Ты играешь, разговаривая с ними как с одушевлёнными существами.

Не любишь, если смеются, когда ты что-нибудь говоришь, говоря: не надо смеяться, нехорошо смеяться.

В разговоре употребляешь отвлечённые слова, например: «Я думала, что это няня стучит, а это Толя»; «Я вытру стол, чтобы было чисто».

4 декабря 1900

Дорогая моя дочурочка, ты у меня умница в некоторых отношениях.

Умеешь читать сама, и довольно гладко, но не по складам, а по-настоящему.

Любишь красить красками, и в особенности тебя интересует смешение красок. Когда ложишься спать, не забываешь спрашивать, какая будет краска, если смешать такую-то с такой-то краской.

Мы живём теперь в городе Харькове, на Садовой улице, 3, дом Крестьянского, занимаем небольшой 2-этажный флигель, вверху 3 комнаты, внизу 2 папины: кабинет и комната со шкапом и сундуками. Наверху мы помещаемся: одна детская, другая моя, третья—столовая, в которой папа спит на турецком диване.

Характер у тебя очень вспыльчивый, нетерпеливый.

Любишь, чтобы с тобой занимались.

У тебя завелись подружки (как ты выражаешься): Овчинниковы Надя, Лёля и Нюня. Ты очень любишь у них бывать и когда они бывают у нас.

Ты очень наблюдательна.

10 января 1901

С Новым годом, дочушка моя!

На Рождество ты, Лёля, была на народном концерте в драматическом театре, на спектакле «Волк и семеро козлят». Ты была с папой и няней Еленой. Тебе очень понравилось, и ты, придя домой, всё мне рассказывала и изображала.

8 февраля 1901

Лёля писала вечером, исключая некоторые буквы, написанные мною (В. Недригайлов): «БАБАЧКА КОТИК МОЙ ПАПА МАМА».

28 марта 1901

Лёля по целым дням на дворе, и ни за что не заведёшь в комнату.

22-го ходила с целой компанией в Отрадное пешком—вёрст 6 от нашего дома, там много бегала с детьми Гусевыми.

4 февраля, Петербург

(От Российского телеграфного агентства):

Святейший Синод в своём попечении о чадах православной церкви, об охране их от губительного соблазна и о спасении заблудшихся, имев суждение о графе Льве Толстом и его противохристианском и противощерковном лжеучении, признал благовременным, в предупреждение нарушения мира церковного, обнародовать чрез напечатание в «Церковных ведомостях» послание, в коем, перечислив лжеучения графа Толстого, заключается так: «Граф Лев Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем неприкрасно, но явно пред всеми, сознательно и намеренно, отторг себя сам от всякого общения с церковью.

Лирическое отступление внука и правнука

ИЗ ЯРОСЛАВА ДОВГАНА:

...Все женщины очень любят плакать. Дай им день—затопят слезами дом, дай ночь—всплывут все опрокинутые в густую траву тихие парусники твоей мужской души.

Моя жена спит. Она тихая, красивая, добрая.

Когда мы целовали губы друг друга и глаза и хлюпались, а крик остывал на кончиках наших пальцев, я родился. И увидел дерево, окружённое ночью, и на фоне дерева белый безгубый череп—его целовал. Он светит мне и теперь, тот безгубый фонарь воображения. Моя жена спит. Я встаю. Ночь. Иду к бабушке. Моя родная улица. Бабушкин дом.

— А где твоя Тоня?—спрашивает бабушка, морщась от боли.

У неё рак. Она умирает. Уже идёт, но ещё должна стоять, потому что слышит крик:

— Мама, мамочка!

Уже идёт, но ещё:

— Свечку! Ой, хоть зажигалку!

Уже—но плач, крики, огонь.

Уже.

Идут кони из ночного прощаться с бабушкой.

Зеркала жалобно зажмурили свои бельма.

Вот и всё.

Выходит из ночного небытия, останавливается.

Посреди рассвета дерево, под которым целовались. Под деревом спит моя Тоня. Беру её на ручки, несу в дом. На постели, прислонившись боком к стене, стоит маленький весёлый парусник.

28 октября 1901

Я и Лёля ездили из дачи Медицинского общества в город Харьков на Детское танцевальное утро. Ничего, кроме танцев, не было. Но, тем не менее, дети и Лёля остались довольны тем, что побегали под музыку и потанцевали. Лёля мало стеснялась и сама подходила к незнакомым девочкам, разговаривала с ними и бегала.

Дорогой разговорились.

— Папа, а где конец Земли?

— Земля конца не имеет,—ответил я,—она круглая.

— Папа, а почему мы не замечаем, что Земля движется?

Я:— Потому что Земля очень большая. Если на мячик сядет бактерия, то она не замечает движения мяча, если его вращать. Если идёт воз сена и на нём сидит муравей, то он не замечает движения сена.

— Папа! Небо больше нас?

Я:— Больше.

— Папа! А Земля слышит, что дети плачут?

Я:— Нет, не слышит.

— Папа! А Земля видит нас?

Я:— Нет, не видит, она не живая, видеть может только тот, у кого есть глаза.

— Папа, а у скелета есть глаза?

Я:— Нет, у него только дырки, а раньше были глаза.

— Папа! А почему ты мне никогда не показывал скелета?

Я:— Когда-нибудь покажу.

— Папа! А где скелеты показывают?

Я:— В университете. Студентам показывают. Вот когда ты будешь студенткой, и тебе покажут. — Папа! А я в девочкином университете буду учиться?

Я:— Нет! Вместе со студентами.

Лёлька замолчала, потом спросила, где мы едем.

Лирическое отступление внука и правнука

СЕРГЕЙ КУРГАНОВ

Тайна возраста (отрывок):

Играю со своей трёхлетней дочкой Ниночкой. И Ниночка роняет куклу. Я говорю Земле:

— Земля, Земля, ты зачем притянула Ниночкину куклку?

Земля отвечает моим голосом:

— Я всех родила. Все из меня вышли. И когда кто-то далеко улетает от меня, я притягиваю его к себе...

— Земля, Земля,—подхватывает разговор Ниночка,—а ты везде, Земля? На всех дорогах, на всех улицах?

— Да...

Говоря за Землю, я стараюсь вложить все свои знания о мире, о самом себе—в мою роль. Но я говорю на языке моей дочери. Я как бы становлюсь трёхлетним. И только тогда между мной и моей дочерью становится возможным разговор².

10 октября 1903

Мы возвратились из Парижа, пробыли 1 год. Результатом чего Лёля говорит по-французски на детском языке свободно.

Уже месяц имеем бонну—французенку, с которой Лёля помещается в одной комнате; бонна поёт хорошо. Зовут её Сусанной. Лёля занимается с ней: пишет диктовку, читает, рассказывает, а бонна ей читает, учат географию. По вечерам играют в жмурки, cache-cache, бегают, бонна поёт французские песенки. Но Лёля очень нервная, и, при всём моём старании, быть ровной и спокойной мало помогаю.

Утром—без причины проснувшись—раздражена, приходит уже недовольная. Я с ней занимаюсь, читаю, пишет диктовку по 2 строчки, задачи, рассказывает. Любит слушать чтение.

В Париже училась с учительницей, а потом в пансионе. Получила 4 награды по разным предметам.

9 февраля 1903

Милая и дорогая мамочка, папа, бабушка, Лёва, Серёжа и нянюшка! Как вы поживаете? Я получила твоё письмо, дорогой папа, и очень обрадовалась ему. Я здорова и весела. Меня тётя обливает по утрам. Вечером я вспоминаю маму и хочу, чтобы она была со мною, а утром ничего. Целую тебя, дорогая мама и папа.

Ваша Лёля.

2. <http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/article=88>

Дневник нашей первой девочки

1896–1917 гг.

(отрывки)

17 октября 1917

Мама, я так ясно слышу ласковое трепетание твоего платья, когда я думаю хорошо.

Мой светлый Гений, мама моя! Мусенька!

А в тихие сумерки вечера, когда в душе просыпаются новые желания, мне чудится чье-то благоуханное дыхание, и тихий шёпот подсказывает мне чудесные вымыслы.

Перед лицом твоего творения, где ты когда-то обнажала свою душу, — я обнажаю сердце своё, дух свой, помыслы свои и клянусь духу твоему.

Я клянусь, вся дальнейшая жизнь моя будет служением, одним служением.

Мать моя, слышишь ли ты? Служением Красоте, Правде и Добру. И святому счастью людей.

Мать моя, я рыдаю, ты слышишь ведь. Мать, я на клочки изодрала душу свою и истерзанную приношу к ногам твоим. Мама, я клянусь тебе и вечному Духу, который есть Бог!

«Под именем исступления должно разуместь такое необычайное возбуждение и восхищение человеческого Духа, в котором он как бы выступает из границ условий существования в теле (Ап. Павел: «В теле ли он был, вне ли тела, не знаю, Бог знает»). Но это возвышенное состояние не может быть длительным. Только время от времени мы можем наслаждаться этим подъёмом над границами тела и мира. Я сам испытывал его до сих пор только три раза» (философ Плотин).

Я тоже испытывала это необычайное по своей благодати и чудесности состояние.

Я испытала его только один раз, но от одного только воспоминания радостно трепещет Душа. Я долго спрашивала и расспрашивала у окружающих об этом странном состоянии. И наконец нашла об этом в Евангелии и у философа Плотина.

Расскажу, как это было со мною.

Я жила среди людей на берегу тихого серого моря. Совершенно одинокая и чуждая всему окружающему своими мыслями и пониманием жизни.

Меня всё время мучило, что большинство людей и я сама живём только поверхностью жизни, только формой ея. Точно боимся приникнуть к чудесному жизненному ключу, что струится в самой глубине.

Чего-то не хватало во мне, чтобы проникнуть в ту глубину, о которой я знала. И моя жизнь казалась мне ужасной, бессмысленной и ненужной.

Сколько раз с рыданиями я подходила к серому, вечно игривому морю и спрашивала ответа на мои вопросы, на мои мучения.

А оно, серое, мерно выбрасывало волну за волной и молчало, и молчало... И от этого молчания

жалась в комочек болезненная, измученная Душа. Душа, которая искала Гармонии и Красоты и не находила её в себе...

Как часто я протягивала руки к голубому бесстрастному Небу, символу вечности, Божественности и Религии. А оно — синее, такое же синее, как бездонное, и такое же глубокое, как безмолвие, — молчало, молчало...

И всё молчало. Всё. Оно жило своею эгоистически-мудрой жизнью, оно хранило ключи от лишних загадок. И молчало, молчало...

...Я пришла в отчаяние и решила уйти, может быть, разгадать. Пришла в сумерках в свою комнату, опустошённая и почти безжизненная, опустилась на кровать. Вихри мыслей закружились, заметались в голове. Мысли хорошие, будто я припадала к земле, мечтая о небе. В душе был хаос, обрывки разговоров, слова, буквы, стоны, гнев, безумие и отчаяние. И отчаяние без начала и без конца.

И вдруг на этом безумном хаотичном фоне, на этих предсмертных судорогах души появилось слово. Слово, одно только слово «Бог». А где же Бог? А о Нём забыла...

А вдруг необычайное волнение наполнило всю меня. Сладостно заболело внутри. Что-то подняло меня тихо и властно и понесло вверх, вверх. Я уже не чувствовала себя, точно спала та оболочка, что крепко держала меня на земле. Всё выше, выше. Я растворилась в вечности, в божественной Радости и Красоте. Выше, выше. Распались все цепи, исчезли все грани между мною и Божественным. И ещё выше. Ничего не было, и было всё. Сияние, сияние, ах, какое сияние Духа. Больше нет слов на человеческом языке, чтобы выразить это. Познавший, только познавший поймёт это восхищение в Боге, это великое познание божественной гармонии.

И тихо я стала спускаться вниз, чтобы войти в своё тело. И я вошла. Первый момент мне показалось, что я умерла. Но я осталась жить. Билось сердце. А то чудесное познанное уходило, уходило дальше, возвращалось в вечность. Осталось воспоминание о прекрасном сне. На границе духовной смерти я познала чудесное, что дало мне новую жизнь. Новую жизнь, полную чудес. Гармонию я нашла в себе, гармонию я научилась видеть вокруг. И небо мне говорило: скажи, — и в нём я сумела видеть божественное. Новые песни пело море, всюду улыбались божественные глаза. Я прислушивалась к биению жизни в себе и вокруг себя.

Славлю тебя, Великий Божественный Пан, великий Бог, даровавший мне жизнь.

19 декабря 1917

Сегодня я перечитывала некоторые страницы своей жизни, написанные мамочкиной и папиной рукой.

Когда я читала, мне казалось, что где-то вдали, а может быть, во мне самой, звучит чудесная нежная музыка. Сколько красоты в этих интимных подробностях, Боже мой, сколько красоты! Я закрываю глаза, и мне делается хорошо, хорошо. Я начинаю мечтать...

Есть вещи, которые нельзя рассказать никогда, никому, потому что они слишком прочно связаны с душой и тем бессознательным океаном желаний, что бурлит и кипит нелепо и таинственно.

Так, например. Мне очень хотелось бы иметь дочь. Чудесная девочка, как цветок, — растёт, распускается лепесток за лепестком. Милые губки, дорогие глазки. А ручки, ручки. Боже, как я люблю тебя, моя будущая дочь. Я буду долго глядеть в твои глаза и плакать от счастья.

Ты тихо зовёшь меня: «Мама». Мне кажется, что небо открылось для меня, и я вижу Великого Пана, улыбающуюся Жизнь. Великий Пан спрашивает: «Хорошо тебе?» Я закрываю глаза и шепчу: «Хорошо, хорошо», — от счастья я не чувствую себя. А какие у тебя милые волосы. Я не знаю какие: чёрные, русые, золотые? Но ты милая, такая милая. Я закрываю глаза: «Ты моя дочь, понимаешь — моя». Я закрываю глаза, и мир, весь мир во мне. Как хорошо!

И разве можно об этом кому-нибудь говорить?

...И ещё я мечтаю. Зелёное-зелёное поле, покрытое одуванчиками. Небеса голубые и радостные. По золотой дорожке бежит девочка в беленьком платьице, девочка, настоящая живая девочка. И понимаете — моя, моя девочка! Моя, родная, вся моя, моё тельце, мои ручки, мои глазки, родимое пятнышко моё! Бежит, и смеётся, и протягивает лишь золото одуванчиков, целует мне глаза. Какое блаженство! Поцелуй ребёнка, моего ребёнка. Мои губы сливаются с моими же губами. Трепет счастья пронизывает меня, и я снова вижу Великого Пана.

Разве можно кому-нибудь говорить это? Мне страшно от счастья, что я могу всё это переживать. Боже мой, как хорошо. Я пью, я жадно пью напиток жизни всем моим существом. И я выпью мою чашу до дна, какая бы она ни была.

Я благодарю тебя, Великий Пан, за то, что ты даровал мне Жизнь. Я вечно буду благодарить тебя. И когда придёт час, час смерти, я ещё раз восхвалю тебя и растворюсь в тебе. Ибо моя человеческая смерть не есть превращение в ничто. Может быть, после смерти той я буду цветком, травой, или деревом, или ветром, но вечной, в жизни я буду всегда. А сейчас, когда мне дано сознание и слова, я хочу ещё раз поблагодарить Великого Пана. Хоть разве можно знать всё? Может быть, когда я буду деревом, или цветком, или ветром, или ещё чем-нибудь, может быть, у меня и тогда найдутся слова для моей хвалы. Будет ли это шёпот деревьев, или аромат цветов, или прохлада ветра? Я не знаю, что

это будет, но хвала Жизни и Великому Пану будет всегда, покуда существует мир.

Всё это я посвящаю тебе, моя грядущая, моё будущее, моя Дочь, в которой заключён весь мир и я.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА-КУРГАНОВА

Пишу для тебя и себя...³

Перебирая семейный архив, я наткнулась на неотправленное письмо моей матери моему отцу. Моя мать, Ольга Викторовна Николаева-Недригайлова, большую часть жизни проработала в Харькове, став доктором медицинских наук, заведующей лабораторией в научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени проф. Ситенко.

Но, добившись признания как медик, мать до конца жизни была не удовлетворена тем, что ей так и не удалось стать профессиональным живописцем. И хотя письмо было написано 70 лет назад, в 1919 году, оно, как мне кажется, не потеряло актуальности и теперь.

Понимая, что позиция матери спорная, тем не менее, я всецело на её стороне.

Мне интересно будет узнать ваше мнение о нём.

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА НЕДРИГАЙЛОВА —
ВИКТОРУ ИВАНОВИЧУ НЕДРИГАЙЛОВУ

Харьков, 1919

«Дорогой папочка! Сейчас я буду писать тебе о том, о чём раньше никогда не говорила. Не принимай этого как упрёк и жалобу. Я хочу тебе сказать это потому, что у тебя есть ещё дочь, которую я очень люблю и не хотела, чтобы в её жизни произошла та же ошибка, которая была в моей.

Когда я приехала в Минск, в душе моей пела одна большая мечта — мечта об искусстве. Это была моя радость, моё счастье. Я сказала тебе об этом, сказала, что я хочу поехать в Москву и заниматься живописью, и сама всё время, каждый свободный момент (ты ведь помнишь это?! — рисовала. Но... я осталась в Минске и занималась медицинскими исследованиями, а в свободные, но усталые минуты занималась живописью. Но хотелось не минуты, а часы, целые дни посвятить искусству. Зимой я не могла сосредоточиться на медицинских науках. Я снова увлеклась живописью, поступила в студию и начала делать большие успехи. Мой учитель говорил мне: „Не знаю, какой из вас выйдет врач, но художником незаурядным вы могли бы быть, если бы всецело отдались этому делу“. Это сказал милейший художник, и слова

3. «Учительская газета», №16, апрель 1991.

его окрылили меня. Я ещё ревностнее принялась рисовать. Написала об этом тебе. Как сейчас помню твой ответ — длинное письмо, посвящённое этой теме. Ты писал, что слова этого художника ровно ничего не значат, что искусством можно заняться потом, а сперва нужно добиться самостоятельности на врачебном поприще, а уже после, в свободные минуты, заниматься живописью. Я только теперь поняла, какую я сделала громадную ошибку, послушавшись тебя тогда. Теперь я вижу: чтобы сделаться простым, средним врачом, нужно потратить массу энергии и сил; теперь я понимаю, что у врача, чтобы прилично существовать, уходит всё время на заработок, свободное время уходит на ту же медицину и на отдых; теперь я точно знаю, что можно жить, только делая любимое, интересное дело, а иначе и жить не стоит. Я только опомнилась, увидев, что прошли лучшие годы, когда многое познаётся бессознательно, с детской лёгкостью.

Раньше я была птицей с большими крыльями, на которых можно взлететь, а теперь тело моё выросло, а крылья без упражнений остались прежними и не могут поднять это грузное тело. Нужны неимоверные усилия, чтобы вырастить эти крылья, и ещё вопрос, смогут ли они поднять меня когда-либо. Чтобы стремиться к чему-либо, нужны вера, надежда и любовь. Любовь у меня

осталась, но вера и надежда поколеблены анализом, постоянными размышлениями, тем, что ты называешь „нытьём“. „Моё нытьё“ — это было постоянное неудовлетворение и самоистязание анализом: я всё время чувствовала, что в моей жизни происходит какая-то большая ошибка. Казалось бы, что ещё не всё потеряно, что я ещё молода, что всё ещё впереди. Конечно, это так. Но теперь, когда я снова повернула своё лицо к искусству и занимаюсь им, в моей душе не расцветает прежняя радость, призраки утеранных лет тревожат меня, и я испытываю большие страдания. Какая была бы техника теперь! Ты говорил, что нужна идея, тогда только стоит рисовать. Да, теперь появились идеи, замыслы, но я не могу их исполнить, потому что у меня не хватает техники.

Ах, папочка, если бы ты знал, как это тяжело, прямо невыносимо. Никому не желаю пережить таких мучений.

Относительно самостоятельности: даже теперь, когда я так отстала, я зарабатываю деньги всё-таки живописью, а не медициной. И так было бы с самого начала. Но, несмотря на всё это, я хочу думать и думаю, что это временно, что, если я много и серьёзно займусь живописью и пойму, что двинулась вперёд и начала делать успехи, — настроения и мысли изменятся. Я хочу так думать. Твоя Ольга».

ДиН РЕВЮ



Николай Алешков ЖИЗНЬ МОЯ...

Алешков — один из самых предметных поэтов, приверженных русской лирической традиции. Картины жизни человека и природы у него удивительно точны в изобразительном отношении. Прочитав стихотворение, будто через увеличительное стекло видишь описанное. Причём его строки вмещают в себя и переживание, и затаённую мысль: «Отзовётся детство гулко: с лёгкой удочкой в руке по широкому проулку босиком бегу к реке».

В его сюжетах много житейского, ему нравится укладывать в стихи ту или иную реальную историю («достану молча книжку записную и что-нибудь о жизни расскажу»). Делает он это с завидной лёгкостью, очень точно прописывая мизансцены и вскользь роняя характеристику происходящего: изображая, осознавая и одновременно ведя читателя.

Алешков всегда чувствовал себя поэтом — особенным, отдельным человеком: «Кто-то в небе поймал журавля. Я услышу небесное слово». Но только со временем стало понятно, чем оплачивается такая жизненная роль («с одиночеством дружи»; «всей душою, всюю кровью, птицей в небе — песню спеть»).

ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТЫЙ
литературный критик

Казань
Татарское книжное
издательство
2015

Анатолий Вершинский

Прямая, то есть подлинная речь

Средневековое правописание не знало кавычек. Прямая речь героев повествования, цитаты из других сочинений графически не выделялись, и отличить их от речи рассказчика можно, лишь вчитавшись в текст.

Древние литературные памятники дошли до нас в более поздних списках. Летописи при переписывании редактировались, на базе прежних сводов составлялись новые. Но в них неизменно звучала разноголосая, то сухая и чёткая, то взволнованная и сбивчивая, прямая речь.

Донести правду

В распоряжении составителей летописных сводов были разнообразные и многочисленные источники. Предшествующие летописи, зарубежные хроники, договоры князей и других субъектов права, торговые контракты, указы и послания светских и духовных владык, приказы и распоряжения военачальников, личная переписка исторических лиц, иные документы. Их оригиналы, за редкими исключениями, до нас не дошли. А многие сообщения в письменном виде вовсе не передавались и были записаны летописцами со слов участников или свидетелей вербальной их передачи.

Известный советский и российский филолог, культуролог, искусствовед Д. С. Лихачёв в книге «Русские летописи и их культурно-историческое значение» (1947) обосновал гипотезу о том, что в первые века древнерусской государственности послания и договоры князей носили почти повсеместно устный характер. Кроме тех случаев, когда князь был хорошо знаком с иной традицией — письменной. В качестве подобного исключения упомянуто послание Владимира Мономаха, «гречина» по матери, своему двоюродному брату Олегу Святославичу. Наверняка придерживался этой традиции внук Мономаха Всеволод Большое Гнездо: его мать также происходила из «Греческого царства», а сам он провёл детство в Византии, где и получил образование.

Аргументы, приведённые Д. С. Лихачёвым, весомы: краткость и подчас афористичность посланий, применение устойчивых речевых формул — целый

набор приёмов для лучшего запоминания текста теми, кто должен был передать его по назначению изустно. Но одно обстоятельство исследователь учесть не мог. Его монография была написана до открытия, перевернувшего наши представления об уровне грамотности на Руси, — до обретения древних берестяных грамот, первую из которых нашли в Новгороде в 1951 году. Если письмами, начиная с XI века, обменивались простолюдины, то отчего князья и воеводы, воспитанные в «учении книжном», должны были передавать послания и отдавать приказы исключительно устно? Логично предположить, что образованные русские люди следовали примеру византийцев и всё чаще обращались к письму. Почему не найдены их архивы? Прежде зададимся вопросом, почему в Новгородской земле и ряде других мест уцелели выброшенные после прочтения берестяные грамоты. Втоптанная в болотистую почву, без доступа кислорода, берёста хорошо сохранялась. В архивах и книгохранилищах — постепенно истлевала, утилизировалась или сгорала в пламени пожаров.

Лишь отдельные послания и прямые высказывания деятелей средневековой Руси мы имеем возможность прочесть — в летописных текстах. Насколько можно доверять этим записям? Лежат ли в их основе не дошедшие до нас документы: письма, указы, протоколы посольских приёмов, опросы участников событий по их свежим следам и т. п.? Или эти заявления вложили в уста своим героям составители летописей?

Проблема выявления в летописном тексте устных и письменных источников тесно смыкается с другой важной задачей — понять, для чего слагались летописи, и, следовательно, получить дополнительные доводы в пользу исторической достоверности приводимых в них сведений или, напротив, усомниться в ней.

Уже первые серьёзные исследователи русских летописей задались вопросом о целях их создания.

А. А. Шахматов, авторитетный русский филолог и историк, основоположник исторического изучения русского языка, древнерусского летописания и литературы, высказал в работе «Разыскания о древнейших русских летописных сводах» (1908) предположение о том, что составление первого из них было предпринято в 1039 году при

митрополичьей кафедре, основанной в Киеве двумя годами раньше. Исходя из вывода А. А. Шахматова, российский и советский историк М. Д. Прищёлков в своей «Истории русского летописания XI–XV вв.» (1940) представил возможные причины появления Древнейшего свода: «...обычай византийской церковной администрации требовал при открытии новой кафедры, епископской или митрополичьей, составлять по этому случаю записку исторического характера о причинах, месте и лицах этого события для делопроизводства патриаршего синода в Константинополе. Несомненно, новому „русскому“ митрополиту, прибывшему в Киев из Византии, и пришлось озаботиться составлением такого рода записки, которая, поскольку дело шло о новой митрополии Империи у народа, имевшего свой политический уклад и только вступившего в военный союз и „игемонию“ Империи,—должна была превратиться в краткий исторический очерк исторических судеб этого молодого политического образования». Позже, в пору зависимости русских земель от Орды, летописи, по мнению М. Д. Прищёлкова, служили «историческим доказательством при спорах князей перед ханом о великом княжении».

Своё видение проблемы предложил в книге «Поэтика древнерусской литературы» (1979) Д. С. Лихачёв: «Некоторые летописи возникли в связи с вокняжением того или иного князя, другие — в связи с учреждением епископства или архиепископства, третьи — в связи с присоединением какого-либо княжества или области, четвертые — в связи с построением соборных храмов и т. д. Всё это наводит на мысль, что составление летописных сводов было моментом историко-юридическим; летописный свод, рассказывая о прошлом, закреплял какой-то важный этап настоящего».

Идею Д. С. Лихачёва о нормативно-справочном и прецедентно-правоприменительном характере летописей поддержал российский историк Т. В. Гимон. В статье «Для чего писались русские летописи?», опубликованной в 1998 году в «Журнале ФИПП», в номере 1 (2), он пишет: «...при нынешней степени знакомства с материалом мне кажется наиболее вероятным предположение о летописях как о документах, рассчитанных на то, чтобы к ним обращались с целью получить аутентичную информацию о прошлом для доказательства чего-либо в настоящем. Если сравнивать летописание с текстами, создающимися в современном обществе, то ближе всего к нему стоят официальные протоколы, которые ведутся не для интереса или публикации, а для того, чтобы к ним можно было впоследствии обратиться для подтверждения или опровержения какой-либо устной информации. <...> Вероятно, письменное слово пользовалось большим авторитетом, чем устное; возможно, что свою роль сыграли представления о сакральности

письменности. Поэтому сильные политические корпорации стремились обзавестись своим летописанием, чтобы обеспечить себе будущее (как в земной жизни, так и, возможно, на Страшном суде). Летописание при таком понимании превращается даже в одну из функций политической власти подобно тому, как таковой является издание законов».

Представление о летописи как возможном свидетельстве защиты одних и обвинения других в Судный день развил историк И. Н. Данилевский. Наиболее полно его концепция изложена в монографии «Повесть временных лет. Герменевтические основы источниковедения летописных текстов» (2004). Автор заключает: «...Анализ эсхатологических мотивов, то более, то менее явственно звучащих в отдельных сюжетах Повести временных лет, позволяет утверждать, что в подавляющем большинстве случаев они переходят в основную тему древнейшей русской летописи. Судя по всему, именно тема конца света была для летописца системообразующей: все прочие мотивы и сюжеты, встречающиеся в Повести, дополняют и развивают её. <...> ...летописи зародились и бытовали как своеобразные „книги жизни“ („книги животные“ или „книги вопросные“), которые должны быть предъявлены на Страшном суде. Они составлялись, начиная с 30-х гг. XI в., непосредственно накануне конца времён, который пытались более или менее точно рассчитать... <...> В таком случае основная цель написания летописей — создание своеобразного документа, который будет фигурировать на Страшном суде в качестве важного доказательства оправдания — и спасения — либо осуждения конкретной человеческой души».

Вопрос о том, зачем писались летописи, по сей день остаётся дискуссионным. Но при всей разногласии мнений исследователи сходятся как минимум в одном: составители летописных сводов стремились донести до конечного адресата (будь то византийский император, ордынский хан или сам Господь Бог) правду. Пусть не всегда полную и редко беспристрастную. И, следовательно, должны были пользоваться максимально достоверными источниками фактов. Заказчиками сводов выступали, как правило, правители земель и начальники епархий, и летописцы-сводчики наверняка получали в своё распоряжение княжеские и церковные архивы. А светские и духовные владыки становились цензорами и редакторами новых летописных списков.

От первого лица

Заметной фигурой среди персонажей древних русских летописей является Всеволод Юрьевич (Георгиевич) Большое Гнездо (1154–1212). Начиная с 1169 года, его деяния запечатлены летописцами

хотя и с пробелами, но достаточно подробно. Звучит в летописях и его прямая речь: послания и публичные высказывания.

В последующем обзоре заявлений Всеволода Юрьевича летописи цитируются в упрощённой транслитерации, прямая речь выделяется курсивом. Для тех, кто испытывает затруднения в понимании древнерусского языка, приводимые цитаты сопровождаются в большинстве случаев переводом на современный русский.

Больше всего заявлений Всеволода Большое Гнездо сохранил Владимирский свод, различные редакции которого легли в основу Лаврентьевской, Троицкой и Радзивилловской летописей. Первая редакция относится, по мнению М. Д. Присёлкова, к 1177 году. Часть записей составили статьи, повествующие о борьбе младших сыновей Юрия Долгорукого со своими племянниками Ростиславичами. После смерти владимирского князя Михалка Юрьевича к власти во Владимир-Суздальской земле пришёл его младший брат Всеволод. Новые редакции свода клирики владимирского Успенского собора составляли уже под его присмотром, а после кончины князя — под приглядом его наследников.

Выдержки из Владимирского свода приводятся по репринту издания 1926–1928 годов: Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М., 1997. (Далее — ПСРЛ. Т. 1.)

В 1176 году занявший владимирский стол Всеволод «не хотя крове проляти, посла къ Мстиславу, глаголя: *Брате, оже ты привели старъишия дружина, а поьди Ростову, а оттоле миръ възметь. Тобе Ростовци привели и боляре, а мене былъ с братомъ Богъ привель и Володимерци, а Суздаль буди нама обе, да кого всхотятъ, то имъ буди князь»* (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 380–381). (Всеволод, «не желая проливать крови, направил послов к Мстиславу, говоря: „Брат, коль скоро тебя привели старшие дружинники, то поезжай в Ростов, а оттуда мир возьми. Тебя ростовцы привели и бояре, а меня в бытность с братом Бог привёл и владимирцы, а Суздадем станем владеть совместно, и кого пожелаю, тот им пусть будет князем“».)

В 1185 году Всеволод Юрьевич взял за умиротворить своих вассалов — рязанских князей — и «посла к нимъ из Володимеря слы своя в Рязань, къ Глѣбовичемъ, к Роману, и къ Игорю, и Володимеру, глаголя имъ: *Братья что тако дѣлаете, не дивно оже ны быша погании воевали, а се нонъ хочете брату своєю оубити»* (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 401). («Братья, вы что такое делаете? Неудивительно, что мы воевали с погаными, а вот ныне хотите братьев своих убить».)

В том же году Святослав, один из младших Глебовичей, за которых вступился владимирский князь, поддался на уговоры старших братьев и выдал им из осаждённой ими Рязани присланный

ранее на помощь ему отряд Всеволода. «Всеволодъ же Гюргевиць слышавъ то, оже передался Святославъ на лъсти, а дружину его выдалъ, нача збирати вои, река: *Даи мою дружину добромъ, како то еси оу мене поялъ; аще ся миришь с братьею своєю, а мои люди чему выдаешь. Язъ к тобѣ послалъ, а ты оу мене выбилъ челомъ, приславъ. Аще ты ратенъ, си ратни же, аще ты миренъ, а си мирни же»* (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 403). («Всеволод же Георгиевич, прослышав о том, что Святослав предал, поддавшись обману, а дружину его выдал, начал собирать воинов, говоря: „Отдай мою дружину добром, как её у меня взял. Если миришься с братьями своими, то моих людей зачем выдаёшь? Я к тебе [их] послал, а ты [их] у меня выбил челом, прислав послов. Если ты на войне, то и они на войне; если с тобою мир, то и с ними мир“».)

В 1205 году Всеволод отправил старшего сына Константина княжить в Новгород «и рече: *Сыну мои Костянтине, на тобѣ Богъ положилъ переже старъишинство во всеи братьи твоєи, а Новгородъ Великий старъишинство иматъ княженю во всеи Русьской земли. По имени твоємъ тако и хвала твоя. Не токмо Богъ положилъ на тебѣ старъишинство во братьи твоєи, но и въ всеи Русьской земли. И язъ ти даю старъишинство, поьди в свои городъ»* (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 422). («Сын мой Константин, на тебя Бог возложил старшинство прежде всех братьев твоих, а Новгород Великий — старшее княжение во всей Русской земле. Сообразно имени твоему такой почёт тебе. Бог возложил на тебя старшинство не только меж братьев твоих, но и во всей Русской земле. И я тебе даю старшинство, поезжай в свой город».) Ясно, что под «именем» здесь понимается родовое прозвание, происхождение. Но и личное, престижное имя старшего Всеволодича «созвучно» возлагаемой на него миссии. Он родился 18 мая; его небесный покровитель, чья память отмечается тремя днями позже (3 июня по новому стилю), — святой равноапостольный Константин Великий, римский император, сделавший христианство господствующей в его державе религией. В основе антропонима латинское прилагательное «constans» — «постоянный», «стойкий».

В 1207 году Ольговичи (потомки князя Олега Святославича, внука Ярослава Мудрого) во главе с черниговским князем Всеволодом Чермным и призванные им половцы в очередной раз выступили против киевского князя Рюрика Ростиславича, свата и союзника Всеволода Большое Гнездо. Рюрик бежал из Киева, и киевский стол занял Всеволод Чермный. «Того же лѣта, слышавъ великий князь Всеволодъ Гюргевиць, внукъ Володимеръ Мономаха, оже Олговичи воюють с пога[ны]ми землю Рускую, и сжалиси о томъ, и рече: *То ци тѣмъ отчина однѣмъ Руская земля, а намъ не отчина ли,* и рече: *Како мя с ними Богъ оуправитъ,*

хочю поити к Чернигову. И посла Новгороду по сына своего Костянтина» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 429). («В том же году прослышал великий князь Всеволод Георгиевич, внук Владимира Мономаха, что Ольговичи воюют с погаными землю Русскую, и запечалился о том, и сказал: „Разве тем одним отчина Русская земля, а нам не отчина ли?“ И сказал: „Как уж меня с ними Бог рассудит — намереваюсь выступить к Чернигову“. И послал в Новгород за сыном своим Константином».) Здесь имеется в виду «Русская земля» в узком смысле — Среднее Поднепровье, на владения в котором Всеволод претендовал, будучи внуком Владимира Мономаха, о чём напоминает летописец, и сыном Юрия Долгорукого: оба княжили в Киеве, оба имели волости в Южной Руси.

В приведённых примерах прямой речи князя первые два — послания. Они вводятся в основной, повествовательный текст летописи стандартными оборотами: «посла [слы своя] къ (перечень лиц), глаголя [имъ]...». В других случаях прямая речь маркируется глаголом «рече» («сказал») или деепричастием «река» («говоря»). Это не послания, но публичные высказывания. Исключение — обращение Всеволода к Святославу Глебовичу. Эта речь — также послание, но перед отправкой князь огласил его своим людям.

Программным политическим заявлением стал наказ Всеволода старшему сыну Константину. Прежде Новгород, как и другие русские города, подчинился Киеву. Всеволод Юрьевич называет древний центр Русского государства полным именем — Новгород Великий, объявляет Новгородское княжение старшим на Руси, а собственного наследника — преемником своего старшинства «въ всеи Русской земли». Здесь данное название применено в расширительном смысле — как имя державы Рюриковичей в целом. Примечательно, что до этого случая полное наименование первой русской столицы использовано Лаврентьевской летописью единственный раз: в рассказе о драматическом событии 1170 года — походе на Новгород, организованном Андреем Боголюбским: «Тое же зимы князь Андрѣи посла сына своего Мстислава съ всею дружиною на Великыи Новѣгородъ...» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 361).

Послания и высказывания Всеволода Большое Гнездо важны для понимания того образа, который рисуют летописцы Северо-Восточной Руси. Это образ благочестивого правителя — миротворца, поборника справедливости и воинской чести, основателя династии, призванной объединить Русь. То, что заявления идут от первого лица, убеждает в их подлинности, усиливает их воздействие на читателя.

Реже встречается прямая речь Всеволода в других древних летописях — Киевской и Новгородской.

Сначала рассмотрим свидетельства киевского летописца, пользуясь репринтом издания 1908 года: ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 1998. (Далее — ПСРЛ. Т. 2.)

В 1194 году киевский трон при поддержке Всеволода Юрьевича занял Рюрик Ростиславич. И тотчас отдал своему зятю — волынскому князю Роману Мстиславичу — несколько городов на правом берегу Днепра, часть которых рассчитывал получить великий князь владимирский. Оскорблённый попранием своих интересов, в 1195 году «присла Всеволодъ, князь Суздальскыи, послы своя ко сватуо своему Юрикови, река емоу тако: *Вы есте нарекли мя во своемъ племени, во Володимертъ, старъишаго, а нынѣ съдѣлъ еси в Киевѣ, а мнѣ еси части не оучинилъ в Роуской земль, но раздалъ еси инѣмъ, моложъшимъ братъи своеи, даже мнѣ в неи части нѣтъ. Да то ты, а то Киевѣ и Роуская область, а комоу еси в неи часть далъ, с тем же еи и блюди и стережи, да како ю с нимъ оудержиши, а то оузрю же, а мнѣ не надобѣ*» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 683). («Прислал Всеволод, князь Суздальский, послов своих к свату своему Рюрику, говоря ему так: „Вы нарекли меня в племени своём, Владимировом, старшим, а ныне ты сел в Киеве, а мне части не уделил в Русской земле, но раздал иным, младшим братьям своим, даже части в ней нет мне. Но вот ты, а вот Киев и Русская область, и кому ты в ней часть дал, с тем же её и блюди, и сторожи; но как её с ним удержит, на то посмотрю; а меня [это] не касается“».)

Боясь лишиться поддержки могущественного союзника, Рюрик поспешил исправить ошибку, и в 1196 году на просьбу киевского князя о военной помощи Всеволод ответил положительно. Ответ был предельно лаконичен: «*Ты починаи, а язъ готовъ с тобою*» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 695).

Несколько посланий Всеволода Большое Гнездо сохранила Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов (М.-Л., 1950. Далее — нпл). Эти послания (или их пересказы) весьма лаконичны.

Без лишней патетики Всеволод Юрьевич объяснил деловым новгородцам необходимость замены их князя в 1205 году: «*В земли вашей рать ходитъ, а князь вашъ, сынъ мои Святославъ, малъ; и даю вамъ сына своего старъишаго Костянтина*» (нпл. С. 246).

Впечатлило новгородского летописца то, как вразумил владимирский великий князь в 1208 году мятежных рязанцев, захвативших его сына Ярослава с придворными людьми (сведения об этом событии помещены в статье 1210 года): «*...ходи Всеволод на Рязань и рече имъ: Поидите ко мнѣ съ сыномъ моимъ Ярославомъ за Оку на рядъ; и переидоша к нему, и ту я изъима, и посла полкы и изыма жены и дѣти, а град их зажьже; и тако рачи их по градомъ*» (нпл. С. 250). («...выступил

Всеволод в поход на Рязань и сказал им: „Пойдите ко мне с сыном моим за Оку на переговоры“; они перешли к нему, и тут он их взял под стражу, и послал войска, и взял жён и детей, а город их поджёг; и таким образом рассеял их по городам».)

В 1207 году, забрав из Новгорода Константина, Всеволод Юрьевич вернул новгородцам Святослава. Но в 1209 году они сместили и заключили во владычном дворе Святослава и его свиту, а на княжеский стол посадили Мстислава Мстиславича, из младшей ветви смоленских князей. Тот снарядил войско и выступил против Всеволода. Владимирское посольство застало Мстислава в Полоцке. Всеволод в жёсткой форме, делая упор на своё старшинство в роду Мономаха (статус «отца»), предлагал обменять Святослава с его приближёнными на новгородских гостей, задержанных с их

товаром во Владимиро-Суздальской земле: «*Ты ми еси сынъ, а язъ тобѣ отецъ; пусти Святослава с мужи, и все то, еже задѣлъ, исправи; а язъ гостя пущу и товаръ*» (НПЛ. С. 250). («Ты мне сын, а я тебе отец; отпусти Святослава с мужами и, если чем обидел, всё то исправь; а я гостей отпущу и товар».) На том целовали крест и взяли мир.

Заявления владимирского великого князя, записанные киевскими и новгородскими летописцами с переданных им слов, но отнюдь не под его диктовку, укрупняют в портрете Всеволода Юрьевича важные детали — черты строгого и расчётливого хозяина немалой части русских земель.

Многим из распорядителей державного наследия стоило бы взглянуть в черты своих великих предшественников, прислушаться к их речам...

ДиН РЕВЮ



Александр Орлов

Креститель Руси

Книга для дополнительного чтения по истории

Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2015

прочитают двух-трёх классиков истории, тех же Н. М. Карамзина и С. В. Соловьёва, например, и быстренько за стол, за компьютер. Кому-то из них удаётся написать, говоря школьным языком, изложение на заданную тему, не осмысляя социально-психологическую и религиозную ситуацию в конкретном пространственно-временном интервале и дело жизни того или иного деятеля. Александр Орлов, конечно же, увлék юного читателя сюжетом, то есть сложными жизненными линиями судьбы Владимира Святославича. Кроме этого, автор помог учителям и уже влюблённым в историю Отечества ученикам (а таких немало!) разобраться в напряженных перипетиях времени и пространства.

На мой взгляд, это очень интересная, полезная и важная работа. Более того, очень хочется, чтобы Александр Орлов не остановился на этом: православная русская линия «каната истории» сама представляет собой канат из разных линий жизни. Человеку обыкновенному, не подготовленному к серьёзной историологической работе, сложно разобраться в хитросплетениях этих линий. Работы, подобные книге Александра Орлова, помогут им в этом деле. В добрый путь!

АЛЕКСАНДР ТОРОПЦЕВ

Александр Орлов, человек ответственного возраста, взвалил на свои плечи огромный груз. Написать серьёзную и одновременно увлекательную, познавательную, призывающую читателя к размышлениям книгу об одном из ключевых, знаковых политических, государственных и религиозных деятелях Руси — это сверхсложная задача. И, на мой взгляд, автор с этой задачей справился блестяще, особенно если учесть заданный объём и главных читателей книги — учеников и школьных учителей. Подобные, пропедевтического характера, задачи некоторые пишущие люди решают просто:

Лев Аннинский

Самое оно?

Александр Файн. Дороги, жизнь...

Москва: «Вест-Консалтинг», 2015

А жить всё равно надо... Хотя... разве это жизнь?
Александр Файн. Дороги, жизнь...

Раскрыв итоговый том прозы Файна (полдюжины рассказов и две повести), я попробовал углубиться в основной текст и вдруг с изумлением обнаружил, что не могу оторваться от примечаний, щедро, убористым мелким шрифтом набранных и подпирющих каждую страницу.

Из примечаний я узнал, кто такой Молотов, что такое губчека и какого росточка был Генрих Ягода, прозванный сослуживцами «карликом». Окончательно же добило меня то, что нынешние читатели путают героев Шолохова и Шишкова, авторов великих русских романов двадцатого века, как на грех, имеющих фамилии на одну букву.

Ну вот: кажется, двадцатый век и впрямь откатывается, наконец, в прошлое бесконечной Истории!

Фактура текста старательно отодвигает столетие в параметры Минувшего. Переключка десятилетий, соединённых хроникой и болью. Огромное число действующих лиц, варящихся в общей каше и словно не узнающих друг друга. Композиционные «волны», гуляющие над дробным «фактографом»... Всё это побудило одних критиков поверить, что для Файна «форма» важнее «содержания», а других — присвоить его повествованию почётнейший титул «энциклопедии русской жизни» истекшего века.

Я так было и настроился, пока один образный «крючок» не пробудил во мне привычное для критика противодействие.

«На художественно и политически образованного коммуниста Семёна Огалкина была возложена обязанность наполнить юные головы правдой большевизма, без чего артисту балета не отличить арабеск от пируэта и уж, конечно, не закрутить кряду пару дюжин фуэте».

Моя первая реакция: да что же, Огалкин этот самый — не знает, откуда взялась правда большевизма? Взвешивая тогдашние шансы спасения страны, историки видели альтернативу — в черносотенстве. «Красные» оказались безжалостнее, и народ пошёл за ними... не потому, что умные

сволочи обманули массу дураков, а потому, что это оказался путь спасения страны — путь страшный, на грани самоистребления, но в ситуации, когда выбора нет: ты побеждаешь или гибнешь вместе с народом, а если пытаешься спастись, перебегая в другой лагерь... но и там гибнешь. Гибнешь как личность... и возвращаешься опустошённый на родину, которой не узнаёшь... Война перекашивает образ жизни в образ смерти — это фатум двадцатого века с его мировыми войнами.

Читая Файна после зацепившей меня двадцать третьей страницы, я понял, что именно так он и мыслит двадцатый век и войну, в которой нет «мирных жителей», а обречены все. Достаточно увидеть у человека орденские планки — это герой, страдалец.

А сама война? Её краски?

«Последняя военная осень не скупилась на краски. Побуревшая от крови и стыда земля не успевала даже маленькими холмиками прикрывать изуродованные бездыханные тела детей своих. У войны своя мораль, свой счёт».

Счёт страшный.

«Четырёх своих положили за одного ганса».

Писатель века оглядывается на век двадцатый. «Жизнь есть жизнь, — повторяет как заворожённый. — Жизнь — она такая, как есть». Когда кругом — смерть.

Эта леденящая альтернатива работает у Файна не только во фронтовых сценах (он по возрасту к мобилизации не поспел), а ещё страшнее — в сценах добычи золота на пресловутой Трассе (куда вездесущая чека вытасила его как «члена семьи» репрессированных в детском возрасте). В этих картинах Файн становится продолжателем Солженицына и Шаламова... Провинившихся — или в штрафбат, или сразу к стенке. Да к стенке-то, по приговору, ставят друг друга начальники, в этой «людорезке» они то и дело меняются места. Эта смена ролей, в которой палачи и жертвы неразличимы, — мучительная тема современной литературы (Захар Прилепин, думая об этом, целый роман «Обитель» написал).

Файн ищет логику и в этой жути: стране нужно золото! Срочно, немедленно! На золото покупается

у западных союзников военная техника. Без неё крах неминуем. Поэтому товарищу Сталину докладывают только о том, сколько добыто. А о том, скольких душ это стоит, пусть считает товарищ Берия... Да не тех, которых по суду ставят к стенке (и они кричат: «Да здравствует товарищ Сталин!»), а тех, которых тысячами заматывает ведомство товарища Берии, и они гибнут на Трассе безвестно и безвинно.

Это и есть образ жизни военного времени. Образ смерти. Век мировых войн, павший на страну и народ.

Даже и пули не требуется, чтобы человек сгинул в этой лотерее. Статистика! Полная сил девочка с Дона уходит на войну. Возвращается без сил, опустошённая и одинокая. Меняет имя, чтобы справиться с памятью. Пробует служить Богу. Бросается под поезд. Никакого настоящего расследования — статистика военного времени висит над всеми: всё равно не выжить. Не жить. На то война. Вышедших спасёнными из этой антижизни встречают не только с радостью, но с изумлением: связи оборваны и перепутаны. Ещё один сквозной мотив у Файна: встречаются родные как впервые и... знакомятся. Братья вырастают порознь у разных родителей. В этой костоломке ни жениться, ни выйти замуж — нереально. Любовь — помимо закона, сильнее закона. За неё надо просить прощения.

«Прости, моё красно солнышко» — называется повесть о такой незаконной любви: её герой понял, что его избранница была единственно нужной, когда пришёл плакать на её могилу. А при жизни? Да в жизни всё без следа проносится: «с Натальей поздно, с Инной рано, с Ириной незачем...» А те, что посередине, — так, случайности. То ли попадёшь «в койку», то ли обойдёшься. Плакать будешь — поняв, кого потерял. А пока — вперёд! (Финальная фраза повести.) Жизнь — она и есть жизнь, а там уж — какое время тебе выпало...

И, наконец, последний вопрос, непрерывно мучающий героев Файна: бывает ли другое время? — Будет ли, наконец, другая жизнь? — А теперь другая жизнь? — И опять: Время нынче другое. — И опять, опять: — Сейчас время другое... Сейчас другие времена... Наступили другие времена...

При чтении наскоро — то ли это повторы от недовосприятия, то ли заклинивания... Но когда вдумываешься в мучающие Файна вопросы, то это ведь главный вопрос и есть: сгодится ли опыт жизни, приобретённый в катастрофическую эпоху, — в эпоху наступающую? Если время по каким-то базисным характеристикам продолжится, то опыт сгодится, и можно будет говорить об «образе жизни», но если наступит время, по сути другое, — оно будет *моё*? Или уже *не моё*? И ты уже ни тут, ни там?... Или: и там, и там...

Вот это последнее ощущение ближе всего к чаемой истине. Уповая на это, Файн на календарной

границе утешает себя и нас: «первый день третьего тысячелетия ничем не отличается от последнего дня второго тысячелетия».

День, может, и не отличается, а эпоха? Социалистическая диктатура — кончилась или не кончилась? Какая эпоха идёт ей на смену? «Электрификацию» заменили на «монетизацию». И всё?!

Доказывая, что «не всё», Файн с упоением живописует «смену идолов». Если Сталин появляется в ореоле анекдотов, иногда почти благодушных, то «Володя Симбирский» и его «революционные подруги» (сноска: Крупская и Арманд) описаны с такой победоносной издёвкой, что я не хочу это комментировать. Для равновесия Файн поминает ещё и «импотента с чёрными усиками» (сноска: А. Гитлер). Но, по мне, дело не в идолах, а в народах, которые выдвигают их в вожди и с ликованием им подчиняются (потом с ликованием растаптывают самую память о них). Идолов можно менять до умопомрачения.

А народ? «Другой» ли народ в «другую» эпоху?

Надо отдать Файну должное: он не заклинивается на модной сейчас этничности, у него наш народ — это и русские, и ещё полдюжины наций-соотечественников, включая (по «пятому пункту») и евреев.

Говоря о составе «народа» у Файна, не обойду также и нынешнюю шпану, унаследовавшую от прошлой эпохи и тип поведения, и воровскую «феню» (по полстраницы примечаний с пометкой «блатн.» — очень духовитые эпизоды).

Что же нового?

«Кожаные куртки с многочисленными лейблами, заклёпками и карманами, штаны с бахромой и высокие сапоги».

Ну, с этим ещё как-то можно справиться. С лейблами и феней. Лучше всего — иметь навык профессионального боксёра, полученный ещё в юности. Можно нокаутировать того, кто мешает. Не исключено, что служивого при исполнении. А ещё лучше — урку, который лезет в мешок. Характерная ситуация: размозжив морду такому уголовнику, герой Файна — для восстановления душевного баланса — слушает хорошую музыку. Второй концерт Рахманинова, например. А что: «жизнь такая, какая есть».

Какая же она всё-таки?

Фантастическая, если искать здравый смысл. На предприятиях, где собирали ракеты и танки «и на километровых верфях всё ещё стоят атомные крейсера высотой в двадцатипятиэтажный дом», — теперь штампуют сковородки.

Где выход?

«Уровень национальной безопасности и будущее технологической оснащённости великой державы» зависит от ВПК (военно-промышленный комплекс. — Л.А.).

Или теперь уже не великой?

Цитирую дальше:

«Кто будет оснащать армию и флот? Разве эти болтуны знают, как получается сталь для тракторов и танков, чем заправляются самолёты, какую скорость развивают подводные атомоходы? К власти должны прийти не интеллигенты-болтуны, а молчаливые технологи, способные организовать взаимодействие отраслей. Только они способны принимать взвешенные решения, которые через месяц не надо отменять... СССР—это прежде всего индустриальная мощь: заводы, оборудование, сырьё, кадры, транспорт... Армия, наконец, без которой ничего не будет».

Это уж точно хочется откомментировать. Программа—налицо.

Про СССР понятно: я сам оттуда. Но если Россия сохранит (вернёт себе и укрепит) статус и мощь великой державы, не так важно, под каким колером—под красным, трёхцветным или ещё каким,—то вот у меня вопрос: как на это отреагирует остальное человечество? Глобальная ситуация опять непредсказуема. Но не станет же другой мир безучастно созерцать нашу сверхдержаву, а уж под каким флагом будет концентрироваться противодействие, под североамериканским или под всеевропейским,—не угадаешь, особенно если в дело вмешаются миллиардные массы (исламские и другие).

Ну и какую жизнь в этом случае прогнозирует Александр Файн для России? Такую, как уже испытывали наши соотечественники в прошлые века? Между кризисом и ожиданием кризиса? Между бунтом и диктатурой, последним спасением от бунта?

А если минует Россию чаша сия—как изменится наш облик в неведомом благополучии? Великая культура рождается из великих испытаний... Что будет с народом, если он не удержит великую культуру? И чего желать такому

народу—неведомого благополучия или веками формировавших нас страданий?

Состояние народа—один из самых тревожных пунктов в раздумье Файна о прошлом и будущем России.

О народе—с непреходящей тревогой. Поля заброшены. Нет чтобы встать в четыре часа утра и вкалывать (как братья-славяне в Словении—это чтобы не поминать железных немцев). А у нас что? «Народ поганит землю-кормилицу... Работать не хотят—жить хорошо хотят. Всё друг у друга своруют, а потом что?»

Такая просторечная самохарактеристика особенно хороша в художественном смысле. Но в смысле содержательном остаётся (для меня) под тяжким вопросом. То ли наше отношение к земле—от неизбывной блаженной дури и от легендарной лени... и это неисправимо... А может, это от инстинктивного опасения, что возделанную (расчленённую и обработанную) землю не удержать в ситуации очередной катастрофы, а по крайности родимый непролаз, скрывающий сказочные недра, прикроет и народ, и землю?

Стараясь найти стиль поведения в этой непредсказуемой реальности, герой Файна усваивает первое правило: с утра стопка должна быть полна до краёв.

А закусь? Нужно же спасение от голодухи, веками терзавшей русского человека! Понимая это, Александр Файн с увлечением описывает еду. Инструктаж: как надо засаливать огурцы (в рассказе «Огурцы») —соперничает с примечанием на соседней странице: кому и как вручалось в СССР звание Героя Социалистического Труда.

Тут не просто еда. Тут опознание. Геройское опамятование. Пароль и отзыв.

— Хошь хлеба с салом?

— Можно. Сейчас самое оно!

Эльдар Ахатов

Тайна гибели Пушкина

Заблуждения и правда о дуэли

Всем нам со школьных лет известно, что Пушкин погиб на дуэли с Дантесом, защищая честь жены. Эта аксиома. История трагическая, овеянная романтическим флёром любви и ревности, множество раз описанная в убедительных красочных деталях. Пушкин действительно любил свою жену и дорожил честью семьи. Однако есть нечто вроде детского наивного вопроса в этом скорбном и понятном сюжете, на который мне так и не удалось найти никакого вразумительного ответа со времён своей юности. Всем известно о том, с какой бешеной яростью Александр Сергеевич ненавидел Жоржа Дантеса. Но если причиной такой ненависти действительно является ревность, возбуждённая слухами о супружеской измене, то пусть не вся ярость, но хотя бы тень раздражения, по любой логике, должна была бы коснуться не одного лишь «любовника», но и его «любовницы» — госпожи Натальи Николаевны. Ну хотя бы по причине того, что она в такой ситуации являлась поводом возникновения конфликта. Однако по всем канонам, которым нас учили со школы, ничего подобного со стороны поэта к своей жене почему-то не наблюдалось. Ни одного упрёка. И с её стороны — никаких заявлений и утверждений. Как можно, бешено ревнуя, преследовать только одного из двоих, совершенно не замечая «заслуг» своей супружеской половины? Это возможно только в одном случае: полной, абсолютной уверенности в том, что никаких измен и никакого флирта не было и в помине. Но что это за ревность? Ревность имеет место быть там, где есть любовь, страдающая от сомнений и недоверия к предмету любви. А если недоверия к предмету любви и сомнений в его чистоте нет, то не может быть и ревности к нему. Получается, что Пушкин не ревновал свою любимую жену ни к кому, поскольку полностью ей доверял! Так оно и есть, уверяло нас официальное пушкиноведение, поскольку это соотносится с его поведением и после дуэли: он заботился о супруге и детях до последнего мгновения жизни, так и не упрекнув её ни в чём.

Однако ни у кого из пушкинских современников ни на йоту не возникало и тени сомнения в искренней ненависти поэта к голландскому послу

Геккерну и его приёмному сыну Дантесу. Причём к послу — в не меньшей степени, чем к его взрослому «приёмному». Не кажется ли всё это странным? Пушкину вручили «диплом рогоносца», однако авторство «диплома» так и не было установлено. Для чего же нужен был этот странный «диплом»? Не для убеждения ли публики в том, что причина конфликта между Пушкиным, голландским послом и его пасынком — сугубо личная, не имеющая никаких иных причин, кроме классического любовного треугольника?

А что, если существовали такие серьёзные, но тайные причины, которые необходимо было завуалировать под «любовную драму»? Известно, что за дуэль в России полагалось наказание всем её участникам: и секундантам, и даже жертвам дуэли, даже мёртвым! А как поступил император? Он наградил поэта (в лице его семьи) посмертно так, как награждают героев России за подвиг во имя Родины, а вовсе не за семейные разборки!

Вдове Пушкина сроком до её повторного замужества была учреждена пенсия в размере 10 000 рублей. За счёт казны была погашена ссуда А. Пушкина в размере 45 000 рублей. Для того чтобы напечатать сочинения поэта, его вдове было выдано единовременное пособие в размере 50 000 рублей, с условием направления прибыли от продажи на учреждение капитала покойного. Два сына А. Пушкина были зачислены в самое привилегированное училище России — Пажеский корпус. И каждому сыну была начислена пенсия в размере 1200 рублей в год. Все долги Пушкина были погашены государственной казной. За что?! Просто из любви императора к русской литературе и сочувствия к покойному??? Это детский лепет, а не реальный ответ на вопрос¹.

Наш современник Анатолий Клепов в своей работе «Смерть А. С. Пушкина. Мифы и реальность» так комментирует эту ситуацию: «...государственная служба А. Пушкина составляла меньше 10 лет. И ему вообще не полагалась никакая

1. Клепов Анатолий. Статья «Жизнь и смерть Александра Пушкина. Мифы и реальность» (<http://www.mk.ru/blogs/posts/zhizn-i-smert-aleksandra-pushkina-mify-i-realnost.html>).

пенсия. Это могло произойти только в одном случае. Если государственный чиновник погиб на служебном посту, выполняя особое задание самого императора! Только тогда, вне зависимости от срока прохождения государственной службы, полагалось начисление пенсии в размере последнего оклада погибшего чиновника, а также денежная компенсация вдове и ближайшим родственникам погибшего. В принципе, и в настоящее время происходят аналогичные выплаты в случае внезапной гибели государственного служащего. И в настоящее время, если государственный чиновник, занимающий крупные государственные должности, погибает во время выполнения своих служебных обязанностей, то его семье государство выплачивает крупные единовременные пособия в зависимости от его оклада. <...> Могла ли быть выдана такая высокая пенсия государственному служащему, который осмелился нарушить законы Российского государства путём участия в запрещённой законом дуэли? А потом, после дуэли, фактически был осуждён судом? Конечно, нет. Строгие законы Российской империи полностью исключали это. И только вмешательство Николая I, который знал об истинных целях дуэли А. Пушкина... позволило законодательно приравнять гибель А. Пушкина на дуэли к гибели государственного служащего, выполняющего особые поручения императора». Об истинных целях дуэли! То есть истинная цель поединка не имела абсолютно никакого отношения к выдуманной для публики якобы любовной истории.

Вслед за Михаилом Юрьевичем Лермонтовым (стихотворение «Смерть поэта») обратим наше внимание на то, что поэта убил не подданный Российской империи, а иностранец:

...Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог шадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

Полагаю, однако, что Дантес как раз таки прекрасно понимал, на кого он поднимал руку. Более того: появление этого киллера, фактически наёмного убийцы, в России было хорошо подготовлено иностранными разведками. Помимо умения благодаря смазливой внешности нравиться женщинам, у Дантеса имелось ещё одно, не менее важное для организаторов убийства поэта умение — меткого стрелка, снайпера, говоря современным нам языком². Ко времени появления в России за его плечами уже была учёба в знаменитом военном училище Сен-Сир, где всего за год он успел завоевать звание

чемпиона в стрельбе по движущейся, летящей, быстро исчезающей цели — по голубям. Выстрелить на ходу, не останавливаясь, навскидку и точно попасть в нужное место — Дантесу, человеку, профессионально стрелявшему влёт, не составляло никакого труда...

Кстати, вовсе не Пушкин вызвал Дантеса на ту смертельную дуэль, как все мы почему-то по привычке считаем, и... не Дантес Пушкина. А кто-то совсем другой. Ни Наталья Николаевна, ни показательные «африканские» страсти правнука Ганнибала тут действительно... совершенно ни при чём.

Киллер Пушкина

Дуэльный вызов Пушкину сделал Луи Геккерна! Через секретаря французского посольства виконта д'Аршиака он письменно объявил Пушкину, что делает ему вызов. То есть если Дантес и стрелялся, то не за себя, а за голландского посла Геккерна! И пуля, убившая поэта, была пулей посла Нидерландского королевства, отправленная рукой всего лишь исполнителя его воли — Дантеса. При этом Дантес практически ничем не рисковал, поскольку, как сообщает литературовед Г. Фридман, его тело под мундиром было защищено доспехами — непробиваемой металлической кирасой, специально заказанной в Англии после того, как была отсрочена первая дуэль с Пушкиным, которая должна была состояться ещё осенью 1836 года. Фактически Дантес был защищён бронезиловым, при этом пистолеты были заряжены минимальным количеством пороха, чтобы кинетической энергии пули оказалось недостаточно для пробития кирасы. Секундант Дантеса, виконт д'Аршиак, знал своё дело... а вот Данзас, секундант Пушкина, скорее всего, был не в курсе подобных тонкостей дипломатических «деталей» убийства.

Можно ли представить себе, чтобы смерть иностранного литератора, всю жизнь безвыездно прожившего в своей стране, пусть даже и хорошо известного у себя на родине, вдруг вызвала небывалый международный общественный резонанс за многие тысячи вёрст от места событий — вплоть до Атлантики? Только ли литературные заслуги автора были тому причиной или нечто ещё? По сообщению литературоведа Михаила Сафонова: «28 февраля 1837 года парижская газета „Журнал де Деба“ опубликовала сенсационное сообщение из Петербурга: знаменитый русский поэт Пушкин убит. В этот же день такое же сообщение опубликовал „Курьер Франс“. 1 марта сообщение было перепечатано в „Газет де Франс“ и „Курьер де Театр“. В то время парижский „Журнал де Деба“ играл на европейском континенте ту же роль, что сегодня играет „Нью-Йорк Таймс“ во всём мире. 5 марта о гибели Пушкина сообщила своим читателям немецкая „Альгемайне Цайтунг“». Ни одному классику европейской литературы до Пушкина не

2. Крюков Сергей. Статья «Александр Сергеевич Пушкин: гениальный поэт и... разведчик». 6 июня 2012 (<http://maxpark.com/community/901/content/1370285>).

удавалось возбудить подобный интерес к факту гибели своей персоны! За исключением, может быть, лорда Байрона...

Пушкин и царь

В школьные годы нам постоянно внушалась мысль о том, что между поэтом и властью всегда пролегла пропасть, что царизм жестоко угнетал свободолюбивого поэта, исполняя функции жандарма и цензора. Однако если отношения между Александром I и Пушкиным действительно трудно назвать приятными (всем известны иронические стихи поэта об императоре), то с Николаем Павловичем у Александра Сергеевича было о чём поговорить тет-а-тет. Как известно, Н. Ф. Арендт — лейб-медик императора Николая I, врач Пушкина, — стал посредником между умирающим поэтом и царём: он передал императору просьбу поэта о помиловании секунданта Данзаса. Также поэт просил прощения за нарушение царского запрета на дуэли: «...жду царского слова, чтобы умереть спокойно...»³ Николай I ответил ему: «Если Бог не велит нам уже свидетелься на здешнем свете, посылаю тебе моё прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки». Разве это разговор врагов, а не близких по духу людей, за плечами которых много общего, в том числе и любовь к Родине, и забота о близких? Стансы, посвящённые Пушкиным императору Николаю Павловичу, говорят совсем о другом:

В надежде славы и добра
Гляжу вперёд я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.
Самодержавною рукою
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал её предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд;
Во всём будь пращурю подобен:
Как он, неутомим и твёрд,
И памятью, как он, незлобен.

О взглядах и политике Николая I можно сказать следующее: Николай I прежде всего считал себя защитником национальных интересов страны, хотя не отказывался от участия в делах Западной Европы. Он отстаивал принципы абсолютной монархии, отвергал конституционализм и свободу

личности, настороженно относился к либеральным идеям, стоял за неизменность территориальных границ в Европе, утверждённых решениями Венского конгресса, более всего заботясь о спокойствии собственного государства.

Россия в то время становилась объектом страха, ненависти и насмешек в глазах либеральной части европейского общественного мнения, а сам Николай I приобретал репутацию «жандарма Европы». Однако при этом западные историки почему-то забывают, что в своей внешней политике император Николай Павлович выполнял договоры, подписанные во время предыдущего царствования, а Россия пунктуально придерживалась политики Священного союза. Но в этом-то и состоял весь трагизм: лишь Россия сделала Священный союз целью своей политики, делала всё для блага союза. Другие же страны использовали его как средство достижения собственных целей.

Усиленная дипломатическая борьба против России во время восточного кризиса двадцатых годов XIX века фактически была проиграна⁴. Преобладание России в турецких делах произвело тревогу среди европейских правительств и придало острый характер «восточному вопросу». Под «восточным вопросом» тогда понимали все вопросы в связи с распадом Турции и с преобладанием России на Балканском полуострове. Европейские державы не могли быть довольны политикой императора Николая, который считал себя покровителем балканских славян и греков. Добрым отношениям России с Турцией стремились помешать Англия, Австрия и Франция, которые соперничали с Россией на Ближнем и Среднем Востоке. Особенно недоброжелательной была Англия. Существует версия о том, что именно англичане подстрекали персидских мусульман к нападению на русское посольство в Тегеране, в результате которого погиб посланник русского императорского двора поэт Александр Сергеевич Грибоедов. Обратите внимание: государь доверил российское посольство поэту, написавшему «Горе от ума», произведение, вроде бы направленное против государственного устройства того времени! Но царь не бросил талантливого человека в тюрьму, не отправил в ссылку, а доверил ответственной миссией — быть послом России в иностранной державе!

Было ли нечто общее в воззрениях поэта Пушкина и императора Николая Павловича? Несомненно! Император Николай I был убеждённым противником крепостного права. В годы его царствования существовало девять секретных

3. Жуковский Василий Андреевич. Письмо Пушкину Л. С. 15 февраля 1837 (<http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/texts/zhuk4/zh4/zh4-602-.htm>).

4. История Российской империи. Внешняя политика Николая I (<http://www.rosimperija.info/post/348>).

комитетов, занимавшихся разработкой проектов отмены крепостного права и предоставления помещичьим крестьянам более широких прав. Доверив руководство крестьянским делом твёрдому приверженцу освобождения крестьян П. Д. Киселёву, царь сказал ему: «Ты будешь мой начальник штаба по крестьянской части»⁵. Он одобрил начало реформы государственной деревни, подготовленной Киселёвым, и в 1840-е годы издал ряд указов, расширявших личные и имущественные права крепостных крестьян. Но так и не решился осуществить полную крестьянскую реформу, считая, что Россия, в условиях враждебного окружения и популярности революционных идей, ещё не готова к этому.

Турецкий поход Пушкина

В сентябре 1826 года император приказывает Пушкину прибыть в Москву «в своём экипаже свободно, под надзором фельдъегеря не в виде арестанта». 8 сентября 1826 года в Москве, в Чудовом монастыре, состоялась встреча нового императора Николая I и поэта. О состоявшейся тогда беседе сохранилось мало сведений достоверного характера. Можно утверждать только то, что между собеседниками было достигнуто некое устное соглашение. Николай I не только разрешил Пушкину жить в обеих столицах, но и стал его первым (и единственным!) цензором в государстве, освободив произведения поэта от какой-либо иной государственной цензуры.

О том, каково было впечатление Александра Сергеевича от знакомства с новым императором России, можно судить по следующим сообщениям... 12 июля 1827 года глава Третьего отделения А. Х. Бенкендорф докладывал Николаю I: «Пушкин, после свидания со мной, говорил в Английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он всё-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно». В октябре 1827 года шеф Третьего отделения получает сообщение: «Поэт Пушкин ведёт себя отлично хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит государя и даже говорит, что обязан ему жизнью, ибо жизнь так ему наскучила в изгнании и вечных привязках, что он хотел умереть».

Началась Турецкая война. Пушкин пришёл к Бенкендорфу проситься волонтером в армию. Бенкендорф отвечал ему, что государь строго запретил, чтобы в действующей армии находился кто-либо, не принадлежащий к её составу, но при этом благосклонно предложил средство участвовать

в походе. «Хотите,—сказал он,—я определю вас в мою канцелярию и возьму с собою?» Пушкину предлагали служить в канцелярии Третьего отделения. Кстати, существуют и воспоминания А. А. Ивановского, чиновника Третьего отделения, достоверность которых не подвергается сомнению. Вот что он пишет: «В половине апреля 1828 года Пушкин обратился к А. Х. Бенкендорфу с просьбою об исходатайствовании у государя милости к определению его в турецкую армию. Когда ген. Бенкендорф объявил Пушкину, что его величество не изъявил на это соизволения, Пушкин впал в болезненное отчаяние... Он квартировал в трактире Демута... Человек поэта встретил нас в передней словами, что Александр Сергеевич очень болен и никого не принимает». Но Пушкин принял Ивановского. «Если б вы просили о присоединении вас к одной из походных канцелярий: Александра Христофоровича Бенкендорфа, или графа К. В. Нессельроде, или П. И. Дибича—это иное дело, весьма быточное, вовсе чуждое неподобных препятствий»,—заявил жандарм. «Ничего лучшего я не желал бы!.. И вы думаете, что это можно ещё сделать?»—воскликнул Пушкин. На что последовал ответ: «Конечно, можно».

О дороге в расположение русской армии Пушкин замечает: «Дорога через Кавказ была скверной и опасной—днём я тянулся шагом с конвоем пехоты и каждую днёвку ночевал—зато видел Казбек и Терек. В лагерь я прибыл в самый день перехода через Саган-лу, и, раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать. Генерал И. Ф. Паскевич, будущий граф Эриванский, позволил мне въехать вслед за ним в завоёванный Арзрум».

Из книги «История военных действий в азиатской Турции в 1828 и 1829 годах...» известно не только о присутствии поэта в рядах сражающейся русской армии, но и о непосредственном участии его в боях и перестрелках с противником.

Пушкин принял участие в турецком походе русской армии и принёс очевидную пользу русскому военному командованию. Чем? Как минимум своими наблюдениями, записями того, что в иных случаях могло ускользнуть от внимания отцов-командиров. По крайней мере, известно, что на обратном пути из Тифлиса в Санкт-Петербург Пушкин предъявлял подорожную такого содержания: «Г. чиновнику 10 класса Александру Сергеевичу Пушкину, едущему от Санкт-Петербурга до Тифлиса и обратно, предписано Почтовым местам и Станционным смотрителям давать означенное в подорожной число почтовых лошадей без задержания и к приезду оказывать всякое содействие». Напомним, что подорожная—письменное свидетельство, необходимое для проезда по почтовым дорогам империи. Она выдавалась

5. Воронин В. Е., Перевезенцев С. В. Статья «Николай I» (http://www.portal-slovo.ru/history/35595.php?ELEMENT_ID=35595&PAGEN_1=2).

губернскими или уездными властями и удостоверяла, во-первых, личность путешественника, что заносилось в специальный журнал на каждой станции, во-вторых, возможность получить на почтовой станции зависевшее от чина и звания проезжающего определённое количество лошадей. На оборотной стороне подорожной Пушкина для проезда в Тифлис сделана приписка: «Сие предписание в Комендантском управлении при Горячих минеральных водах явлено и в книгу под 109-й записано 8 сентября 1829 года. В должности плац-адъютант подпоручик Войтикович».

Возвращаясь из военного похода, поэт пишет:

Блеща средь полей широких,
Вон он льётся!.. Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далёких
Я привёз тебе поклон.
Как прославленного брата,
Реки знают тихий Дон;
От Аракса и Евфрата
Я привёз тебе поклон.
Отдохнув от злой погони,
Чуя родину свою,
Пьют уже донские кони
Арпачайскую струю.
Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.

Кстати говоря, походная канцелярия Бенкендорфа—это контрразведка. В компетенцию Третьего отделения входило, помимо всего прочего, управление и главной Императорской квартирой, и Собственным Его Императорского Величества конвоем. Граф К. В. Нессельроде, мид—это политическая разведка. П. И. Дибич—военная разведка. До 1832 года—официальной даты создания в России политической разведки—собственная разведка существовала в военном министерстве и коллегии иностранных дел России. Подобные сведения наводят на весьма определённую мысль о том, что между Пушкиным и контрразведкой России имелись определённые связи...

Пушкин и государственная служба

21 июля 1831 года Пушкин пишет А. Х. Бенкендорфу: «Заботливость истинно отеческая государя императора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями его величества, мне давно было тягостно моё бездействие. Мой настоящий чин (тот самый, с которым выпущен я был из Лицея), к несчастью, представляет мне препятствие на поприще службы. Я считался в Иностранной коллегии от 1817-го до 1824-го года; мне следовали за выслугу лет ещё два чина, т. е. титулярного и коллежского асессора; но бывшие мои начальники забывали о моём представлении. Не знаю, можно

ли мне будет получить то, что мне следовало. Если государю императору угодно будет употребить перо моё, то буду стараться с точностью и усердием исполнять волю его величества и готов служить ему по мере моих способностей. В России периодические издания не суть представители различных политических партий (которых у нас не существует), и правительству нет надобности иметь свой официальный журнал; но тем не менее общее мнение имеет нужду быть управляемо. С радостью взялся бы я за редакцию политического и литературного журнала, т. е. такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости. Около него соединил бы я писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые всё ещё дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению. Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее моё желание написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III».

Ну, хорошо, скажете вы, пусть так, но какое отношение всё это имеет к гибели Пушкина? Самое прямое, если иметь в виду последствия вступления поэта на государственную службу и сознательные старания очень влиятельных лиц скрыть правду от современников и потомков... В 1837 году погиб не литератор Пушкин в смехотворной юношеской должности камер-юнкера и не на почве глупой семейной ревности, а камергер (генерал-майор) его величества поэт Александр Сергеевич Пушкин, павший смертью храбрых, защищая интересы нашего Отечества! Об этом—в следующей части повествования. Однажды Александр Сергеевич на вопрос своего друга-лицейста о том, где он служит, ответил просто и ёмко: «Я числюсь по России». «Числиться по России» в устах поэта означало «беззаветно служить своему Отечеству»... Крылатая фраза Евгения Евтушенко: «Поэт в России—больше, чем поэт»,—известна давно. Кстати, более всего это заметно иностранцам, людям со стороны. Как метко сказала одна итальянская исследовательница пушкинского наследия: «Россия—единственная в мире страна, которая не перестаёт скорбеть по своим поэтам... Только в России убийство Поэта равно Богоубийству».

Пушкин и польские события

В статье «Десятая глава „Евгения Онегина“. История разгадки» литературовед Б. Томашевский сообщает:

«В 1906 году, в издании „Пушкин и его современники“, выпуск IV, появилось составленное

В. И. Срезневским описание рукописей Майковского собрания. Описание предварено кратким введением, в котором между прочим говорится:

„В 1904 году Рукописное отделение библиотеки Академии Наук обогатилось ценнейшим собранием автографов Пушкина, принесённым в дар Академии вдовой покойного Леонида Николаевича Майкова Александрой Алексеевной Майковой...“

В таком описании, которым, по мнению автора, не было „нарушено желание жертвовательницы“, значилось два загадочных пункта:

37 д) Наброски из Путешествия Онегина. Листок сероватой бумаги с клеймом 1823 г. Среди текста красная цифра 55.

57) „Нечаянно пригретый славой...“ и „Плешивый щёголь, враг труда...“ (1830?). В четвертку, 2 л. (1 л. перегнутый пополам). На бумаге клеймо 1829 г. Красные цифры: 66, 67. Текст писан с внутренней стороны сложенного листа. Поправок почти нет; писано наскоро, многие слова недописаны, собственные имена обозначены буквами⁶.

Речь идёт о зашифрованных текстах, так называемых криптограммах, составленных Пушкиным и относящихся к уничтоженной им десятой главе «Евгения Онегина». Мастерство, которым Александр Сергеевич обладал в умении составлять шифры и криптограммы, заставило исследователей его творчества десятилетиями ломать головы над их расшифровкой⁷. То, что Пушкин в совершенстве владел этой «наукой», доказывают и исследования академика В. А. Чудинова⁸. В рисунке А. Пушкина «Медный всадник» он по методике Шиллинга фон Канштадта «выявил» целых семь криптограмм!⁹

Во всём мире способность и знания лингвистов используются криптографами для успешного дешифрования переписки противника. А сами специалисты — ценятся на вес золота! 26 августа 1831 года армия генерала Паскевича штурмом берёт Варшаву. Именно в это время российским спецслужбам путём дешифровки секретной переписки руководителей польского восстания

удалось получить точные имена близких связей польских заговорщиков в российском и других дворах Европы.

А за месяц с небольшим до этого, 20 июля 1831 года, Пушкин пишет письмо Николаю I с просьбой зачислить его на государственную службу. Обычно подобные бумаги в царской канцелярии рассматривались, мягко говоря, не слишком быстро, как минимум месяцами. Однако в этом конкретном случае прошение было рассмотрено мгновенно! Уже 21 июля (на следующее утро!) Николаю I приказывает Бенкендорфу, курирующему Департамент внешних сношений МИД, дать указание Нессельроде принять Пушкина на службу. 23 июля Нессельроде получает письмо от Бенкендорфа от 22-го числа о Высочайшем повелении определить Пушкина в Государственную коллегию иностранных дел!

В связи с польскими событиями западная пресса развернула в Европе настоящую информационную войну против России. Пушкин, по долгу своей новой службы, знал о готовящемся штурме Варшавы и о вероятности в связи с этим начала масштабной истерической кампании в западных средствах массовой информации. Буквально на следующий день после взятия Варшавы стихотворения А. Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» были представлены Николаю I.

Седьмого сентября 1831 года было получено цензурное разрешение на выпуск брошюры «На взятие Варшавы» с произведениями А. С. Пушкина и В. А. Жуковского. Такой молниеносной публикации литературных произведений Россия ещё не знала! Стихотворения А. Пушкина «попадают» в прессу Франции, Германии и Австрии, вызывая немалый интерес в политических и культурных кругах этих стран. Австрийский посол в Петербурге граф К. Л. Фикельмон к письму австрийскому канцлеру Меттерниху с разъяснением политической обстановки в России, связанной с польским восстанием, приложил стихотворения А. Пушкина. При этом подчёркивал, что текст был одобрен императором Николаем I.

Таким образом, эти произведения расцениваются как способ выражения позиции русского правительства. Тонкий дипломатический ход! Он заставлял руководителей европейских государств серьёзно задуматься о возможных последствиях своих действий, но в то же время не давал никаких поводов для использования художественных произведений российских подданных Пушкина и Жуковского в качестве аргументов для инсинуаций и обвинений в адрес официальной позиции России в польском вопросе. Пушкин уже в начале своей государственной карьеры оказался на острие политической контрпропаганды самого высокого уровня¹⁰.

6. Томашевский Б. В. Статья «Десятая глава „Евгения Онегина“» (<http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l16/lit-379-.htm>).
7. Фридман Григорий. Статья «Гончаровы, Пушкин и непонятные письмена». Журнал-газета «Мастерская», 14 июля 2013.
8. Чудинов В. А. «Тайнопись в рисунках Пушкина». Издательство «Поколение», 2007.
9. Крюков Сергей. Статья «Александр Сергеевич Пушкин: гениальный поэт и... разведчик». 6 июня 2012 (<http://maxpark.com/community/901/content/1370285>).
10. Сушанский Аркадий. Статья «Поэт невидимого фронта». Газета «Секретные материалы XX века», выпуск №19 (405), 2014.

Клеветникам России

О чём шумите вы, народные витии?
 Зачем анафемой грозите вы России?
 Что возмутило вас? волнения Литвы?
 Оставьте: это спор славян между собою,
 Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
 Вопрос, которого не разрешите вы.
 Уже давно между собою
 Враждуют эти племена;
 Не раз клонилась под грозой
 То их, то наша сторона.
 Кто устоит в неравном споре:
 Кичливый лях или верный росс?
 Славянские ль ручьи сольются в русском море?
 Оно ль иссякнет? вот вопрос.
 Оставьте нас: вы не читали
 Сии кровавые скрижали;
 Вам непонятна, вам чужда
 Сия семейная вражда;
 Для вас безмолвны Кремль и Прага;
 Бессмысленно прельщает вас
 Борьбы отчаянной отвага—
 И ненавидите вы нас. . .
 За что ж? ответствуйте: за то ли,
 Что на развалинах пылающей Москвы
 Мы не признали наглой воли
 Того, под кем дрожали вы?
 За то ль, что в бездну повалили
 Мы тяготеющий над царствами кумир
 И нашей кровью искупили
 Европы вольность, честь и мир?..
 Вы грозны на словах—попробуйте на деле!
 Иль старый богатырь, покойный на постеле,
 Не в силах завинтить свой измайловский штык?
 Иль русского царя уже бессильно слово?
 Иль нам с Европой спорить ново?
 Иль русский от побед отвык?
 Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
 От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
 От потрясённого Кремля
 До стен недвижного Китая,
 Стальной щетиною сверкая,
 Не встанет русская земля?..
 Так высылайте ж к нам, витии,
 Своих озлобленных сынов:
 Есть место им в полях России,
 Среди нечуждых им гробов. . .

Пушкин и политика России на Балканах

Я уже упоминал о том, что Европа была всерьёз обеспокоена политикой императора Николая I, считавшего миссией России покровительство православным балканским славянам и грекам. Именно в эти годы Пушкин использует свой гениальный литературный дар на благо возрождения культурно-исторических связей

России и славянских народов, населяющих Балканы. Пушкин был хорошо знаком с сербской народной поэзией. В молодости, будучи в Бесарабии, поэт записывал сербские предания и песни из уст выходцев из Сербии, знал от первоисточников подлинное фонетическое звучание южнославянских песен.

В его библиотеке имелись книги, связанные с южнославянскими народами: словарь сербского языка, составленный Караджичем (1818), три тома его собрания народных песен издания 1823–1824 годов, французский перевод известной книги итальянского учёного-натуралиста аббата А. Фортиса «Путешествие по Далмации» (1778), а также книга сербских народных песен из собрания Караджича в переводе на французский язык Э. Войяр (Париж, 1834). Пометки и закладки поэта в этих книгах доныне остаются свидетельствами их внимательного изучения. Гениальная художественная интуиция помогла поэту создать стихотворения, отмеченные истинно славянской ментальностью. Созданный им цикл «Песни западных славян» включал также переводы двух сербских народных песен и три оригинальных стихотворения, в том числе «Песню о Георгии Чёрном». А. С. Пушкин был одним из первых, кто открыл для России удивительный мир сербов, особенности их культуры, поэзии и психологии.

Имя Пушкина становится известным у славян уже с двадцатых годов XIX столетия. Впервые оно появляется в австрийском сербском журнале «Сербске летописи» за 1825 год, учредителем и редактором которого был Джордже Магарашевич (1791–1830), известный деятель культуры, меценат, учитель Новосадской гимназии. Год спустя он же поместил в этом журнале обзор поэмы «Бахчисарайский фонтан» и очерк «О поэту Русскомъ Пушкину». А чуть позже в сербской периодике были опубликованы пушкинские стихотворения «Дочери Карагеоргия», «Муза», «Гречанке», «Подражание Байрону» на русском языке¹¹.

Великий сербский поэт и владыка Черногории Пётр Петрович Негош (1813–1851) побывал в России в год кончины Пушкина; в феврале 1837 года он останавливался во Пскове и предположительно посетил могилу поэта в Святогорском монастыре. Портрет Пушкина висел над его письменным столом. Негош выписал из России первое посмертное издание «Сочинений» Пушкина (1838–1841). А в 1838 году вместе со своим секретарём Дмитрием Медаковичем он начал издавать литературный ежегодник «Грлица», в первом же выпуске которого на русском языке были напечатаны два стихотворения из цикла

11. *Масленникова Наталья*. Статья «Наследие Пушкина на Балканах». 13 сентября 2008. Сайт «Сербска.ру» (<http://srpska.ru/article.php?nid=9440&sq=19&crypt>).

Пушкина «Песни западных славян» — «Бонапарт и черногорцы» и «Песня о Георгии Чёрном». Сам же Негош посвятил русскому поэту поразительное стихотворение «Тени Александра Пушкина». Именно оно открывало антологию героических сербских песен «Српско огледало» (Белград, 1845), составленную черногорским владыкой, в которой часть песен принадлежала его собственному перу. Муза Пушкина нашла благодарный отклик в сердцах братьев-славян.

Об отношении к русским и русскому языку со стороны южных славян можно судить по такому эпизоду. Словенская Любляна находилась на одном из маршрутов передвижения суворовских войск во время итальянского похода. В марте 1799 года через неё должен был проследовать вспомогательный корпус генерала от инфантерии Я. И. Повало-Швейковского. В мае 1799 года в газете «Ljubljanske novice» (№26) её редактор Валентин Водник писал следующее: «Вот новое событие для нас, краинцев,—русские, наши древние братья, пришли, чтобы не только повидаться с нами, но и защитить от врага. Полторы тысячи лет назад наши предки пришли в эти края, они происходили от русов и других славян; потому-то мы легко понимаем русский язык; дело в том, что они суть славяне и тот корень, от которого происходят наши отцы. Теперь мы видим воочию, какие есть у нас в мире могучие и великие братья, которые наш славянский язык сохранили в совершенной чистоте. Именно их примеру должно следовать каждый раз, когда мы желаем облагородить свой язык. И у них же нужно учиться защищать свою землю от врагов. И если они прошли столь долгий путь, то почему бы нам, живущим здесь, не помочь им одолеть неприятеля?»

Пушкин и пугачёвщина

В июле 1831 года, ступив на государственную службу, согласно присяге, произнесённой и подписанной в присутствии священника, Александр Сергеевич Пушкин обязался хранить государственные секреты. Великий поэт был человеком слова. Ни разу за всё время своей жизни присяги он не нарушил. Как установлено, Пушкин получал официальную зарплату не в миде, где числился, а из специального фонда Николая I в министерстве финансов. Такое практиковалось только в самых исключительных случаях, для очень узкого круга наиболее секретных специалистов государственных служб. Царским указом было запрещено публично упоминать о служебной деятельности подобных лиц. Более того, именно это обстоятельство — самая вероятная причина

того, почему Пушкину никогда не разрешали выезжать за границу.

Об уровне секретности служебной деятельности Пушкина можно только догадываться по редким случайным фразам его переписки с женой. Так, он пишет ей: «...вероятно, и твои письма распечатывают: этого требует государственная безопасность» (8 июня 1834 г.); «...пакет Бенкендорфа (вероятно, важный) отсылаешь, с досады на меня, бог ведает куда...» (3 октября 1832 г.). Какими же делами занимается поэт на государственной службе? Что может быть в них секретного? Обратимся за ответом к самому Александру Сергеевичу. 30 июля 1833 года в письме А. Н. Мордвинову Пушкин пишет: «...труды мои, благодаря государя, имеют цель более важную и полезную». Более важную и полезную, чем обычные труды. Именно такой намёк сквозит в этой фразе. В означенный период времени Пушкин занимался написанием «Истории Пугачёвского бунта».

2 ноября 1833 года находившийся в селе Болдино Пушкин обращается к читателям только что завершённой «Истории Пугачёва»:

«Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною оставленного. В нём собрано всё, что было обнародовано правительством касательно Пугачёва, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нём. Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельством живых.

Дело о Пугачёве, донныне не распечатанное, находилось в государственном санкт-петербургском архиве вместе с другими важными бумагами, некогда тайнами государственными, ныне превращёнными в исторические материалы. Государь император по своём востестве на престол приказал привести их в порядок. Сии сокровища вынесены были из подвалов, где несколько наводнений посетили их и едва не уничтожило.

Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачёве, легко исправит и дополнит мой труд — конечно, несовершенный, но добросовестный. Историческая страница, на которой встречаются имена Екатерины, Румянцова, двух Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона, Вольтера и Державина, не должна быть затеряна для потомства»¹².

Заметьте: писатель сообщает о том, что представляет вниманию публики только часть труда, только отрывок, в котором содержится информация, обнародованная правительством. То, что было разрешено. Значит, существовало нечто, что продолжало оставаться секретным, тайным во всей этой пугачёвской истории?

23 ноября 1834 года Пушкин сообщает А. Х. Бенкендорфу: «История Пугачёвского бунта» отпечатана. Я желал бы иметь счастье представить первый экземпляр книги государю императору,

12. Пушкин Александр Сергеевич. История Пугачёва. Исторические статьи и материалы. Воспоминания и дневники (<http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/p7.txt>).

присовокупив к ней некоторые замечания, которых не решился я напечатать, но которые могут быть любопытны для его величества». Это означает, что действительно в работе Пушкина по истории Пугачёва было нечто, о чём никому, кроме царя, не должно было стать известным. Почему поэт, посвятивший целых три стилизованные под народные песни Стеньке Разину, не нашёл ни одного доброго слова о Емельяне Пугачёве? 26 апреля 1835 года поэт делится мыслями в письме Ивану Ивановичу Дмитриеву: «Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачёв представлен у меня Емелькою Пугачёвым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. Полевому, который, вероятно, за сходную цену возьмётся идеализировать это лицо по самому последнему фасону». В чём разница между Разиным и Пугачёвым?

Пугачёв выступал не под своим именем, а под именем Петра II, то есть играл роль лже-царя, тем самым провоцируя в стране государственный переворот в личных интересах. Кому это было выгодно? Известно, что в результате Пугачёвского бунта Россия была вынуждена форсировать подписание мирного договора с Османской империей, пойдя на значительные уступки противнику, несмотря на блестяще одержанные победы. В этом смысле пугачёвщина оправдала надежды, возлагавшиеся на неё Западом: персона русского лже-царя оказалась на самом пересечении глобальных геополитических интересов сразу всех последовательных недругов Российской империи в Европе.

Идея лже-царя витала в воздухе с 1762 по 1798 год: более сорока человек пытались выдавать себя за покойного императора Петра III. И в Европе об этой идее были прекрасно слышаны. Но только Пугачёву удалось воплотить её в жизнь с наибольшим успехом. Почему? Чем этот «тёртый калач» отличался от остальных «претендентов» на престол? Во-первых, он, в отличие от остальных самозванцев, многократно бывал за границей: в Пруссии, на тогдашних турецких территориях (Бендеры) и дважды в Польше. В Пруссии в период с 1756 по 1763 год его полк состоял в дивизии графа Чернышёва. Между 1764 и 1767 годами Пугачёв был командирован в Польшу с командой есаула Елисея Яковлева. В 1769 году, с началом русско-турецкой войны, хорунжий Пугачёв в команде полковника Кутейникова направляется к Бендерам. В 1772 году, уже по своей инициативе, он снова отправляется в Польшу с целью получения «чистого» паспорта, поскольку уже находился в розыске. И «чистый» паспорт у него появился! Во-вторых, именно в тот исторический период Франция выступала главным оппонентом растущей Российской империи. Она фактически подталкивала Османскую империю к новой войне с Россией. Она же вредила российским интересам

в Польше. Она же поддерживала антироссийские силы в Швеции, всё ещё жаждавшей реванша за поражение в Северной войне. Людовик XV (годы жизни: 1 сентября 1715–10 мая 1774) писал своему послу в Санкт-Петербурге: «Нам выгодно всё, что может погрузить Россию в хаос и прежнюю тьму». Пугачёв, как никто другой, идеально вписывался в программу внесения в Россию того самого пресловутого «рукотворного» хаоса. Не исключено, что именно тогда он стал известен сотрудникам «особых канцелярий» ряда европейских стран.

Когда Пушкину стало известно о найденных в пугачёвской ставке в Бердской слободе семнадцатью бочками медных монет, он сразу же выразил явное сомнение в том, что бунтовщики могли самостоятельно чеканить монету с портретом Петра III и латинским девизом: «Я воскрес и начинаю мстить». Но кто бы мог подтвердить реальность существования вообще каких-либо бочек с деньгами? Сам Емельян Иванович и подтвердил на первом же допросе в Симбирске! Из протокола допроса Е. И. Пугачёва в следственной комиссии в Симбирске (записано со слов Пугачёва): «От калмык дербетовских получил он письмо, подходя к Дубовке... Вскоре после того прибыли калмыки и с толпою бунтовщиков соединились. Князь старший и прочие, пришедши к злодею, становились на колени пред ним и целовали его мерзкую руку, обнадеживали его в верности. И самозванец, лаская их, благодарил и дал 50 рублей старшему князю, двум братьям его— по 30 рублей, прочим князьям, коих было около 50 человек, дарил сукна на кафтаны, а всему войску высыпал бочку медных денег». Однако медь, безусловно, была екатерининская.

Официальная правительственная газета «Газет де Франс» два века назад на полном серьёзе писала о Пугачёве вовсе не как о вожде восставших, а как об императоре Петре III. Из письма французского посланника в Вене графа Сен-При своему резиденту в Константинополе: «Король направляет к вам подателя сего письма, который по собственной инициативе вызвался оказать помощь Пугачёву. Это офицер Наваррского полка, имеющий множество заслуг. Вы должны как можно скорее отправить его с необходимыми инструкциями для так называемой армии Пугачёва. Король вновь выделяет вам 50 тыс. франков для непредвиденных расходов, помимо того, что вы должны получить из выделенных вам средств за прошлый месяц. Не жалейте ничего для того, чтобы нанести решающий удар». Кроме того, тогда же получила скандальную огласку история с арестом и ссылкой в Сибирь француза на русской службе полковника Анжели. В публикации «Газет де Франс» от 1 июля 1774 года говорилось: «Полковник Анжели, француз на русской службе, был в оковах отправлен в Сибирь. Обнаружили, что

он имел связи с мятежниками и тайно подстрекал многие русские полки к восстанию». И так, Париж действительно выделял немалые средства на организацию хаоса в России. Причём это, судя по всему, был регулярный транш, вполне сравнимый с выделяемыми ныне на поддержку российской «пятой колонны» западными грантами.

Лже-Пётр имел серьёзные средства не только для оплаты своих военных специалистов и советников, но и для ведения полномасштабной пропагандистской кампании. Его «прелестные письма», которые сейчас бы назвали агитационными листовками, были отпечатаны в хороших типографиях и стоили тогда весьма приличных денег. Французы готовили координацию действий между турками и отрядами Пугачёва. Граф де Сен-При писал тогда из Вены в Константинополь: «Турецкая армия должна предпринять диверсию в пользу Петра III».

Свидетельствует сам Пугачёв: «Из чиновных людей в бунтовщицкой шайке у него, злодея, были с самого начала, после разбития генерал-майора Кара... Второго гренадерского полку подпоручик Шванович. Сей офицер служил ему, злодею... охотно сказывал злодею о себе, что он, Шванович, крестник в бозе опочивающей государыни императрицы Елизаветы Петровны, что умеет говорить многими языками и может способным быть к установленной в то время злодейской коллегии. По сей просьбе приказал злодей Швановичу быть при названной Военной коллегии и перевести на немецкий язык подложный манифест и указ к оренбургскому губернатору. И с тех пор уже под всеми злодейскими указами подписывался он, Шванович, вместо самого злодея по латыни „Петер“. Сверх того, слышал он, злодей, от Горшкова, что онный думный дьяк, злодейской коллегии обще с Швановичем писали указ на немецком и французском языках, но куда онный указ послали — злодею якобы неизвестно».

Ну куда? Ясно, что русским крестьянам и казакам послания на немецком и французском языках как-то особо ни к чему. Служили злодею и другие дворяне, например, подпоручик Минеев, майор Салманов, капитан артиллерии князь Баратаев и так далее. Пугачёв не скрывал от следователей их фамилий.

«Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачёве, легко исправит и дополнит мой труд — конечно, несовершенный, но добросовестный», — писал Пушкин в своём обращении к читателям «Истории Пугачёвского бунта». Однако столь пристальный интерес к этой странице истории Российского государства со служебной стороны для Пушкина не ограничивался простой констатацией фактов шестидесятилетней давности. Проводя некоторые геополитические аналогии, можно сказать, что

пушкинское исследование, безусловно, имело цель «более важную и полезную» не только для государя Николая I, но и для нас с вами. Методы искусственного создания благоприятных условий для «оранжевых» революций в разных неугодных странах и «загребания жара чужими руками» у Запада остались те же. Вероятно, именно этот аспект интересовал российскую секретную службу в работе Пушкина более остальных. И именно об этом шла речь при встрече государя с великим поэтом. И именно это явилось для агентов западной дипломатии главной, основополагающей причиной физического устранения камергера, действительного статского советника, генерал-майора Пушкина, чьё влияние на политику императорского двора неуклонно укреплялось, разрушая враждебные усилия иностранных государств.

Вот как Александр Сергеевич сам сообщал об этом в последнем письме нидерландскому послу барону Геккерну: «Если дипломатия есть лишь искусство узнавать, что делается у других, и расстраивать их планы, вы отдадите мне справедливость и признаете, что были побиты по всем пунктам».

О том, что Пушкин в тридцатые годы XIX века был видным государственным деятелем, интересующимся и мировой политикой, и экономикой своей страны, а не обычным помещиком средней руки с одними лишь литературными талантами, говорят его письма. Приведу всего лишь один пример. Елизавете Михайловне Хитрово, 11 декабря 1830 года, из Москвы в Петербург: «Более всего меня интересует сейчас то, что происходит в Европе. Вы говорите, что выборы во Францию идут в хорошем направлении, — что называете вы хорошим направлением? Я боюсь, как бы победители не увлеклись чрезмерно и как бы Луи-Филипп не оказался королём-чурбаном. Новый избирательный закон посадит на депутатские скамьи молодое, необузданное поколение, не утраченное эксцессами республиканской революции, которую оно знает только по мемуарам и которую само не переживало».

Ради интересов родной страны Пушкин всегда был готов идти до конца. Не зря однажды в одном из писем он сообщает своему старинному другу: «По мне драка (имелось в виду — с иноземцами. — Э.А.) гораздо простительнее, нежели... благоразумие молодых людей, которым плюют в глаза, а они утираются батистовым платком, смекая, что если выйдет история, так их в Аничков не позовут».

Камергер Его Величества

1832 год считается годом основания политической разведки России. Одной из основных её задач было проведение контрпропаганды. Эта же задача стояла и перед русскими дипломатами. Эффективность контрпропаганды зависит от чёткой связи

публикации подобных статей в российской и зарубежной прессе. Для координации этой работы требовался выдающийся литератор, прекрасно знавший европейскую литературу и историю, а также великолепно владевшим французским языком, на котором в основном в те годы общалась европейская интеллигенция. Пушкину — как умнейшему, разносторонне развитому человеку, прекрасно владевшему всеми основными европейскими языками, гениальному писателю, лингвисту, криптографу и шифровальщику — в глазах императора поистине не было цены! Секретной экспедицией (шифры и литография) заведовал ближайший друг А. С. Пушкина — П. Л. Шиллинг фон Канштадт. Немногие при его жизни знали, что он был руководителем шифровальной службы России¹³. Царским указом было запрещено публично упоминать о подобных лицах. Выезд сотрудников этого наисекретнейшего департамента за рубеж был строго запрещён государем. Возможно, именно это обстоятельство — самая вероятная причина, почему А. С. Пушкину никогда не разрешили выезжать за границу! Через восемь месяцев с начала службы Пушкина в миде К. В. Нессельроде неожиданно получает указание А. Х. Бенкендорфа о многократном повышении оклада А. С. Пушкину — до... 5000 рублей в год. Сумма этого оклада семикратно превышала ставку чиновника ранга, по которому официально числился Александр Сергеевич, и это соответствовало в те времена окладу заместителя директора департамента. Резкое повышение зарплаты, безусловно, вызвано самым серьёзным участием Пушкина в мероприятиях по обеспечению государственной безопасности России¹⁴. Кроме того, установлено, что Пушкин официально зарплату получал не в миде, а из специального фонда Николая I в министерстве финансов. Такое практиковалось только в самых исключительных случаях, для очень узкого круга наиболее секретных специалистов государственных служб.

Александр Сергеевич по личному указанию Николая I был допущен к наиболее секретным документам России: архивам Третьего отделения, архивам собственной семьи императора, материалам о Петре I, Елизавете, Екатерине Великой и даже ко всем данным о восстании Емельяна Пугачёва. Кстати, для затрат по написанию истории Пугачёвского бунта Пушкин получил от Бенкендорфа 40 000 рублей серебром (или 160 000 рублей ассигнациями). В ценах 2013 года это более сорока миллионов долларов США! Как часто бывает в истории спецслужб, данные ассигнования наверняка были выделены и для проведения других работ, которые были крайне необходимы России.

Николай I категорически запрещал Пушкину под каким бы то ни было предлогом драться на дуэли. Император не только не подталкивал поэта

к смертельному поединку, как это почему-то принято считать, а совсем наоборот. Государя крайне настораживала и раздражала создавшаяся в обществе некрасивая ситуация вокруг семьи поэта.

Безусловно, заслуживает внимания факт письменного обращения А. Пушкина к А. Х. Бенкендорфу по поводу получения им известного пасквиля об ордене рогоносцев, в котором даже не указывалась фамилия адресата!¹⁵ А. С. Пушкин немедленно поставил в известность об этом А. Х. Бенкендорфа, написав ему письмо 21 ноября 1836 года. И самое главное, через день, 23 ноября 1836 года, А. С. Пушкина вместе с А. Х. Бенкендорфом принял император Николай I. Таким образом, вопросы частной жизни поэта рассматривались на высшем уровне как вопросы государственной важности!

И всё-таки убийство, намеренно закамуфлированное под дуэль, состоялось! Смерть Пушкина была неминуема. От вызова голландского посланника, по кодексу дворянской чести того времени, не запятнав себя позором, уклониться было нельзя. Вместо себя старый проходимец выставил Дантеса — чемпиона королевского военного училища по стрельбе влёт. Дантес предусмотрительно был защищён бронезиловым — металлической кирасой. Выстрел он произвёл внезапно, не доходя до барьера и не показав, что целится, — на подъёме руки. Пуля, выпущенная убийцей, попала в живот, раздробив кости позвоночника: подобная рана в те времена не излечивалась. По заключению врача, Владимира Даля: «Вскрытие трупа показало, что рана принадлежала к безусловно смертельным. Раздробления подвздошной, в особенности крестцовой кости неисцелимы»¹⁶. Владимир Иванович Даль (1801–1872), писатель, этнограф, автор «Толкового словаря русского языка», был человеком огромных и разносторонних познаний. Окончив медицинский факультет Дерптского университета в 1829 году, он участвовал в качестве врача в турецкой и польской военных кампаниях. Приехав в Петербург в 1832 году, он поступил ординатором в военно-сухопутный госпиталь, одновременно занимаясь и литературной деятельностью.

Официальные приглашения на похороны были разосланы всем главам дипломатического корпуса и иностранных миссий. В соответствии

13. *Клепов Анатолий*. Статья «Жизнь и смерть Александра Пушкина. Мифы и реальность» (<http://www.mk.ru/blogs/posts/zhizn-i-smert-aleksandra-pushkina-mify-i-realnost-2.html>).

14. *Сушанский Аркадий*. Статья «Поэт невидимого фронта». Газета «Секретные материалы XX века», выпуск №19 (405), 2014.

15. *Лебедев Пётр*. «Тайный режиссёр гибели Пушкина» (<http://www.proza.ru/2008/05/19/304>).

16. *Даль В. И.* Смерть А. С. Пушкина (<http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/vs2/vs2-264-.htm>).

с международным этикетом того времени, подобное делалось исключительно в случае смерти достаточно высокопоставленного сотрудника мида. Камер-юнкеры в число оных никогда не входили. Впрочем, никто не сомневался в истинной государственной должности Пушкина: в рапортах и других документах, рассмотренных военным судом по факту дуэли, покойного именовали камергером Его Величества — то есть действительным статским советником, чиновником России IV ранга, соответствующего военному чину генерал-майора! В средневековой Англии камергеры были ближайшими советниками короля и во многом управляли страной. В России к концу XIX века звания камергера были удостоены поэты Тютчев, Вяземский, Фет, композитор Римский-Корсаков. Титулование камергера — «Ваше превосходительство».

Камергером именовали Пушкина и Дантес, и Геккерн, и секундانت подполковник Данзас, и командир кавалергардского полка генерал-майор Гринвальд¹⁷, и начальник гвардейской кирасирской дивизии генерал-адъютант Апраксин¹⁸. Никаких документов не подпisyвал только секундант Дантеса — виконт д'Аршиак¹⁹, и то потому лишь, что бежал из России 2 февраля 1837 года, опасаясь ответственности за дуэль. Именно на его совести лежало составление убийственных условий дуэли с десяти шагов. И именно он насыпал порох в пистолет Дантеса таким образом, чтобы пуля, убившая Пушкина, не прошла навывлет, сделав более лёгкую, не смертельную рану. Камергером был назван Пушкин и в приговоре комиссии военного суда от 19 февраля 1837 года.

Возможно, Николай I опасался продолжения расследования, в результате которого могла бы выясниться некоторая достаточно «деликатная» деятельность российских спецслужб. А может

быть, и обнаруженная во время следствия информация, которой владел А. С. Пушкин, была бы крайне нежелательна для огласки. Во всяком случае, только после того, как документы о расследовании дуэли, в том числе и приговор военного суда, попали к Николаю I, придворная должность А. С. Пушкина — камергер — в последующих официальных документах была изменена на камер-юнкера!

Выдворение из страны убийцы Пушкина — человека, которого сначала приговорили к повешению, а потом вдруг отпустили, — очень напоминает юридическую процедуру выдворения разведчиков по просьбе той страны, с которой не хотят портить дипломатических отношений. Другого объяснения тут нет.

«Рассекреченные в недалёком прошлом архивы вюртембергского и австрийского министерств иностранных дел среди прочего обнаружили секретные депеши послов иностранных государств, где Пушкин предстаёт как видный политический деятель, идейный глава русской партии, противостоящий партии иноземцев, стеной отгородивших Николая I от русского общества»²⁰. Документы свидетельствуют, что Александр Сергеевич пытался сломать эту стену, что и явилось одной из главных причин спланированного иностранными державами, оплаченного (со временем Дантес сделался очень богатым и влиятельным лицом — сенатором Франции) и совершённого убийства камергера Его Величества, гениального поэта и истинного защитника интересов России — Александра Сергеевича Пушкина.

Истинные убийцы Пушкина

Ещё раз обратимся к простому и «ясному» постулату школьной программы: Пушкин вызвал Дантеса на дуэль и был на дуэли убит. Теперь мы знаем, что никакого Дантеса Пушкин на дуэль в 1837 году не вызывал! Пушкин в тот раз (в отличие от ноябрьских событий 1836 года) вообще никого не вызывал на дуэль! Мало того: Дантес тоже не вызывал Пушкина ни на какую дуэль! Однако, будучи при этом свояками (мужьями родных сестёр), стрелялись именно они. Человек же, который составил условия этого убийства (секретарь французского посольства виконт д'Аршиак, через которого действовал Геккерн), прикрываемого высокопарным словом «дуэль», который лично участвовал в приготовлении оружия и зарядов к нему... никогда никем не допрашивался, так как немедленно скрылся из России!

Луи-Якоб-Теодор ван Геккерн де Беверваард — имя человека, вызвавшего Пушкина на дуэль²¹. Вызвавшего, но не явившегося на неё. Тем не менее, во все времена истинным убийцей принято было считать организатора и заказчика убийства, а не киллера — исполнителя чужой воли.

17. Наумов А. В. Следствие и суд по делу о дуэли А. С. Пушкина. Учебное пособие. Хабаровск, 1989.

18. Наумов А. В. Посмертно подсудимый. Издательство «Litres», 2013.

19. Черейский Л. А. Пушкин и его окружение / д'Аршиак // 1. Пушкин, XVI, по указ.; 2. Соллогуб, с. 364, 366 и др.; 3. Карамзины, с. 167, 169, 173; 4. Дуэль, по указ.; 5. Временник Об-ва друзей русской книги, Париж, 1932, т. III, с. 154–158; 6. Письма посл. лет, с. 362–363 (<http://feb-web.ru/feb/pushkin/chr-abc/chr/chr-0205.htm>).

20. Гребенников В. В. Статья «А. С. Пушкин и спецслужбы России» (<http://www.cryptohistory.ru/information/spushkin-i-specsluzhby-rossii/>).

21. «...вопрос о дуэли с Дантесом был решён 17 ноября: быть может, Пушкин так легко согласился исполнить просьбу Соллогуба именно потому, что в это время Дантес его уже не интересовал так сильно, а всё его внимание перешло на Геккерна». Щёголев Павел Елисеевич. Злой рок Пушкина. Он, Дантес и Гончарова (<http://coollib.net/b/221699/read>).

Один из девяти детей барона Эверта Фредерика ван Геккерна ван Энгуизена, голландского майора и придворного, и Хенриетте Йоханны Сузанны Марии, графини Священной Римской империи Нассау ла Лека, молодой Геккерн начал свою карьеру чиновником голландского флота, базировавшегося в Тулоне. Позже он служил Наполеону, который наградил его званием барона Империи. Примерно в то же время Геккерн принял католическую веру. Затем он последовательно служил сначала секретарём дипломатической миссии в Лиссабоне (1814), потом в Стокгольме (1815–1817) и в Берлине (1817–1822). В 1822 году тридцатилетний Геккерн появился в дипломатическом представительстве Голландии в Санкт-Петербурге. Первоначально (с 1823 года) он был поверенным в делах нидерландского посольства, однако после трагических декабрьских событий на Сенатской площади, с марта 1826 года, пошёл на повышение: его назначили посланником. Вплоть до мая 1837 года барон — полномочный представитель Голландии при императорском дворе в Санкт-Петербурге. С июня 1842 года до октября 1875 года — полномочный представитель Нидерландов при австрийском императорском дворе в Вене. Дипломатические представители, находившиеся в Санкт-Петербурге (не только послы, но и сотрудники посольств), были непререкаемыми участниками придворных и великосветских вечеров и балов. Пушкину был хорошо и близко знаком этот круг. Известно, например, что с новым 1830 годом Пушкин лично поздравлял австрийского посла Шарля Фикельмона, французского — Мортемара (с секретарём посольства Лангрена), английского — Хейтсберна, неаполитанского — графа де Лудольфа, испанского — де ла Кадену²². Я уже упоминал о том, что и после кончины поэта, на его панихиде, присутствовал весь дипломатический корпус, за исключением крайнего ненавистника либералов прусского посла и двух посланников, не прибывших только по причине болезни. Камер-юнкеру таких почестей вряд ли бы кто-то отдавал, это была дань уважения камергеру, личному советнику Его Величества.

Вызванный на дуэль бароном Геккерном Пушкин к тому моменту являлся видным государственным деятелем, камергером Его Императорского Величества. Геккерну было сорок четыре года, Пушкину — тридцать семь. Посему ссылка на то, что голландский посланник отказался лично стреляться с камергером ввиду своего преклонного возраста, — ничтожна. Разница в возрасте — семь лет, не так уж и велика. Сорок четыре — не пенсионный возраст, а Геккерн — отнюдь не инвалид-колясочник. Дело же, скорее всего, в том, что, по сути, Геккерн и не собирался рисковать собой, ему нужно было именно убийство Пушкина, а не сама дуэль. И он достиг своей цели. А может быть,

и не только своей... Граф В. А. Соллогуб в ноябре 1836 года пишет о ситуации следующее: «Тут уже было не то, что история со мной (Соллогуб имеет в виду вызов на дуэль, который Пушкин послал ему весной 1836 года. — Э. А.). Со мной я за Пушкина не боялся. Ни у одного русского рука на него бы не поднялась; но французу русской славы жалеть было нечего». То есть даже в светском обществе Петербурга было понимание того, что ни один русский человек не станет убивать Пушкина, только иностранец был способен на такое...

О большом влиянии Александра Сергеевича при императорском дворе говорит и количество просителей, постоянно обращавшихся к нему с просьбами «замолвить словечко» или поспособствовать в должности. Так, в июле-августе 1836 года камергер Пушкин пишет А. А. Жандру об одном из просителей: «Я обещался его тебе представить, отвечая за твою готовность сделать ему добро, коли только будет возможно». Нужно иметь в виду, что Жандр в 1836 году занимал должность директора канцелярии морского министерства. Согласитесь, никакой камер-юнкер и помыслить бы не мог так обращаться к чиновнику подобного ранга и тем более — заранее за него отвечать.

Кстати, Александр Сергеевич далеко не всегда соглашался помочь просителям, некоторым и отказывал, как отказал Н. А. Дуровой, которая торопила его с изданием её «Записок» и просила его превосходительство Пушкина представить её опусы Николаю I на войсковых манёврах. Ей он отвечал следующим образом: «Государю угодно было стать моим цензором: это правда; но я не имею права подвергать его рассмотрению произведения чужие».

Пушкин мыслил масштабами крупного государственного деятеля России (кем, собственно, и был), разбирающегося отнюдь не только в литературных вопросах. Так, например, в ноябре-декабре 1836 года он пишет В. Ф. Одоевскому: «...по моему мнению, правительству вовсе не нужно вмешиваться в проект этого Герстнера (о постройке железной дороги. — Э. А.). Россия не может бросить 3 000 000 на попытку. Дело о новой дороге касается частных людей: пускай они и хлопочут. Всё, что можно им обещать, так это привилегию на 12 или 15 лет. Дорога (железная) из Москвы в Нижний Новгород ещё была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург — и моё мнение — было бы: с неё и начать...»

Александр Сергеевич Пушкин и Геккерн были знакомы задолго до того, как барон впервые встретился с Дантесом. 13 января 1830 года Дарья

22. *Высочков Леонид Владимирович*. Будни и праздники императорского двора. СПб, издательство «Питер», 2012 (http://thelibrary.ru/books/l_v_vyskochkov/budni_i_prazdniki_imperatorskogo_dvora-read.html).

Фёдоровна Фикельмон (урождённая графиня Тизенгаузен, внучка фельдмаршала Кутузова, дочь Е. М. Хитрово, жена австрийского дипломата и политического деятеля К. Л. Фикельмона) записывает в своём петербургском дневнике: «Вчера, 12-го, мы доставили себе удовольствие поехать в домино и масках по разным домам. Нас было восемь — маменька, Катрин (гр. Е. Ф. Тизенгаузен), г-жа Мейендорф и я, Геккерн, Пушкин, Скарятин (вероятно, Григорий Яковлевич) и Фриц (Лихтенштейн, сотрудник австрийского посольства). Мы побывали у английского посольши (леди Хейтсберн), у Лудольфов (семейство посланника Обейх Сицилий) и у Олениных (А. Н. и Е. М.). Мы всюду очень позабавились, хотя маменька и Пушкин были всюду тотчас узнаны, и вернулись ужинать к нам. Был приём в Эрмитаже, но послы были там без своих жён».

Следует отметить, что среди перечисленных особ упоминается офицер кавалергардского полка Скарятин — Григорий Яковлевич или его брат Фёдор, сыновья одного из убийц отца царствующего императора. Надо сказать, что и сам цареубийца, Яков Фёдорович, шарфом которого задушили Павла, не раз бывал у австрийского посла. Как рассказывает сам Пушкин в своём дневнике, в 1834 году на балу у Фикельмонов Николай I «застал наставника своего сына (поэта Василия Андреевича Жуковского) дружелюбно беседующим с убийцей его отца». Скорее всего, и Геккерн не раз общался не только с сыновьями, но и с самим убийцей отца царствующего императора Николая Павловича.

О характере и манере поведения барона красноречиво свидетельствует первая встреча с ним великой княжны Ольги Николаевны, происшедшая в возрасте двенадцати лет на балу в день именин Николая Павловича — 6 декабря 1834 года. Она навсегда оставила в душе юной мемуаристки неприятный осадок. Незадолго до того, как девочка в сопровождении камер-пажа Жерве должна была покинуть свой первый в жизни бал, Геккерн сказал её матери, Александре Фёдоровне (урождённой принцессе Фридерике Луизе Шарлотте Вильгельмине Прусской), фразу, которая покоробила Ольгу: «Как они прелестны оба! Держу пари, что перед сном они ещё поиграют в куклы!»²³ Знаменательно и то, что, познакомившись с ним, Дарья Фёдоровна Фикельмон со всегдашней своей пронизательностью буквально через несколько дней после приезда в Петербург (8 июля 1829) весьма отрицательно отзывалась о Геккерне: «...лицо хитрое, фальшивое, мало симпатичное; здесь его считают шпионом г-на Нессельроде,

такое предположение лучше всего определяет эту личность и её характер».

Карл Роберт фон Нессельроде (Karl Robert von Nesselrode) — государственный деятель немецкого происхождения, канцлер Российской империи. Именно он дольше, чем кто-либо другой в истории нашего государства, занимал пост министра иностранных дел России. Странник сближения с Австрией и Пруссией, противник любых либеральных преобразований, один из организаторов Священного союза... Его отец, Вильгельм Карл Нессельроде, ревностно служил Австрии, где потом работал Геккерн, и Голландии, которую Геккерн представлял в России. Мать будущего канцлера была еврейкой по происхождению и протестанткой по вероисповеданию. Карл родился на английском корабле в Лиссабоне, где его отец был в то время русским посланником. Он был протестантом и до конца жизни так и не научился правильно говорить по-русски. Благоволивший семейству Нессельроде император Павел I пожаловал юного Карла в свои флигель-адъютанты по флоту, а позднее перевёл в сухопутные войска, поручиком в конную гвардию, оставив при себе флигель-адъютантом; ни там, ни тут тот не обнаружил способностей к военной службе, что не помешало ему дослужиться в двадцать лет до полковника. Вскоре Карл был уволен из армии с пожалованием его с 13 июня 1800 года в камергеры. После смерти Павла он был отправлен в Германию. Во время пребывания там Нессельроде знакомится с Меттернихом, тогда австрийским посланником в Дрездене, и знакомство это скоро перерастает в тесную дружбу. Нессельроде смотрел на Меттерниха снизу вверх; последний казался ему гениальным дипломатом, а его советы — всегда спасительными; в свою очередь, Меттерних умел хорошо пользоваться слабостями своего ученика. Основной мыслью всей дальнейшей российской политики Нессельроде был тесный союз с Австрией. 17 марта 1844 года, через семь лет после убийства Пушкина, истинного патриота и сторонника русской национальной государственной политики, Нессельроде становится канцлером Российской империи, а ещё через пять лет — способствует вмешательству России в австрийские дела с целью усмирения венгерского восстания. Ответственность за дипломатическую изоляцию России и поражение в Крымской войне в значительной степени падает именно на Карла Нессельроде.

Его супруга — графиня Нессельроде, урождённая Мария Дмитриевна Гурьева (1786–1840), дочь министра финансов графа Д. А. Гурьева от брака с П. С. Салтыковой, — в обществе была знакома с Пушкиным, а на свадьбе Екатерины Гончаровой (сестры Натальи Николаевны) с Дантесом была посажённой матерью жениха, которому покровительствовала и благоволила. Возможно, вовсе не

23. Великая княжна Ольга Николаевна. Сон юности: Воспоминания великой княжны Ольги Николаевны: 1825–1846. С. 206 (http://www.dugward.ru/library/olga_nick.html).

зря именно графиню Нессельроде долгое время подозревали в сочинении анонимных оскорбительных писем в адрес поэта и называли её инициатором пасквильного «диплома», который в итоге привёл к убийству поэта.

Сам Пушкин, по воспоминаниям современников, категорически утверждал: «По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата». Пушкин упоминал о бумаге и слоге письма. Однако, вероятнее всего, ему были известны и другие бесспорные детали, указывавшие на авторство анонимного послания...

Орудием убийства поэта был избран Жорж Дантес. Байка о том, что пулю поэта отразила оловянная пуговица, — для наивных простаков. На убийце был бронезилет XIX века — стальная кираса, изготовленная для Дантеса в Англии специально по заказу барона Геккерна.

Геккерн никогда не состоял в браке и не имел детей. В 1833 году он познакомился с Жоржем Дантесом, сыном эльзасского помещика... В результате переписки с родным отцом Дантеса и личной встречи с ним Геккерн добился согласия на усыновление Жоржа. Соглашение на усыновление от короля Голландии было получено 5 мая 1836 года, Дантес принял имя Жорж Шарль де Геккерн Дантес. Для чего нужно было усыновлять взрослого детину двадцати четырёх лет — бабника и отличного стрелка? Да ещё — при живом отце? Что за спектакль? Для кого и для чего? Для прикрытия подлого и давно продуманного замысла — убийства русского гения.

Вызов России

Я уже сообщал о том, что в пушкинскую эпоху за дуэль в России полагалось наказание всем её участникам: и секундантам, и даже жертвам дуэли, даже мёртвым. Однако император не только не осудил, но наградил поэта (в лице его семьи) посмертно так, как награждают героев. И не только в финансовом отношении, но и в моральном. Сыновья Пушкина были зачислены в самое привилегированное училище России — Пажеский корпус. Это обстоятельство очень напоминает схожие ситуации советских времён. В советскую эпоху детей, оставшихся сиротами, принимали в суворовское или нахимовское училище. В тех случаях, если их родители погибли на служебном посту, исполняя долг перед Родиной.

В чём же дело? Закон Российской империи распространялся на всех её подданных и иностранных граждан, рассматриваемых как частные физические лица. Однако между кем и кем произошла дуэль? Пушкин Дантеса в январе 1837 года на дуэль не вызывал. Дантес Пушкина тоже не вызывал на дуэль. Вызов на дуэль исходил от господина

Луи-Якоба-Теодора ван Геккерна де Беверваарда, являвшегося на тот момент полномочным представителем королевства Нидерланды при российском императорском дворе! Посол иностранной державы вызывает на дуэль крупного российского государственного деятеля, имеющего чин, соответствующий в армии генерал-майору, — чин камергера самого императора!

Посол, какие бы действия он ни производил, остаётся официальным лицом иностранного государства и под юрисдикцию другого государства подпадать не может ни при каких обстоятельствах. Ибо он — представляет иную, суверенную державу! Законы одного государства на деятельность другого распространяться не могут!

Оставим в стороне и причины дуэли, и все обстоятельства, этим причинам предшествовавшие. В данном случае эмоциональная составляющая событий будет только мешать суждению. Рассмотрим дело с юридической точки зрения, той самой, с которой, как глава государства и высшее должностное лицо страны, обязан был рассмотреть и рассмотрел его император Николай I.

Итак, посол иностранной державы (а в его лице — сама эта держава) вызывает на дуэль русского подданного, должностное лицо министерства иностранных дел России, дипломата господина Пушкина. Камергера Его Величества! То, что он камергер, а вовсе не камер-юнкер, как напишут после, знали все. Это многократно подтверждается документами судебного дела по факту дуэли. Камергером именовали Пушкина и Дантес, и сам посол Геккерн, и секундант Пушкина инженер-подполковник Данзас, и командир кавалергардского полка генерал-майор Гринвальд, и начальник гвардейской кирасирской дивизии генерал-адъютант Апраксин. Вызов на дуэль был составлен, оформлен и предъявлен официально — через секретаря французского посольства виконта д'Аршиака, представлявшего французские интересы.

Таким образом, юридически участником дуэли с Пушкиным являлся не Дантес, а посол Голландии в Российской империи барон Геккерн!²⁴ Лицо, не

24. Письмо Геккерна Пушкину (из книги Павла Елисеевича Щёголева «История последней дуэли Пушкина»): «„Милостивый государь! — писал барон Геккерн. — Не зная ни Вашего почерка, ни Вашей подписи, я обратился к виконту д'Аршиаку, который передаст Вам это письмо, с просьбой удостовериться, точно ли письмо, на которое я отвечаю, от Вас“. Начало письма неудачное и фальшивое. Геккерн пишет, что не знает ни подписи, ни почерка Пушкина, а тремя строками ниже, упоминая о письме с отказом от вызова, он говорит, что это письмо, писанное рукою Пушкина, налицо: значит, почерк и подпись Пушкина были ему знакомы, и удостоверяться в подлинности письма Пушкина от 26 января было делом лишним. „Содержание письма, — продолжал Геккерн, —

подлежащее российской юрисдикции. Более того — главное официальное лицо другого государства. А это значит, что дуэль Пушкина с Геккерном не могла рассматриваться в рамках уголовного права Российской империи. Российского подданного господина Пушкина вызвало на поединок западноевропейское королевство Нидерланды! Его интересы в этой схватке по поручению полномочного посла королевства представлял французский подданный Жорж Дантес. Вот он, как частное лицо, не имел на это никакого права! И его за согласие участвовать действительно следовало судить.

Имел ли право Пушкин отказываться от дуэли в сложившейся ситуации, когда подобный отказ неминуемо был бы расценён европейским сообществом не как частное дело неких господ, а как моральное бесчестье России перед враждебными, агрессивными действиями иностранного государства? Ибо сам по себе официальный вызов — это агрессия! Всё, что писалось или говорилось между всеми участниками конфликта до момента предъявления Пушкину официального голландского вызова на дуэль, действительно можно считать частными делами, но только не сам роковой вызов, составленный виконтом д'Аршиаком по поручению посла!

Умнейшему, образованнейшему человеку в России, обладавшему глубокими историческими, литературными и дипломатическими знаниями,

гениальному поэту и дешифровальщику хватило ума и способностей догадаться, что пасквиль исходит от иностранца, от человека высшего общества и дипломата. Кстати, помимо чести и достоинства самого Пушкина, пасквиль порочил и имя русского императора, честь его супруги императрицы Александры, честь самого рода Романовых, нарочито выставляя их на посмешище перед всем светом. Принимая вызов западноевропейского посла, Пушкин шёл к барьеру, защищая перед всем миром не только и не столько своё имя, сколько честь русского народа, честь всей России.

Вызов Пушкину, оформленный таким образом, фактически (и юридически тоже) являлся официальным вызовом России! И поэт геройски принял его. И вышел на дуэль. И принял пулю, летевшую в Россию, заслонив её своей жизнью. «Не щадя живота своего» — в переносном и буквальном смысле...

Конечно, если бы Пушкин был сдержанней, расчётливей, не испытывал бы эмоций, то, наверное, дуэль бы всё-таки не состоялась. И Пушкин как человек остался бы жить. Но поэт без эмоций невозможен, поэт, не испытывающий сильных чувств, — вообще не поэт. А значит, Александр Сергеевич погиб именно потому, что был поэтом, великим поэтом. Пушкин как обычный человек — погиб, но как поэт — беззащитный и ранимый — остался жить вечно.

до такой степени переходит всякие границы возможно, что я отказываюсь отвечать на подробности этого послания". Но менее всего Пушкин хотел бы объяснить Геккерена! „Мне кажется, вы забыли, милостивый государь, что вы сами отказались от вызова, сделанного барону Жоржу Геккерену, принявшему его. Доказательство того, что я говорю, писанное вашей рукой, налицо и находится в руках секундантов. Мне остаётся только сказать, что виконт д'Аршиак едет к вам, чтобы условиться о месте встречи с бароном Геккереном; прибавлю при этом, что эта встреча должна состояться без всякой отсрочки. Впоследствии, милостивый государь, я найду средство научить вас уважению к званию, в которое я облечён и которое никакая выходка с вашей стороны оскорбить не может". Под письмом, кроме подписи барона Геккерена, находится ещё надпись Дантеса: „Читано и одобрено мною“. Из письма явно следует, что вызов исходит от барона Геккерена, а не от Дантеса. То же подтверждается и запиской Пушкина д'Аршиаку: «Так как г. Геккерен — обиженный и вызвал меня, то он может сам выбрать для меня секунданта, если увидит в том надобность: я заранее принимаю всякого, если даже это будет его егерь» (<http://coollib.net/b/221699/read>).

Вадим Наговицын

Великая мозаика российской культуры

Национальная литература как вид национального искусства демонстрирует внешнему миру дух нации, её культуру, ценности и самобытность. Это даёт возможность внешним народам лучше узнать тот этнос, с культурой которого они познакомились.

Люди, находясь в обществе, не могут не общаться и не взаимодействовать. Люди разговаривают, обмениваются мнениями, рассказывают о себе, расспрашивают других, знакомятся и узнают друг о друге достаточно, чтобы в дальнейшем выстроить мирное, нормальное сосуществование. Трудно представить, чтобы люди дичились, сторонились и молчком разбежались бы в стороны. Это противно природе человеческой. Такие люди, страдающие аутизмом, не способны к элементарному социальному поведению.

Так и народы! Народ, нация — это ведь просто большая семья. А семья — любая — не в вакууме обитает и не на острове изолированном. Семьи, народы, нации — находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, во взаимном общении — мирном, союзническом, враждебном или нейтрально-равнодушном.

Народы должны общаться между собой, и они делают это непрерывно. Один из основных способов общения — это обмен культурой. Каждый народ транслирует свою культуру вовне — внешним, другим народам. Есть, разумеется, культура для внутреннего пользования (традиции, обряды, верования, бытовая культура), но есть и значительная часть национальной культуры, которая обращена к внешнему миру. У каждого народа есть культура общения с инородцами, с другими, внешними, чужими народами. По этой культуре и определяется способность к взаимопользному взаимодействию.

Народы-изолянты избегают общения и демонстрируют враждебность к чужакам. Народы, демонстрирующие чужакам доброжелательность, получают в ответ доброжелательство равноценное и включаются в мировой созидательный процесс, получая от внешних то полезное, чего не хватало самим, и отдавая миру то, что востребовано внешними. Элементарные законы культурно-информационного обмена!

Искусство как часть культуры — это язык образов, передающихся музыкой, живописью, танцами,

литературой, театром, кино, декоративно-прикладным мастерством; всё это — язык, с помощью которого народ общается с внешним миром. Именно национальная культура и национальное искусство являются той визитной карточкой народа, по которой сразу же определяется и отношение к нему. Национальные культуры разных народов, соприкасаясь, обогащают друг друга, ибо каждый берёт от другого самое ценное. И это происходило всегда и во все века.

С древних времён люди обменивались не столько материальными предметами, торгуя товарами, сколько культурой и предметами искусства. Ещё в досоветские времена культура Российской империи обогащалась культурой разных народов, вошедших в империю. Так же органично воспринималась культура и других стран (немецкая, французская, английская, персидская, арабская, китайская).

Историческая миссия Россия всегда и заключалась в том, чтобы объединять, обогащать и синтезировать универсальную человеческую культуру, понятную многим народам.

Что касается конкретно литературы. Российской литературе, если говорить об общегосударственном, имперском искусстве словесности, разумеется, нужна литература каждого народа, включённого в единое духовное пространство Российской империи. Просто не надо путать и смешивать понятия русского и российского. Русское — это то, что свойственно именно русскому народу как нации. А российское — это то, что свойственно именно имперскому государству Евразии, соединяющему народы на протяжении тысячелетий ради великой миссии удержания мира от разрушения и духовной энтропии.

Но даже если брать конкретно русскую национальную литературу, то и она всегда впитывала элементы словесного искусства соседних народов, начиная от элементарной словесной конвергенции и заканчивая синтезом обобщённых архетипических и сакральных образов.

Так же и русская словесность немало обогатила литературу всех союзных и сопредельных народов. Творческая химия, особенно словесно-метафизическая, не терпит вакуума и самоизоляции, она

постоянно находится в реактивном состоянии взаимодействия и создания новых образных и смысловых структур. Это всё культурно-динамические процессы.

Риторический вопрос: нужна ли русской литературе, допустим, конкретно аварская литература? Конечно, нужна. Равно как и литература других народов. Разве Расул Гамзатов принадлежит только Дагестану или аварскому племени? Образы, созданные этим выдающимся поэтом, понятны и близки всем народам России, а ранее—СССР.

В советское время мы все читали книги серии «Дружба народов» (приложения к одноимённому журналу), читали произведения писателей из национальных республик, и эти книги прекрасно раскрывали душу народа, его культуру, ментальность и духовно-нравственное состояние. В зеркале национальных культур мы, русские, видели и своё отражение, сопоставляя, что общего и что отличного есть у всех нас. То, что было общим и близким нам, нас объединяло ещё больше. Но даже то, что было чуждо, давало нам повод лучше изучить и попытаться понять культуру и дух другого народа.

Русский мир, или русская цивилизация—это некая огромная духовная лаборатория, где идёт

непрерывный процесс изучения, постижения, осмысления многосложности нашего мира, и именно здесь, в рамках этой цивилизации, идёт постоянный поиск и попытка построения прототипа будущего справедливого планетарного устройства—с многообразием культур и традиций, несущих в себе духовно-нравственные ценности созидания, миролюбия и развития, а не деструкции и уничтожения.

Поэтому в сложной мозаичной картине Российской империи есть место каждому элементу, сияющему кристаллику смальты, гармонично дополняющему своим духовным содержанием великую картину России, а не вносящему диссонанс чёрным цветом или пустой дыркой.

Приходится сожалеть, что пока ещё находятся люди, не понимающие высших замыслов Творца по гармоничному мироустроению и спешащие загнать свой народ в самоизоляцию для угасания в культурном аутизме. Видимо, только тот человек, который выводит свой народ на большой путь творческого сотрудничества вместе с другими народами, устремлёнными к светлому будущему (а оно обязательно будет светлым!), и может называться мудрым!

ДиН дебют

Елена Воробьёва

У каждой химеры своя голова



Великие песни поются века
С начала времён, долетев с высоты.
И я, не утратив надежду пока,
Что лучшие песни чисты и просты,
Ворочая угли, не дам им остыть.
Но ты говоришь: нужен новый закон,
Что истины лживы, что лживы слова,
Что правило то повелось испокон—
Мосты за собой обрушать и взрывать.
У каждой химеры своя голова.
И я признаю, что была неправа.
Но старые песни во сне донесли
Живительный запах весенней земли,
Зелёные ветви увядших садов,
Сумятицу стёртых с земли городов,
Непрочность крыла и двуличность огня—
Всё это дохнуло легко на меня
И стало меня от беды охранять.



Мы напоролись на мёртвые мифы,
Словно корабль на подводные рифы.
Днище царапаем снова о дно.
Нам остаётся лишь слово одно—
Но разучились мы вдумчиво слушать,
Вот и огнём занимается суша.
Небо зеркалит его широко,
Не изменившееся испокон.
Каждый фитиль обернётся глазами,
Каждая туча прольётся слезами,
Каждый курган охраняем и свят.
Лишь бы, на улицу выйдя в зелёном,
Слышать далёкие тихие стоны
В той стороне, где померкший закат.

Рустам Карапетьян

Савушкин и математика

Три плюс один

— Итак, сколько будет три плюс один? — спросил Савушкина учитель.

— Два.

— Хорошенько подумай, Савушкин.

Савушкин хорошенько подумал, шмыгнул носом и сказал:

— Получится два.

— Ну как же так, Савушкин?! — зашипел учитель. — Вот смотри: берём три пальца, — учитель показал три пальца, — прибавляем к ним один палец! — учитель всего показал ещё один палец. — Сколько пальцев всего получается?

— Четыре, — ответил Савушкин, посчитав пальцы.

— Ну вот видишь! Значит, три плюс один — получается... — учитель с надеждой заглянул Савушкину в глаза.

— Два, — твёрдо ответил Савушкин, не отводя взгляда.

— Эх, Савушкин, Савушкин, ну что мне с тобой делать? — махнул рукой учитель. — Давай дневник.

Он размашисто расписался в дневнике и отдал его Савушкину. Савушкин вернулся на место, открыл дневник, уставился на жирную красную двойку и подумал: «Ну вот, значит, всё-таки я был прав! И три плюс один — получается два. Ну ничего. У меня папа считать умеет. Может, он поймёт».

Магия

В эту субботу, ровно в тринадцать часов пять минут, третьеклассник Савушкин внезапно обрёл магические способности. Но он никому не сказал. Прежде чем хвастаться, надо было всё очень тщательно проверить. Савушкин зашёл домой, переоделся, помыл руки и начал убираться в комнате. В комнату вошёл папа.

«Ну», — подумал Савушкин.

— Ну, — сказал папа.

«Странно. Что это ты сам убираться вздумал?» — подумал Савушкин.

— Странно. Что это ты сам убираться вздумал? — сказал папа.

«А ну-ка покажи мне дневник», — подумал Савушкин.

— А ну-ка покажи мне дневник, — попросил папа.

«Ну вот, я так и знал!» — подумал Савушкин.

— Ну вот, я так и знал! — нахмурился папа.

«Никаких тебе гуляний и телевизоров», — мысленно закричал Савушкин.

— Никаких тебе гуляний и телевизоров, — погрозил пальцем папа.

— И марш делать уроки! — подумал Савушкин и прикрикнул папа одновременно.

Савушкин очень разволновался. Ведь магические способности работали!!! Но усилием воли Савушкин взял себя в руки, ласково посмотрел на папу и подумал: «Не переживай, сынок. Подумаешь, двойка. Пойдём-ка лучше сходим в кино на новый супербоевик!»

Тут папа ласково посмотрел на сына и сказал: — Ну ты даёшь, сынок! Это ж надо — двойка! Вот сиди теперь до посинения и учи математику!

Папа ещё раз погрозил пальцем и вышел из комнаты.

Савушкин вздохнул и стал учить математику. А что же поделать, если ровно в тринадцать часов двадцать минут он совершенно растерял все свои магические способности?

Один плюс один

Почему-то все думают, что Савушкин не любит математику. Даже папа с мамой так думают. Ерунда какая. Это же такой интересный предмет! Только почему-то ответы у Савушкина часто получаются не такие, как у всех или как в учебнике. Но разве он в этом виноват?

Вот, например, вчера учитель показывал на пластмассовых яблоках, как складываются числа: — Вот берём два яблока, кладем к ним ещё три яблока, получаем — раз-два-три-четыре-пять... Сколько?.. Правильно, пять яблок.

Потом учитель радостно посчитал, сколько будет одна груша и две груши (тоже, кстати, пластмассовые). Потом — сколько будет два лимона и два лимона. А потом сказал, чтобы все дома самостоятельно посчитали, сколько будет один плюс один.

Вот пришёл домой Савушкин и стал считать. Первым делом он отправился на кухню и начал искать яблоки. Но ни одного яблока дома не оказалось. Потом Савушкин искал груши, но тоже не нашёл ни одной. Потом он начал искать лимоны. Но тут мама, которая пила на кухне чай, спросила: — А чего это ты по полкам шариться? У тебя что, уроки уже сделаны?

Тогда Савушкин объяснил ей, что ему, чтобы сделать математику, нужны яблоки, или груши, или, в крайнем случае, лимоны. Мама рассмеялась и сказала, что вовсе не обязательно считать яблоки, или груши, или, в крайнем случае, лимоны. А ещё она сказала, что можно считать что угодно.

Савушкин вернулся к себе в комнату и начал оглядываться в поисках чего угодно. А тут за окном закапал дождь. Подошёл Савушкин к окну, стал смотреть, как капли по окну стекают. Вот одна капля скользит, вот другая. Вот две капли встретились — и получилась одна большая капля. Стал Савушкин за другими каплями наблюдать — и всё время одно и то же получалось. Встретятся одна капля и другая капля, а дальше уже одна большая капля бежит. Савушкин так в тетради и написал: «Один + один = один».

Ну и разве он виноват, что у учителя другой ответ получился? Просто, когда он тетрадь Савушкина проверял, дождь уже давным-давно закончился.

Умножение

В школе на уроке проходили умножение. И на дом задали умножение. Значит, завтра тоже будут спрашивать про умножение. Савушкин сидит над тетрадью и размышляет.

Умножение — это «ум» и «нож». Савушкин представляет себе хитрого убийцу, который подкрадывается к подлой двойке, достаёт из-за пазухи нож и вонзает ей прямо в спину. Двойка падает замертво, переворачивается и превращается в пятёрку. Хорошо!

А может, «умножить» — это «умно жить»? Перед глазами Савушкина появляется толстенный хитрый торговец, он садится на маленький мешочек-нолик и начинает торговаться с учителем математики. Он торгуется-торгуется-торгуется. И маленький худенький мешок-нолик превращается в большой, огромный нолище.

А может, «умножить» — это «ум нажить»? И Савушкин словно видит, как по белу свету ходит-бродит бедный Иванушка-дурачок. Но с каждым новым подвигом он становится всё умнее и умнее. И вот он уже не Иванушка-дурачок, а всеми уважаемый Иван-дурак.

Сзади неслышно подходит папа. Он осторожно заглядывает через плечо Савушкину и видит нарисованного человечка с ножом. Человечек гонится за маленьким толстячком. Толстячку тяжело, ему мешает огромный мешок за спиной. А за всей этой суетой беспечно наблюдает человечек с балалайкой.

— Что ты делаешь? — спрашивает папа.

— Математику, — не поворачиваясь, отвечает Савушкин.

— А что это ты рисуешь?

— Это нам умножение задали, — объясняет Савушкин.

Папа уходит на кухню и жалуется маме:

— Очень странно детей нынче учат. Вот когда мы в своё время математику учили, всё ясно было: дважды два — четыре, пятью пять — двадцать пять. А сейчас крестики рисуют, кружочки, человечков каких-то... Лично мне ничего не понятно.

— Не обращай внимания, — утешает его мама, — это у них программа теперь такая. Главное — не мешать.

А Савушкин сидит и думает, что если есть умножение, то обязательно должно быть и глупо-жение. А если его ещё нет, то Савушкин его обязательно придумает. Когда с умножением разберётся.

Деление на ноль

— Да нельзя делить на ноль, Савушкин! Нельзя!

— А почему?

— Потому что я тебе говорю! Понял?

— Понял.

— Что ты понял, Савушкин?

— Понял, что вы мне говорите, что на ноль делить нельзя.

Учитель математики глубоко вздохнул. И начал медленно считать до десяти. Савушкин в это время внимательно изучал свои ботинки.

— Вот смотри, Савушкин. У меня шесть яблок. Вот они, видишь? — учитель достал из шкафа шесть пластмассовых яблок.

— Вижу, — сглотнул слюну Савушкин.

Он прекрасно знал, что яблоки пластмассовые, но выглядели они как настоящие.

— Вот я поделил их на три, то есть на троих: тебе, мне и Ане. Получилось каждому по два яблока. Понятно?

— Понятно.

Учитель радостно сверкнул очками и отобрал все яблоки у Савушкина и у Ани назад.

— А вот теперь я поделю шесть яблок на двоих, только тебе и мне. Получилось каждому по три яблока. Понятно?

— Ага.

Учитель опять сгрёб все яблоки в одну кучу.

— А вот сейчас я делю на одного человека, то есть все шесть яблок достанутся одному человеку — мне. Понятно?

— Понятно.

Савушкин тоскливо смотрел на жадного учителя.

— И всё, Савушкин. Всё. На ноль их поделить невозможно! Нельзя, Савушкин! Нельзя. Не на кого делить!

— А почему? Если мы их на ноль поделили, это значит, они никому не достались! То есть получается, что мы их просто выбросили. На помойку, — начал рассуждать вслух Савушкин.

Учитель схватился за голову.

— И тогда... и тогда... и тогда получается, что на ноль делить нельзя! — согласился Савушкин.

— Наконец-то! Ты понял?

— Понял!

— Что ты понял?

— Что на ноль делить нельзя!

Учитель облегчённо вздохнул и поставил Савушкину пятёрку. Савушкин радостно пошёл на место. И как он сам сразу до этого не додумался? И как всё хорошо и доходчиво объяснил учитель. Ну нельзя, нельзя разбрасываться едой! Даже если это пластмассовые яблоки!

Многоугольники

Возбуждённый учитель математики залетел в учительскую:

— Вы только посмотрите, что опять выдумал этот Савушкин!

— Что такое? А что такое?—заволновались остальные учителя.

— Вот. Я задал им на дом нарисовать разные многоугольники и подписать их названия. Все дети прекрасно справились. Например, Аня Мамонова нарисовала красивый равнобедренный треугольник. А Максим Алевич изобразил замечательный чёрный квадрат. А что выкинул этот Савушкин? Вот, полюбуйтеесь!—и учитель математики открыл тетрадь.

— Что это?—охнули учителя.

— Читайте, там подписано,—хмыкнул учитель математики.—Это двуугольник!

— Как двуугольник? Какой двуугольник?

— Вот и я ему говорю,—разволновался учитель математики,—«Савушкин, какой ещё двуугольник?» А он смотрит на меня, глазами хлопает и говорит: «Это фигура, состоящая из двух углов!» Но это ещё не всё! Вы дальше листайте!

Все перелистнули страницу и прочли:

— Одноугольник.

— А вы знаете, очень похож,—вдруг сказала молоденькая учительница литературы.

— Это уже ни в какие ворота не лезет!—закричал учитель математики.—Я двадцать лет преподаю математику и с полной ответственностью заявляю, что никаких одноугольников не существует!

— Но здесь же всего же один угол?—испуганно спросила молоденькая учительница литературы.

— Да вы что, сговорились, что ли, вместе с Савушкиным?—возмутился учитель математики.—Не бывает такого! Не бы-ва-ет! И вообще, посмотрите, что там дальше.

— По-моему, замечательный круг,—заметил учитель географии.

— Да,—вздохнул учитель математики.—А что Савушкин написал?

— Нульугольник,—прочёл учитель географии.—Ерунда какая-то.

— Вот и я говорю: «Ерунда у тебя, Савушкин, в голове». А он ничего не слышит, стоит только и улыбается мне прямо в глаза. Короче, вlepил я ему двойку и родителей вызвал!

— Родителей? Каких родителей? Зачем родителей?—спросил директор, только что вошедший в учительскую.—Что тут вообще происходит?

— Да вот, полюбуйтеесь,—протянул ему тетрадь учитель математики,—опять Савушкин.

— А-а-а, Савушкин—это да...—заметил директор.—И что тут у нас?—директор посмотрел на круг и с удивлением заметил:—По-моему, очень замечательный нульугольник. Даже я лучше бы не нарисовал.

— Нульугольник?—растерянно переспросил учитель математики.

— Конечно,—ответил директор,—не ромб же это.

— Там ещё у него двуугольник на другой странице. И одноугольник ещё...—попытался объяснить учитель математики.

Директор перелистнул страницу, посмотрел и поморщился:

— Ну, здесь, конечно, не совсем аккуратно. Но по сути правильно. По-моему, вы придираетесь к мальчику.

— Да-да,—пискнула молоденькая учительница литературы,—Савушкин пишет просто замечательные сочинения про лето! Правда, почерк у него не очень...

— Вот и я говорю,—кивнул головой директор,—нечего раздувать из мухи свинью. Исправьте ему двойку, ну, скажем, на четвёрку. Всё ж таки надо мальчику быть поаккуратней.

Учитель математики растерянно уставился на директора:

— Но я уже вызвал родителей в школу. Что я им скажу?

— Объясните им благодарность,—махнул рукой директор,—за то, что воспитали такого замечательного сына.

Перемена закончилась, и все разошлись по классам. В учительской остался один директор. Он подошёл к столу учителя математики, ещё раз посмотрел на тетрадь Савушкина, нежно погладил страницу и прошептал:

— Так вот он ты какой, нульугольник!

Один плюс ноль

— Сколько будет один плюс ноль?—спрашивает учитель математики.

Савушкин молчит.

— Савушкин, ну это же так просто!—уговаривает учитель.

Савушкин молчит.

— Савушкин, ну скажи хоть что-нибудь,—умоляет его учитель.

Савушкин молчит.

— Садись, Савушкин. Вынужден констатировать, что у тебя в голове пустота, ноль,—вздыхает учитель.

Савушкин молча садится на место.

— Сколько будет один плюс ноль?—спрашивает учитель у класса.

Вверх взметается лес рук.

— Один,—бодро рапортует отличница Денисова.
— Вот видишь, Савушкин, как просто? Ты понял, Савушкин?—спрашивает учитель.

Савушкин молчит. Савушкин думает. Вот если у него в голове пустота, ноль, то в этой же пустоте у Савушкина много чего есть. Там есть и белый медведь, который живёт далеко на Севере. И Полярная звезда, которую показывал папа. И дерево в парке, похожее на большого тролля. И ещё много-много-много чего. И если к единице прибавить ноль, то получается вовсе не единица. Получается единица, плюс медведь с Севера, и плюс Полярная звезда, и дерево-тролль, и ещё много-много-много чего. Савушкин мог бы это объяснить учителю. Но этого «много чего» в голове у Савушкина так много, что пока он всё вспомнил, учитель уже давно начал рассказывать новую тему. Обидно.

Савушкин надул губы. Но тут заметил, как по подоконнику за окошком крадётся чёрный кот. Савушкин тут же перестал обижаться. А ноль в голове Савушкина стал ещё больше—на одного пушистого чёрного кота, крадущегося по подоконнику.

Белая ворона

Школа №12, кабинет 3-07, 14:00, классный час

— Ну а теперь пусть встанут те, кто не пойдёт в театр... Так... Знакомые всё лица... Иванов, ты почему не идёшь?

— У меня репетиция.

— Всё ясно, садись. Один раз пропустишь, ничего с твоей репетицией не случится. Лапунов, у тебя что?

— Я уже ходил на этот спектакль.

— Ещё раз посмотришь. Вместе с классом. Садись. Галкина, что у тебя опять?

Быстрый колющий взгляд из-под белой чёлки.

— Галкина, я тебя спрашиваю: ты почему не идёшь?

— Я просто не иду.

— Здрасьте-пожалуйста. Все, значит, идут, а она, видите ли, «просто не идёт».

— Я не хочу.

— Не говори ерунды, Галкина. Ты, может, и учиться не хочешь?

— Учиться я хочу. А в театр—нет.

— Так, Галкина, садись на место. Пойдёшь со всеми как миленькая.

— Нет.

— Не поняла.

— Галина Ивановна, я—в театр—не—пойду.

— Ты что, Галкина, особенная какая-то? Считаешь себя лучше всех?

— Не считаю.

— А мне кажется, что считаешь. Может, мне тебя ещё «Ваше высочество» называть? А, Галкина? Ну? Отвечай, не молчи.

Глаза подозрительно блещут. Но она не заплачет. Ни за что не заплачет.

— Ну и чем ты лучше, например, Иванова? Объясни нам!

— Я не говорила, что я лучше Иванова. Но в театр я всё равно не пойду.

— Опять ты за своё, Галкина? Я, я, я. «Я», между прочим, это последняя буква в алфавите. Вот такие, как ты, в войну первыми в плен и сдавались. Потому что личная шкура им дороже всего на свете была. Что же нам делать с тобой, Галкина? В общем, так. Пусть завтра твоя мама зайдёт ко мне после уроков. Мне с ней поговорить надо.

— Я не буду её звать. У неё работа.

— У всех работа. И вообще, без тебя обойдёмся, Галкина. Иванов, я сейчас напишу записку, и ты вечером отнесёшь её родителям Галкиной. Всё понял, Иванов?

— Да.

— Хорошо. Класс, на этом всё. Можете идти.

Школа №12, крыльцо, 14:15

— И чего ты так упёрлась, Алка? Было бы из-за чего, а то из-за фигни какой-то!

— Не хочу, и всё. А ты сама почему не встала? Ты ж сама говорила, что театр—скукота одна.

— Ну и что? Я, между прочим, не в театр иду. Я со всеми. А ты опять выпендриваешься.

— Ничего я не выпендриваюсь. Меня Витёк с соседнего подъезда в суши-бар пригласил

— Круто! Это такой чёрный и лупоглазый?

— Сама ты лупоглазая. Он, между прочим, хакер. И обещал мне компьютер настроить.

— Хорошо устроилась... О, Алка, смотри, Иванов идёт. Предатель.

— Да я даже видеть его не хочу. Подлиза!

— Выскочка!

— Козёл!

— А помнишь, он в прошлом месяце из-за концерта какого-то своего вообще на уроки не пришёл? Что-то классуха ничего ему тогда не сказала. Эй, Иванов!

Ссутулившись, испуганно проскользнул мимо и зашагал быстро-быстро. Но в спину догоняет бульжно:

— Иванов, ты, поди, ещё и стучишь на всех? За пятёрки-то?

— Да точно, точно стучит. Надо ему бойкот с завтрашнего дня объявить. Давай беги, беги, Иуда.

Школа №12, учительская, 14:20

— Вы представляете, Сергей Иванович, эта Галкина опять в своём репертуаре. Я договорилась со знакомой администраторшей, та выделила

нам билеты. А Галкина такая встаёт и говорит: я в театр не пойду. Не хочет она, цаца такая выискалась.

— Галина Ивановна, ну что вам далась эта Галкина? Не хочет идти — пусть не идёт. Не найдёте, что ли, куда билет пристроить?

— Сергей Иванович, ну не в билете же дело. Она же всё время так. Поперёк. Так и другие скоро начнут с неё пример брать.

— Да и Бог с ними. Сейчас время такое. Другое. — Время всегда другое. А я нет. Если уж мне доверили классное руководство, то у меня и будет настоящий класс. А не курсы какие-то — пришли, посидели-разошлись.

— Галина Ивановна, оно вам надо? За копейку-то? Быстрый колючий взгляд из-под белой чёлки.

— Надо, Сергей Иванович, надо. Иначе я просто перестану себя уважать.

Литературное Красноярье .: ДиН детям

Наталья Ива

Если дождь стучит в окно

Синяк

На лице моём сияет
Фиолетовый синяк.

Но зато теперь я знаю:
Я — не трус и не слабак!

А синяк мой появился
Оттого, что я вчера
За девчонку заступился
Из соседнего двора!

Синяка я не стесняюсь!
Пусть сияет — мне не жаль!
Им горжусь и восхищаюсь!
Ведь синяк — моя медаль!

Надо бабушку лечить

«Надо бабушку лечить, —
Думает Виталя. —
Разучилась говорить
Наша баба Валя!»

— Кусай каску, ням-ням-ням, —
Говорит бабуля. —
Я тебе кафетку дам,
Ти мой каплизуля!

Палавозик подаю
И больсова миску.
Как же я тебя люблю,
Ти мой салуниска!

— Надо бабушку спасти! —
Мальчик просит деда. —
Надо бабушку вести
Срочно к логопеду!

В магазине

Устрашающие звуки
Наполняют магазин!
Покупатели в испуге
Замирают у витрин!

Что за визги? Что за вопли?
Люди в ужасе дрожат!
Крик такой, что даже окна,
Даже стены дребезжат!

Над людьми трясётся крыша!
Пол провалится вот-вот!
... Это маленькому Грише
Не купили вертолёт!

Если дождь стучит в окно

Если дождь стучит в окно,
Что же это значит?
Это где-то высоко
В небе тучка плачет!

И стучат в моё окно
Вовсе не дождевики,
А стучат в моё окно
Тучкины слезинки!

Успокойся, не грусти,
Тучка невезучая!
По секрету мне скажи:
Кто тебя так мучает?

Синяя тетрадь

Письмо в сорок первый год

Из рукописного журнала «Маленький Пегасик» Жеблахтинской средней школы Ермаковского района Красноярского края

Почему мы победили
в ту страшную войну?

Потому что было единство всех людей, всех народностей. Потому что был дух русского солдата, потому что был надёжный тыл, были жёны, сёстры, матери, у которых тоже было великое желание дожидаться победы.

Сегодняшние дети далеки от того времени, но есть мы, учителя, помогающие прикоснуться сердцем к подвигу тех людей, кто вынес эту войну на плечах. Музейные уроки Мужества, фильмы о войне с обсуждением, поэзия и песни Великой Отечественной войны, помощь ветеранам войны и труда, песни военных лет на школьных переменах, письмо в сорок первый год (для школьного журнала «Маленький Пегасик»)...

Сегодняшние литературные работы детей—это ещё одно прикосновение к истории России, к бессмертному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Работы искренние, наивные, по-детски бескомпромиссные. И патриотические.

Н. Н. Ульчугачева, директор Жеблахтинской СОШ

Привет, дорогой прадедушка. Пишет тебе письмо твоя правнучка Жанна. У меня всё хорошо. Я учусь хорошо. Дедушка, я очень хочу, чтобы ты с войны пришёл живым. Моя бабушка про тебя рассказывала много хорошего. Я родилась благодаря тебе и другим солдатам, которые защитили нашу русскую землю. Я очень благодарна вам за мир на нашей земле. Спасибо за Победу!

Скрыль Жанна, правнучка, 5 класс

Здравствуй, деда. Как дела идут на войне? Дедушка, ты на танке едешь или пеший солдат? Я знаю, что ты через Ладожское озеро перевозил боеприпасы и еду. А правда говорят, когда перевозишь грузы, машины тонут? Я очень переживаю за тебя, дедушка. Спасибо, что вы выгнали фашистов из родной стороны. Я знаю, что вы настоящие герои. Если бы вы нас не защитили, что бы было?... Спасибо тебе, дедушка. Горжусь твоей доблестью.

Шмайлов Саша, правнук, 5 класс

Я пишу письмо моему прадеду. Я горжусь, что мне выпала честь обратиться к тебе, дедушка. Я ведь сроду не видела тебя, но теперь к Дню Победы я могу написать тебе письмо. Возвращайся скорей с фронта целёхоньким и невредимым. Бабушка плачет по тебе. У нас появились новые технологии: ноутбуки, планшеты и прочее. Бабушка вышла замуж, родила троих детей. Коля—это самый старший, потом Юра—это средний, а самая младшая—дочка Лена. У Лены теперь тоже трое детей. Таня—старшая, потом Маша—средняя дочка, и я, Вероника,—самая младшая. Пиши, дедушка, а я буду отвечать. На войне долго не воюю.

Коновальчук Вероника, правнучка, 5 класс

Здравствуй, мой дорогой прадедушка Иван Васильевич Меньшиков. Пишет тебе письмо твоя правнучка Лера Табунцова. Дедушка, все про тебя в деревне рассказывают, что ты был до войны очень сильный и красивый. Двумя руками поднимал за передок трактор. Очень хорошо работал в колхозе. Береги себя на войне, тебя ждут с фронта живым и здоровым. До войны ты хотел построить дом. Низкий поклон тебе, дорогой дедушка. Честно бей фашистов, чтобы не пришли враги в Жеблахты. За нас не переживай. У нас всё хорошо. От внучки Леры.

Табунцова Лера, правнучка, 5 класс

Здравствуй, дорогой солдат. У вас идёт война. Я знаю, что на войне страшно. Погибают друзья. Я вам сочувствую. Фашисты наступили на нашу землю без предупреждения. Война—это страшное зрелище. Много трупов, взорванных танков, неслыханное количество пленных детей, женщин, мужчин. Наши «катюши» взрывают танки. На войне очень трудно, но я верю, что вы победите и в Россию не пустите фашистов.

Комков Виталий, 5 класс

Дорогой дедушка, ты ушёл на войну, когда я ещё не родилась. Я даже не представляю тебя, но я сильно горжусь тобой. Ты пропал без вести 21 мая 1944 года. Дедушка, ты у меня был самый добрый и отзывчивый. Ты не побоялся и пошёл сражаться

с немцами. Это была не просто война, а Великая Отечественная война, когда всё Отечество наше поднялось на войну против фашистов. Война закончилась 9 мая 1945 года. Нам об этом рассказывали на уроках. Дедушка, может, ты отыщешься когда-нибудь, тогда напиши мне письмо. Твоя правнучка Левшина Ира.

Левшина Ира, правнучка, 5 класс

Здравствуй, незнакомый солдат. Я пишу тебе из далёкого будущего. Сейчас ты далеко от своих любимых, родных. Представляю, как тебе трудно и страшно! Проклятые фашисты разрушили твою мирную молодую жизнь, твои мечты и надежды. Может, ты ранен, солдат, но ты верь в свои силы, держись. И победа будет за нами. Спасибо тебе за то, что я живу в свободной и сильной стране. Ты вернёшься домой победителем. Проживёшь хорошую трудовую жизнь с любимой женой и детьми. И твоими наградами будут гордиться внуки.

Пичугина Лера, 5 класс

Я хочу обратиться к маленькой девочке, Тане Савичевой, мужественной девочке. Несмотря на измученность, ты, Таня, проявила самое настоящее мужество во время блокады Ленинграда. Ты писала каждый день в своём блокноте о смерти родных. Таня, мне очень жаль, что ты не выжила в этой страшной войне. Когда-нибудь приеду в Петербург и приду к твоему памятнику, чтобы положить цветы.

Кананкова Ира, 6 класс

Это письмо посвящается солдатам, которые защищали русскую землю от немецких захватчиков. Вы не жалели своей жизни, чтобы одолеть врага, вы бились насмерть за Русь, за Отчизну. Много товарищей, отцов, сыновей, братьев погибло от врага. Он был силен, он хотел подчинить себе нашу страну, но русские солдаты не сдались. Вся страна благодарна вам, русским воинам, освободившим нас от захватчиков. Я горжусь и помню русского солдата.

Маадыр Гриша, 6 класс

Своё письмо пишу тебе, Кибанов Иван Яковлевич. Уважаемый Иван, ты прожил недолгую жизнь. Перед войной пошел на службу в Брестскую крепость. Успел написать своим родителям три письма. И вдруг война. При отступлении погиб в первые же дни войны. Твой друг похоронил тебя под берёзой в Белоруссии. Только теперь и друга нет на свете. Родные получили похоронку на тебя, Ваня. А после войны друг приехал в Жеблахты и рассказал Ваниным родителям, что Ваня погиб при отступлении. Только друг уже не мог сказать и вспомнить, под какой именно берёзой похоронил тебя, дорогой Иван Яковлевич. Теперь я, Редькин Пётр, всем рассказываю о твоём подвиге.

Редькин Пётр, 6 класс

Я обращаюсь к тем, кого уже нет на свете. Спасибо вам, солдаты, за то, что вы защищали нашу родину. О вас будет помнить вся Россия. Хорошо, что война давно закончилась. Жаль, что вас нет на свете, вам бы все сказали спасибо.

Фильшин Антон, 6 класс

Здравствуй, дорогой солдат! Я благодарна тебе за то, что живу в мирное время, благодарна за то, что ты ценою жизни не пускал немцев в нашу Россию-матушку. Тебе было очень тяжело. Я знаю, ты целых четыре года шёл по земле и гнал врага. Я горжусь тобой, солдат. Целых четыре года у тебя в руках было оружие, в глазах крики, плач, взрывы, смерти. Но ты выстоял. Спасибо тебе, русский солдат, за освобождение Родины от фашистов.

Журова Настя, 6 класс

Когда смотрю военные фильмы, всегда представляю тот ужас войны, который прошли миллионы людей. Нашему поколению трудно рассуждать о войне. Мы родились и живём в мирное и спокойное время. Но война была, были и есть ветераны, которые видели её в лицо. Это великие люди, благодаря которым наступила долгожданная Победа. Наверное, каждый из нас так или иначе имеет отношение как к войне, так и к самой Победе. Наши родные уходили в далёком сорок первом на фронт, сражались и умирали.

Так и мой прадедуска Сигаев Андрей Антонович был призван на фронт, где героически погиб в первые месяцы войны в бою под Москвой. Следом за ним, ещё совсем мальчиком, ушёл воевать за Родину сын его — Алексей. Но и ему не суждено было вернуться в родной дом. В мае 1945 года он погиб в Чехословакии, где и похоронен. Две похоронки, одна за другой, легли тяжким бременем на семью. Но жить надо было дальше, растить детей. Не сломил враг русский дух. И я горжусь своими предками. В моих жилах течёт их героическая кровь, которая была пролита во благо всего русского народа. И если бы можно было написать солдату письмо в прошлое, я бы написала его моему прадеду.

Представляю его, сидящего у костра и читающего письмо: «Дорогой мой прадедуска, пишет тебе твоя правнучка Катя. Я учусь в седьмом классе. Пишу тебе письмо, потому что хочу сказать большое спасибо за то, что ты и ещё миллионы советских людей боролись за наше будущее. И ты знай: пусть злые люди стараются переписать историю, но я-то знаю, что ты герой, ты защитил свою страну от врагов. Мы этого не забудем. Низкий тебе поклон, мой прадед, Сигаев Андрей Антонович».

Жаль, что нельзя вернуть время назад и предотвратить эту страшную войну.

Козлитина Катя, 7 класс

Пишу своё письмо Зое Космодемьянской. Знаю, что в живых тебя нет, но о тебе помнят и не забывают в России. Я учусь в восьмом классе. Летом 2015 года мне исполнится пятнадцать лет. За эти годы я много раз слышала от бабушки и дедушки о войне. Много просмотрела фильмов о войне с учителями нашей школы. Война была страшной. Много погибло русских людей; например, в наши Жеблахты не вернулось сто двадцать четыре человека, и это все чьи-то отцы, братья, сыновья. Все они были участниками той войны, в которой погибла ты, Зоя. Я просмотрела фильм-расследование о тебе. Восхищаюсь твоим подвигом, Зоя. Ты ведь знала, на что идёшь, и, несмотря на это, упросила командира взять тебя в отряд. Смотреть этот фильм без слёз невозможно. Такие пытки... Я бы, наверное, сдалась, не выдержала таких пыток и не перенесла ту боль, которую ты вынесла. Всё думаю: а Клубков — мужчина и не смог выдержать. Испугался. Предал. Зоя, ты настоящий герой. Ты навсегда останешься в моей памяти!

Ларькова Евгения, 8 класс

Здравствуй, солдат Красной армии. Я пишу тебе это письмо, потому что хочу обратиться в нём к нынешнему поколению на примере подвига Зои Космодемьянской. Ведь даже сейчас, в мирное время, у человека всегда есть выбор между предательством и честью. Да, та война была страшной. Даже когда прошло много лет, люди плачут, боятся повторения той жестокой войны. Я думаю, что Зоя совершила поступок человека, который мы теперь называем подвигом, а она просто сделала выбор: или честь, или предательство. Её подвиг поднял в бой тысячи солдат.

Я не знаю, смог бы я поступить как Зоя, но точно не поступил бы как Клубков, даже если бы меня расстреляли. Свою Родину не сдам никогда.

У всех людей в жизни всегда бывает выбор. Кто-то выберет одно, а кто-то другое. Кто-то станет героем, а кто-то трусом на всю жизнь. Моё письмо к Зое заставит многих задуматься над своим выбором в жизни.

Ульчугачев Данил, 8 класс

Здравствуй, дорогой друг Данил. Я пишу тебе письмо в сорок первый год. Мы учились с тобой в Жеблахтинской школе. Ходили в походы, любили спорт, ты давал мне списывать по математике и русскому языку. А теперь мы на разных фронтах.

После боя думаю о Жеблахтах, о родителях, о тебе. Останься живым, мы ещё после войны встретимся с нашими девчонками и посидим у костра на нашем любимом месте на карьере.

Целищев Миша, 8 класс

Здравствуй, солдат. Я живу в мирное время. И это благодаря тебе, ведь именно ты, русский солдат, защищал нашу Родину в годы войны. Я думаю, что сорок первый год был самым трудным для тебя. Никто не ожидал этой войны, гитлеровцы напали неожиданно. Хочу узнать: страшно ли было на войне, не боялся ли ты умереть? Вообще, хотелось ли убивать людей и воевать? На войне ты терял друзей, своих родных. Я даже не представляю, если бы я потерял кого-то из близких и родных или друзей. Даже в мирное время всегда тяжело терять близких. А в этой кровопролитной войне смерть была всегда рядом. Русский солдат, ты герой этой войны! И когда нас теперь называют оккупантами, у меня всё в груди кипит. Я никогда не забуду солдат, которые защищали нас в той войне. Я горжусь их героизмом. Каждый год 9 Мая мы всей школой ходим к обелиску, возлагаем цветы в честь павших героев и вспоминаем поимённо каждого, кто не вернулся домой в Жеблахты после Великой Отечественной войны. Конечно, моё письмо будет без ответа, но другие поколения прочитают моё письмо.

Шевченко Владимир, 10 класс

Здравствуй, дорогой солдат! У меня, как и у многих одноклассников, есть вопросы к тебе. Хотелось ли идти на войну? Наверняка было страшно. Я думаю, во время загишья каждый из вас думал о своём доме, о своей девушке и просил Бога оставить его живым. На музейном уроке нам читали письма Кибанова Ивана Яковлевича, погибшего в Брестской крепости. Ведь ему всего-то было восемнадцать. Перед самой войной его взяли на действительную. Разве думал этот мальчишка, что через три месяца его уже не будет в живых? Он успел написать своим родным четыре письма. В четвёртом уже была тревога о том, что немцы делают вылазки на нашу территорию. И вот она — война. Когда выходили из окружения, Иван погиб. Его спешно похоронили под берёзкой, неизвестно под какой.

Я пишу тебе письмо, русский солдат, чтобы сказать, что вы герои, вы настоящие защитники Родины. Хочется походить на вас. Хватит ли духу?

Ощепков Кирилл, 10 класс

стр. 47
Аврутин Анатолий Юрьевич
Минск, Беларусь, 1948 г. р.

Выпускник исторического факультета ВГУ. Работал слесарем вагонного депо, учителем, литконсультантом газеты «Железнодорожник Белоруссии», старшим редактором журнала «Служба быту Беларуси», зам. главного редактора журнала «Салон», главным редактором журнала «Личная жизнь», обозревателем газеты «Советская Белоруссия», редактором отдела культуры, первым заместителем главного редактора газеты «Белоруссия». С ноября 1998 года — главный редактор литературно-художественного журнала «Немига литературная». Автор полутора десятков поэтических сборников. Лауреат Международной литературной премии имени Симеона Полоцкого и нескольких всероссийских литературных премий. Награждён медалью Франциска Скорины, Золотой Есенинской медалью, медалями имени М. Шолохова, Мусы Джалиля и другими наградами.

стр. 39
Алешков Николай Петрович
Набережные Челны, 1945 г. р.

Поэт, журналист, издатель. Был редактором городской газеты «Время» в Набережных Челнах, редактором межрегиональной литературной газеты «Звезда полей». В настоящее время — редактор литературного альманаха «Аргамак». Выпускник Литературного института имени А. М. Горького. Член Союза писателей СССР (1984). Автор девяти книг стихов.

стр. 166
Аннинский Лев Александрович
Москва, 1934 г. р.

Родился в Ростове-на-Дону, в семье «красного профессора». Окончил филологический факультет МГУ (1956). Работал в советских и российских журналах и газетах. Печатается как литературный критик с 1956 года. После сборника статей «Ядро ореха» (М., 1965) выпустил ряд книг о русской литературе XIX и XX веков, литературах народов СССР, театре, кино и художественной фотографии. Член СП СССР (1965), СК СССР (1970), Русского пен-центра (1995), Академии российской словесности (1996), АРСС (1997), председатель жюри (1994), затем член комитета Букеровской премии в России (до 1999), член комиссии по Государственным премиям при президенте РФ (с 1997). Награждён орденом «Знак Почёта» (1990). Премии СК СССР (1980), «Литературной России» (1984, 1999), журналов «Октябрь» (1983), «Огонёк» (1995), «Стрелец» (1996, 1998), имени Ю. Тынянова, лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» (1996).

стр. 169
Ахадов Эльдар Алихасович
Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Баку. Российский писатель. Окончил Ленинградский горный институт. В течение 10 лет руководил краевым литературным объединением при Государственном центре народного творчества Красноярского края и краевой литературной студией «Былина» для незрячих и слабовидящих. Автор более 30 книг поэзии и прозы. Основатель сайта «Миры Эльдара» и международного русскоязычного поэтического конкурса «Озарение». Произведения автора публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Мурзилка», «Дети Ра», «Футурум-АРТ», «Кукумбер» (все — Москва), «Сибирские огни», «Неизвестная Сибирь» (все — Новосибирск), «День и ночь» (Красноярск), «Обская радуга» (Салехард), «Intelligent New-York» и др. Обладатель многочисленных литературных премий и наград.

стр. 57
Безызвестных Елена Александровна
Новосибирск, 1987 г. р.

Участница Всероссийского литературного конкурса Фонда имени В. П. Астафьева (2015). Студентка Литературного института имени А. М. Горького (семинар А. Е. Рекемчука).

стр. 7
Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. В 1980 году окончил филологический факультет Пермского государственного университета. Автор четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой» и «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всероссийский фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013) и общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). В начале 90-х входил в редколлегия журнала «Юность», где учредил и вёл две рубрики — «Письма государственного человека» и «Русская провинция». Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь»,

«Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антологии русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского 1 степени. В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр.
161

Вершинский Анатолий Николаевич
Раменское, 1953 г. р.

Родился в селе Семёновка Уярского района Красноярского края, в семье учителя. Окончил с отличием два института: Красноярский политехнический и Литературный имени А. М. Горького. Работал в научно-исследовательской лаборатории, в газете, служил в Советской Армии. Более тридцати лет занимается журналистской и издательской деятельностью, награждён дипломом знака отличия «Золотой фонд прессы». Член Союза писателей с 1985 года. Автор шести поэтических сборников, драмы в стихах «Восточный вопрос», книги исторических очерков «Русская Александрия. Средневековая Русь и Александр Невский». Дипломант конкурса «Лучшая книга 2008–2010».

стр.
186

Воробьева Елена Юрьевна
Москва, 1993 г. р.

Родилась в городе Королёв Московской области. Окончила художественную школу и лицей научно-инженерного профиля. В 2011 году поступила в Литературный институт им. А. М. Горького, семинар О. А. Николаевой. Публикуется впервые.

стр.
153

Гангур Александра Сергеевна
Москва, 1993 г. р.

Родилась в Москве. Студентка Литературного института им. А. М. Горького, 5 курс, семинар С. С. Арутюнова. Публикуется впервые.

стр.
121

Гейдэ Нина
Дания

Родилась в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Живёт в Дании с 1998 года. Была главным редактором журнала «Берег», занималась радиожурналистикой. Печаталась как поэт в журналах и альманахах «LiteraruS», «Хронометр», «Роза ветров», «Звезда», в сетевых изданиях «Самиздат», «Вечерний гондольер».

стр.
41

Година Николай Иванович
Челябинск, 1935 г. р.

Родился в Полтавской области (Украина), через четыре года семья переехала в Челябинскую область. Окончил Коркинский горный техникум. Работал на серном руднике Дарваза в Каракумах, четыре года служил на военных кораблях Балтфлота.

С 1959 по 1987 год жил в городе Миассе, работал машинистом экскаватора, инженером, председателем рудкома в Тургоякском рудоуправлении. Печатается с 1958 года. Член Союза писателей СССР. Автор более двух десятков сборников стихов и прозы. Лауреат комсомольской премии «Орлёнок» (1968), Всероссийской профсоюзной премии имени Ф. Селянина, Всероссийской литературной премии имени Мамина-Сибиряка (2003). Секретарь Челябинской областной писательской организации (1987–1998), секретарь правления СП России (1992–1998). Участник Международного конгресса поэтов в С.-Петербурге (1999) и Международного форума поэзии в Магнитогорске (2002), участник «Литературных встреч в провинции», организованных В. П. Астафьевым, и др. Стихи и рассказы печатались на семи языках. Заслуженный работник культуры России (1996), почётный гражданин города Миасса (2004).

стр.
114

Жарикова Елена Владимировна
Красноярск

В 1993 году окончила Абаканский государственный пединститут. Преподаёт литературу в Красноярской гимназии №1 («Универс»). Руководитель «Литературной гостиной». В 1998 году удостоилась звания «Учитель года» (Шарыпово). Участница и финалист многих литературных конкурсов. Стихи и проза публиковались в литературной периодике.

стр.
191

Ива Наталья
(Иванова Наталья Михайловна)
Красноярск

Автор стихов для детей и о детях. Издана книга «Дочки-сыночки» (Красноярск, 2014). Член ЛИТО «Диалог». Член Международного творческого объединения детских авторов.

стр.
187

Карапетьян Рустам
Красноярск, 1972 г. р.

Родился в Красноярске. Учился в Красноярском государственном университете на математическом и психолого-педагогическом факультетах. Несколько лет посещал литературный семинар А. Лазарчука. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Контр@-банда», «Литературный MIX», «Огни Кузбасса», «Мурзилка», «Читайка», «Сибирёнок», а также в различных антологиях и сборниках. Лауреат премии имени В. П. Астафьева в номинации «Поэзия» (2007). Финалист Илья-Премии (2008). Победитель конкурса «Король поэтов: реванш» (Красноярск, 2008). Лауреат премии «Золотое перо Руси-2010». Руководитель красноярского литературного объединения «Диалог». Автор книг стихов «Четыре стороны небес», «Точка опоры», нескольких книг для детей. Член Союза русскоязычных писателей Армении и диаспоры. Член Союза российских писателей.

стр. 49 Кобринский Александр М.
Израиль, 1939 г. р.

Философ, поэт, прозаик, публицист, переводчик. Родился в Запорожье. Жил в Днепропетровске (1944–1987). С 1987 года гражданин Израиля. Редактор и составитель стихотворного сборника «Антология поэзии. Израиль 2005» (Тель-Авив); вошёл как автор в антологию поэзии «Освобождённый Улисс» (составитель Дмитрий Кузьмин). Издано более 20 книг. Произведения публиковались в журналах «Дети Ра» (Россия); «Зеркало», «Алеф», «Слово писателя» (Израиль); «Сичеслав», «Борисфен» (Украина); «Слово\Word» (США).

стр. 3 Костров Владимир Андреевич
Москва, 1935 г. р.

Родился в деревне Власиха Костромской области. Поэт, переводчик, литературный критик. Окончил химфак мгу (1958), Высшие литературные курсы (1969). Был членом КПСС. Работал инженером-химиком на оборонном предприятии в Загорске, в журналах «Техника — молодёжи» и «Смена», рабочим секретарём правления Московского отделения СП РСФСР (с 1980), зам. главного редактора журнала «НМ» (с 1986). С 1979 года ведёт семинар поэзии в Литинституте; доцент. Печатается с 1957 года. Автор более 15 книг стихов. Публиковался в газете «Завтра», в журналах «Знамя», «НМ», «Россия» и в коллективных сборниках. Член Союза писателей СССР. Избирался членом правлений СП РСФСР и СП СССР, председателем Клуба независимых. Член правления Союза писателей России, редколлегии журнала «ЛУ», редсовета журнала «Роман-газета XXI век». Председатель Пушкинского комитета СП России, вице-президент Фонда 200-летия А. С. Пушкина. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1984), медалью «За укрепление боевого содружества» (2000). Лауреат многочисленных государственных и литературных премий.

стр. 75 Крюкова Елена Николаевна
Нижний Новгород, 1956 г. р.

Русский поэт, прозаик, искусствовед. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт имени А. М. Горького (семинар А. Жигулина, поэзия). Публикуется в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Нева», «День и ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др. Финалист премий «Ясная Поляна» (2004, роман «Юродивая») и «Карамзинский крест» (2009, роман «Тень стрелы»). Лауреат премий имени М. И. Цветаевой (2010, книга стихов «Зимний собор»), «Согласование культур» (Германия, 2009). Финалист Волошинского конкурса (2009, 2010). Арт-критик, куратор и автор ряда художественных проектов в России и за рубежом

(вместе с художником Владимиром Фуфачёвым): «Священный бык» (Музей современного русского искусства, Нью-Йорк, 1998–1999); «Небесная колесница» (Марсель, 2004); «Архетип» (Нижний Новгород—Москва, 2006); «Символы Земли» (Кассель, Германия, 2006–2007); «Анестезия» (Нижний Новгород, 2007); «Долина царей» (Москва, 2008) и др. Директор Культурного фонда «Fermata» (США). Член Союза писателей России.

стр. 154 Курганов Сергей Юрьевич
Харьков, Украина, 1954 г. р.

Родился в Харькове. В 1976 году окончил физико-математический факультет Харьковского государственного педагогического института имени Г. С. Сковороды. Автор книг и научных статей в области педагогики и педагогической психологии, изданных на Украине, в России и США, а также стихов, рассказов и эссе, публиковавшихся в литературных журналах, в том числе в журнале «День и ночь». С 1987 по 1997 год работал в красноярской гимназии «Универс» (№1) и на психолого-педагогическом факультете Красноярского государственного университета. Этот период жизни и творчества автора отражён в документальной прозе «Сохрани мою речь» и «Импрессионисты» (последняя—в соавторстве с М. Саввиных).

стр. 56 Лаврентьев Максим Игоревич
Москва, 1975 г. р.

Поэт. Родился в семье дирижёра и композитора И. А. Лаврентьева. Получил среднее музыкальное образование. Работая кладовщиком в автомобильном техцентре, заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горького (2001). Работал редактором в «Литературной газете», главным редактором журнала «Литературная учёба», бренд-менеджером в издательстве «АСТ», зав. отделом литпроцесса в газете «Литературная Россия». Автор нескольких книг. Публиковался в газетах «Литературная Россия» и «Независимая газета», в журналах «Волга—XXI век», «День и ночь», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Октябрь», «Дети Ра», «Зинзивер», в антологии «Русская поэзия: XXI век» издательства «Вече». Помимо стихов и редакторской деятельности, пишет рецензии на творчество коллег, публицистические статьи, занимается исследованием предсмертного творчества русских поэтов XIX–XX вв. В 2014 году дебютировал как прозаик.

стр. 44 Мартынов Евгений Александрович
Зеленогорск, 1930–2015

Родился в деревне Сибирская Саргатка Омской области. Окончил Омское речное училище, машиностроительный институт. Работал в литейных цехах заводов Омска, Новосибирска и Бердска мастером и начальником цеха, преподавателем

электромеханического техникума в Бердске и Зеленогорске, директором спортсооружений, слесарем, воспитателем Школы космонавтики, преподавателем и мастером производственного обучения по изготовлению художественных изделий из керамики уПК. Автор нескольких поэтических сборников и книг прозы. Член Союза российских писателей. Трагически ушёл из жизни 13 июня 2015 года.

стр.
50

Минин Евгений Аронович
Иерусалим, Израиль, 1949 г. р.

Известный поэт, пародист, организатор литературного процесса. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах. Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманахам «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израйля, член Союзов писателей Израйля и Москвы, директор Международного союза литераторов и журналистов (АРИА) по Израйлю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» (Москва). Лауреат нескольких литературных премий. Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010).

стр.
43

Молчанов Виталий Митрофанович
Оренбург, 1967 г. р.

Родился в Баку. Выпускник Московской академии нефти и газа. Председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей, член Союза писателей XXI века и координационного совета Ассоциации писателей Урала. Лауреат международного фестиваля литературы и искусства «Славянские традиции» (2010), малой международной литературной премии «Серебряный стрелец», победитель IV международного поэтического конкурса имени С. И. Петрова, дипломант V международного конкурса памяти Владимира Добины («Русское литературное эхо», Израиль), победитель конкурса интернет-журнала «Лексикон» (Чикаго) в 2010 году, фестиваля «Гоголь-фэнтези-2009» (Украина), обладатель звания «Стильное перо-2009» по результатам фестиваля «Русский стиль-2009» (ФРГ). Публиковался в российской и зарубежной литературной периодике, в сборниках и антологиях.

стр.
185

Наговицын Вадим Николаевич
Калуга, 1963 г. р.

Прозаик, публицист. Родился в Норильске. Окончил в 1987 году Норильский индустриальный институт. Работал инженером-строителем на

сооружении промышленных объектов Норильского горно-металлургического комбината, затем в райкоме комсомола. В 1994 году создал частную телерадиокомпанию и запустил первую в Норильске частную укв-радиостанцию «Наго-радио». Затем издавал журнал «Норильск», газету «Норильские ведомости» и др. С 1998 года работал генеральным директором телерадиокомпания «Полюс», вёл общественно-политические, философские и литературные передачи на одноимённой радиостанции и на тв. Выпустил несколько десятков радиопрограмм. Имеет много публикаций в печатных и интернет-изданиях. В настоящее время является учредителем и директором Калужского фонда русской словесности, главным редактором журнала «Золотая Ока». Член Союза журналистов России, Российского союза профессиональных литераторов. Автор книги «Когда мне было восемнадцать», многочисленных рассказов и публицистических статей.

стр.
5

Орлов Александр Владимирович
Москва, 1975 г. р.

Окончил Московское медицинское училище №1 имени И. П. Павлова, Литературный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. Работал ортопедом в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов Великой Отечественной войны, разнорабочим, начальником отдела и заместителем генерального директора в частной компании, последние годы работает учителем истории в столичной школе. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы имени А. П. Платонова (2011), Всероссийского конкурса малой прозы и поэзии имени Ф. Н. Глинки (2012), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014). Публиковался в широком круге изданий: «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учёба», «Сибирские огни», «Южное сияние», «Юность», в сборниках и антологиях.

стр.
112

Песковская Мария Юрьевна
Красноярск

Окончила экономический факультет КГУ. Работала экономистом, рекламным менеджером, копирайтером, журналистом. В 2008 году в издательстве «Астрель» вышла книга Марии Песковской «Там, где два моря». Публикации в журнале «День и ночь».

стр.
100

Саввиных Марина
(Наумова Марина Олеговна)
Красноярск, 1956 г. р.

Родилась в Красноярске. После окончания Красноярского педагогического института работала преподавателем литературы. Первая публикация — в газете «Красноярский комсомолец» в 1973 году.

С тех пор стихи, проза, эссе, критические заметки и статьи неоднократно публиковались в российских и зарубежных литературных журналах. Автор девяти изданных книг стихов, прозы, литературоведческой публицистики. Член Союза российских писателей с 1994 года. Член президиума Международного Союза писателей XXI века. Первый лауреат Фонда им. В. П. Астафьева. С 2007 года главный редактор литературного журнала «День и ночь». Заслуженный работник культуры Красноярского края. Награждена орденом Достоевского I степени.

стр.
14

Селянинов Владимир Николаевич
(Жунин Владимир Николаевич)
Красноярск, 1935 г. р.

Родился в посёлке Заозёрный (ныне — город) Рыбинского района Красноярского края. Окончил лесоинженерный факультет Сиблти в 1958 году. До выхода в 1995 году на пенсию работал на стройках края. Публиковался в журналах, газетах. Изданы книги «Очень хочется умереть» и «Земля трясётся». Член Союза российских писателей.

стр.
101

Стрельцов Михаил Михайлович
Красноярск, 1973 г. р.

Поэт, прозаик. Родился в городе Мыски Кемеровской области. В 1995 году окончил Кемеровский государственный институт искусств и культуры. Председатель Красноярского регионального представительства Союза российских писателей с 2008 года. Делегат IV съезда СРП. Член Литературного фонда России и Международного литературного фонда. Заместитель председателя Красноярского отделения Литературного фонда России. С 2008 по 2012 год — ответственный секретарь литературного журнала «День и ночь». Лауреат и дипломант краевого конкурса имени И. Рождественского (2013), дипломант альманаха «Лёд и пламень» (2013). С 2002 года — творческий руководитель молодёжного литературного клуба «Аллея» при Сибирском технологическом университете. Организатор регионального поэтического состязания «Король поэтов». Автор нескольких книг стихов и прозы, многочисленных публикаций в российской и зарубежной литературной периодике.

стр.
108

Теплицкий Виктор
Красноярск, 1970 г. р.

Священник. Родился в Красноярске. Учился в Сибирском технологическом институте, служил в Советской Армии. В 1992 году принял крещение и оставил институт. Работал дворником, грузчиком, посещал церковные богослужения. Окончил Высшие богословские пастырские курсы в 1999 году. В настоящее время служит священником в храме Николая Чудотворца, возглавляя одновременно молодёжный отдел Красноярско-Енисейской епархии. Печатался в литературном журнале «День

и ночь», в литературно-художественном и религиозно-философском журнале «Новое и старое». Автор нескольких поэтических сборников. Лауреат литературной премии всероссийского Фонда имени В. П. Астафьева в номинации «Иной жанр» за драму «Королевское сердце» (2005).

стр.
142

Тимченко Елена Владимировна
Красноярск, 1962 г. р.

Родилась в селе Шила Сухобузимского района Красноярского края. Окончила физический факультет Красноярского государственного университета. Работала в агроуниверситете на кафедре физики в должности ассистента и младшего научного сотрудника, преподавала программирование и информационные технологии в техникуме и информатику в гимназии. Автор повести-сказки «Мерзлотка и её друзья», победившей в грантовом конкурсе «Книжное Красноярье» в 2007 году. С 2001 года стала внештатным сотрудником газеты «Городские новости», с 2004 года — главный редактор приложения «Детский район». С 2004 года ведёт в Красноярском литературном лицее творческие мастерские. Член Союза российских писателей.

стр.
7

Чудинова Галина Васильевна
пос. Юго-Камский Пермского края, 1947 г. р.

Родилась в посёлке Юго-Камский Пермской области, в семье служащих. Выпускница Пермского госуниверситета. Работала преподавателем литературы в школе и университете. В 1986 году защитила в мопи имени Н. К. Крупской (Москва) кандидатскую диссертацию по английской литературе XX века. С 1995 по 2010 год — доцент кафедры методики гуманитарных дисциплин Пермского краевого института повышения квалификации работников образования. В последние два года исполняла обязанности заведующей кафедрой. Выпустила шесть сборников статей о новейшей пермской прозе и поэзии. Последние пять лет активно занимается публицистической и литературной деятельностью. Автор работ «Русский фундаментализм как концепция возрождения русского народа», «Синдром однополюшарного мышления». Ею написаны и изданы книги «Расказы о староверах», «Чудиновы. Хроника обретеный и утрат одного рода», «Ино ещё побредём», «Путь к Храму».

стр.
51

Шамова Мария Анатольевна
Москва, 1983 г. р.

Родилась и выросла в городе Таштаголе Кемеровской области. Окончила Кузбасскую государственную педагогическую академию. Работала в обычной и в коррекционной школе, в музее Ф. М. Достоевского в городе Новокузнецке, затем в Москве в музее К. Г. Паустовского, сейчас работает в Музее-панораме «Бородинская битва».

С 2010 года — студентка заочного отделения Литературного института имени А. М. Горького.

стр.
119

Шейхова Мариан
(Муслимова Миясат Шейховна)

Махачкала, 1960 г. р.

Поэт, журналист, литературовед, переводчик. Родилась в селе Убра Лакского района Республики Дагестан. Трудовую биографию начинала учителем русского языка и литературы. Кандидат педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы

Дагестанского государственного университета. Член Союза журналистов РФ, Союза российских писателей. Автор нескольких книг стихов. Лауреат республиканской литературной премии имени Р. Гамзатова, дипломант международного литературного конкурса имени Я. Корчака, номинант премии имени А. Сахарова во всероссийском конкурсе «За журналистику как поступок», победитель международного литературного конкурса «Золотая строфа». Публиковалась в «Литературной газете», журналах «Дружба народов», «Сибирские огни», «Дарьял», «День и ночь» и других.

главный редактор

Марина Саввиных

**заместители
главного редактора**

по прозе

Александр Астраханцев
Евгений Мамонтов

по поэзии

Сергей Кузнечихин

дизайнер-верстальщик

Олег Наумов

корректор

Андрей Леонтьев

секретариат

Юлия Вятчина
Артём Яковлев

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации пп №ФС77-42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Сергей Арутюнов
Москва

Юрий Беликов
Пермь

Вера Зубарева
Филадельфия

Анатолий Кирилин
Барнаул

Владимир Костылев
Арсеньев

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Евгений Минин
Иерусалим

Виталий Молчанов
Оренбург

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Миясат Муслимова
Махачкала

Александр Петрушкин
Кыштым

Лев Роднов
Ижевск

Евгений Степанов
Москва

Михаил Тарковский
Бахта

Вероника Шелленберг
Омск

В оформлении обложки использованы картины Ивана Данилова.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «День и ночь».

ИНН 246 304 2749

Расчётный счёт
4070 2810 8006 0000 0186
в Новосибирском филиале
ОАО «Банк Москвы»
в г. Новосибирске

БИК 045 004 762

Корреспондентский счёт
3010 1810 9000 00-00 0762

Рукописи принимаются по электронной почте:
dayandnight@bk.ru

Адрес редакции:
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3.
т. 8 923 571 49 36

Почтовый адрес:
66 00 28, г. Красноярск, а/я 11 937,
редакция журнала «День и ночь».

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 05.08.2015
Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007tex@mail.ru, т. 294 1577



Иван Данилов